К.М. Станюкович
ДВА БРАТА
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

Константин Михайлович Станюкович
Два брата

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru)
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=141433
К.М.Станюкович. «Два брата. Василий Иванович»:
Издательство «Правда»; Москва; 1990

Аннотация

Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.

В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы. В книгу вошло также одно из первых произведений Станюковича о море.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 6
I 6
II 17
III 29
IV 45
V 58
VI 70
VII 89
VIII 102
IX 113
X 119
XI 131
XII 140
XIII 155
XIV 170
XV 182
XVI 193
XVII 207
XVIII 225
XIX 233
XX 247
XXI 257
XXII 272

XXIII 285
XXIV 306
XXV 327
XXVI 346
XXVII 353
XXVIII 361
XXIX 372
XXX 381
XXXI 388
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 393
I 393
II 411
III 437
IV 450
V 457
VI 473
VII 493
VIII 504
IX 520
X 533
XI 541
XII 554
XIII 565
XIV 575
XV 599
XVI 613

XVII 621
XVIII 632
XIX 650
XX 659
XXI 667
XXII 683
XXIII 689
XXIV 694
XXV 701
XXVI 705
ПРИМЕЧАНИЯ СОСТАВИТЕЛЯ 707

Константин Михайлович Станюкович
Два брата

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В двадцати пяти верстах от одного из уездных городов Смоленской губернии, в полуверсте от глухого проселка, в начале семидесятых годов стояла, – вероятно, стоит и теперь, – скромная помещичья усадьба с тенистым старым садом, спускающимся вплоть к маленькой речке Вити, на противоположном берегу которой ютится небольшая деревня.

Витино – так называлась эта усадьба – принадлежало землевладельцу Ивану Андреевичу Вязникову.

Это имя хорошо было известно не только во всем

округе, но и в губернии. Трудно было встретить человека, который бы не отозвался об Иване Андреевиче Вязникове, как о благородном, образованном и честном старике, пострадавшем в молодости за увлечения. К этим лестным отзывам многие, впрочем, прибавляли с сожалением, что у Вязникова все еще беспокойный характер и что он несколько чудак-идеалист. Были и такие люди, особенно между губернской бюрократией, которые говорили о Вязникове, пожимая плечами и таинственно покачивая головой. По их мнению, Иван Андреевич был «старый нигилист» и «как будто еще не уходился». Если бы не эти недостатки, то Вязников был бы во всех статьях превосходнейший человек.

Несмотря, однако, на эти оговорки к лестным отзывам о Вязникове, разноречия насчет его личных качеств и достоинств не было. Все единодушно признавали неподкупную честность и рыцарское благородство старика. По словам его поклонников, Вязникова можно было не любить, но не уважать его было нельзя.

Поселился Иван Андреевич в этих местах, по словам старожилов, в 1860 году, вскоре после того, как он вернулся из дальнего места, где проживал с 1848 года… [1] Он с восторгом приветствовал зарю новой

[1] …вскоре после того, как он вернулся из дальнего места, где прожи-

жизни, был одним из первых энергичных мировых посредников, наделил своих крестьян хорошими наделами без всякого выкупа и с той поры безвыездно живет вот уже тринадцать лет в родовом своем поместье, в маленьком одноэтажном домике, выстроенном им на месте развалившейся барской хоромины, в которой когда-то неистовствовал его отец, один из богатейших и отчаянных помещиков Смоленской губернии.

Между крестьянами Вязников пользовался громадным доверием. Слово его было свято. О нем рассказывали, как о заступнике и предстателе во всех серьезных обстоятельствах, готовом при случае помочь и в нужде, хотя он и сам не имел больших достатков. Окрестные крестьяне уважали Ивана Андреевича, и витинского барина звали в округе не иначе, как «праведным барином». Так под именем «праведного барина» он и слыл.

Таковы были отзывы о витинском старом барине, с которым читатель сейчас познакомится поближе.

вал с 1848 года… – Вскоре после французской революции 1848 года в России прошел ряд политических процессов, в том числе и крупнейший из них – дело петрашевцев (1849 г.). Вероятно, по одному из этих процессов и был сослан Иван Андреевич Вязников. В первые годы царствования Александра II многие из осужденных по политическим процессам при Николае I были амнистированы. Так, в 1856 году прошла амнистия по делу декабристов, в 1857 году начинают возвращаться из ссылки осужденные по делу Петрашевского.

Знойный июльский день 1873 года угасал. Багряный диск солнца медленно скрывался за горизонтом. В воздухе потянуло прохладой занимавшегося вечера и ароматом скошенной травы.

В это время на крыльце перед лужайкой, по которой только что прошла коса, сидел Иван Андреевич, покуривая сигару и внимательно поглядывая на дорогу.

Это был высокий, статный, широкоплечий старик, с длинными, спускавшимися на плечи, седыми волосами и большой, широкой, окладистой, совсем белой бородой, доходившей почти до пояса. В лице, фигуре и осанке Ивана Андреевича было что-то величавое, красивое, напоминающее древних патриархов. Открытое, несколько задумчивое и усеянное морщинами лицо, большой высокий лоб, зоркий взгляд черных блестящих глаз и приятная улыбка, скользившая на губах, невольно заставляли остановиться в благоговейном почтении перед этим стариком. На чертах его лица, когда-то красивого, лежала печать благородства, пережитых страданий, мысли и все еще бодрого, протестующего духа. Он на вид казался стариком, хотя ему было всего пятьдесят два года. Жизнь состарила прежде времени его тело, но глаза, светлые, блестевшие мыслью глаза, говорили о живучести его нравственного существа. Невольно при встрече с такими стариками, богатыми прошлым и верящими в бу-

дущее, проникаешься уважением.

Есть на свете люди, перед ясным взглядом которых словно вы чувствуете себя виноватым, слабым духом и ничтожным. Есть люди, перед которыми даже наглое бесстыдство невольно опускает глаза, как бы чувствуя робость. Это те поседевшие рыцари духа, те могучие, хотя и надтреснутые дубы человечества, которых природа бросает в мир как будто бы для того, чтобы человек не изверился в человека.

Таких стариков напоминал и старик, сидевший на крыльце и пристально всматривавшийся на дорогу.

– Пора идти, Иван Андреевич! – раздался из комнаты приятный и мягкий, несколько взволнованный женский голос.

И вслед за тем на крыльцо торопливо вошла пожилая, среднего роста женщина, загорелая блондинка, крепкого, здорового сложения, с приятными и мягкими чертами лица, сохранившего еще следы прежней красоты. Но главным украшением этого лица были глаза – большие, светлые, серые глаза, светившиеся кротким выражением. Под мягкими лучами взгляда этих кротких глаз точно становилось теплей на душе, – так много было в них нежной любви и какого-то симпатичного добродушия. Достаточно было взглянуть в эти глаза, чтоб сразу отгадать кроткое, привязчивое, доверчивое создание – одну из тех женских натур, для

которых главный смысл жизни заключается в привязанности и самоотвержении, а счастие – в счастии любимых людей.

Марья Степановна – так звали жену Вязникова – держала в руках шляпу и палку мужа и, подавая их, снова повторила:

– Пора, пора, Иван Андреевич! Коля скоро должен быть.

Счастливая улыбка сияла на лице матери. Необыкновенной нежностью звучало в ее устах имя сына.

– Идем!.. Приедет ли только Коля сегодня? – обронил Иван Андреевич, подымаясь с лавки.

– Сегодня приедет, непременно приедет. Увидишь!.. Вчера не приехал – верно, в Москве что-нибудь задержало.

Муж и жена вышли за ограду, отделявшую усадьбу от поля, и повернули по узкой черной полосе проселка, пролегавшего между зеленью хлебов, встречать старшего сына, которого третий день как ждали из Петербурга.

Они шли под руку скорыми шагами, пристально всматриваясь в даль дороги. Оба молчали. Каждый из них думал о сыне.

– А Вася где? – спохватился Иван Андреевич, останавливаясь.

– Вася с утра куда-то ушел.

– И, по своему обыкновению, не сказал куда? – усмехнулся отец.

– Ты ведь знаешь, он не любит, когда его спрашивают. Верно, к Лаврентьеву в Починки. Они приятели. А то у кого-нибудь из мужиков в деревне.

– Разве он не знает, что Коля обещал быть вечером?

– Знает. Он сказал, что придет встретить.

– Сказал?

– Да.

– Ну, если сказал, так придет! – уверенно заметил Иван Андреевич.

И Вязниковы пошли далее.

– Странный мальчик! – как бы в раздумье проговорил Вязников.

– Это ты про Васю?

– А то про кого же? Коля человек как человек.

– А что же в Васе-то странного? Душа-то какая добрая, а если немного дик – что ж тут особенного?

– Ты напрасно заступаешься! – улыбнулся Иван Андреевич. – Малый-то он добрый и честный, я знаю не хуже тебя, но это не мешает ему быть странным. Совсем он у нас за год омужичился и одичал. Робинзоном каким-то стал. Знаешь, за каким делом я его вчера на лугу утром застал? За косьбой! Коса его не слушается, а он-то старается, он-то старается. Пот гра-

дом катится с его лица, видно устал. Здоровье у него не то, что у Коли. Увидал Вася меня, вспыхнул весь и оправдывается: «Я, говорит, еще учусь. Увидишь, как через неделю косить буду». Чудак! Ему в академию надо готовиться, а он точно собирается в мужики!

– Он это так, быть может для моциона! – заступилась Марья Степановна.

– Ты думаешь, для моциона? – с едва заметной усмешкой проронил Иван Андреевич.

Он замолчал и пристально вглядывался на дорогу. Начало смеркаться. Вязников взглянул на часы и покачал головой.

– Пора бы Коле приехать. Поезд уж час тому назад пришел. От станции всего десять верст.

В это время из-за перелеска, тянувшегося вдоль дороги, вышел длинный, неуклюжий, худощавый юноша в блузе, высоких сапогах и маленьком картузе на большой кудрявой голове. Он запыхался от скорой ходьбы и обтирал пот с бледного, болезненного, задумчивого лица.

– Откуда ты, Вася, усталый такой? – спросил Иван Андреевич.

– Спешил не опоздать. От Лаврентьева, папа. В лес ходили. Пилка там…

– Уж не пилил ли и ты?

– Пилил! – ответил, краснея, юноша.

– Вредно тебе, Вася, – вставила мать. – Опять грудь заболит!

– Не заболит, мама, не бойтесь. А Коля, видно, не приехал, – прибавил он.

– Не опоздал ли поезд?

– Сбегать узнать, мама? – вызвался юноша.

– Это десять-то верст сбегать? – усмехнулся отец.

– Велика важность – десять верст! Мужики не по десяти верст отхватывают. Сходить?

– Не надо! – резко заметил Иван Андреевич.

Несколько времени они шли по дороге. Марья Степановна тревожно взглядывала то на мужа, то вперед, – не покажется ли на дороге экипаж.

– И что это у тебя, мой милый, все на языке мужики да мужики, – заговорил Иван Андреевич. – Мало ли что может мужик и чего ты не можешь. Мужики – народ привычный, а ты… ты ведь, кажется, не мужик и готовишься не пахать землю, а быть образованным человеком благодаря счастливой случайности. Так надо ею пользоваться. Пойдемте-ка домой, Коля не будет! – оборвал Иван Андреевич.

Все трое молча пошли к усадьбе. Вася шел сзади.

– Верховой едет! – крикнул он и побежал к нему навстречу.

Отец и мать остановились.

– Не Коля ли? – радостно воскликнула Марья Сте-

пановна.

– Какой Коля? К чему ему ехать верхом? – недовольным тоном возразил Иван Андреевич, пристально, однако, всматриваясь в полусвет сумерек.

Через несколько минут Вася возвратился один и подал отцу телеграмму.

– Уж не случилось ли чего, – испуганно прошептала Марья Степановна, питавшая вообще страх к телеграммам.

– Успокойся, ничего не случилось. Чему случиться. Верно, назначает новый день приезда. Сейчас придем домой, узнаем…

Старики прибавили шагу.

– А где же ямщик, Вася?

– Уехал. Я расписался в книге.

– Как же это ты так оплошал! Человек устал с дороги, а ты не догадался позвать его выпить рюмку водки?

– Захочет – сам в кабаке выпьет. Кабаков здесь, слава богу, много!

Отец промолчал на это замечание и только искоса взглянул на сына.

Когда вернулись домой, Иван Андреевич прочел вслух следующую телеграмму из Москвы от сына:

«Простите. Сегодня не могу быть. Непременно завтра. Задержали дела».

– Вот видишь ли. Ничего особенного не случилось! – проговорил Иван Андреевич, обращаясь к жене. – Какие-то дела задержали! Верно, важные! – усмехнулся иронически отец.

Он оставил телеграмму на столе в гостиной и пошел в кабинет.

– Чаю мне в кабинет, пожалуйста, пришли, – заметил Вязников в дверях.

Марья Степановна, грустная, тихо пошла в столовую, где уже накрыт был стол и стояли разные печения и закуски, приготовленные для ожидаемого гостя. Она видела, что муж огорчен, и сама была огорчена. Но она не сердилась на сына. Он не виноват. Быть может, и в самом деле его задержало что-нибудь важное. Точно у него не может быть дел!

– А ты куда, Вася? Разве чаю не будешь пить? Сейчас подадут самовар! – обратилась Марья Степановна к сыну, заметив, что он собирается уходить.

– Я сию минуту вернусь, мама. Только в деревню сбегаю.

– Загорелось, что ли? Какие дела это у тебя там, в деревне?

– Обещал Василью ружье принести. Завтра на охоту идет!

С этими словами юноша пошел было из комнаты, потом вернулся, обнял мать и вышел вон.

II

На другой день, когда, по обыкновению, Иван Андреевич, в восемь часов утра, вышел к чаю, Марья Степановна, дожидавшаяся уже мужа за самоваром, заметила, что лицо Ивана Андреевича утомлено и как будто осунулось. С тревожной пытливостью взглядывала она на мужа и наконец спросила:

– Здоров ты?

– Здоров. Разве я кажусь больным?

– Лицо у тебя сегодня нехорошее! Хорошо ли ты спал?

– По обыкновению… хорошо. Отчего мне не спать!

Старик говорил неправду.

Эту ночь ему плохо спалось. Различные думы гнали сон прочь, и он только под утро заснул коротким, тревожным сном.

Его больно кольнула, кольнула в самое сердце, неделикатность сына. Отец так нетерпеливо ждал его, ему хотелось прижать к сердцу своего любимца, своего милого, умного, талантливого мальчика, на котором лелеялось столько отцовских надежд, а Коля два раза назначал дни приезда и два раза не сдержал обещания.

Это было больно. Кажется, он не заслужил такого…

он прибирал слово… – такого невнимания! Какие могли быть у Коли важные дела? Разве он не знает, как горячо его любят, как нетерпеливо ждут его после двухлетней разлуки? Разве его чуткая натура не понимает, как хочется отцу поскорей взглянуть на молодого человека, познакомиться с ним поближе теперь, когда он готов вступить в жизнь, узнать, как он думает, во что верит, что любит, что ненавидит? И разве Коле самому не хочется скорей повидаться с отцом, не только с отцом, но и с другом, скорей поделиться мыслями, надеждами? Разве письма могут заменить живую беседу?

В его года так быстро меняются веяния, особенно у такой впечатлительной натуры, как Коля. Что сделали с ним последние два года?

Ну, разумеется, он остался таким же хорошим, подсказывало родительское сердце. Еще недавно старик читал первую статью Коли, горячую статью, обратившую даже на себя внимание, и старик был обрадован. В этих благородных стремлениях молодости он точно узнавал себя, с гордостью отца и учителя любовался первым трудом сына и ученика. Он вспомнил теперь об этой статье. Старик хотел поспорить по поводу некоторых мыслей, высказанных в ней его сыном.

«Но за что ж такая небрежность? Два раза эти телеграммы? К чему было писать их?» – повторял ста-

рик, обиженный своим любимцем скорее как друг, чем как отец.

Мысли сосредоточивались на сыне. Прошлое невольно врывалось в голову эпизодическими отрывками, в которых Коля являлся ясным воспоминанием в годину тяжелой жизни. Ребенок скрасил долгие, однообразные, серые будни в далеком, пустынном захолустье. Детский лепет заставлял забывать на время тоску отчужденности. Впереди предстояла перспектива заботы, какой-нибудь исход деятельной натуры, обреченной на томительное бездействие. Отец был первым учителем ребенка. Он вложил душу в это дело и шаг за шагом следил за развитием мальчика. Под его любовным, внимательным взором вырастал ребенок на радость отца, желавшего воспитать в первенце человека и гражданина для тех светлых дней, когда взойдет, наконец, заря над родиной и лучшее будущее выпадет на долю его поколения, когда его Коле не придется, подобно отцу, зарывать свой талант в землю, а употребить его в дело, отдать его вполне на служение своему народу. Вера в эти лучшие дни придавала энергию отцу, и он в сыне как будто олицетворял свои несбывшиеся юношеские надежды…

Сын радовал отца. Мальчик был способный, талантливый, отзывчивый, мягкая, впечатлительная, богато одаренная, самолюбивая и пылкая натура.

Они обожали друг друга, и с летами это обожание перешло в тесную дружбу. Мать ревновала сына к отцу, отец к матери.

Когда родился второй сын, старшему уже было восемь лет. Мать оберегала другого сына от исключительного внимания отца, точно боялась, что отец овладеет совсем и другим сыном так же, как и первым. Но он еще был мал, и к тому же в скором времени после его рождения судьба Вязниковых изменилась к лучшему. Они наконец оставили подневольное захолустье…

С переездом в Витино отец поступил в мировые посредники. Он был очень занят; вечно в разъездах, вечно деятельный, он точно хотел наверстать потерянное время бездействия, но все-таки он не прекращал занятий с старшим сыном. Вася был ближе к матери. Она первая давала ему уроки, а потом ему взяли учителя.

Отец сильно любил обоих сыновей. Хоть он и не признавался в этом, но сердце его как-то ближе лежало к старшему сыну. С Колей его связывали воспоминания, связывали надежды наставника. Да и Коля казался отцу натурой богаче одаренной, чем Вася, более откровенной, симпатичной, изящной и тонкой.

Вася рос молчаливым, неприветливым, сосредоточенным дичком, редко ласкавшимся, редко выражав-

шим чувства с той поспешностью, с которой выражал старший сын. С детства он не блистал способностями. Все ему давалось как-то трудно, с сильным напряжением ума и воли. Вообще мальчик не выдавался.

Он казался отцу простоватым, недалеким и даже черствым ребенком. Но мать знала, сколько доброты, сколько сильного и глубокого чувства, сколько ума таилось в этом сдержанном, странном ребенке. Позже узнал это и отец. Он был растроган, упрекал себя в несправедливости, в невнимании к Васе, пробовал ближе подойти к ребенку, нередко подолгу задумывавшемуся, сосредоточенному; но все-таки между отцом и сыном не установилось близости, какая была с Колей. Младший сын не то что боялся отца, а как будто стыдился рассказывать, что занимало его детское воображение, над чем он задумывался. Коля, бывало, все сейчас расскажет, а Вася – нет, промолчит. Отец его любил, но не так хорошо знал его, как Колю. И теперь, вспоминал отец, в характере младшего сына были странности, приводившие отца в недоумение. Он как-то уединялся, по временам задумывался, бывал рассеян, несообщителен. Вообще, между братьями была огромная разница еще в детстве, а с годами она обозначилась резче. Коля блестящим образом кончил гимназию и теперь кончил университет. Он всем нравился своим открытым, веселым нравом. Ва-

ся занимался хорошо, но далеко не с таким успехом, зато отлично знал математику, к которой имел пристрастие. Товарищи, как рассказывал Вася отцу, звали его «нелюдимом» и «богомолом», но у него были друзья, хотя и не все его любили. В университет он не пожелал, а почему-то захотелось ему быть моряком. Его отдали в морское училище, но он там не кончил. Вышла история, о которой будет подробно рассказано в свое время, и Вася приехал в деревню. Отец, после этой истории, еще более привязался к сыну и предложил ему выбрать другую карьеру. Он стал готовиться в медицинскую академию, но все откладывал поступать, более читал разные книги, чем учебники, и в последнее время с каким-то увлечением занимался физической работой, бродил по лесу, возился с мужиками… Вообще в это время в нем, по наблюдениям отца, происходил какой-то перелом. Отец не мешал сыну и не совсем хорошо понимал, что такое делается с юношей. Чуялось ему веяние чего-то нового, непонятного, несимпатичного старику.

Коля ближе подходил к отцу, а Вася представлял для него какую-то загадку. Отец объяснял, впрочем, странные наклонности сына отчасти знакомством с Лаврентьевым, а отчасти некоторым мистицизмом, не чуждым характеру юноши. У него была полоса необычайной религиозности. Два года тому назад,

пятнадцатилетним мальчиком, Вася писал отцу письмо, которое тогда поразило Ивана Андреевича… «Со временем все это пройдет, – думал отец. – Коля повлияет на брата».

– Оба они все-таки славные ребята! – проговорил вслух Иван Андреевич, засыпая под утро.

Он допил свой второй стакан, обмениваясь короткими фразами с женой. О Коле отец не упомянул ни слова, и Марья Степановна обратила на это внимание. Она тоже не начинала разговора и только вскользь упомянула, что нужно сегодня посылать на станцию, так она все равно сама поедет.

– А меня не возьмешь? – засмеялся Иван Андреевич, понявший в чем дело.

Марья Степановна в ответ тихо улыбнулась. Она видела, что Иван Андреевич не сердился больше на сына, и тревожный взгляд ее сменился обычным кротким и радостным. Тотчас же она заговорила о том, какой обед она заказала на случай, если Коля приедет со вторым поездом, а не с вечерним, и что сегодня будет готов для Коли письменный стол, который она отдала починить, и будут повешены новые занавески.

– Ему нужен большой стол. Быть может, он здесь что-нибудь новенькое напишет!

Иван Андреевич улыбался. Ему весело было слушать эту заботливую болтовню матери.

В столовую вошел Вася. Сперва он подошел к матери и, по привычке, оставшейся еще с детства, обвил рукой ее шею и поцеловал ее в губы, а мать в это время незаметным крестом перекрестила его лоб. Потом он подошел к отцу и протянул было руку, но отец притянул его к себе и как-то особенно нежно поцеловал сына, как бы безмолвно извиняясь за вчерашние слова.

Вася не ожидал этой необычной ласки. Он нервно вздрогнул и сконфузился. Мать уже наливала ему чай, взглядывая на мужа и сына. «Удивительно, как Вася похож на отца!» – подумала она. Иван Андреевич между тем спрашивал:

– Ты, конечно, давно встал?

– В шесть часов. Я уж и раков для тебя наловил. В кухню снес.

– Спасибо, голубчик. А косил?

– Косил.

– Ну, как косьба твоя, – подвигается?

– Подвигается.

– Ах, ты, Микула Селянинович [2]! – добродушно засмеялся старик и потрепал сына по плечу. – Худ толь-

---

[2] Микула Селянинович – богатырь-пахарь, популярный герой русского былинного эпоса.

ко телом ты. Духу-то в тебе много, а тела мало. Надо тела припасти.

– В деревне поправится. Петербург ему вреден. Помнишь, каким он из Петербурга тогда приехал: совсем чахленький.

– А все учиться надо! – серьезно проговорил Иван Андреевич, подымаясь с места.

Вдруг невдалеке звякнул колокольчик. Все поднялись с мест и бросились к растворенному окну. Но из окна, выходившего в сад, не видно было дороги. Все как будто позабыли об этом.

Колокольчик заливался совсем близко. В окно ясно доносились веселые вскрикивания ямщика.

– Коля, Коля верно! – в один голос воскликнули отец и мать, выбегая из столовой на крыльцо.

Во двор въезжала почтовая телега.

– Коля! – радостным, взвизгивающим голосом крикнула Марья Степановна, бросаясь навстречу.

Иван Андреевич побежал за ней.

Телега остановилась среди двора. Из нее быстро выскочил молодой человек и стал обнимать мать, отца и брата. Он переходил из рук в руки, улыбающийся, счастливый, взволнованный радостью свидания. Марья Степановна улыбалась, а слезы текли по ее лицу. Иван Андреевич несколько раз прижимал к груди сына, отпускал его, взглядывал на него и снова обнимал

своего любимца.

– Коля, наконец-то ты приехал! – шептал старик.

Старуха няня торопливо шла из дому.

– Голубчик мой! – воскликнула она. – Дождалась и я тебя!

– Няня, здравствуй!

Молодой человек горячо расцеловал старушку.

Все шумно пошли в дом, обмениваясь с приезжим отрывочными фразами и восклицаниями. Гостю задавали вопросы и, не дождавшись ответов, снова предлагали новые.

– Чего хочешь, чаю или кофе? – спрашивала Марья Степановна. – Он нисколько не изменился, не правда ли, Иван Андреевич? Такой же, как был уже года два тому назад. Комната твоя приготовлена. Досадно, стол не принесли!

– Нет, изменился. Как не изменился! Вырос, возмужал. С каким поездом ты приехал? А борода-то какая стала!

Сын едва успевал отвечать.

– Закусить не хочешь ли? Устал с дороги? Вещи-то твои надо снести. Сейчас скажу Авдотье. Няня! Скажи, милая.

Вошли в дом.

Молодой человек весело озирался.

– Все по-старому! – произнес он.

– Все по-старому! – отвечал Иван Андреевич.

Николай заглянул в кабинет, зашел в спальню, мельком взглянул на свою комнату, заботливо убранную рукою матери, расцеловал снова мать, забежал в комнатку к няне. Все ему было знакомое, родное, все говорило о прелести старого гнезда.

– А Васину комнатку я забыл посмотреть!

– После все осмотришь. Пойдем-ка чай пить. Верно, с утра ничего не ел?

Все вернулись в столовую. Отец усадил сына рядом.

Тем временем Вася позаботился о вещах и помогал ямщику таскать вещи. Горничная Авдотья хотела было помочь, но юноша сказал, что и без нее справятся.

Когда все вещи были перенесены, он пришел в столовую и сказал:

– Ямщик, Коля, дожидается!

– Ах, я и забыл. Надо ему дать на чай.

Он хотел было встать, но брат заметил:

– Сиди, я снесу!

– Да скажи, Вася, чтобы ямщика чаем напоили, – проговорил отец.

– Ладно.

– А Вася в деревне поправился. Славный он!

– Оба вы у нас славные! – нежно ответила Марья Степановна. – Что, сладко? – спрашивала она, когда

сын принялся за чай. – Может быть, еще сахару? Не скушаешь ли чего-нибудь?

– Ничего, мама-голубчик, не хочется. Я так рад, так рад вас видеть.

– Ну, хлеба с маслом скушай. Хлеб домашний. У вас, в Петербурге, такого нет. Попробуй, родной мой.

Отец и мать не спускали глаз с сына, с родительской гордостью любуясь молодым человеком.

А он сидел между ними свежий, красивый, радостный, чувствуя прилив нежного чувства и горячей благодарности. В избытке счастия, он первое время не находил слов и только весело улыбался под взглядами, полными горячей и беспредельной любви.

III

Действительно, не одно только родительское пристрастие могло любоваться, глядя на Николая.

Николай Вязников был очень красивый молодой человек с одним из тех симпатичных привлекательных лиц, которые обыкновенно всем сразу нравятся. С людьми, особенно с молодыми, обладающими такими счастливыми физиономиями, быстро знакомятся и сходятся без труда. Им даже охотно прощают то, чего не прощают людям, которых природа не наделила такой наружностью. Что-то притягивающее, располагающее было в тонких, нежных и мягких чертах молодого румяного лица, опушенного круглой, шелковистой вьющейся бородкой, такой же черной, как и волосы, зачесанные назад и открывающие красивый белый лоб, – в умном улыбающемся взгляде небольших карих глаз, в полуулыбке, бродившей на ярких губах, в манере держать себя, в стройной, гибкой фигуре и мягких изящных движениях.

Чуть-чуть вздернутый кверху нос с надетым пенсне, слегка приподнятая губа и некоторая самоуверенность в манерах и тоне приятного, мягкого голоса придавали молодому человеку несколько фатоватый вид. Но эта самоуверенность, искренняя, отзываю-

щаяся чем-то беззаботным, не имела в себе ничего самодовольного и даже шла к симпатичной физиономии. Сразу было видно, что перед вами один из баловней судьбы, еще не испытавший серьезных неудач, горя и лишений, которого жизнь еще гладила по головке. Лицом он очень походил на мать. Те же нежные черты, тот же склад лица, та же неопределенность и расплывчатость линий. Но выражение лица было другое. В нем не было кротости, светившейся в ясном взгляде матери.

Одет молодой человек был в серый летний костюм, сшитый, как было видно, у хорошего портного. Вообще по всему было заметно, что молодой человек не пренебрегал своим туалетом и наружностью.

При сравнении двух братьев, сидевших рядом, – Вася с задумчивым недоумением разглядывал Колю, точно разглядывал нечто для него не вполне понятное, – первое впечатление невольно было в пользу Николая.

Рядом с красивым молодым человеком, лицо которого дышало искренностью и, казалось, не умело скрывать ощущений, – бледное, худощавое, задумчивое юношеское лицо с болезненным, даже несколько страдальческим выражением, – такие лица напоминают религиозных мучеников, – неуклюжая, долговязая фигура, застенчивые манеры, грубовато-добро-

душный тон речи… все это особенно рельефно выделялось при сравнении.

При первой встрече с двумя братьями каждый сказал бы про старшего: «Какой симпатичный!», а про младшего, наоборот, сказал бы: «Какой несимпатичный!»

Отец и мать не могли нарадоваться и с восторженной гордостью глядели на Николая. Под влиянием радостных ощущений и он умилился, как-то размяк, но видно было, что это восторженное внимание он принимал, как нечто привычное, обыкновенное, как капризные баловни-дети, сознающие свою силу над любящими родителями.

Когда прошло первое впечатление встречи, отрывочные вопросы, ответы и полуслова, которыми обменивались первое время, сменились разговором.

Молодой человек рассказывал, почему он опоздал и заставил отца и мать два раза напрасно ожидать себя.

– Вы простите меня, – говорил он своим мягким, несколько певучим голосом, в тоне которого звучала уверенность, что его непременно простят, – вы простите меня. В Москве случилась неожиданная встреча. Ты помнишь, папа, я говорил тебе об одном из старых друзей моих, Бежецком, который принужден был оставить на третьем курсе университет?..

– Как же, помню… По твоим словам, этот Бежецкий славный малый и горячая голова.

– С ним-то я и встретился в Москве после трех лет разлуки… Он только что приехал в Москву к своим… Ну, разумеется, интересно было встретиться… Я и опоздал… Ты не сердишься, папа? Мама, верно, не сердится.

В ответ старик пожал руку сына.

– Только удивил меня Бежецкий. Прежде он так горячо принимал все к сердцу, был одним из ярых, а за эти три года совсем изменился, как-то осел, присмирел, совсем не тот, что был. Сестры просто сокрушаются, глядя на брата…

– Ты познакомился с семейством? – спросила мать.

– Бежецкий чуть не насильно к себе затащил. Непременно хотел, чтобы я познакомился с его семьей! – слегка краснея, проговорил Николай. – У него славная мать и две сестры, очень неглупые и развитые девушки. Бежецкий просил об одном деле. Старшая сестра собирается поступить на женские курсы, так просила меня дать ей сведения и написать кое-кому рекомендательные письма. В Петербурге у них никого знакомых нет…

«Вот какие дела!» – улыбнулся про себя Иван Андреевич и прибавил:

– Скоро ж перегорел твой друг!

– Это, папа, самого меня поразило. Никогда бы я не поверил, если б не видел сам Бежецкого… Сколько надежд подавал он в университете, какой был славный, честный, убежденный, а теперь?.. Мне кажется, он пойдет по общей колее!.. Вообрази себе, папа: Бежецкий взял место на железной дороге, и ведь место-то какое!.. С огромным жалованьем! А давно ли мечтал о кафедре, о деятельности, ничего не имеющей общего с настоящей.

– Быть может, средств не было… Мало ли о чем мечтаешь в молодости. Семья у него на руках?

– То-то и нет! Семья его кое-что имеет и в его средствах не нуждается. Да разве, папа, семья – оправдание для всякой мерзости? – внезапно воскликнул молодой человек, оживляясь, причем маленькие его глаза заблестели. – Ведь так каждую подлость можно оправдывать семьей, особенно, если она плодовита. И всякий негодяй может говорить: «У меня семья, я должен позаботиться о детях!» – и, утешаясь этим, безнаказанно грабить казну, обижать беззащитных, оскорблять порядочных людей… Что ты, папа! Положим, жизнь заедает, но не так уж, как говорят обыкновенно люди, готовые на сделки… Поверь, что человек, оправдывающий подлость семьей, и без семьи сделает подлость…

Иван Андреевич слушал сына. Горячие, порыви-

стые слова Коли приятно щекотали его нервы.

Вася, напротив, как будто все еще недоумевал.

– Ты, конечно, теоретически прав.

– Еще бы!..

– Подожди, не торжествуй слишком рано победы над отцом, – шутливо прибавил старик. – Ты, повторяю, прав, но бывают случаи – и мало ли случаев! – когда единичные факты, как бы они ни были ужасны, ничего не значат. Знаешь ли, друг мой, нельзя сплеча винить: надо прежде узнать все обстоятельства, а то как раз попадешь впросак…

– Нет, папа, нет, не говори! – горячо начал Николай, – подымаясь со стула. – Никакие обстоятельства не могут оправдать таких людей, как Бежецкий. Кому много дано, с того больше и спрашивается! Я ему высказал это прямо в глаза.

– И разошелся с ним? – неожиданно воскликнул Вася.

– Ах ты, юнец! – снисходительно кинул Николай. – Нет, не разошелся… все же он не пропащий еще человек.

Вася снова облокотился руками на стол, как будто замечание брата не произвело на него никакого впечатления.

– Обстоятельства! – снова начал молодой человек. – Это старая песня! Да и какие обстоятельства

хоть бы у Бежецкого? Он умный человек, понимает, что теперь больше, чем когда-нибудь нужны образованные, честные люди на всех поприщах, а что ж он с собой сделал? В сущности, продал себя. Если не будет потакать прямо, то умоет руки! Во имя чего? Все равно, говорит, ничего не выйдет, так я хоть личную жизнь устрою… Личная жизнь!.. Да разве она может быть счастливой при таких условиях?.. Ах, папа! Я не могу хладнокровно говорить, как вспомню о Бежецком! Да он ли один?.. Множество таких, и это между нашими, между молодежью. Одно благополучие, один бог Ваала [3] стал кумиром. Не успеет еще человек «пары сапог» сносить, – смотришь, он уж поет унылую песню, складывает руки и заботится о гнезде, да еще о гнезде-то каком, о самом роскошном, а там хоть трава не расти… Или бросается делать карьеру… Точно все, чему мы учились, чему мы верили и поклонялись, что волновало нас, из-за чего мы боролись, – все это был только модный костюм, пригодный для разговоров, а чуть встреча с жизнью – долой его!.. Ты знаешь, папа, что из нашего курса большинство, наверное, будет Бежецкими…

Молодой человек продолжал развивать эту тему.

---

[3] Ваал – древнее общесемитское божество, почитавшееся покровителем плодородия и шире – общего житейского благополучия. Поклонение Ваалу – поклонение наживе, стяжательству.

Впрочем, вскоре он увлекся и от этой темы перешел к другой, третьей, делая неожиданные переходы. Он говорил горячо, с нервностью сангвинического темперамента, с искренностью молодости, полной добрых намерений. Он не столько доказывал, не столько заботился о фактах, сколько хлопотал об обобщениях, рисуя одну за другой картины, не жалея густоты красок. Собственные слова возбуждали его. Казалось, он торопился вылиться, вылиться залпом, точно спеша показать слушателям и особенно отцу, что перед ними взрослый, умный человек, знающий цену вещам и людям и понимающий, что происходит у него перед глазами.

Старик слушал и тихо-тихо улыбался, покачивая головой. Так маститые профессора слушают на экзамене бойких учеников, подающих надежды. Все, что говорил сын, было хорошо знакомо Ивану Андреевичу, но в устах сына эти слова являлись для любящего человека полными отрадного смысла. Приятно, когда близкий человек не обманул ваших надежд.

– Ну, Коля, ты уж чересчур увлекся! – заговорил Иван Андреевич, когда сын умолк и «отходил». Взгляд его так же быстро потухал, как и загорался. – Два-три факта – и ты уж нарисовал целую мрачную картину. У тебя, как вижу, осталась старая страстишка к обобщениям и… преувеличениям! – улыбнулся отец. – Не

все ж такие пустоцветы, как твой приятель да два-три твоих знакомых… Не совсем же перевелись порядочные люди. Ведь по-твоему выходит, что будто в России и людей нет. Есть они, братец, только не видны, и деятельность-то их незаметна… Условия деятельности пока еще тесноваты… что правда, то правда… Иногда даже стыдно бывает, из-за какого пустяка приходится горячиться, какие истины доказывать и за что ждать… выговора, хотя бы такому седовласому старцу, как твой отец… Ну, да ты сам это хорошо понимаешь… А все-таки «земля движется», все-таки есть люди и между стариками и между молодежью… Я уже старик, а верю в человека, хотя в мои годы и пора бы извериться; ты же, Коля, такой молодой и хочешь казаться пессимистом наперекор себе!.. Впрочем, постой… постой… не кипятись!.. Я понимаю твое негодование и мизантропические выводы. Ты только что разочаровался в близком человеке и находишься еще под этим впечатлением… Это тяжело, Коля, не спорю, но все-таки нечего приходить в отчаяние… Жизнь, брат, еще целая жизнь у тебя впереди…

– Да я и не прихожу в отчаяние… Я рук не сложу, не бойся, но надо называть вещи их именами… Ты, папа, как посмотрю, такой же отчаянный идеалист, как и был.

– Ну, не такой, как был, мой друг… Жизнь самого

завзятого идеалиста собьет с позиции, – усмехнулся Иван Андреевич, – а все-таки не думаю, что все кругом нас дураки или мошенники. Свежая водица просачивается… Ну, а ты-то сам, ты-то, мой друг, разве не идеалист?! Идеалист, да еще какой! Да разве можно не быть им в твои годы, с твоим честным, добрым сердцем, с твоей впечатлительной натурой? В двадцать три года да извериться в людей!.. Это, Коля, было бы ужасным несчастием… И дай бог, чтобы ты подольше сохранил в себе веру… Нынче, как погляжу, молодые люди как-то морщатся, если зовут их идеалистами… Сороковыми годами пахнет!.. Эх вы!.. А вся твоя филиппика [4], что это такое, как не лучшее доказательство?.. А твои письма? А, наконец, твоя статья?.. А еще прикидываешься… Меня, мальчик, не обманешь.

– Ты разве читал статью? – спросил молодой человек, весь вспыхнув.

– Читал, да не раз, а три раза перечел.

– Я думал, ты не читал. Она ведь всего две недели как напечатана. Я и книжку с собой привез!

– И ты думал, что я еще не прочел! – ласково укорил Иван Андреевич. – Как только в газетном объявлении

---

[4] Филиппика – гневная обличительная речь. Филиппиками называлось собрание речей древнегреческого оратора Демосфена, направленных против царя Филиппа Македонского.

бросилось мне твое имя, я тотчас же поехал в город и у знакомых достал книжку журнала, где напечатана твоя статья…

– Как ты нашел ее, папа? Ты, пожалуйста, не щади авторского самолюбия.

– Статья недурная. В ней есть жар, есть увлечение, видно, что она написана нервами, и потому производит впечатление – словом, статья хорошо рекомендует тебя.

– Отец твой всем нам читал ее, – проговорила Марья Степановна.

– Но есть и недостатки…

Хотя Николай и хотел казаться спокойным, но волнение проглядывало на его лице.

– Какие же, папа?

– Фактов маловато, фактов. Видно, что ты вопроса не изучил как следует… знаешь ли, по-немецки. Тогда бы статья еще лучше вышла.

– Но ведь это журнальная статья!..

– А все фактов побольше не мешало бы. Но я к слову об этом. Вообще же статья хорошая, честная. Ну, мы еще с тобой о ней поговорим, поспорим. Теперь будет с кем мне спорить. Вася – тот больше про себя думает!.. – засмеялся старик. – Взгляни, он и не слышит, что о нем говорят. Вася! Слышишь? О чем это ты задумался?

Вася сконфуженно встрепенулся и рассеянно смотрел на отца.

– О чем это ты?

– Да так!..

– Он вот всегда таким манером от меня отделывается, – шутливо промолвил Иван Андреевич. – Не удостоивает.

По лицу Васи пробежала застенчивая улыбка.

– Еще смеется! – добродушно заметил отец, дружески похлопывая Васю по плечу. – Хоть бы ты, Коля, расшевелил нашего меланхолика!..

С этими словами Вязников встал из-за стола.

– Ты, Коля, потом зайди ко мне. Нам с тобой еще о многом поговорить надо. Ведь два года, брат, не видались. Ишь какой ты большой стал, меня перерос. А после обеда по усадьбе пройдем…

– Отлично, папа. Я к тебе зайду, дай только переодеться. Я совсем ведь по-дорожному. Эка прелесть какая! – воскликнул он, выходя на балкон. – Сад-то еще более разросся. Что, все Василий за садом смотрит? – спрашивал Николай, направляясь с отцом в густую аллею.

– Все он. Никаких перемен без тебя не было.

– И соседи те же?..

– Вот только Лычков имение продал. Совсем старик разорился.

– Кому?

– Кривошейнову. Помнишь мельника бывшего, Кузьму Петровича?

– Как не помнить… Шельма порядочная!..

– Он и купил!

– Это огромное имение купил?

– У него, братец, миллионное состояние. Он нынче у нас в уезде чуть не первое лицо.

– Времена!..

– И важничает как Кузьма!.. Рожа уморительная! Вот только по-прежнему теснит народ… Все крестьяне на него плачутся. Они у него все в руках. Все должны ему. Лаврентьев кассу устроил – все пользы мало: почти весь уезд в кабале у Кузьмы. Уж я в земстве подымал вопрос о нем. Напрасно! Только Кузьму обозлил.

– А Лаврентьев по-прежнему дикий человек?.. Ни с кем не знаком?

– Тише, тише, Коля!.. Вася за Лаврентьева горой стоит. Дикий человек – его приятель! – засмеялся Иван Андреевич. – Сошлись.

– Вот как!

– Человек-то он честный, только с некоторыми странностями. Совсем мужиком живет, по-прежнему!

– Ну, а Лески пусты?

– Нет. Недавно приехала Смирнова с двумя дочерь-

ми. Очень неглупая женщина. Верно, в Петербурге о ней слышал?

– Как же, слышал. У нее бывает интеллигентное общество.

– Познакомься, если хочешь…

– С удовольствием. Говорят, порядочная женщина.

– И у Лаврентьева побывай. Человек он хороший, хоть и странный. Ты ведь с ним не знаком? И я с ним через Васю познакомился, а то прежде встречались только.

– Так вот как! Перемен-то у вас немало!

– Леночка, Коля, замуж выходит! – вставила Марья Степановна, подходя к разговаривающим.

– Да, да, я и забыл тебе сказать.

– Леночка? Это интересно. За кого?

– Угадай.

– Трудно.

– За Лаврентьева.

– Дикий человек женится на Леночке! Вот не ожидал! Никак не ожидал. Она часто у вас бывает?

– По-прежнему. Верно, сегодня придет.

– Леночка за Лаврентьева! Признаюсь, вы меня поразили.

– Лаврентьев три раза ей делал предложение.

– И она, наконец, согласилась?

– Что ж, если любит.

– Ну, разумеется; только я думал, что Леночке иная судьба готовится, а впрочем… Непременно поеду к Лаврентьеву. Верно, он стал чище одеваться, если Леночка за него замуж выходит. С ним, значит, произошла метаморфоза!.. – засмеялся Николай. – Экая роскошь-то в саду! После Петербурга точно в рай попал!

– Надеюсь, ты у нас до осени? – спросила Марья Степановна.

– Еще бы…

– А после? – спросил отец.

– Еще не решил, папа. Предположение есть. После поговорим! – произнес он, возвращаясь назад. – Ну, пойду переоденусь, а то я на дикого человека теперь похож!

Он вошел в столовую и, увидевши Васю, сидевшего на том же месте, охватил его за тонкую талию и нежно сказал:

– Чего ты, милый Васюк, один сидишь? Пойдем-ка!

И он увлек брата к себе в комнату.

– Все тот же! – проговорил, радостно улыбаясь, Вязников, обращаясь к жене.

– Тот же. Приехал – и будто веселье с ним приехало.

– А за обедом не худо было бы выпить по бокалу шампанского. Как ты думаешь, старуха? Есть у нас?

– Как не быть! Я припасла к Колиному приезду.

– Вот и отлично! Поздравим его с окончанием курса! Молодец он у нас. Конек горячий!

– Это-то и страшно.

– Отчего страшно?

– Ты разве забыл свою-то молодость?

– Ему не надо этого… Боже сохрани! – проговорил Иван Андреевич. – И к тому же… А, впрочем, зачем загадывать, милая… Что будет то будет! Лишь бы остался честным человеком!

IV

– Ну, а ты, Вася, как живешь? – спрашивал старший брат у Васи, подававшего Николаю мыться.

– Ничего, живу себе. На голову лить?

– Полей, голубчик… Вот так… Эко славно как! Перед обедом, Вася, купаться? Вода, я думаю, славная теперь, – говорил старший брат, с фырканьем вытираясь полотенцем. – А в академию скоро?

– Не знаю еще…

– Как не знаешь? Готовишься?

– Не очень. Не тянет меня академия…

– Так в университет, что ли?

Вася замахал головой.

– Так куда же?

– Разве надо непременно куда-нибудь?

– А то как же? Не недорослем же быть!

– Не по форме?

– Как это не по форме?

– Так, говорю: не по форме?.. Непременно надо?

Николай остановился и смотрел во все глаза на брата.

– Ты что, Коля, удивляешься так? – тихо спросил Вася.

– Да ты, Вася, чудак… Не сердись, голубчик, а ты

чудак какой-то стал… Ведь надо же кончить курс!

– А ты почем знаешь, что надо?.. Как для кого!

Старший брат совсем был изумлен.

– Я думаю, для всякого.

– Это ты про диплом? Так, может быть, мне его не надо… А учиться и так можно, без диплома… Диплом этот для того, кто хочет потом людей морочить… Стара штука!

– Как людей морочить?

– Очень просто, как людей морочат… Мало ли морочат… А я не хочу…

– Ты какими-то загадками, Вася, говоришь… С папой говорил?

– Нет еще. Придет время – скажу!

– Это уж не Лаврентьев ли тебя первобытности учит?

– Ты, Коля, Лаврентьева не знаешь, так зачем ты смеешься? Лаврентьев – чудеснейший человек… Ты посмотри, как мужики его уважают… Он, брат, хоть и без диплома, а по совести живет… человека не теснит… Да ты, Коля, не сердись, пожалуйста… когда-нибудь, может, поговорим, а теперь не расспрашивай.

Он замолчал. Потом, как бы спохватившись, продолжал:

– А ты с Лаврентьевым познакомься. Сам увидишь. Он тоже желает с тобой познакомиться. Статья твоя

ему понравилась… Он тебе может много сведений сообщить… Он жизнь-то крестьянскую знает…

Это известие произвело на Николая приятное впечатление. Ему было лестно, что статья понравилась Лаврентьеву.

– А тебе понравилась?

– Понравилась и мне… только… ну, да не теперь… Я на нее заметку написал, – прибавил Вася конфузливо. – После покажу… Так написал… для себя…

– Я познакомлюсь с Лаврентьевым. Сведи меня к нему.

– Отлично! – обрадовался Вася. – Ты увидишь, какой Лаврентьев.

– Ты, кажется, влюблен в него?

– Люблю… да его все любят. Один Кузька не любит. Собирается его извести. Только шалишь, брат!

– Какой Кузька?

– А живодер здешний… Кривошейнов.

Николай продолжал свой туалет. Вася внимательно оглядывал брата и заметил:

– Франт-то ты какой, Коля!

Старший брат вдруг вспыхнул.

– А по-твоему, надо неряхой быть?

– Да я так… Ты не сердись, брат.

– Я и не сержусь…

– То-то, а я было подумал…

Николай протянул руку.

– Ах, Васюк, Васюк, голубчик, кроткая ты душа! Не сердись и ты на меня… Ведь я расспрашивал тебя, как брат… не желая оскорбить…

– Что ты, что ты, Коля! Да разве я обиделся? За что? – повторял он, крепко пожимая брату руку. – Я после тебе все расскажу, на каком основании я никуда не хочу… Ты умный, ты должен понять… Всякий по-своему… Вот если б я умел писать, как ты, то знаешь, что бы я сделал?

– Что бы ты сделал?

– Остался бы здесь да подробно и описал, как мужик живет, а то ведь в газетах все врут… Ах, если бы ты видел только, Коля, что здесь Кузька делает! И нет ему предела! – прошептал задумчиво Вася.

– Это всем хорошо известно, Вася.

– Нет, не говори. А, впрочем, тем хуже… Всем известно, и все смотрят!

«Странный брат какой!» – промелькнуло в голове у Николая.

Братья несколько времени молчали.

– Послушай, Вася, скоро Леночкина свадьба?

– Елены Ивановны? – поправил Вася.

При этом бледное лицо его вспыхнуло ярким румянцем.

– Ну да…

– Осенью, кажется… А что?

– Так спросил. Тоже старые приятели. А отец ее?

– Обыкновенно что: исправник, как и был! Еще папа его немного в страхе держит, а то…

– А Смирновых видел?

– Видел… Такая сорока, так и стрекочет, а барышни все об адвокатах да о литераторах… Слышал, как они маме в уши визжали! Ты хочешь с ними знакомиться?

– А по-твоему не стоит?

– Не стоит. Болтуньи! Все эдак больше о возвышенности, а землю по десяти рублей сдают… Шельмы!

– Ты, однако, брат, сильно. Говорят, Смирнова умная женщина.

– Да кому от ума-то ее прок? – добродушно возразил Вася. – Вот и Бежецкий твой умный, а сам же ты говорил, на что пошел его ум… на мамону [5]!

– Философ ты, как погляжу. Стоик [6]! – заметил Николай, надевая жакетку.

Он был совсем готов. Свежий, красивый, в хорошо сшитом костюме, он глядел таким молодцом, что Вася, любуясь братом, воскликнул:

---

[5] Мамона – у некоторых древних народов бог богатства и наживы.

[6] Стоик – человек, терпеливо переносящий жизненные испытания. Так называли последователей одного из философских учений Древней Греции, утверждавших внутреннюю независимость я неколебимость человеческой личности.

– И какой же ты, Коля, красавец!

Брат улыбнулся своей привлекательной улыбкой.

– Вещи твои убрать?

– Авдотья уберет.

– Все равно… Теперь мне нечего делать… я уберу.

– Ну, давай вместе.

Они принялись выкладывать платье, белье и книги из большого чемодана. Вася внимательно разглядывал книги и две из них отложил.

– Можно почитать?

– Разумеется… Ты что выбрал? – полюбопытствовал брат.

Вася назвал заглавия.

Николай шутя погрозил пальцем.

– Ишь к чему тебя тянет! – протянул он. – Смотри, Вася, с ружьем осторожнее: заряжено… Думал дорогой что-нибудь подстрелить… Дичи теперь, я думаю, много?

– Есть… намедни куропаток видел!

– А ты по-прежнему не любишь охоты?

– Нет. К чему я буду божью тварь убивать… потехи ради.

– Тогда и мясо есть не следует?

– Ну, это другое дело. А, впрочем, пожалуй, что и не следует! – заметил Вася. – Я думаю об этом.

– А пока ешь?

– Ем.

Николай рассмеялся.

– Ну, теперь пойдем, брат, в сад, туда к речке, а оттуда в малинник.

– Пойдем!

Они спустились в сад.

Николай весело пустился в самую глубь, ощущая полной грудью прелесть большого, тенистого, густого сада с вековыми деревьями. Ему было как-то весело, хорошо и привольно в этом гнезде. Хотелось резвиться, как школьнику. Они обошли весь сад. В малиннике, под палящим солнцем, прикрывшись платком, Николай ел ягоды с жадностью мальчишки. Потом зашли на огород, оттуда спустились к речке и пошли по берегу.

Деревня была как на ладони. На улице не было ни души. Деревня точно вымерла.

Они остановились.

– Ну, как наши живут – по-прежнему хорошо?

– Хуже.

– Разве и их ваш Кузька донял?

– Сюда пока не добрался… Неурожаи!..

– Пойдем-ка в деревню!

– Пойдем, если хочешь, только теперь никого дома нет. В поле все.

– Ах, я и позабыл! Так вечером?

– Ладно.

Они вернулись назад.

– Ах, мама, как у вас хорошо! – радостно говорил Николай, подбегая к Марье Степановне, которая беседовала о чем-то с поваром.

– Смотри, не соскучься. После Петербурга, пожалуй, и соскучишься!

– Что ты, мама! Я разве так целый день бездельничать буду? Я работу с собой взял… Что, Петр, – обратился он к старику повару, – опять на охоту будем ходить?

– Когда угодно, Николай Иванович. Я с радостью…

– Собаки вот нет…

– Найдем-с и собаку.

– Где?

– У дьякона есть собака.

– Ну, ладно. А ты, мама, по-старому хозяйничаешь?

– Да, Коля. Не хочешь ли покушать? Ты чаю один стакан пил.

– Нет еще. Да ведь обедать будем в два?

– В два, по-прежнему.

– Так через два часа и обед. Я лучше приберегу аппетит к обеду.

Николай прошел к отцу.

Кабинет Ивана Андреевича был большой, просторный, с мягкой, обитой темной кожей, мебелью. Вдоль

стены тянулся большой шкаф, наполненный книгами. Другие стены были увешаны портретами разных знаменитостей науки, литературы и искусства. У открытого окна, выходящего в сад, стоял большой стол, за которым сидел Иван Андреевич и что-то писал. В комнате было прохладно, хорошо. Густая тень сада защищала комнату от солнца.

– Ты извини, папа. Я помешал тебе.

– Что ты!.. Садись-ка, Коля, голубчик.

– Ты чем это занимался?

– Записку, брат, сооружаю для доклада в будущее собрание.

– О чем, папа?

– Да помилуй, Коля. И без того мы деньгами не богаты, брать-то больше неоткуда, а наши земцы что выдумали! Понадобилась им, видишь ли, железная дорога. Они и хотят хлопотать, чтобы с гарантией земства построить дорогу, – ведь это новый налог на бедного мужика. Ну, разумеется, нашлись люди, которые в этой мутной водице рыбки хотят наловить.

– Ты дашь мне прочесть записку!

– Конечно, дам. Только сомнение меня берет, Коля: не напрасно ли я пишу?

Между отцом и сыном завязался разговор. Старик рассказывал Николаю о деятельности своей в последние два года. В словах его звучала унылая нот-

ка. Он все еще не падал духом, все еще бодрился, но Николай заметил, что в эти два года Иван Андреевич потерял много прежних надежд. Иван Андреевич с грустной усмешкой говорил, что он в собраниях почти всегда в меньшинстве.

– Ты, как Прудон, один составляешь партию [7].

Старик усмехнулся.

– Почти что так. Впрочем, два-три товарища иногда есть, а то больше один да один. И меня даже в беспокойные люди записали. Вот через месяц будет экстренное собрание. Поедем – увидишь.

– А ты все отдельные мнения подаешь?

– Подаю.

– И громишь своих противников?

– В последнее время, Коля, меня уже слушают не так, как прежде.

– А ты все громишь?

– Не молчать же! Если все замолчат, то что хорошего? Все капля точит камень. И о чем иногда приходится спорить-то, брат!

Старик махнул рукой.

– И чего беречься? – уныло прибавил он и замол-

---

[7] …Ты, как Прудон, один составляешь партию – Прудон, Пьер Жозеф (1809-1865) – французский мелкобуржуазный социолог и публицист, один из основоположников анархизма. Не присоединялся ни к одной из существовавших при нем во Франции политических партий.

чал. – Знаешь ли, просто стыдно в пятьдесят два года рассказывать. На днях ко мне приезжал председатель земского собрания, испуганный, взволнованный. Знаешь ли, зачем? Сообщить мне, что моя речь в последнем собрании показалась кому-то резкой, и его вызывали для объяснений. А знаешь, о чем говорил я эту зажигательную речь? – печально усмехнулся старик. – О том, чтобы земство ходатайствовало о соблюдении закона при взыскании недоимков. Это, видишь ли, деликатный предмет!.. Бедняга председатель просто насмешил меня своим страхом. Рассказал, что Кривошейнов сплетню в губернии пустил. Ему и поверили!.. Но ведь не может же так продолжаться, не правда ли? Еще немного времени – и ты, Коля, увидишь, что будет и на нашей улице праздник, взойдет и над нашей нивой солнышко.

Лицо Ивана Андреевича сияло надеждой, слова звучали верой.

– А пока будем, Коля, записки писать! Авось что-нибудь и выйдет. По крайней мере недаром бременишь землю! – весело прибавил Вязников, трепля сына по плечу. – Так ведь? Ну, а ты что с собой думаешь делать?

Из полуотворенной двери несколько времени как доносился чей-то свежий женский голос. Николай несколько раз прислушивался и поворачивал голову.

Он только что хотел отвечать на вопрос отца, как на пороге появилась Марья Степановна, а из-за ее плеча выглядывало хорошенькое женское личико с синими глазами.

– Можно к вам, господа? – спросила Марья Степановна. – Я гостью привела.

– А, Леночка! Идите, идите сюда. Посмотрите-ка на нашего дорогого гостя!

В кабинет вошла молодая девушка в простеньком ситцевом платье, плотно облегавшем красивые, правильные формы. Хорошенькая головка, с приветливыми синими глазами, была окаймлена темно-русыми, откинутыми назад, короткими волосами. От нее веяло свежестью, здоровьем и какой-то задушевной простотой. Видно было, что она выросла на привольном воздухе.

Бойкой, уверенной походкой подошла она к старику, крепко, по-мужски, пожала ему руку и, протягивая потом маленькую, твердую руку Николаю, проговорила, слегка краснея:

– Здравствуйте, Николай Иванович.

– Здравствуйте, Лен…

Он запнулся.

– Елена Ивановна! Чуть было вас, по старой памяти, не назвал Леночкой!..

Она рассмеялась, открыв ряд белых зубов.

– Называйте, как хотите… Разве не все равно?..

– Ну, о здоровье вас спрашивать нечего: вы, Елена Ивановна, совсем цветете!

– И вы жаловаться, кажется, не можете на здоровье!..

Молодые люди весело глядели друг другу в глаза, как бывает между друзьями, давно не видавшимися друг с другом.

Незаметно вошел Вася и присел к сторонке, не спуская глаз с молодых людей, которые весело разговаривали.

Вася обратил внимание, что Леночка сегодня особенно принарядилась, заметил цветок в ее волосах, видел, как оживлено было ее лицо, вспыхивавшее по временам румянцем, и какое-то страдальческое выражение промелькнуло в его задумчивом взоре…

V

В молодой девушке Николай едва узнавал прежнюю Леночку.

Еще два года тому назад, когда он виделся с нею в последний раз, Леночка, только что окончившая курс в гимназии, казалась ему застенчивой, неуклюжей, доброй гимназисткой, скорее некрасивой, чем хорошенькой, с которой он привык обращаться с снисходительным покровительством старшего товарища и с тем ласковым пренебрежением к «девчонке», с каким обыкновенно молодые братья относятся к молодым сестрам. Главное дело в том, что Николай слишком привык к Леночке и в этой близости привычки не замечал того, что могли бы заметить посторонние. Они были товарищами с детства. Старики Вязниковы приласкали сиротку-девочку, лишившуюся матери, и каждое лето, с согласия ее отца, ближайшего соседа Вязниковых по имению и исправника, брали Леночку к себе. Маленькая, кругленькая, проворная и приветливая девочка скоро сделалась любимицей стариков и товарищем детских игр Николая. Николай прозвал Леночку за ее походку с перевальцем «перепелкой», держал ее в повиновении и привык считать Леночку своим верным и послушным товарищем. С годами

эти товарищеские отношения продолжались по-прежнему. Когда Леночка сделалась гимназисткой, а Николай студентом, молодой студент старался развить наивную гимназистку, давал читать ей книжки и, довольный, что нашел в ней внимательную и усердную ученицу, с благоговением внимающую каждому слову учителя, иногда даже снисходил до спора с ней и даже распекал ее, когда Леночка, по его мнению, не обнаруживала быстрых соображений и не умела толково рассказать ему содержание прочитанной книги. Вместе со всеми домашними она разделяла обожание к молодому человеку, чуть-чуть побаивалась его, считала его неизмеримо выше себя по уму и развитию и нередко плакала, когда нетерпеливый учитель был недоволен своей усердной ученицей и называл ее глупой девчонкой. Но «глупая девчонка» тотчас же улыбалась счастливой улыбкой, когда Николай, после вспышки, с своей привлекательной простотой просил у Леночки прощения и называл ее умной девушкой. В его извинениях было столько искренности, столько сознания своей вины, что Леночка не могла сердиться и еще усерднее занималась книгами, которые давал ей молодой товарищ и учитель.

Оба они были слишком юны, слишком близкие товарищи, чтобы между учителем и ученицей могло возникнуть что-нибудь, похожее на чувство любви. По

крайней мере Николай в этом отношении не обращал никакого внимания на молодую девушку, и в то время ему никогда не приходило в голову спросить себя: хороша или дурна Леночка? В его глазах она по-прежнему оставалась «перепелкой», славной, доброй девочкой, которую нужно развить, вот и все. И когда кто-то при нем сказал, что Леночка обещает быть очень хорошенькой, то Николай даже рассмеялся и иронически поздравил с этим мнением Леночку, не замечая, как в ответ на его слова Леночка побледнела и отвернулась, чтоб скрыть навернувшиеся слезы.

«Что в ней хорошего, в этой перепелке?» По мнению Николая, бедняжку Леночку природа не наделила красотой. Она была и мала ростом, и слишком румяна, и фигура ее напоминала кубышку. Она славная, хорошая, неглупая, эта Леночка, но какая она хорошенькая?

А теперь?

Теперь перед Николаем стояла как будто совсем другая Леночка, не та почтительная его ученица, которую он оставил два года тому назад.

Хорошо сложенная, стройная, вовсе не напоминавшая прежнюю перепелочку, девушка сияла привлекательной красотой, пышно развившейся на деревенском приволье. От нее словно веяло прелестью полевых цветов и здоровой свежестью раннего летне-

го утра. Что-то бодрое, смелое, располагающее было в этой крепкой, ширококостной, энергичной фигуре с маленькой головкой, откинутой немного назад. Загорелое и румяное лицо с большим прекрасным лбом, чуть-чуть приподнятым носом, полными щеками с родинками на них, дышало искренностью, оживляясь приветливой улыбкой, скользившей по алым губам и светившейся в спокойном, твердом взгляде синих прекрасных глаз. Глядя на Леночку, как-то невольно хотелось сказать: «Что за славная девушка!» – и крепко пожать ее маленькую, твердую руку. В ее свободных, простых манерах было что-то напоминающее молодых англичанок девушек и русских студенток.

«Так вот она, Леночка!» – невольно подумал Николай, любуясь бывшей своей подругой детства и чувствуя в то же время некоторое досадливое изумление, какое часто бывает, когда в прежнем ребенке встречаешь взрослого человека. Она закидывала его вопросами, а он слушал, едва поспевая отвечать, грудной с низкими нотами голос молодой девушки (этот голос удивительно к ней шел) и несколько дивился, что она говорит с ним не с прежней благоговейной почтительностью, а как равная с равным; не боится, видно, что он станет ее по-прежнему распекать, и рассуждает, как показалось Николаю, «очень уж со-

лидно для своих лет». В ее встрече ясно проглядывало дружеское расположение, но Николай сразу почувствовал, что прежняя товарищеская короткость теперь невозможна. В нем инстинктивно сказался молодой мужчина, любующийся уже не товарищем, а красивой девушкой.

Прежняя Леночка исчезала в воспоминаниях детства и отрочества.

Николай был даже несколько сконфужен при виде этой перемены. Он никак не ожидал встретить такую Леночку.

– Однако вы переменились-таки, Елена Ивановна, в эти два года. Вас и не узнать! – невольно воскликнул Николай.

– Переменилась? К лучшему или худшему?

– По праву старого приятеля откровенно скажу, что вы удивительно похорошели, это во-первых…

– А во-вторых? – нетерпеливо перебила Елена, краснея и нахмуривая с серьезным видом брови.

– А во-вторых, как погляжу, вы стали совсем солидным человеком. В эти два года вы, как видно, порешили все вопросы, над которыми – помните? – мы, бывало, оба ломали себе головы?

– И за которые мне доставалось от вас. Как не помнить! – с чувством проговорила Елена.

– Кто старое вспомянет, тому глаз вон! Забыли эту

пословицу?

– Да ведь я это старое добром поминаю! – горячо возразила молодая девушка. – Я даже удивляюсь вашей доброте и терпению, с которыми вы тогда возились со мной. Только ничего не вышло! – добродушно прибавила она.

– Как ничего не вышло?

– Да так… я хотела сказать, что не то вышло, на что, быть может, вы рассчитывали. Помните, я вам даже писала об этом.

Николай вспомнил, что вскоре после разлуки с Леночкой получил в Петербурге несколько писем от молодой девушки, и теперь ему стало досадно, что он не отвечал на них.

– Вы не сердитесь, что я не отвечал вам?

– Что вы! За что сердиться? И что было отвечать? Теперь, в эти два года, я стала, как вы говорите, солидным человеком, хоть и не порешила всех вопросов. И куда мне решать их! Да и некогда было! На руках хозяйство отца, и скоро… вы, конечно, слышали? – прибавила тихо Елена.

– Простите. Я и забыл вас поздравить! – спохватился Николай. – Искренно желаю вам всего хорошего!

Он горячо пожал руку молодой девушки. А в то же время какая-то жалость сжала его сердце при мысли, что Леночка выходит замуж за Лаврентьева. Ему ка-

залось, что этим шагом она ставит точку в своей жизни. «Дети, пеленки, хозяйство!» – промелькнуло в его голове, и он с каким-то сожалением взглянул на Леночку.

Елена, казалось, заметила этот взгляд и сказала:

– Вы не знакомы с моим женихом?

– Нет. Слышал много, но не знаком.

– Так я вас непременно познакомлю. Он тоже много о вас слышал.

– Хорошего или дурного?

– И того и другого! – смеясь отвечала молодая девушка.

– И превосходно: значит, не разочаруется.

– Как вы?.. – обронила Леночка.

– Вот тебе, Леночка, и другой шафер есть! – заметила Марья Степановна, подходя к молодым людям.

– Да, может быть, Николай Иванович не захочет?

– Выдумала: не захочет! Отчего ему не хотеть?

– Конечно, захочу. Я никогда не бывал шафером.

– Разве вы останетесь здесь до сентября? – с живостью подхватила Елена.

– Останусь.

– Не соскучитесь?

– Вот и мама о том же спрашивает. Мне даже это несколько обидно! Точно я должен в деревне скучать. У меня будет работа, буду с папой на земских собра-

ниях… стану изучать деревню… На этот счет ваш жених просветит меня… И времени для скуки не будет! Наконец познакомлюсь с соседями, буду у Смирновых, стану ходить на охоту…

Елена улыбнулась своей добродушной улыбкой и промолвила:

– Люди здесь все обыкновенные… Разве вот Смирновы?

– Да разве мне необыкновенные нужны?

– Оригинальные! – поправилась Елена. – Ведь вы слишком требовательны… В Петербурге избаловались людьми, ну, а здесь… выбирать нечего.

Николай укорительно покачал головой и спросил:

– А вы, Елена Ивановна, знаете Смирновых?

– Нет, не знаю. Слышала, что она умная женщина и у нее хорошенькие дочери… Одну я видела: действительно красавица… только мне она не нравится…

– Отчего?

– Да так… не нравится, и все тут… Впрочем, быть может, я и ошибаюсь. Трудно судить о человеке с первого раза…

– Герцогиню валяет! – проговорил Вася, подымаясь с кресла.

– Наконец-то заговорил! – засмеялся Иван Андреевич. – Ты-то их почем знаешь?

– Видел.

– Видеть, брат, не значит знать!.. Ну, пойдемте, господа, обедать… Вон и Дарья идет докладывать, что суп на столе… Пойдем-ка, Николай! – прибавил старик, обхватывая своего любимца за талию. – Давно мы с тобой не сидели за столом, голубчик мой!

За обедом, весьма обильным и вкусным, – Марья Степановна просила повара постараться и нарочно заказала любимые Николаем блюда, – Николай говорил почти один. Он был особенно в ударе и говорил хорошо. Общее внимание и присутствие Леночки еще более возбуждали его. Он рассказывал о петербургской жизни, вспоминал профессоров, живо передал, какое впечатление произвели на него два известные писателя, с которыми он познакомился благодаря своей статье, обратившей внимание, и очаровал всех своей образной речью и меткими, полными ума, характеристиками. Когда зашла речь о будущей его деятельности, он еще более одушевился. Искренностью и горячим, бьющим ключом чувством звучали его слова, когда он говорил об обязанностях честного человека служить своему народу. Его до глубины сердца возмущала всякая подлость, лицемерие и неправда. Глаза его в это время зажигались ярким огоньком, придавая его привлекательной физиономии еще большую привлекательность.

Старик слушал сына, тихо улыбаясь, умиленный и

радостный. «В Коле положительно ораторские способности! – мелькнуло у него в голове. – Он так превосходно говорит!» Мать восторженно любовалась сыном, сияя своей кроткой улыбкой. Елена жадно слушала, поднимая по временам глаза на оживленное, открытое лицо молодого человека, и даже Вася както замер под обаянием горячих речей брата.

Обед тянулся долго. Когда наконец Дарья принесла бутылку шампанского, старик сам откупорил ее, разлил искристую влагу по бокалам, поднялся и несколько торжественно проговорил:

– Ну, господа, поздравим нашего дорогого гостя с окончанием курса! Пожелаем ему остаться навсегда верным идеалам добра и гуманности, горячим, честным бойцом за правду. Я надеюсь, что ему не придется краснеть перед собой никогда!

Взволнованный Николай подошел к отцу. Слезы навернулись у него на глазах. Он горячо поцеловал старика и проговорил:

– Если кто научил меня любить правду, так это ты, папа!

– Будь же счастлив, мой мальчик! Будь счастлив, дорогой мой! – повторил старик дрожащим от волнения и чувства голосом.

Все горячо поздравили Николая.

Марья Степановна прослезилась от умиления. Ва-

ся подошел к брату, поцеловался с ним и как-то восторженно, немного конфузясь, прошептал тихим, нежным голосом:

– Славный ты, Коля!..

А Леночка не сказала никакого приветствия. Она только крепко пожала руку молодому человеку, чокаясь бокалом, и после этого вся притихла.

Счастливый, радостный, умиленный, принимал Николай горячие приветствия своих близких. Лицо его горело смелой уверенностью молодости. Ему было в эти минуты так хорошо, что хотелось всех обнять и расцеловать. Все люди казались ему славными и добрыми, а сам он, переполненный надежд и веры в себя, чувствовал тот избыток молодой силы, который в молодости заставляет высоко поднимать голову и горячо верить, что для нее в жизни нет препятствий, которых бы нельзя преодолеть. Стоит только захотеть – и можно горы двинуть во имя правды и добра. В эту минуту никакой подвиг не казался ему страшным. Он готов был совершить его тотчас же.

– А что же няни нет? Надо, чтобы и она выпила! – заметил Николай.

Он налил бокал и пошел к няне.

Старуха сидела в своей крошечной комнатке за чулком, когда вошел молодой человек.

– Няня… выпей… поздравь меня…

– Родной, и меня вспомнил!

Она взяла дрожащей, иссохшей рукой бокал из рук Николая, осушила его залпом и проговорила:

– Будь здоров, Коля. Да хранит тебя царица небесная, моего голубчика!

Молодой человек расцеловал старушку. Заметив в коридоре повара Петра, тоже желавшего поздравить барина, он подошел к нему и, в ответ на приветствие Петра, к некоторому его изумлению, крепко пожал не совсем опрятную руку и возвратился в столовую.

Чай подали на террасу в сад. Все долго сидели за чаем, не замечая, как идет время…

VI

Под вечер пошли гулять.

– Прежде осмотрим наши владения, Николай. Ведь ты два года здесь не был! – проговорил Иван Андреевич.

– Осмотрим наши владения, папа! Осматривать их, я думаю, недолго. Наши владения не велики!

– Не очень обширны! – засмеялся отец.

Николай весело заглянул в пустой амбар; побывал в людской, где старая стряпуха с слезящимися глазами и седой косицей, вылезавшей из-под платка, радушно приветствовала господ; потрепал на конюшне старого «Ваську», выпил стакан молока на скотном дворе и познакомился на мельнице с новым мельником. Он с удовольствием осматривал знакомые родные уголки, где протекла большая часть его жизни; все привлекало его, все как будто получало новую прелесть. Полной грудью, чувствуя себя необыкновенно счастливым, вдыхал он чудный воздух деревни и внимательно слушал, когда отец пустился было объяснять сыну, как идет хозяйство. Старик, впрочем, часто путался. Николай очень хорошо видел, что отец за эти два года не изменился и так же плох по хозяйству, как и прежде. Марья Степановна подоспела на

выручку и толково объяснила, сколько у них под запашкой земли, сколько накашивается сена, сколько скота и т.п.

– Мама по-старому хозяйничает?

– Мама! Она у нас молодец на все руки. Если б не мать, то совсем бы скверно. Я, ты знаешь, плохой хозяин! – проговорил Иван Андреевич.

– Некогда тебе этими мелочами заниматься! – вставила Марья Степановна.

Старик весело подмигнул Николаю и засмеялся.

– Хороши «мелочи»!.. Она у нас с зари на ногах. Просто не способный я для хозяйства человек… Так только посматриваю себе, а мать, спасибо ей, всю эту обузу на себе несет!

Оказалось, что дела идут неважно, несмотря на энергию и старания Марьи Степановны. Имение не дает почти никакого дохода. Приходится трогать лес или проживать небольшой капитал, бывший у Вязниковых.

– Почти весь и прожили! – угрюмо проговорил Иван Андреевич.

– У всех, Коля, плохо дела идут! – как бы оправдывалась мать. – Все жалуются. Жизнь дорога.

– Только и хорошо, Коля, тем, кто совести не знает, – прибавил Иван Андреевич. – Оно, пожалуй, можно мужикам землю сдать по хорошей цене – мужики

дадут! – усмехнулся отец. – Вот у Кривошейнова доходы большие!

Николай с каким-то восторгом взглядывал то на отца, то на мать.

«Какие они у меня хорошие!» – думалось ему.

– Ничего, проживем! – весело воскликнул Николай. – Теперь и я на ногах!

С мельницы повернули в деревню. Деревня была с виду неказиста. Тесным рядом ютились одна подле другой почерневшие избы по бокам широкой улицы. На улице возились в грязных рубашонках чумазые ребятишки. У завалин сидели старухи, греясь, как черепахи, на солнышке. Народ не возвращался еще с поля. Иван Андреевич с Николаем зашли в одну избу. Их так и обдало спертым, прокислым запахом. На скамье совсем ветхий старик плел лапоть. При входе гостей он пристально взглянул старыми слезящимися глазами и не сразу узнал господ.

– Здорово, Парфен Афанасьевич!.. – проговорил Иван Андреевич. – Вот сына старшего привел. Сегодня только приехал.

Николай подошел к старику и протянул ему руку.

– Не узнаешь разве, Парфен Афанасьевич?

– Как не узнать!.. Здравствуй, Николай Иванович, здравствуй! Бог тебе в помочь. Ничего… парень славный, чистый парень! – прошамкал он, присматриваясь

к молодому человеку.

– Как здоровье? – спрашивал Иван Андреевич. – Ты, слышал я, хворал?

– Еще земля носит, Иван Андреевич, носит еще!.. Ноги вот одолели… не могу владать ногами, а то слава тебе господи. Спасибо барышне – мазью мажет. Быдто и легче. Не забывает больного.

С минуту они побыли в избе и вышли.

– Бедность, как посмотрю! – проговорил Николай.

– Неурожаи все были!..

– Плохо живут, по-старому?..

– Скверно.

– И все на бога надеются?..

Старик промолчал.

– Какая это барышня к старику ходит?

– Леночка… Она у нас тут за доктора. Неутомимая!

– Вот она какая! – протянул Николай.

Из деревни прошли в поле. По дороге встречались мужики и бабы, возвращавшиеся с работы. Все приветливо раскланивались с Вязниковыми. Все мужики и бабы казались Николаю сегодня особенно хорошими. Он был в самом идиллическом настроении. Все его восхищало, ко всему он относился тепло и сочувственно.

Уже смерклось, когда вся компания возвращалась домой.

– Елена Ивановна!.. – проговорил Вася, до того молча шедший рядом с Еленой. – Вы, верно, забыли? Мне сказывал Григорий Николаевич, что он сегодня зайдет к вам!

– Спасибо, Вася, что напомнили! – вспыхнула Елена. – Знаете ли, о чем я попрошу вас? Сходите к нам и скажите, что я останусь здесь!

– Остаетесь? – прошептал юноша упавшим голосом.

Елене показалось, что в голосе его дрожала скорбная нотка. Она вспыхнула.

– Да, остаюсь. Что же тут удивительного?

Она засмеялась, но смех ее был какой-то ненатуральный.

– Вы, Вася, скажите Григорию Николаевичу… Впрочем, нет… ничего не говорите. Просто скажите, что я сегодня не буду дома!

– Я скажу… Я ничего… Я так!.. – пролепетал Вася, смущаясь еще более и как-то неловко ступая своими длинными ногами. – Вы не сердитесь, Елена Ивановна, пожалуйста!

– За что сердиться? – с живостью возразила Леночка. – Вы просто глупости говорите.

– Это правильно! – добродушно промолвил Вася. – Глупости! Это вы верно… А мне показалось…

Он что-то еще хотел сказать, но слова, видно, не

слушались его и засели в горле. Он улыбался кроткой улыбкой и счел долгом еще раз повторить: «Пожалуйста, не сердитесь! – причем это извинение у него выходило такое комичное, что Леночка улыбнулась.

– Я сейчас же иду, Елена Ивановна!

С этими словами он повернул назад и быстро зашагал по дороге.

– Ты куда это, Вася? – окликнул Николай.

– К Лаврентьеву.

– Приходи скорей, Васюк!

– Ладно.

– Странный этот Вася! – невольно вырвалось у Елены.

Ей вдруг почему-то захотелось вернуть его и идти домой, где ждал ее жених. Она колебалась, медлила и… тихо подвигалась вперед. Она решила остаться. С Лаврентьевым она увидится завтра и объяснит ему, почему не пришла. Она так долго не видела старого товарища детства, она так давно не слыхала горячих, волнующих речей, полных какой-то неопределенной и заманчивой прелести. Среди будничных забот эти речи казались праздничным колоколом, зовущим куда-то вдаль, где жизнь, мнилось, получала высший смысл и значение.

«Какой он стал красавец!» – неожиданно вспомнила Елена и вслед за тем почувствовала, что краска

стыда разлилась по ее лицу, охватила ее шею, охватила все существо. Она старалась отогнать от себя эти мысли, но какой-то голос шептал ей: «Красавец, красавец!» Все шептало об этом: и тихий вечер, спустившийся на землю, и ярко мерцавшие звезды, и таинственный шелест наливавшихся колосьев, и дивный воздух, полный благоухания и прелести.

«Красавец, красавец!» Эти слова точно носились в воздухе.

Когда вошли в столовую, где на столе уже тихо шипел самовар, Николай заметил, что Леночка вдруг сделалась необыкновенно серьезна и сдержанна; ее синие глаза смотрели строго, и брови сурово сдвинулись; она так сухо ответила на шутливый вопрос Николая: «Отчего так задумчива ты?» – что Николай оставил ее в покое и с аппетитом принялся пить чай с густыми сливками, заедая домашней сдобной булкой и похваливая и чай и булку.

Отец с сыном окончили вторую партию в шахматы, а Марья Степановна уже клевала носом. Леночка сложила свою работу и стала прощаться.

Пробило девять часов, а Вася не возвращался.

– Куда же вы одна, Елена Ивановна? Я вас провожу! – сказал Николай.

– Не надо. Я и одна дойду – близко.

– Как хотите, а то я бы проводил.

– Конечно, проводи, Николай! – проговорил Вязников. – Нечего вам, Леночка, храбриться. Все лучше, коли проводят!

– Да я не боюсь. Николай Иванович, верно, устал с дороги?

– Еще будет время выспаться; а вы, барышня, не церемоньтесь с старым товарищем. Одевайте шляпку и пойдемте. А уж ты, мама, дремлешь?

– Нет… я не дремлю!.. – встрепенулась Марья Степановна, открывая глаза.

– По-старому! – засмеялся Николай, обнимая мать. – Сама дремлет, а говорит, что нет. Иди-ка, мама, спать. Ты ведь рано встаешь. Помнишь, как я ребенком все тебя спрашивал, хороший ли я сон увижу, а ты мне всегда говорила, что хороший… И ведь всегда хорошие сны снились, точно ты умела посылать славные сны.

– Еще бы не помнить!

– Я часто вспоминал в Петербурге об этом перед экзаменами. Как нарочно, все худые сны снились, и некому было мне пожелать хороших снов. А теперь нечего и спрашивать: я знаю, сны будут так же хороши, как и все вы…

Марья Степановна несколько раз поцеловала сына и перекрестила его. А он горячо целовал ее руку и глядел на нее с восторгом влюбленного. Он и в самом

деле влюблен был в мать.

– А с тобой, папа, еще увидимся?

– Я поздно засыпаю. Зайди, как вернешься.

– Пойдемте, Елена Ивановна… Какая чудная ночь! – проговорил Николай, спускаясь с террасы. – Мы какой дорогой пойдем? Ближней – через лес? Вы не боитесь?

– Чего бояться?

– Мало ли чего? Хотя бы своего воображения. Впрочем, вдвоем не страшно, да и светло… Ишь луна какая сегодня, точно бледнолицая красавица. Посмотрите, как красив теперь сад. Да куда вы так торопитесь, Елена Ивановна? – остановил Николай, догоняя молодую девушку.

– Я всегда так хожу.

– Давайте-ка вашу руку, а то вы опять уйдете – догоняй вас! – заметил Николай тем товарищески фамильярным тоном, каким, бывало, говорил с прежней Леночкой.

Елена покорно протянула свою руку.

– Так-то лучше! – промолвил Николай.

Они шли не спеша, направляясь к лесу.

Они шли первое время молча. Елена, казалось, не имела намерения вступать в разговор. Она шла, опустив глаза вниз, погруженная в раздумье. Молодой человек искоса посматривал на свою спутницу, любу-

ясь ее красивым, строгим профилем. Теперь, под обаянием чудной ночи, при бледном свете луны, Леночка казалась ему несравненно лучше. Ему стало снова жаль, что она выходит замуж.

Пропадет она совсем, отупеет. «Будет нянчить, работать и есть!» [8] – припомнился ему некрасовский стих. Нежное чувство закрадывалось ему в сердце. Положительно ему жаль Леночку. Она такая славная девушка, полная хороших стремлений, и – что ее ждет?

«Неужели она любит дикого человека? Чем он мог пленить ее?»

Молодой человек опять взглянул на Елену. «Как она хороша!» Взгляд его скользнул по ее роскошному стану и остановился на маленькой ноге, мелькнувшей из-под приподнятого платья.

– Что ж, мы молчать будем? Два года не видались, – кажется, есть о чем поговорить.

– Говорите, я буду слушать!

– Я много говорил, теперь ваш черед. Расскажите о себе: что вы делали, о чем думали, что читали, о чем мечтали в эти два года?

– Мне нечего рассказывать. Вы все уж знаете. Жизнь моя прошла самым обыкновенным образом.

---

[8] «Будет нянчить, работать и есть!» – Неточная цитата из стихотворения Н.А.Некрасова «Тройка» (1846).

Кое-что читала, а больше хозяйничала…

– И впереди опять одно хозяйство?

– А то как же… Не сидеть же сложа руки!

Они приблизились к опушке и вошли в лес. На них сразу пахнуло свежестью и лесным запахом – запахом грибов и сырости. Луна пробегала за облаком. В лесу было совсем темно и торжественно тихо. Приятно и жутко было среди мрака и тишины. Какой-то таинственный, тихий шорох стоял среди лесной чащи. Откуда-то доносилось журчание воды. Протяжно прокуковала кукушка, вслед за тем внезапно шарахнулась между дерев птица. И снова в лесу стало тихо.

Молодые люди дышали полной грудью.

– Как хорошо здесь! – протянул Николай.

– Да, хорошо! – тихо ответила Елена.

Среди тишины и мрака леса невольно говорилось тише. Звуки становились мягче и таинственней, как будто страшно было разбудить громким голосом спящую лесную глушь.

Они пошли еще медленнее, осторожно ступая по песчаной дороге, усеянной сучьями. Николай придвинул к себе руку, и Леночка плотней прижалась к молодому человеку.

– Помните, как мы с вами, бывало, боялись ночью этого леса? Вы помните?

– Помню.

– А помните, как вы однажды заблудились вечером, и мы с Васей нашли вас?

– Помню.

– Хорошо было тогда… Да и теперь отлично! – проговорил под наплывом чувства Николай. – А время-то как пролетело… Кажется, давно ли мы с вами боялись этого леса, а вот теперь не боимся. Вы вот уж и замуж выходите. Скоро ваша свадьба?

– Через полтора месяца.

– Так скоро? – вырвалось у Николая.

– Да, скоро.

Опять оба замолчали. Елена прибавила шагу.

– Пойдемте поскорей! – нетерпеливо произнесла она.

– Куда вы бежите? Здесь так славно, так хорошо.

– Тетя будет беспокоиться.

– Бог с ней, с тетей! А вы так и не хотите рассказать старому товарищу о себе. «Занималась хозяйством, буду заниматься…» Ведь этого мало. Разве вы только и делали?.. По скромности вы даже скрыли, что мужиков лечите. Видно, доктор не ездит?

– Ездит, но редко.

– А лечите самоучкой?

– Самоучкой.

Николай тихо засмеялся.

– А еще что делали?

– Да больше ничего, кажется. Теперь иду замуж! – тихо прибавила она.

– Тихая пристань!..

– К чему бури? Я человек мирный, бурь не ищу. Бог с ними!

– И счастливы?

– Странный вопрос! Конечно. Меня никто не неволил идти замуж, да и никто не приневолит. Хочу – иду, хочу – нет.

– Я не о том. Это дело вашего сердца.

– О чем же?

– Вы как будто другая стали. Неужели мысль ваша не рвется к свету, на простор?

– Значит, не рвется.

– А прежде, помните?

– Мало ли что было прежде! – резко проговорила Елена.

– Вы лжете, Леночка! – воскликнул Николай. – Этого не может быть! В двадцать два года нельзя подвести итоги. Или вы думаете, что образование и развитие вздор… лишняя роскошь, глупости одни? Сегодня меня уж поразил Вася, но Вася странный мальчик. Может быть, и жених ваш так смотрит? Ну, тогда поздравляю вас… поклонников непосредственности…

– Напрасно вы горячитесь… Жених мой так не смотрит.

– Но вы-то… вы? Вы хотели учиться… Все, значит, побоку? Можно лечить самоучкой? – усмехнулся молодой человек. – Можно думать, что земля на трех китах стоит. Для домашнего обихода этого довольно?.. Ах, Леночка, Леночка (Николай и не замечал, что называл свою спутницу Леночкой), и для домашнего обихода этого мало.

Николай даже разгорячился. Если б он мог видеть лицо Елены, то, вероятно, не бросил бы ей таких упреков.

Она не отвечала ничего, только прибавила шагу.

– Вы простите старому приятелю. Ведь я по дружбе.

– Я не сержусь!

Она произнесла это «я не сержусь» таким тихим, покорным голосом, что Николаю вдруг стало невыразимо жаль ее. Они были близко к выходу из леса. Луна выглянула из-за облаков и обдала их серебристым светом. Николай взглянул на Леночку и сразу понял, как грубо и безжалостно он говорил с ней. Лицо молодой девушки поразило его своим страдальческим видом. Он более не начинал разговора. Молчала и Леночка под обаянием дыхания летней ночи. Потребность любить и быть любимым вдруг охватила все существо молодого человека нежным, теплым чувством. Молодая страсть рвалась наружу. Какое-то

неопределенное чувство тоски и томления подступало к самому сердцу. Он забыл все свои наставления, забыл, что Леночке надо учиться. Он чувствовал только прелесть ночи, близость молодого, красивого создания и прилив страсти. Он любовался Леночкой, любовался ее лицом, ее станом, чувствовал, как трепетно бьется ее грудь, и никакие слова не шли на уста.

Они вышли из леса. Невдалеке замигали огоньки усадьбы.

В это время из лесу, где-то близко, раздались звуки песни. Мужской твердый голос пел одну из русских песен и пел превосходно. Ширью, страстью и тоской звучала эта песня, разлетаясь по лесу. В скорбных звуках было что-то щемящее, прямо хватающее за душу.

Николай остановился и не заметил, как вздрогнула рука Леночки.

– Какой чудный голос! – прошептал он. – Послушаем.

– Нет, пойдемте. У меня голова болит!

С этими словами она выдернула руку и быстро пошла вперед.

– Славно наш народ поет! – проговорил, догоняя Леночку, Николай. – Сколько чувства, сколько выражения. Так петь, как этот мужик пел, может только человек с душой.

– Это не мужик пел.

– Что вы? Манера мужицкая… Сейчас видно.

– Я знаю этот голос и знаю эту песню.

– Кто ж это пел?

– Лаврентьев пел! Он славно поет!

– Жених ваш? Вот никак не думал! – проговорил Николай, как будто несколько разочарованный. – Что ж он по лесу бродит?

– Верно, меня дожидался, а теперь возвращается домой.

Они пошли к дому. Большая мохнатая собака бросилась с лаем к Леночке.

– Здравствуй, Фингал, здравствуй!

Фингал замахал хвостом и потом осторожно обнюхал Николая.

Николаю было грустно, что прогулка так скоро кончилась. Ему хотелось еще гулять. Он протянул руку, крепко пожал Леночкину руку и вдруг проговорил:

– Простите меня, Леночка. Вы славная девушка, и дай вам бог счастья.

Он прикоснулся губами к ее руке и сказал:

– Вы любите его! И он, верно, вас любит. Вы стоите любви!

И снова поцеловал Леночкину руку.

Молодая девушка быстро отдернула руку и скрылась в дверях, а Николай тихо побрел домой, нарочно замедляя шаги.

Николай зашел к отцу, – старик еще не ложился: он сидел за французской исторической книгой, – и простился с ним, заметив, что устал с дороги. Он прошел к себе в комнату – хорошо знакома была ему эта комната! – и стал раздеваться. Он заглянул было в комнату брата, но там было темно. Николай окликнул Васю. Ответа не было.

– Верно, спит!

Через минуту он уже лежал в чистой, мягкой постели, с наслаждением потягиваясь и предвкушая сладость сна. Он скоро погасил свечку, повернулся на бок, и разнообразные отрывки мыслей бродили беспорядочно в его голове. То думалось о Леночке… «Зачем она замуж выходит!» И образ красивой девушки мелькал в его воображении. Славная она, хорошая!.. Образ Леночки сменялся другим образом, молодым и тоже красивым. Он вспомнил сестру Бежецкого. И та славная! Потом мечты забродили о будущем. Что будет? О, вероятно, будет хорошо, отлично будет. Ему представлялось, как он будит общество своими громовыми, горячими статьями. Его все знают, лучшая часть общества его уважает. Он знаменитый писатель. Но вдруг на смену является другая картина. Он в суде и защищает – даром, разумеется, – несчастного вора. Речь его льется свободно, горячо. Масса публики жадно слушает его. Судьи даже встрепенулись,

а прокурор совсем смущен. Он кончил и ждет… Выносят оправдательный приговор. Он жмет руку оправданному. Он счастлив и горд. Он не похож на своих собратов. Он обелять не будет… Он будет по совести… Опять новые картины: то он профессор, то он в далеком захолустье, после того как послужил честному делу, но он скоро возвращается, и все приветствуют его. Мысли начинали путаться. Приятное ощущение дремоты начало охватывать его. Мозг ослабевал. Он испытывал ощущение усталости и безотчетного счастия, вспоминая, что он дома, в родном гнезде, и что у него такие чудные старики, и что его все любят. Ему послышался чей-то голос вблизи, спрашивающий: «Ты спишь, брат?» Он слабо пролепетал: «Хорошо жить, Вася, хо-ро-шо!» – и чувствовал, что язык больше не служит. Он засыпал крепким, чудным сном молодости, счастливый, добрый и готовый на все хорошее.

В то самое время Леночке не спалось. Она пришла в свою комнатку, маленькую опрятную комнатку, хотела было раздеваться, но сняла только платье, подошла к окну, да так и осталась у растворенного окна, всматриваясь вдаль сосредоточенно и строго. Она долго стояла, потом взмахнула головой, словно желая отогнать неотвязные мысли, присела на кровать, медленно разделась, легла в постель, но заснуть не

могла. В ушах ее еще стояли слова упрека и скорбная песня в лесу, а перед ней, как живой, носился образ Николая, такой хороший, привлекательный…

Леночка приподняла с подушки голову. Слезы текли по ее лицу…

– Это… все глупости! – прошептала она наконец, бросаясь на подушки. Из отворенного окна доносились какие-то тихие, жужжащие звуки ночи и словно дразнили ее… – Глупости, – повторила она, – глупости!

Вася, вернувшийся позже брата, вошел к нему со свечкой в руках и, увидав, что брат засыпает, прошел к себе, достал из стола тетрадь и, по обыкновению, стал записывать свои заметки и впечатления. Заметки эти были очень странные и самые разнообразные, с которыми читатель познакомится в свое время. Он долго сидел; потом, окончивши это дело, разделся и занялся гимнастикой: приседал, двигал руками, вдыхал грудью, и все это самым серьезным образом. Потом попробовал мускулы на руках и, довольный, что порядочные желваки были крепки, когда он сгибал руку, Вася снял тюфяк с кровати, лег на тощей соломенной подстилке, затушил свечку и долго еще лежал с открытыми глазами, размышляя о словах брата.

VII

Неделя пролетела незаметно. Николай ходил на охоту, гулял с братом, – Вася, к некоторой досаде Николая, все еще ему не «открывался», – спорил слегка с отцом, вволю ел и отсыпался. Он принялся было за работу, начал писать статью, исписал листа два бумаги и бросил – не писалось. Хотелось отдохнуть от петербургской жизни и полениться на деревенском приволье. Давно ему не жилось так беззаботно, как теперь. Однако через неделю он начал скучать. Людей не было, без людей скучно.

Леночка несколько дней не показывалась. «Уж здорова ли наша Леночка? – беспокоилась добрая Марья Степановна. – Не случилось ли чего с ней?» И Николаю было скучно без Леночки. Он отправился ее навестить.

Через хорошо знакомую калитку вошел он в небольшой молодой сад, прилегавший к новому маленькому серому дому. Он прошел сквозь ряд фруктовых деревьев и невдалеке от террасы увидел Леночку и тетку за варкой варенья. Солнце жгло невыносимо – было около полудня, – и Николай истомился от жару. «И как это им не жарко на припеке варить варенье!» – подумал он, подходя к ним.

Тетка Леночкина, Марфа Алексеевна, родная сестра Леночкина отца, толстая, жирная, рыхлая женщина, лет под пятьдесят, вся раскрасневшаяся и истомленная, в грязном капоте, слегка вскрикнула при виде гостя, обрадовалась и почему-то стала извиняться. Леночка молча поздоровалась с Николаем и продолжала снимать ложкой пену с шипящей жидкости, в которой подпрыгивали крупные вишни. Пока Марфа Алексеевна извинялась и звала Николая в гостиную, он взглянул на Леночку и… и сегодня она ему показалась совсем не такой или по крайней мере не совсем такой, какой была тогда при лунном освещении. Сегодня она была какой-то будничной. Одета она была слишком уж по-домашнему, без корсета, руки были запачканы, на пальцах ее, заметил он, виднелись черненькие точки – следы иголки – и ногти ее не отличались чистотой. Лицо ее пылало от жара, и крупные капли пота струились по лицу. По-видимому, она так была занята своим делом, что и не обращала внимания на Николая. Это его кольнуло.

– Пойдемте-ка, Николай Иванович, в гостиную. Эка жарища-то какая здесь! Пойдемте… Ишь какой вы молодец стали!

Марфа Алексеевна, грузно переваливаясь и вздыхая, поплелась в дом, и Николай за ней.

– А ты, Леночка? Брось варенье и ступай к нам, а

не то Аксинью позови.

– Сейчас, тетя.

В гостиной, увешанной довольно плохими литографиями, с обстановкой средней руки, Марфа Алексеевна тяжело опустилась на диван и, указывая на кресло гостю, проговорила:

– А мы по-прежнему. Братец все в разъездах. Нынче пошли строгости. Дел… дел-то сколько. Во все глаза гляди. Все нынче бунтовать стали! – добродушно прибавила старуха. – О-ох, жарко… Все… Ты думаешь, он смирный человек, а глядишь – бунтовщик. Посудите, в эдакую-то жару да братцу по уезду рыскать! И к чему бунтовать? Только братцу лишние хлопоты!..

Она принялась, по обыкновению, жаловаться на обстоятельства, на дороговизну и все вздыхала, верней от жара, чем от плохих обстоятельств, и Николай обрадовался, когда вошла Леночка и тихо присела на кресло.

– Спасибо вот Леночка помогает, а то одной… С рабочими что горя…

– Ну уж вы, тетя, всегда жалуетесь!.. – заметила Леночка серьезно.

Разговор продолжался на эту тему. Гостю предложили чаю. «Какой теперь чай!» – подумал он – и отказался. От водки тоже.

– А вы нас совсем забыли, Елена Ивановна. Мама

даже беспокоится!

– Хлопот было много.

– А по вечерам?

– По вечерам к ней жених ходит. Скоро вылетит птичка из гнездышка! – протянула тетка. – О-ох, как-то я тогда управлюсь… У Смирновых, чай, были?

– Нет еще… Собираюсь.

– Не были? – повторила Леночка.

– Не был. Вы что так спрашиваете?

– Да как же… У них интересно должно быть. Я слышала, там гостит знаменитый петербургский адвокат Присухин и какой-то молодой ученый из Петербурга. Люди все развитые… И барышни тоже развитые…

Она подчеркнула слово «развитые».

Николай пристально взглянул на Леночку. «Смеется она, что ли?» Кажется, нет. Лицо ее совсем спокойное, только верхняя губа слегка вздрагивает да голос чуть-чуть дрожит.

– Так-то вы, Елена Ивановна, прощаете? Не ожидал я от вас этого.

– Ну, ну, не сердитесь. Я пошутила, право пошутила! – промолвила Леночка и вдруг вся просияла.

– О чем это вы? – прошептала Марфа Алексеевна.

– Так, тетя, спор был у нас.

Николай посидел еще немного, поболтал с Леночкою; Марфа Алексеевна все тянула унылую нотку о

дороговизне и смутах, по поводу которых так часто приходилось разъезжать ее братцу – она с комичным добродушием смешивала и дороговизну и смуту. (Два года тому назад, вспомнил Николай, она все жаловалась на мужиков.) Он стал прощаться.

– Смотрите же, Елена Ивановна, не забывайте нас. Мама без вас скучает. Придете?

– Приду как-нибудь.

– Не как-нибудь, а поскорей приходите. Скоро ведь вас и совсем редко будешь видеть.

Леночка проводила Николая до калитки, крепко пожала ему руку и долго еще смотрела вслед.

Потом тихо повернула назад и принялась варить варенье.

– Пожалуй, Смирниха окрутит молодца! Ты как, Лена, думаешь? – заметила Марфа Алексеевна, выходя на террасу. – Она женихов ищет, как кошка мышей…

– Да вы почем знаете?

– Знаю, мать моя. Я все знаю. Мне ихняя ключница все говорила. Девки на возрасте.

– Охота вам, тетя, всякие сплетни слушать. Что Вязников – мальчик, что ли?

– Хитры они. Старшую-то как выдали… слышала?..

– Не хочу я слушать.

– А ты чего взъелась? Ну, не хочешь, как хочешь! – равнодушно ответила Марфа Алексеевна. – Мне что,

мне все равно. Жених только он подходящий. У старика-то деньги припрятаны…

– Вы видели?

– Недаром опекуном был десять лет.

– Тетенька! Я прошу хоть при мне-то гадостей этих не говорить. Иван Андреевич… это такой святой человек.

Голос ее дрожал от волнения.

– Да что ты в самом деле на стену лезешь? Ишь как расходилась! Ну, святой так святой… почему я знаю. Им же хуже! Горячишься, глупая, из-за пустяков. И без того жарко. О-о-ох! Пойти, что ли, полежать перед обедом!..

Марфа Алексеевна покачалась в раздумье и скрылась в комнату.

– Хороши пустяки! – в волнении шептала Леночка. «Не женится он ни на одной из Смирновых! Этого не может быть!» – подумала она.

Возвращаясь домой, Николай даже усмехнулся, припоминая, что сперва он возлагал такие надежды на Леночку и пробовал было «разбудить дремавшую мысль».

«Настоящая ее сфера – нянчить, работать и есть. И, кажется, ничего другого и не надо ей. А я вообразил было… Прехорошенькая из нее будет самочка, если только она не распустится совсем с диким чело-

веком!» – решил Николай.

Ему сначала показалось, что выход Леночки замуж таит в себе какую-нибудь драму – он очень любил драматические положения, – и все ждал, что Леночка откроется своему товарищу. Оказывалось теперь, по его мнению, что никакой драмы нет. Никто ее не заставляет. Понравился барышне дикий человек. «Только как он мог понравиться?» Николаю сделалось даже обидно, что его труды по развитию Леночки пропали даром.

«Не моего она романа!» – повторил он.

На следующий день отец с сыном собрались к Смирновым. Давно уже следовало отдать им визит, но Вязников день за день откладывал, поджидая приезда Николая. Старику хотелось похвастать перед Смирновыми сыном. Марья Степановна наотрез отказалась ехать. Во-первых, некогда и, во-вторых, что она будет там делать? Она вообще не любила выезжать и показываться в люди, хотя и рада была принимать у себя. «Уж поезжайте вы одни да извинитесь за меня, домоседку!»

В двенадцатом часу коляска, запряженная тройкой неважных лошадей, стояла у крыльца, и старый, сухощавый Фома – он же и садовник – молодцевато си-

дел на козлах, облекшись в старенький летний армяк, сидевший, впрочем, на Фоме довольно неуклюже.

Николай только что окончил туалет и вышел в гостиную в сопровождении Васи, который старательно смахивал щеткой пылинки с новой пары брата и, казалось, принимал большое участие в этом деле, хотя и говорил раньше, что нет ничего любопытного у «этих трещоток».

В новой щегольской паре, в белоснежной рубашке, приодетый и прифранченный, Николай был совсем изящным молодым человеком, который ни в каком обществе не ударит в грязь.

Отец дожидался сына. Он тоже приоделся – расчесал свою красивую бороду, пригладил седые кудри и натягивал перчатки. Любо было глядеть на отца и сына.

– Смотри, Коля, не сведи ты с ума Смирновых! – шутя проговорила Марья Степановна, восхищаясь своим красавцем.

– Не беспокойся, мама, не сведу и сам не сойду!

– Хвались, хвались! Барышни очень хорошенькие и не глупые. Особенно старшая… вдовушка… Ну, та… Бог с ней!..

– Сороки! – невозмутимо вставил Вася, подавая отцу шляпу, которую только что заботливо вычистил.

Невольно все рассмеялись, глядя на долговязого

юношу.

По мягкой дороге, чуть-чуть подпрыгивая, плавно катилась коляска к усадьбе Смирновых. Надо было ехать верст с двадцать. В разговорах Вязниковы и не заметили, как прошло время и как припекало их солнце. Из-за пригорка наконец показался огромный тенистый сад и верхушка церкви. Затем открылась и самая усадьба – большой старинный помещичий каменный двухэтажный дом с возвышавшимся посредине куполом, на котором развевался флаг.

– Старинное дворянское гнездо!.. Так и веет от него стариной! Постройки-то какие! – промолвил Николай.

– Богат был отец покойного Смирнова. Первейший богач был у нас, но все промотал. Удивительно, как еще эти хоромины уцелели в общем крушении. Я помню старика, он приятель батюшки был. Свежо предание, а верится с трудом [9].

– Самодур?

– Людей травил собаками, а потом награждал их по-царски. У него одних собак было сотни три. Пиры задавал какие!..

– Теперь, я думаю, имение запущено?

– Совершенно. Заложено в банке и не дает никакого дохода или пустяки. Впрочем, Надежда Петровна

---

[9] Свежо предание, а верится с трудом. – Из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» (действие 2, явл. 2).

думает поправить его. Посмотрим, что будет, как поправит…

– Богата она?

– Едва ли; кажется, пенсия одна после мужа, а впрочем, не знаю. Живет хорошо – увидишь!

Когда коляска приблизилась к усадьбе, то мерзость запустения обнаружилась во всей наготе своей. Хозяйственные постройки оказались развалившимися, без стекол, и глядели мрачно.

Громадный барский дом еще был в некотором порядке, но верхние окна были заколочены наглухо досками. Через широкие ворота высокой каменной, местами совсем развалившейся ограды, обнесенной вокруг всей усадьбы («тоже своего рода „великая стена“ [10], – подумал Николай), коляска въехала на полукруглый большой луг и по окаймленной ветлами аллее с шумом подкатила к громадному подъезду, который стерегли два больших льва с отломанными носами.

Из дверей вышел молодой лакей совсем петербургского фасона и на вопрос: «Дома?» – отвечал утвердительно, с петербургской выправкой, пропуская гостей в огромную переднюю:

– Дома-с, пожалуйте!

---

[10] «Великая стена» – крепостная стена огромной протяженности в Северном Китае, строительство которой начато в IV-III вв. до н.э.

Затем он снял с них пальто и побежал доложить о гостях.

Вязниковы медленно проходили большую высокую залу, отделанную под мрамор, – «мрамор» совсем пожелтел, и многочисленные трещины извивались по нем неправильными линиями, – украшенную кариатидами [11], с расписанным потолком, но от старости и пыли фрески представлялись мрачными пятнами с какими-то фантастическими фигурами вместо амуров. Ветхие, с истертой позолотой и обтрепанной, полинялой штофной материей [12], стулья да рояль, стоявший в углу, составляли все убранство залы. От этой комнаты веяло пустыней и отдавало сыростью.

Николай чуть было не упал, попавши ногой в глубокую дыру на старом дубовом паркете.

– Эка старина! Хоть бы дыры зачинили! – проговорил Николай.

– А я, Коля, когда-то здесь отплясывал! – улыбнулся Иван Андреевич. – Тогда дыр не было!.. Это малая зала, а наверху большая есть, с театром. У покойного старика была труппа крепостных артистов… Теперь там, верно, крысы поселились. Верх заколочен! – прибавил старик.

---

[11] Кариатиды – статуи, поддерживающие выступающую часть здания.

[12] Штофная материя – плотная шелковая или шерстяная ткань с тканым узором.

Гостиная, куда вступили из залы Вязниковы, представляла совершенную противоположность. Точно они, переступивши порог, перенеслись из доброго старого времени в новое. На них так и пахнуло современной жизнью и обстановкой. Они были в уютной, видимо жилой гостиной, напоминавшей петербургские дачные гостиные средней руки, с светлыми кретоновыми портьерами [13], занавесями, мягкой, новейшего фасона, свежей мебелью, обитой тою же материей, с цветами на растворенных окнах, трельяжем, несколькими недурными пейзажами по стенам, оклеенным светлыми обоями, с альбомами, кипсеками [14] и книгами в красивых переплетах, разбросанными на столах, перед диванами и диванчиками.

Едва Вязниковы сделали несколько шагов, как против них заколыхалась портьера и из-за нее торопливо вышла пожилая женщина, одетая очень хорошо и по моде, и, протягивая обе свои длинные, с красивыми ногтями, костлявые руки, на пальцах которых болтались кольца, произнесла приветливым голосом, улыбаясь всем своим лицом:

– Как я рада вас видеть, дорогой и уважаемый Иван Андреевич! Как рада!

---

[13] Кретоновые портьеры – шторы из плотной, жесткой хлопчатобумажной ткани с набивным рисунком.

[14] Кипсек – роскошно изданный альбом.

Она с чувством пожала Ивану Андреевичу руки и продолжала:

– Нечего вам и представлять вашего сына. Я и так бы узнала.

Она протянула Николаю руку («Какая костлявая!» – подумал он) и заметила:

– Я с вами знакома, Николай Иванович, по вашей прекрасной статье. Еще недавно мы о ней говорили с Алексеем Алексеевичем. Вы, конечно, знаете Присухина? Он теперь гостит у нас. Ваша статья нам всем очень понравилась. Мы даже удивились, как она прошла. Мы так привыкли к затрудненьям, – пожала она плечами и горько усмехнулась. – Садитесь, пожалуйста. Иван Андреевич, сюда на диван. Как здоровье Марьи Степановны? Она такая домоседка – ваша Марья Степановна.

VIII

Николай разглядывал в это время хозяйку.

Это была высокая худощавая женщина, лет под пятьдесят, с продолговатым лицом, острым носом, тонкими губами и проницательным, умным взглядом маленьких черных глаз, которые почти не останавливались на месте. Она сразу производила впечатление умной, бойкой, характерной женщины, знающей толк в людях и умеющей обойтись с ними. «Тертая баба! – подумал про нее Николай. – И вовсе не так проста, как хочет казаться!»

Кто в Петербурге не видал или не слыхал о Надежде Петровне, пользовавшейся репутацией умной и либеральной женщины?! На благотворительных спектаклях, на лекциях, на литературных вечерах она бывала непременной распорядительницей, показывалась то там, то здесь, кого-нибудь устраивающая, о чем-нибудь суетящаяся, пожимающая руку то тому, то другому, всегда приветливая и любезная. Кажется, нет ни одного благотворительного общества, в котором она не была бы членом, а в двух она состоит председательницей. И везде она поспевала, везде пользовалась репутацией практичной женщины, уме-

ющей все устроить, все уладить. Она поощряла женские высшие курсы, она с дочерьми всегда что-нибудь да устраивала; одним словом, как она говорила, всякий «либеральный почин» находил в ней горячую поклонницу. Она имела большой круг знакомства и преимущественно в интеллигентной среде. По четвергам у нее собиралось самое интеллигентное общество: профессора, известные адвокаты, известные прокуроры, известные председатели, известные литераторы; неизвестных у нее не было, а если и встречались, то они непременно готовились быть известными. Этот молодой человек писал какое-нибудь исследование, другой – собирался предпринять ученое путешествие в Гобийскую степь, третий – «изучал» специально тюремный вопрос, четвертый – творения Шекспира и т.п. Что она была женщина бесспорно умная, в этом не было ни малейшего сомнения, но каким образом она сделалась либеральной дамой и почему она именно сделалась либеральной, а не консервативной – этот вопрос задавали себе многие, знавшие Надежду Петровну еще в те времена, когда она женских курсов не поощряла, с известными людьми не была знакома, а, состоя в звании молодой губернаторши, отличалась совсем противоположными качествами и, как говорят злые языки, держала бразды правления так туго, что купцы и чиновники только вздыхали, особенно перед

праздниками.

Дочь незначительного губернского чиновника, тогда красивая, стройная девушка, с прекрасными белокурыми волосами и зоркими черными глазками, Надежда Петровна сумела составить очень блестящую для нее партию и женила на себе – именно женила! – пожилого уже господина Смирнова, приехавшего из Петербурга по делам в С. и влюбившегося в молодую девушку. Правда, он было колебался сделать предложение, но Надежда Петровна сама вывела его из колебания, так что Смирнов и не успел одуматься, как уже сделался женихом и вслед за тем счастливым и покорным супругом молодой жены. Она не только прибрала в руки самого Смирнова, но благоразумно прибрала в руки и остатки его состояния, умерила широкую натуру мужа, – он в этом отношении походил на отца, – заставила его воспользоваться связями и серьезно заняться службой – до этого Смирнов где-то числился и бил баклуши. Супружество их было очень счастливо и обильно детьми. Молодая женщина выказала блистательные способности и как администратор, и как финансист. Она сберегла от продажи Васильевку, управляла губернией с достоинством и умом и продолжала заботиться о благополучии семейства с упорством и энергией характерной женщины. Когда подоспела крестьянская реформа, Надеж-

да Петровна была несколько изумлена и числилась в числе недовольных. Тем временем мужа назначили сенатором, и Смирновы переехали в Петербург. Жили они скромно, дочери были в институтах. Несмотря на хлопоты Надежды Петровны, сенатор никакого высшего назначения не получил и в шестидесятых годах умер, оставив на руках вдовы двух сыновей: одного офицера, другого прокурора, и трех подрастающих барышень, а состояние хоть и порядочное, но далеко не обеспечивающее семью. Вот в это-то самое время Надежда Петровна и сделалась либеральной дамой. С свойственной ей проницательностью она поняла, что времена переменились, что со смертью мужа связи ее с аристократическими родными ее мужа должны были прекратиться, что она не в состоянии была тянуться за ними, не могла играть никакой роли в этом обществе и едва ли пристроит своих дочерей. Мало-помалу отстала она от этого общества, завязала знакомства в других кружках и благодаря природному уму и бойкости скоро приобрела репутацию умной и либеральной женщины, так что в Петербурге все знали Надежду Петровну. Она очень хорошо пристроила старшую дочь, выдав ее замуж за очень богатого старого сенатора, – он тоже не мог прийти в себя, как уже был объявлен женихом, – но других дочерей пристроить было труднее… Известные адвока-

ты и прокуроры, посещавшие гостиную Надежды Петровны, очень хорошо знали, что приданое у дочерей небольшое, и предложений не делали. Надежда Петровна ездила на воды, но и там женихи не давались, и бедная мать нередко приходила в отчаяние, глядя на своих дочерей, не умевших устроить своей жизни с таким же умом, как сама она и старшая ее дочь.

Состояние между тем расстроилось благодаря старшему сыну. Он наделал долгов, и надо было заложить имение. Осталась пенсия да кое-какие доходы с имения. И вот Надежда Петровна вместо вод приехала в Васильевку, пригласив к себе погостить нескольких известных холостых, обычных посетителей ее гостиной.

– В деревне так хорошо освежиться после Петербурга! – говорила она, не без основания рассчитывая, что деревенский простор даст и больший простор чувствам.

– Вы пробудете здесь все лето, Николай Иванович? – обратилась Надежда Петровна, успев в свою очередь внимательно оглядеть молодого человека и, по-видимому, очень довольная осмотром.

– Все лето.

– И отлично. Я рассчитываю на вас. Вы, верно, не

откажете нам помочь в добром деле… устроить здесь на рациональных началах школу. Мы все принимаем участие, и я надеюсь…

Николай поклонился.

– Наш бедный народ совсем, совсем лишен света. Надо всем нам делать, что можно, как это ни трудно. Ах, Иван Андреевич, – обратилась она к Вязникову, – каково-то вам? Я слышала, как вы боретесь в земских собраниях. Нам всем надо сплотиться. К сожалению, мы страдаем разъединенностью, вот почему мы все так мало успеваем…

Надежда Петровна уже несколько раз беспокойно поглядывала на двери, и Николай заметил на лице ее промелькнувшую неприятную улыбку. Впрочем, лицо ее тотчас же просветлело, когда в гостиную вошла молодая барышня в кисейном платье, недурная собой, с неглупым, выразительным лицом.

Гости встали. Николай тотчас же был представлен.

– Вторая моя дочь, Ольга. Николай Иванович Вязников, автор той статьи… помнишь?

Ольга сказала, что очень хорошо помнит и что статья ей понравилась. Она пожала руки отцу и сыну и присела рядом с Николаем. У них завязался разговор. Ольга показалась Николаю очень неглупой и наметавшейся девушкой, но при этом ему бросилось в глаза, что она уже чересчур часто цитирует названия разных

авторов.

Оказалось, что она теперь изучала Спенсера [15] и осенью готовилась в близком кружке прочесть реферат. Она говорила об этом, впрочем, просто, нисколько не рисуясь. «Почему она именно изучает Спенсера?» – подумал Николай и хотел было спросить, но ничего не спросил.

Вслед за тем в гостиную вошли еще две барышни, в сопровождении маленького, худощавого, с козлиной бородой, рыженького господина с серьезным лицом, выступавшего тоже серьезно и солидно. Он что-то объяснял двум барышням, которые, казалось, слушали его очень внимательно.

Николай опять встал и поклонился. «Сколько здесь барышень! – подумал он. – Неужто ж одна из них та самая красавица, о которой говорила Леночка?»

Одна из вошедших – брюнетка с короткими, подвитыми волосами, падавшими локонами на плечи, – очень походила на Ольгу, только была повыше ростом. Такая же недурненькая, брюнетка, с неглупым, симпатичным личиком, хорошими манерами, белыми сверкающими зубками и приветливым взглядом. Другая – блондинка, очевидно, была совсем иной породы. Белокурая, миловидная, пышная, с румянцем на нежной коже лица, с большими голубыми, красивыми,

---

[15] Спенсер, Герберт (1820-1903) – английский философ и социолог.

но глуповатыми глазами, она сразу напомнила Николаю богобоязненных, солидных, застенчивых барышень из приличных семейств русских немцев.

Брюнетка, как Николай решил про себя, едва только увидал ее, была младшая дочь Смирновой – Евгения, а блондинка – Анна Штейн, приятельница барышень Смирновых, приехавшая из Петербурга погостить в деревне. «Отец ее известный, честнейший и знающий финансист», – вставила Надежда Петровна, улучив минуту.

Что же касается рыжеватого молодого человека, то и он оказался известным молодым ученым г.Горлицыным, химиком, собирающимся вскоре занять профессорскую кафедру.

Господин Горлицын молча обменялся рукопожатиями с Вязниковыми и отошел тою же солидной, степенной походкой к барышням продолжать прерванную беседу. Он говорил тихо, не спеша, докторальным тоном, напоминающим тон заматорелого учителя, и обе барышни слушали его с большим вниманием. Вскоре, однако, Евгения подсела к Николаю, а г.Горлицын с Анной Штейн продолжал свою беседу уже в зале, откуда доносился тихий, авторитетный голос молодого ученого.

«Где ж, однако, настоящая красавица, старшая дочь?» – думал про себя Николай, которому, при-

знаться, несколько надоело уже беседовать с барышнями, – Надежда Петровна в это время заговаривала старике, – хотя одна и изучала Спенсера, а другая, как оказалось, занималась с г.Горлицыным химией и находила, что это очень интересно и любопытно.

«На какого черта этой нужна химия, а другой нужен Спенсер? При чем тут химия?» – вертелось в голове Николая. Однако он должен был признать, что и Евгения, как и Ольга, была неглупая барышня, хотя и пожалел, что от занятий химией у нее были запачканы тонкие, аристократические ручки. Вообще обе сестры показались ему не особенно интересными и занимательными, хотя обе они и выказали себя с очень хорошей стороны. Обе были девушки с самыми либеральными взглядами, обе не без презрения относились к военным и предпочитали интеллигентных людей, обе, время от времени, слушали лекции, хотя и пожалели, что с ранних лет не получили систематического образования, обе следили за литературой, любили и жалели «бедную учащуюся молодежь» (в доме у них, однако ж, «учащаяся молодежь» не бывала). Обе могли, если бы понадобилось, толково объяснить несовершенство земских учреждений, и обе были знакомы с Тургеневым, Достоевским и многими другими, менее известными писателями.

А все же Николаю с ними было скучно. Ему при-

ходилось раньше встречаться с такой же разновидностью. Он вспомнил, что встречал в петербургских кружках, в небогатых, но плодовитых дворянских семействах, такие же экземпляры либеральных барышень, которые, в ожидании замужества, бросались, разумеется без всякой подготовки, не только на химию или на изучение тюремного вопроса, но даже на высшую математику и от скуки ездили слушать сельскохозяйственные лекции, а потом, когда благополучный брак увенчивал их стремления, прекращая тревогу сердца, они благоразумно откладывали, конечно, химию в сторону и делались добрыми супругами, главным образом интересующимися производительностью благоверных супругов в приобретении материальных средств. «Химия» тогда оставалась приятным воспоминанием девической жизни и служила иногда разве подспорьем для оживления какого-нибудь скучного журфикса [16].

Николай посмотрел на отца и скрыл улыбку. По унылому, осовевшему лицу его он заметил, что хозяйка совсем завладела стариком. Иван Андреевич посмотрел на часы, переглянулся с сыном и хотел было подниматься, как в гостиную вошла молодая женщина с ярко-золотистыми, рыжими волосами, приостанови-

[16] Журфикс – день недели в каком-нибудь доме, предназначенный для приема гостей (фр.).

лась, слегка прищуривая глаза с выражением не то скуки, не то недоумения, и приблизилась к обществу.

Николай взглянул на нее и как бы замер от удивления.

Что-то ослепительно свежее, белое, красивое и изящное осветило внезапно комнату.

– Красавица! – шепнул он, поднимаясь с кресла и низко кланяясь рыжеволосой молодой женщине, которая приветливо здоровалась с Вязниковым-отцом.

IX

Надежда Петровна назвала Николая и проговорила:

– Старшая моя дочь, Нина!

Молодой человек еще раз поклонился, пожимая протянутую ему руку, и – спасибо молодому ученому, который подсел в это время к барышням – мог свободно любоваться Ниной, присевшей около отца, прямо против Николая.

Стройная, высокая, статная, с роскошно развитыми формами, она была в светлом барежевом платье [17] с широкими рукавами, из-под которых блестели – именно блестели – ослепительной белизны, словно из мрамора выточенные, обнаженные руки с изящными кистями. Так же ослепительно бело было и ее античное, художественных очертаний лицо с нежным розоватым оттенком просачивающейся крови и нежными голубыми жилками. Из-под высокого молочного лба глядели черные бархатистые глаза, чуть-чуть улыбаясь какой-то неопределенной улыбкой. Такая же улыбка скользила и по тонким ярким губам, скользила незаметно, придавая физиономии слегка

[17] …барежевое платье – платье из прозрачной ткани крученой пряжи с сетчатым рисунком.

насмешливое выражение.

От всей этой ослепительной фигуры веяло спокойным изяществом и какой-то силой красоты…

Нина Сергеевна несколько минут проговорила с Иваном Андреевичем, вскинула раза два глаза на Николая, поднялась с кресла и подошла к сестрам, которые затеяли уже спор с Горлицыным.

– Опять умные разговоры ведете! – произнесла она, чуть-чуть скашивая губы и улыбаясь насмешливо глазами.

– Ах, не мешай, Нина.

– Как вам не надоест, господа?.. Игнатий Захарович, я не прошу вас о сестрах, но пожалейте хоть Нюту… Вы бедняжку совсем замучаете… право…

Горлицын серьезно взглянул на молодую женщину. Обе сестры взглянули на Николая, как бы прося извинения, что у них такая старшая сестра.

– Я сегодня слышала, как вы вразумляли ее насчет души… Это ужасно. Пощадите ее хоть до четвергов зимой… Бедная Нюточка все сидит за книгой и старается понять, что такое душа… Ведь теперь каникулы…

Молодой ученый начинал, видимо, злиться, а Нина Сергеевна, видимо, потешалась над ним от скуки. Он, впрочем, старался скрыть свое раздражение под спокойным тоном и медленно проговорил:

– Напрасно вы беспокоитесь за Анну Карловну. Для кого как… Что для одного скучно, то…

– Это в мой огород? Так ведь напрасно!.. – засмеялась она, открывая ряд прекрасных жемчужных зубов. – Вы хорошо знаете, кажется, что я отсталая. Это ведь давно решено и подписано! – прибавила она, значительно усмехаясь.

– Ты, Нина, вечно с твоими насмешками! – заметила Ольга.

– Они вот все не допускают меня в свою компанию, – весело заговорила Нина, обращаясь к Николаю, – и говорят, что я не умею вести умных разговоров. Хотите, попробуем?

– Попробуем.

– Впрочем, что же я?.. Вы тоже, верно, известный литератор или адвокат, или… словом, ученый человек?

– Я просто покамест праздношатающийся человек! – отвечал он.

– Николай Иванович написал недавно превосходную статью! – проговорила одна из сестер.

– Слышала, но не читала и – извините – не прочту. Значит, и вы мне не пара? – комично усмехнулась она. – Я ничем не занимаюсь, ничего не изучаю, разве только людей! – прибавила она, присаживаясь около Николая. – По совести предупреждаю вас!.. Давно вы

приехали?

– С неделю.

– И не умерли еще с тоски?

– Нет! – рассмеялся Николай.

– А я так готова умереть. Гулять да гулять – это надоест.

Она вскинула на него глаза, обдавая его светом, и проговорила:

– Вы до осени?

– До осени.

– Умеете ездить верхом?

– Умею.

– И прекрасно. Мы будем ездить с вами, а то мне не с кем!

Она проговорила эти слова тем капризно-уверенным тоном, как будто и не сомневалась в согласии молодого человека.

– Да ведь я живу за двадцать верст…

– Приезжайте чаще к нам. Вы знаете Присухина?

– Слышал.

– Будете за обедом спорить с ним, а вечером будем кататься или играть в карты.

В это время Надежда Петровна кашлянула; Нина Сергеевна незаметно взглянула на мать, усмехнулась и проговорила:

– А, впрочем, как хотите. Я и одна люблю ездить…

Ну, mesdames, кончили? – обратилась она к сестрам. – Пора и купаться идти.

Она поднялась с места.

Иван Андреевич подошел к сыну и спросил, не пора ли ехать домой.

– Поедем! – отвечал Николай.

– Как, уже и ехать? Что вы, Иван Андреевич! Разве вы не пообедаете с нами?

Старик извинился, что не может.

– Ну, так хоть Николая Ивановича не увозите… Дайте нам поближе познакомиться с молодым человеком. Знаете ли что: оставьте его погостить у нас несколько дней. Он познакомится с Алексеем Алексеевичем. Быть может, и не соскучится. Оставайтесь-ка, Николай Иванович. У нас, как видите, здесь всем полная свобода. Что хотите, то и делайте.

Николай колебался.

– Оставайтесь! – промолвила Нина. – Он остается, мама! – прибавила она.

Николай тотчас же согласился.

Отец обещал ему прислать платье и белье.

– Ты долго пробудешь?.. – спрашивал он у сына, который вышел его проводить.

– Нет, дня два-три, не более.

– Как знаешь! – промолвил старик, пожимая руку сына, и потом тихо шепнул, – ты будь, Коля, осторож-

ней с Ниной Сергеевной. Она… она. Впрочем, ты сам поймешь, что это за женщина. Прощай, мой мальчик!
«Какая она особа?.. Что хотел сказать отец?» – недоумевал Николай, возвращаясь в гостиную.

X

Только к обеду – у Смирновых обедали по-городскому, в пять часов, собираясь по звонку – в столовую вошел, несколько переваливаясь и потрясая брюшком, скромно склонив чуть-чуть набок голову, блондин, среднего роста, лет за сорок, круглый, гладкий и выхоленный, с мягким, белым, расплывчатым, широким лицом, сияющий лысиной и небольшими глазами, ровно глядевшими из-под широкого черепа. Все в нем дышало необыкновенным благообразием, начиная с лысины, окладистой светло-русой бороды, от которой несло благоуханием, и кончая пухлыми архиерейскими руками. В кем было что-то елейное, мягкое, располагающее.

Это был известный адвокат, наживший большое состояние, Алексей Алексеевич Присухин.

Только что он вошел в столовую, как тотчас же все – исключая Нины – обратились к Алексею Алексеевичу с вопросами: хорошо ли он работал, и не мешал ли ему шум? В почтительности, с которой все обращались к нему, легко было увидать, что Присухин пользуется у Смирновых большим почетом и особенным авторитетом.

Он успокоил всех своей мягкой улыбкой, прежде

чем объяснил, что занятия его шли успешно и что ничто ему не мешало, и взглянул на нового гостя.

– Ах, что же я!.. – подхватила Надежда Петровна.

С этими словами она взяла молодого человека под руку и, подводя Николая к Алексею Алексеевичу, проговорила:

– Николай Иванович Вязников.

Смирнова и не назвала Присухина, полагая, вероятно, что не может быть человека, который бы не знал его.

– Очень приятно познакомиться! – промолвил Присухин, приветливо пожимая молодому человеку руку.

– Это, Алексей Алексеевич, автор той статьи, которая…

– Я с удовольствием читал вашу статью, Николай Иванович… Очень приятно познакомиться!.. – повторил Присухин, поводя глазами на столик, где стояла закуска.

Уже все сели за стол, как в столовую вошло еще новое лицо – господин лет тридцати, высокого роста, неважно одетый, некрасивый, с большой черной бородой. Он слегка поклонился всем и молча сел за стол. Никто не обратил на него внимания, да, казалось, и он никого не удостоил им. Николай взглянул на черноволосого господина – его поразило необыкновенно энергичное выражение его скуластого заго-

релого лица – и недоумевал, кто мог быть этот господин, с таким характерным и умным лицом, в потертом пиджаке, сидевший за столой среди элегантного общества?

«Разве учитель? Но, кажется, подростков нет у Смирновых. Бедный родственник? Этого не может быть. Он ни одной черточкой не напоминает бедного родственника!»

Николай внимательно посмотрел опять на таинственного незнакомца, и лицо его показалось ему как будто знакомым. Он припоминал, что где-то и при особенных обстоятельствах он встречал это лицо… Он вспомнил, что это было в первый год его студенчества. Человек, похожий на этого господина, говорил громовую речь, поразившую всех. Такая же энергичная физиономия, то же скуластое лицо.

«Но это невозможно!» Николай знал дальнейшую судьбу того господина. Он не мог быть здесь.

И черноволосый господин мельком взглянул на Николая, словно спрашивая: «Это еще что за гусь?» – и равнодушно опустил глаза в тарелку.

– Ну, как вам нравится наш божок? – тихо спрашивала Нина, наклоняясь к Николаю, в то время как Присухин начал что-то рассказывать, и все обратили взоры на него, ловя каждое его слово.

– Он очень умный человек.

– Умный-то умный, только какой-то…

– Какой?

– Да слово смешное – иисусистый.

Николай рассмеялся.

– Это, впрочем, не мое слово…

– А меткое.

Он взглянул на Присухина. Действительно, в нем было что-то такое, вполне оправдывавшее название «иисусистого».

– А кто этот черноволосый господин, что молча сидит? – спросил, в свою очередь, Николай.

– Новый управляющий на заводе.

– Имя его?

– Прокофьев.

«Я ошибся! – мелькнуло в голове Николая. – А удивительное сходство!»

– Вероятно, студент?

– Не знаю. Знаю только, что мама им очень довольна. Он вас интересует?

– Очень. Характерное лицо.

– Да, что-то есть. Только дичится нас. Мы его оставляем в покое… Что же мы, впрочем, – Алексей Алексеевич рассыпает перлы, а мы одни не подбираем их!

– Не одни, – тихо промолвил Николай, окидывая глазами общество. – Посмотрите на Прокофьева.

– С этого не спросится.

– Отчего?.. Он недостаточно известен?

– Не то. Он уж у нас такой. Где ему? Однако внимание! Вам тоже полезнее внимать умным речам, чем слушать вздор глупой женщины. Ведь правда? – обронила она чуть слышно, взглядывая на Николая улыбающимся, загадочным, быстрым взором…

Не дожидаясь ответа, Нина Сергеевна повернула голову, слегка вытягивая лебединую свою шею, и стала слушать. Николай взглянул на нее и удивился, как она быстро умела менять выражения. Теперь глаза ее уж не смеялись и были устремлены прямо в лицо Алексея Алексеевича. Взгляд Присухина скользнул по молодой женщине. Николаю показалось, что он засиял довольной улыбкой.

А речь Алексея Алексеевича текла тихо и плавно, словно журчание ручья. Что-то ласкающее слух, успокоивающее нервы было в мягком, нежном, приятном голосе. Он говорил, по временам закрывая глаза, говорил замечательно хорошо, с манерой недюжинного оратора. Все сидели как очарованные, вперив взгляды в Алексея Алексеевича, боясь проронить одно слово, один звук, точно слушая диковинную райскую птицу. Надежда Петровна замерла от удовольствия, улыбаясь счастливой улыбкой, изредка посматривая вокруг, словно бы спрашивая: «Каково?» Все в столовой будто замерло. Даже лакей, влетевший было с

блюдом, остановился сзади Надежды Петровны, выжидая паузы, когда можно будет обносить разноцветное мороженое, возвышавшееся среди блюда красивым обелиском.

Николай стал слушать.

– Невозможно, неестественно, говорю я, – продолжал между тем Алексей Алексеевич, – идти против истории. Для людей, не чуждых ей, эти явления объясняются просто и натурально, так же натурально, как просто и натурально объясняются физические законы. Негодуйте, сердитесь, волнуйтесь, а факты остаются фактами; народ, масса не только в бедном нашем отечестве, но даже в более цивилизованных странах похожа на стадо баранов, бессмысленное, стихийное стадо, не имеющее ни за собой, ни перед собой ничего. Не от него ждать спасения, не он скажет слово – он никогда ничего не говорил, – а только от людей цивилизации, людей науки, от высших организаций. И вот почему мне так прискорбно, что у нас вдруг заговорили о народе, появились какие-то народники в литературе, в обществе, среди молодежи. Убогого дикаря они хотят нам представить светочем истины. Это вредное и прискорбное заблуждение, невежественный сентиментализм. История двигалась не народом – он одинаково терпел и Ивана

Грозного и Робеспьера [18], – а высшими личностями. Сила в интеллигенции, а не в народе. Мы одни действительно являемся нередко страдальцами, а не народ. Стоит посмотреть на этих отупелых киргиз-кайсаков…

По счастию, Алексей Алексеевич остановился на секунду, и Надежда Петровна, заметившая, что мороженое начинает таять, моргнула лакею, и он стал обносить блюдо. Присухин взял изрядную порцию и продолжал на ту же тему. Николай слушал, слушал и начинал злиться. Бессердечной, сухой и безжалостной показалась ему теория, проповедуемая Присухиным. По его словам, выходило как будто так, что высшим организациям предоставляется право жить разносторонней жизнью, а доля низших – вечное ярмо. Он почувствовал какую-то ненависть к оратору. Ему припомнились эти киргиз-кайсаки, среди которых он провел детство. В голове его мелькнули теплым, мягким воспоминанием няня, ветхий мужик Парфен Афанасьевич, повар Петр, Фома… Его обуяло желание оборвать Присухина. Что-то клокотало в его груди. Он чувствовал – именно чувствовал – какую-то фальшь в словах «иисусистого».

– Позвольте, однако! – воскликнул он, вдруг загора-

[18] Робеспьер, Максимилиан (1758-1794) – один из активнейших деятелей Великой французской революции.

ясь весь. – Позвольте.

Все посмотрели на Николая с таким же выражением, с каким смотрят на мальчика, решающегося вступить в спор с взрослым человеком. «И ты, милый, решаешься!» – казалось, говорили все эти взгляды.

Николай почувствовал эти взгляды, и это возбудило его еще больше.

А Присухин поднял на молодого человека свои тихо сияющие глаза и как бы снисходительно поощрял молодого человека. «Ничего, ничего, попробуй. Послушаем, что-то ты скажешь!»

Этот взгляд заставил его вспыхнуть до ушей. «Скотина! – подумал Николай. – Подожди!»

– Так, по-вашему-с, выходит, что народ, благодаря которому мы могли получить образование, киргиз-кайсаки, а мы – соль земли? Для нас все, а для них ничего. Так-с? – вызывающим тоном продолжал Николай.

– По-моему-с, ничего не выходит; есть научные положения, из которых следуют известные выводы.

– Сами же вы сейчас объясняли, что история движется высшими организациями, а если это так, – хотя я думаю, что не так, – то неужели высшие организации, соль земли, могут спокойно смотреть, как низшие организации остаются во тьме нищеты и невежества?.. Извините меня, эта теория… безнравственна.

– Теория не может быть ни нравственной, ни безнравственной. Она может быть научной или не научной… Когда…

Но Николай не слушал и продолжал, не замечая, как тонко-насмешливо улыбаются глаза Алексея Алексеевича.

– Или высшим организациям нет никакого дела до этого, и они могут равнодушно жить с киргиз-кайсаками, пользуясь сами всеми дарами цивилизации? В таком случае во имя чего же они двигают историю?.. Во имя личных целей?.. Все для себя, а киргиз-кайсаки как знают?..

– История не знает-с целей. Она управляется законами.

– Законами хищничества одних, индифферентизма других и бессердечия третьих. Мы с вами-с будем наслаждаться, желать свободы, а для большинства – прозябание. Это-с не так, и история, сколько я понимаю, не совсем шла так. Были люди, есть они и будут, для которых страдания масс были единственным двигателем их деятельности. Они были только выразителями этих же масс.

Николай продолжал развивать свою аргументацию, но он не столько развивал, сколько увлекался и горячился. В словах его звучало чувство и отсутствовала доказательность.

Алексею Алексеевичу не стоило большого труда сбить с позиции своего молодого противника. Своим тихим, ровным голоском он полегоньку, с видом пренебрежительной снисходительности, разбивал его. Николай чувствовал, что правда на его стороне, чувствовал всем существом своим, что в доводах Присухина, по-видимому основательных, скрывается высокомерный эгоизм, но видел, что ему не совладать с мастерской диалектикой противника, с солидностью его эрудиции. Он не мог не заметить, что Присухин играет с ним, как старый, опытный боец. На одно его доказательство, на одну его цитату он приводил несколько других, причем упоминал такие сочинения, о которых Николай и не слыхивал.

Но Вязников нападал еще с большего запальчивостью на Присухина и под конец стал так горячо спорить, что Присухин проговорил:

– Э, да вы, Николай Иванович, как посмотрю, горяченький в спорах. Впрочем, глядя на вас, я вспоминаю свою молодость… Когда я был юн, я также был горяч; но уходили коня крутые горки.

О своей горячности Алексей Алексеевич упомянул, как кажется, ради извинения молодому человеку. Сам он едва ли когда-нибудь горячился.

– Молодость тут ни при чем. Есть и молодые, которые проповедуют ту же доктрину, хотя и не так по-

следовательно. Она крайне удобная… заставляет мириться со всем, глядеть на правых и виновных хладнокровно и, главное, не стесняться.

– Что делать-с. Наука – не прокурор судебной палаты!.. Вы давно изволили кончить курс? – прибавил Алексей Алексеевич.

– В настоящем году! – резко отвечал Николай.

– В настоящем… По какому факультету?

– По юридическому…

– Значит, мой collega. К нам в присяжные поверенные?..

– Еще не знаю-с.

– Конечно, к нам. Когда-нибудь сразимся, значит, и в суде… С таким противником приятно спарить, и мы еще, надеюсь, поспорим, а теперь… я боюсь, не надоели ли мы дамам! – прибавил Присухин и заговорил с одной из барышень.

Николай умолк, несколько сконфуженный. «Скотина!» – подумал он. Ему было обидно и досадно, что он не только не оборвал этого «иисусистого», но еще оборвался сам.

– Однако и вы любите умные разговоры разговаривать, как погляжу! – заметила Нина. – А я думала…

Николай еще находился под влиянием спора и не слышал, что говорила ему соседка.

– Я думала… Да вы, кажется, не слушаете меня?

Николай взглянул на молодую женщину. Она так весело улыбалась, столько жизни было в ее глазах, так ослепительно хороша была она, что и сам он улыбнулся и радостно сказал:

– Что же вы думали?

– Что вы не занимаетесь глупостями.

– А чем же?

– А просто… просто пользуетесь жизнью! – тихо прибавила она, подымаясь.

XI

Николай незаметно сошел с террасы в сад, возобновляя в памяти свой спор с Присухиным и досадуя, что не сказал ему всего, что теперь так стройно и логично проносилось в его голове. Он тихо подвигался в глубь густой аллеи.

– И охота вам было связываться! – произнес под самым ухом сбоку чей-то голос.

Николай повернул голову. На скамейке под развесистым кленом сидел Прокофьев.

Вязников подошел к нему и отрекомендовался.

– Я вас несколько знаю. От Лаврентьева слышал и вашу статейку читал! – произнес Прокофьев, протягивая руку. – Среди всякой нынешней мерзости… статейка ничего себе.

– Ваше лицо мне тоже показалось знакомым. Вы не знавали студента Мирзоева?

– Нет.

– Большое сходство.

– Мало ли схожих людей. Моя фамилия Прокофьев… Федор Степанов Прокофьев.

– Так незачем было связываться? – спросил Николай, присаживаясь около.

– Убедить, что ли, намеревались эту культурную ка-

налью?

– Да уж чересчур возмутительно.

– Ого! Изволите еще возмущаться речами Присухина. В какой Аркадии [19] жили?

– В петербургской.

– Так-с… И возмущаетесь еще?

Он помолчал и прибавил:

– Ведь у него и наука-то вся такая же иисусистая, как он сам. Они с ней – одного поля ягоды. Она у них повадливая, карманная, на все руки…

– Как повадливая?

– Очень просто. Какие угодно фокусы они с ней проделывают. Вы курсов не проходили разве? Только он вас, что называется, в лоск положил…

– Однако…

– Однако не однако, а затравил, и поделом!

Николай был несколько озадачен и строго взглянул на Прокофьева, но тот не обратил на это ни малейшего внимания.

– И вправду, поделом! Вперед не суйтесь. Коли соваться, так уж надо самому во всей амуниции – иначе только их же жалкими словами тешить. По мне, это будто чищеным сапогом в грязь ступать. Он вам

---

[19] Аркадия – традиционный образ страны райской невинности и патриархальной простоты нравов.

и Милля [20] и Маркса перевирал, вы внимали, а он-то хихикал в душе…

– Так что же вы не вступились, коли сами вы в полной амуниции, как вы говорите? – заметил иронически задетый за живое Николай.

– Эту канитель давно бросил, – отвечал Прокофьев хладнокровно. – Да и к чему? Разве их берут слова? Или барышень здешних, что ли, тешить диспутами?..

– Нельзя же хладнокровно слушать гадости.

– И потому надо поболтать?

Прокофьев помолчал и, внимательно взглядывая на Николая, прибавил:

– Пожалуй, вы и на свою публицистику возлагаете надежды? Кого-нибудь убедить полагаете насчет курицы в супе [21], а?

– А разве нет?..

---

[20] Милль, Джеймс (1773-1836) – английский историк, публицист, экономист и философ. В 1865 году трактат Милля о политической экономии вышел с примечаниями Н.Г.Чернышевского.

[21] Кого-нибудь убедить полагаете насчет курицы в супе… – слова, подобные этим, историческое предание приписывает французскому королю Генриху IV (1553-1610): «Я постараюсь, чтобы самый бедный крестьянин мог есть мясо каждую неделю и, сверх того, иметь каждое воскресенье курицу в горшке своем». Есть сведения, что эту фразу как свою повторила Екатерина II. В устах революционера Прокофьева она звучит как саркастический намек на прекраснодушные пожелания и никчемные разговоры либералов о подъеме благосостояния крестьян в условиях самодержавия и помещичьего гнета.

– Верите еще?

– А вы не верите разве?

– Я?.. В российскую публицистику?

Прокофьев взглянул на Николая.

– Да вы в самом деле, Николай Иванович, вернулись из Аркадии, а не из Питера.

– Что ж в таком случае литература…

– По большей части переливает из пустого в порожнее… Надо же что-нибудь писать.

– Вот как… И, следовательно, заниматься ею…

– То же занятие, что мух хлопать! Это ново для вас, что ли? Поживете, тогда другое запоете, если не привыкнете, а впрочем, попробуйте-ка изложить на бумаге и напечатать то, о чем вы так горячо за обедом говорили. Попробуйте-ка! – усмехнулся ядовито Прокофьев. – А мы прочтем-с!..

– Вы как-то безнадежно уж смотрите.

– Не безнадежно, а не обманываюсь. Нет, батюшка, вашими писаньями не проймешь… Не нам с вами чета – люди пробовали. Не проймешь! – добавил он с какою-то глубочайшей ненавистью в голосе.

Прокофьев умолк и попыхивал папироской. Николай поглядывал на него. Любопытство его было возбуждено. «Кто этот человек, говорящий так решительно, с такой безнадежностью?» Он уже не сердился на Прокофьева. Этот человек невольно внушал к се-

бе уважение. Что-то притягивающее было во всей его фигуре, в его пытливых темных глазах, в его голосе, в манерах.

– Вы здесь давно? – спросил Николай.

– Два месяца, – на заводе у Смирновой. Обедаю у них два раза в неделю, когда имею доклады.

– Какие доклады?

– Да у бабы этой… Она ведь министр… Хотя ничего не понимает, а все ты ей докладывай…

– И докладываете?

– Сколько угодно…

– Вы технолог?

– Маракую немножко… А вы в первый раз в этом доме?

– В первый.

– Семейка любопытная, самого модного фасона…

– Кажется, Смирнова умная женщина?

– Сама-то? Очень даже умная баба. Линию свою ведет правильно. Говорят, в Питере салон держит. И барышни умные – верно уж знаете! – одна изучает Спенсера, а другая химию… Только все в девках! – рассмеялся Прокофьев. – Приданого нет, а Присухин не клюет…

– А Горлицын?

– Известный молодой ученый… тоже не клюет… до той, до белобрысой добирается. У нее, кажется, при-

пасено добра для супружества… только папенька с маменькой предпочитают вместо химика… какую-нибудь птицу почище… Но держу пари, химик пролезет: даром что глуп, зато апломба у него много, а впрочем, кажется, и предмет свой знает.

– А эта… красавица, старшая дочь?

– Эта-то?.. Ну, эта будет повыше сортом. По крайней мере не пыжится, а просто себе живет, как бог на душу положит. Ей бы принцессой какой-нибудь – настоящее дело. Потешается над всеми, а больше всего над котом этим – Присухиным, а он глаза только жмурит. Берегитесь, а то и вас зацепит… Вы, верно, охотник до амуров-то? Так-то-с! Однако я тут с вами болтаю, а мне к докладу пора, – прибавил он, взглядывая на часы и подымаясь. – До свидания. Заходите когда… на завод. Побеседуем. Может, и материалу для статейки наберетесь. Материалу довольно… народу много!

– Непременно, – проговорил несколько обиженный за «амуры» Николай.

– Да, вот еще что… Вы когда отсюда?..

– Послезавтра.

– Так скажите брату, чтобы к Лаврентьеву в четверг заходил.

– Вы разве Васю знаете?

– Видел раз. Хороший парень ваш брат!..

Прокофьев ушел, а Николай остался сидеть на скамье. «Удивительное сходство с тем!.. – подумал он, глядя вслед удалявшемуся Прокофьеву. – Непременно пойду к нему!..»

Когда Николай вернулся в комнаты, все барышни сидели в гостиной вокруг стола и слушали Горлицына. Николай остановился на пороге, оглядывая все общество. Присухина и Нины не было.

А тихий, несколько гнусавый голос молодого ученого отчетливо читал в это время:

– «Между поклонением идолам и поклонением фетишам не существует ни малейшего сколько-нибудь резкого скачка. В Африке видимым фетишем часто служит человекообразная фигура; иногда же эта фигура менее похожа на человека и всего более похожа на воронье пугало».

«И не только в Африке, а в Васильевке тоже!» – мелькнуло в голове Николая при виде барышень, с немым восторгом внимающих объяснениям и комментариям Горлицына.

Он вышел снова в сад. Не хотелось ему слушать чтение. Вечер был превосходный, к тому же он рассчитывал встретить Нину Сергеевну.

Николай обошел сад и не встретил никого. Уже

он хотел было возвратиться, как из беседки, обвитой плющом, стоявшей в конце сада, раздались голоса… Он пошел на голоса.

Вдруг оттуда раздался звонкий, веселый, заразительный хохот – Николай обрадовался, узнав голос Нины, – и вслед за тем насмешливые слова:

– Полноте… полноте, Алексей Алексеевич. Это вовсе вам не к лицу.

– Вы, по обыкновению, смеетесь, Нина Сергеевна. Неужели вы не знаете, зачем я сюда приехал?!

– Я думаю… отдохнуть…

– Вы знаете… я…

Голос Присухина совсем понизился.

– Вы?.. Да разве вы можете любить?

И звонкий раскат смеха снова раздался по саду.

Николай повернул назад, но в это время из беседки вышла Нина, а вслед за ней и Присухин.

– Николай Иванович! – воскликнула Нина, – где это вы пропадали? Я вас искала! Пойдемте-ка гулять, – сказала она, подходя к молодому человеку. – А вы, Алексей Алексеевич, верно, заниматься пойдете? – насмешливо произнесла молодая женщина.

– Заниматься!.. – проговорил Присухин, удаляясь.

Николай обрадовался, что хоть в любви бывший его противник потерпел сильное поражение и имел вид ошпаренного кипятком кота.

– Где это вы были все время?

– С Прокофьевым беседовал.

– Он вас удостоил… Он вам понравился?

– Как вам сказать… Я совсем его не знаю.

– Но первое впечатление?

– Хорошее.

– Я верю в первое впечатление. Вы, например, произвели первое впечатление хорошее. И я думаю, что мы будем с вами друзьями… Как вы думаете?

Они весело болтали, как два школьника, и когда вернулись к чаю, то Николай был совсем очарован Ниной Сергеевной.

XII

Вместо трех дней, которые Николай рассчитывал провести у Смирновых, он прогостил в Васильевке целых шесть и не заметил, как пролетело время в приятном и комфортабельном безделье. Пора было собираться домой, а молодой человек медлил отъездом, тем более что все любезно упрашивали его остаться, как только он заикался об отъезде.

Недаром Николай обладал способностью привлекать к себе людей. Он произвел самое благоприятное впечатление на Смирновых. Его красивая, располагающая наружность, подкупающая искренность, простота и изящество манер, даже самоуверенный задор избалованной юности – все это невольно располагало в его пользу, так что через день-другой после знакомства все смотрели на Николая, как на короткого знакомого, и единогласно порешили, что Вязников очень умный и необыкновенно симпатичный молодой человек, которому предстоит блестящая будущность. Он понравился решительно всем: и матери, и дочерям, даже Присухину и молодому ученому Горлицыну. В нем не было отталкивающей нетерпимости. Всем с ним чувствовалось необыкновенно легко и свободно, и он со всеми держал себя с такой подкупающей про-

стотой, что барышни сразу с ним стали на дружескую ногу и не считали нужным вести с ним беседы о Спенсере и химии и даже не обижались, когда он подсмеивался. Он делал это так симпатично, так мило, что нельзя было обидеться.

Надежда Петровна сразу решила, что молодой человек непременно будет известностью и составит украшение ее гостиной по четвергам. «Он мог бы жениться на Женни!» – промелькнуло у нее в голове, и она рассчитывала со временем заняться этим планом.

Алексей Алексеевич Присухин, несколько косо поглядывавший на молодого человека после того, как Вязников осмелился вступить с ним в спор, через два дня смягчился и даже удостоил Николая пригласить к себе наверх и показать ему свои работы, причем сумел так тонко и незаметно польстить самолюбию молодого человека, что Николай несколько размяк и уже не чувствовал к Присухину той ненависти, какую почувствовал после спора. Он, правда, не соглашался с ним в мнениях, находил, что известный присяжный поверенный смотрит на вещи слишком исключительно, но уже «культурной канальей» его не обзывал, а, напротив, был даже польщен, что такой известный человек, как Присухин, относится к нему с большим уважением. Даже молодой ученый Горлицын перестал

пыжиться перед Николаем и в разговорах с ним был как-то проще, не говорил докторальным тоном и не держал себя с тем апломбом, который так не понравился Вязникову вначале.

И Николай, под впечатлением общего любезного отношения к нему, незаметно для себя самого отнесся ко всем новым знакомым своим гораздо мягче, чем вначале. Он был из числа тех натур, которые любят, чтоб их любили. Ненависть подавляла его. Он, разумеется, никогда не будет в одном лагере с присухиными и горлицыными. Он посмеивался над Смирновой, над ее либеральными взглядами, в которых видел одну лишь модную вывеску, но под впечатлением оказанного ему внимания все-таки сумел найти для нее если не оправдание, то смягчающие обстоятельства… Уж одно то обстоятельство, что его могли оценить, говорило в их пользу.

Хотя Николай и уверял себя, – собираясь уверить в том же и своих стариков, – что он загостился так долго у Смирновых ради изучения любопытной семьи, но сам он хорошо чувствовал ложь своих уверений и в глубине души сознавал, что его очень заинтересовала Нина, эта загадочная, ослепительная рыжеватая красавица с тонкой усмешкой и светлым взглядом, то ласковая, нежная, даже будто робкая, то вдруг недоступная, гордая, молчаливая… Недаром Прокофьев

назвал ее принцессой, недаром, вероятно, отец с матерью советовали Николаю остерегаться ее. А между тем в ней было что-то притягивающее, чарующее, ослепительно красивое и изящное, так что Николай незаметно увлекался Ниной Сергеевной, увлекался ее красотой, изяществом и тою загадочностью, которая именно составляла для него чуть ли не большую прелесть очарования. Невольно при сравнении с этой женщиной Леночка казалась такой мизерной, такой несчастненькой, что Николай даже удивлялся, как Леночка могла хоть на минуту занять его… Нина являлась какой-то загадочной натурой, а в Леночке все было так ясно и просто, как в хорошо знакомой книге…

И Нина, по-видимому, обращала особенное внимание на Вязникова и заинтересовалась им, но вообще держала себя неровно: то обожжет его одним из тех взглядов, после которых молодой человек вздрагивал и вспыхивал, то, напротив, смотрит с такой нескрываемой насмешкой, что Николаю делалось жутко.

«Что это за женщина?» – часто думал Николай, любуясь ослепительной красавицей и чувствуя, как она дразнит его, именно дразнит, но в то же время как будто и ласкает своим чарующим взглядом… В ней была независимость, смелость, простота, какое-то отвращение к фразе и ходульности… Она не скрывала своего презрительного отношения к Горлицыну и При-

сухину, но в то же время вела самую пустую жизнь и как будто даже гордилась тем, что ничего не читает. Из разных намеков, недосказанных слов Николай узнал, что она не особенно была счастлива с мужем, что после его смерти долго жила за границей, веселилась, но затем вела самую тихую жизнь. Все ей надоело, опротивело…

Да и кроме интереса, возбужденного Ниной, Николаю понравился весь склад жизни в доме Смирновых (хотя в этом он ни за что бы не сознался): все там было так хорошо приспособлено и приурочено, все делалось вовремя, без шума, без суеты, никто никого не стеснял, даже лакеи в доме были какие-то степенные и умелые…

До завтрака все сидели по своим комнатам и делали что хотели, собирались к завтраку по звонку, и Николай видел всегда чистые, свежие платья, чистое белье, чистых лакеев. После завтрака опять каждый делал что хотел… Барышни обыкновенно читали, а Надежда Петровна снова запиралась в кабинете; затем обед, прогулки и т.п. Очень удобно жилось при такой обстановке, время было точно распределено и проходило незаметно. Невольно эта жизнь втягивала Николая и нравилась ему после сутолоки меблированных квартир и некоторой барской распущенности жизни дома. Эстетическое чувство никогда не оскорбля-

лось, грязь и суета мещанской жизни не били в глаза.

«По крайней мере умеют люди жить по-европейски».

Во время пребывания Николая в Васильевке Прокофьев обедал только один раз и, по обыкновению, молча просидел весь обед.

После обеда он подошел к Николаю и, пожимая ему руку, заметил:

– Наблюдаете еще здесь?

Николаю послышалась насмешка в тоне Прокофьева. Он вспыхнул весь. Ему вдруг сделалось совестно перед Прокофьевым за то, что он так долго гостит у этих «культурных каналий», и в то же время досадно, что Прокофьев как будто подсмеивается.

– Еще наблюдаю! – отвечал он. – Любопытная семейка! – прибавил Николай, как будто оправдываясь и досадуя, что оправдывается.

– Ничего себе, особенно принцесса. Как насчет амуров? Успеваете, а?

– Вы все изволите шутить! – сухо проговорил Николай.

– Какие шутки? Экий вы «обидчистый», как говаривала моя маленькая сестренка, – добродушно рассмеялся Прокофьев. – Ведь в самом же деле кусок лакомый… вдобавок загадочная натура… Когда же ко мне? Заходите как-нибудь – поближе познакомимся,

а теперь до свидания… пора к докладу. Скоро едете?

– Завтра.

– Смотрите, принцесса не пустит! – пошутил опять Прокофьев.

– Работать пора, и так уж довольно бью баклуши… надо за дело.

– По части писания? Насчет курицы в супе?

– Да! – почти резко ответил Вязников, задетый за живое тоном своего нового знакомого.

– Бог вам в помочь!

«Это еще что за сфинкс [22]?» – несколько раздраженно повторил Николай, поглядывая вслед Прокофьеву и чувствуя невольное уважение к «сфинксу». Какой-то спокойной силой веяло от этой мощной высокой фигуры; энергией и волей дышало его скуластое, мужественное, выразительное лицо. Непременно хотелось узнать поближе этого человека, так ли много даст он, сколько обещает.

– А мы с вами, Николай Иванович, в сад? Будем болтать? – раздался сбоку веселый голос Нины Сергеевны. – Что это вы как будто не в духе? Или господин Прокофьев нагнал на вас хандру?

– Нисколько. Вы беседовали когда-нибудь с Прокофьевым?.. Не правда ли, мужественная фигура?

– А, право, не обращала внимания! – равнодушно

---

[22] Сфинкс – здесь: человек загадочный, таинственный.

проронила Нина. – О чем он будет со мной говорить?

– Что он здесь делает?

– Да я почем знаю? Управляет на заводе, а что он делает – мне-то какое дело? Знаю только, что молчит, и это уже большая рекомендация. Так надоели все эти умные разговоры. Ужасно надоели. Ну, пойдемте… Или вы, быть может, хотите остаться с барышнями?

– Вовсе не хочу! – рассмеялся Николай.

– И даже вовсе! – засмеялась Нина, вбегая в густую аллею. – Это очень мило с вашей стороны. Если бы сестры услышали, то я бы вас не поздравила.

– И вы шутить охотница, как я посмотрю, Нина Сергеевна.

– Что значит: и вы?.. Кто еще шутит?

– Прокофьев.

– Будто? Разве он умеет шутить?

– Еще как ядовито.

– Вот как!

– Вы бы с ним поближе познакомились. Право, очень интересный человек.

– Довольно мне и вас… И вы интересный!

– Я завтра уезжаю.

– Так скоро? Надоело?

– Не то… Пора и честь знать…

Нина на секунду задумалась, потом внезапно

усмехнулась и проговорила:

– Вы решили непременно завтра бежать?

– Не бежать, а ехать. Бежать еще рано.

– И не придется… Куда вы торопитесь?

– Дела…

– Дела? – переспросила она, взглянула на Николая и рассмеялась. – Какие у вас дела?

Николай и сам рассмеялся.

– Останьтесь! – проговорила она вдруг повелительным тоном, улыбаясь в то же время так нежно и ласково, что Николай на мгновение притих и изумленно взглянул на Нину.

– Вы хотите? – прошептал он.

– Хочу.

– Так я останусь на один день.

– А на два?

– Пожалуй, и на два! – улыбнулся Николай.

– А на три?

– Вы… вы тешитесь, Нина Сергеевна… видно, вам в самом деле в деревне очень скучно!

– А то как же!

Николай любовался молодой женщиной с нескрываемым восторгом. Он взглядывал на ее пышную грудь, на ее сверкавшие ослепительной белизной плечи и вздрагивал пробуждающейся страстью молодости.

А Нина Сергеевна шла себе спокойно, точно ничего не замечая, шла вперед, в глубь аллеи, медленно обрывая на ходу сорванную ветку.

– Что же вы молчите, Николай Иванович? Останетесь три дня?

– Три дня – слишком много. Пора к старикам.

– Как хотите. Я вас прошу, потому что (она нарочно сделала паузу)… потому что с вами скучать веселей, право. Не то, что с Алексеем Алексеевичем.

– Умных разговоров не веду?

– Во-первых, умных разговоров не ведете, а во-вторых…

– А во-вторых?

– Юный вы еще… Не совсем изломанный… и то редкость!

– Благодарю за честь…

– Не благодарите пока. Поблагодарите после.

Нина произнесла последние слова как-то особенно, подчеркивая их.

– Впрочем, вам это полезно! – произнесла она, как бы отвечая на свои мысли.

– Что полезно?..

– Наблюдать людей! – рассмеялась она.

– Вы все говорите нынче загадками, Нина Сергеевна.

– Такой стих напал.

– От нечего делать?

– Пожалуй, что и так! – промолвила она и лениво зевнула…

– А с Горлицыным пробовали скучать?

Она улыбнулась.

– Пробовала, но только он невыносим, хотя, говорят, и ученый человек. Впрочем, для Нюты Штейн он будет превосходным мужем в немецком вкусе. Она будет молиться на него, вязать ему чулки и дарить ему детей, а он будет, в качестве гениального человека, третировать ее. И оба будут счастливы.

– Вы, как посмотрю, мрачно смотрите на людей.

– Ах, если б вы только знали, как они мне все надоели, эти ваши петербургские развитые люди. Я их довольно насмотрелась. До тошноты надоели, ей-богу. И все говорят, говорят, говорят, – как им не надоест! Скучно слушать. Вы вот хоть не имеете пагубного намерения развивать меня, и за то с вами не так скучно.

– Разве другие пробовали?

– Пробовали, – рассмеялась Нина. – Все, много их там, все пробовали. Горлицын даже химии учил меня.

– Вас – химии?

– Меня и… вообразите… химии! Недели две занимался, а потом рассердился и бросил, увидав, что я хохочу и над ним, и над его химией. Присухин все-таки умнее: он химии меня не учил, но больше говорил

о назначении женщины и о прелести быть другом и помощницей такого замечательного человека, как он. Разумеется, не прямо, а больше в своих красноречивых речах. Всего было! – протянула Нина. – Но самая скука в том, что обыкновенный финал всех этих попыток…

– Руку и сердце? – подсказал, смеясь, Николай.

– Вы угадали! Ужасно глупая у них манера ухаживать. Они воображают, что умные разговоры – самая лучшая увертюра к любви. Да они, впрочем, разве умеют любить? Так только, умные слова о любви говорят. Заранее знаешь, чем все это кончится, и только ждешь, скоро ли признание, или нет. Все это ужасно скучно.

Говоря, что все это «ужасно скучно», Нина Сергеевна опустила голову и в раздумье подвигалась вперед по аллее.

– Знаете ли, какой я вам дам совет, Николай Иванович, благо вы еще молоды, а я уж не молода.

– Вы… не молоды?

– Мне двадцать восемь лет, молодой человек! – произнесла она как-то степенно. – Никогда не резонерствуйте перед женщиной и не играйте комедии любви. Это может очень дорого стоить.

– Никогда не буду! – шутливо проговорил Николай.

– Не смейтесь. Теперь я серьезно говорю.

– Вас не разгадать: когда вы серьезно, когда нет.

– Выучитесь… Надеюсь, мы с вами останемся друзьями, и вы не удивите меня признанием. Правда ведь?..

– А если?.. – улыбнулся он.

– Тогда с вами будет скучно…

– И вы рассердитесь?

– Рассержусь.

«Так ли?» – подумал Николай, взглядывая на Нину.

– Так рассердитесь? – повторил он.

– И даже очень! – прошептала Нина.

Эти слова кольнули Вязникова.

– Странная вы, Нина Сергеевна!.. – произнес он.

– Странная? – переспросила она. – Вы мало еще женщин знаете! А может быть!.. Впрочем, про меня и не то говорят. Вас разве не предостерегали?

– Нет.

– Так ли? – спросила она, заглядывая Николаю в лицо.

– Положим, предостерегали.

– Я была уверена. К чему вы хотели скрыть это! Мне, право, все равно, что говорят про меня. Я к этому равнодушна.

В голосе ее звучала презрительная нота.

– Тем более что я знаю, как пишется история, особенно история хорошенькой женщины… Однако по-

вернемте назад… Мы сегодня зашли с вами далее обыкновенного. Пожалуй, Алексей Алексеевич переменит мнение насчет ваших талантов…

Они пошли назад. Нина прибавила шагу.

– И страшные вещи рассказывали? – заговорила молодая женщина.

– Ведь вам все равно.

– Вы не верите? Мне, может быть, все равно, но все-таки женское любопытство…

– Ничего страшного. И может ли быть страшное?..

– Кто знает! – тихо проронила Нина.

– Вы хотите запугать меня?

– Ничего я не хочу! – с досадой проговорила Нина. – Так как же рисовали меня, говорите?!

– Никак, просто советовали беречься.

– Пожалуй, что вам нечего было советовать…

– Отчего мне именно?..

– Мне кажется… Оттого-то с вами и весело.

Они подходили к дому. Вся компания шла к ним навстречу.

– Так вы не боитесь остаться?.. Останетесь? – поддразнивала молодая женщина.

– Чего бояться, я не из трусливых.

– Вот это славно. И скоро приедете?

– Приеду.

– И признания не сделаете?..

– Не сделаю! – рассмеялся Николай.

– Вашу руку! Значит, мы останемся друзьями и приятно проведем лето, – весело сказала она, пожимая Николаю руку, – а потом…

– Что потом?

– Да ничего. После будут новые впечатления и у вас и у меня.

– Вы до них охотница…

– А вы? Разве нет? – шепнула она, посмеиваясь как-то странно.

XIII

– Куда это вы, mesdames, собрались? – крикнула она, подбегая к сестрам.

– На озеро. Хочешь ехать, Нина? Ты, кажется, сегодня в духе и не отравишь прогулки! – засмеялась Евгения.

– Вот как рекомендуют меня сестры, Николай Иванович!.. Нечего сказать, хорошая рекомендация. Так вы удостоиваете пригласить меня?

– Приглашаем!

– Принимаю приглашение и обещаю не отравить прогулки, но, с своей стороны, также предлагаю условие.

– Какое?

– Чтобы… Вы не сердитесь, добрейший Игнатий Захарович! Чтобы Игнатий Захарович обещал не вести умных разговоров. Обещаете, Игнатий Захарович?

Молодой ученый покраснел, прищурил свои красноватые глазки, однако сохранил все тот же серьезный вид и проговорил:

– Желание Нины Сергеевны будет свято исполнено!

«И этот мозгляк думал развивать Нину Сергеевну! –

невольно пронеслось в голове у Николая. – С ней заниматься химией?! Вот-то дурак!»

Нюта Штейн, желая вознаградить молодого ученого, подняла свои большие, выпуклые глаза и взглянула на него сочувственным, долгим взглядом, словно бы говоря им: «Не сердись на нее. Она не в состоянии понять тебя!» Но, к крайнему изумлению добродушной барышни, молодой ученый строго взглянул на свою ученицу, так что она покорно опустила глаза и долго не подымала их, как бы чувствуя себя виноватой.

– Вы тоже, надеюсь, поедете, Николай Иванович?

– С удовольствием.

– А Алексей Алексеевич едет? – спросила Нина.

– И он едет!

– Да это будет превесело!

Целая компания, усевшись на долгушу [23], отправилась к озеру. Нина Сергеевна сдержала свое обещание не отравить прогулки. Она была в духе, весела, разговорчива и оживляла все общество. Она болтала без умолку, шутила с Присухиным, заставила его рассказать несколько анекдотов, – он отлично рассказал их, – добродушно останавливала молодого ученого, когда тот покушался было на серьезный разговор, и, когда приехали на озеро, спела по общей просьбе ро-

[23] Долгуша – экипаж с кузовом, помещенный на длинных дрогах.

манс. Она пела превосходно, и у нее был густой, звучный контральто. Все притихли, когда она пела.

А Николай любовался молодой женщиной, с грустью думая, что он должен ехать домой. Нина не шутя увлекла нашего молодого человека. В ней было что-то раздражающее нервы, возбуждающее любопытство, подымающее горячую молодую страсть. Хотелось заглянуть в эти смеющиеся глаза, заглянуть глубоко и узнать, что такое на душе у этой красавицы. Кто она? Бездушная ли кокетка, ищущая новых впечатлений, или одна из тех натур, которых не удовлетворяет пошлость окружающей жизни и они от тоски забавляются чем попало? Или, наконец, просто чувственная женщина; красивое животное…

«Нет, нет… Этого не может быть!» – повторял про себя Николай, негодуя, что такая мысль могла даже прийти ему в голову.

Кто бы ни была она, не все ли равно? Он никогда не встречал таких женщин, вращаясь в дни студенчества совсем в другом обществе. Она такая изящная, выхоленная, ослепительная. Ему даже казалось, что он любит молодую женщину, любит сильно. Одна мысль, что и она могла бы полюбить его, приводила Николая в восторг. Он фантазировал на эту тему в ночной тиши, лежа на кровати с зажмуренными глазами. Страсть рвалась наружу. Любуясь ею днем, он еще

сильней любовался ею в мечтах и даже мечтал, как бы они устроились. В эти минуты любовных грез он впадал в идиллически-сладострастное настроение, воображая себя счастливым мужем, а Нину счастливой женой. В образе жены она распаляла его воображение, и он долго не мог уснуть. Просыпаясь утром, он думал, как бы поскорей увидать Нину.

«Кокетничает от скуки!» – подумал и теперь Николай, испытывая ревнивую досаду, когда увидал, что Нина отошла в сторону с Присухиным и о чем-то с ним говорила, гуляя по берегу, должно быть о чем-нибудь интересном, так как Алексей Алексеевич внимательно слушал, склонив набок голову, и как-то весь сиял, сиял особенным блеском.

«И с ним она забавляется!.. С кем же она не шутит? Кто такой счастливец?» – спрашивал он себя, и боже мой, чего бы ни дал он в эти минуты, чтобы быть этим счастливцем!..

Начинало смеркаться; стали собираться домой. После весело проведенного вечера все как-то притихли.

Случайно или нет, но только Нина села около Вязникова. Было тесно, и он невольно слишком близко сидел от молодой женщины. Когда она поворачивала голову, его обдавало горячим дыханием.

– Что вы молчите? Говорите о чем-нибудь! – про-

молвила Нина.

Николай взглянул на нее в темноте. Она заметила, как сверкнули его глаза.

– Говорить… О чем говорить? Вы сами не любите, когда говорят, говорят, говорят…

Он проговорил эти слова как-то странно. Нина отвернулась и заговорила с сестрой. Когда приехали домой, чай уже был готов. Все вошли в столовую, где за пасьянсом ждала хозяйка. Незаметно Николай проскользнул на террасу и полной грудью дышал свежим воздухом, вглядываясь в мрак сада.

– Мечтаете? – раздался сзади знакомый шепот. – О чем это? Лучше пойдемте-ка пить чай, – проговорила Нина, наклоняясь к нему.

– Ну, так сердитесь же.

И с этими словами он припал к ее руке, осыпая ее поцелуями. Она не спеша отдернула руку, пожала плечами, усмехнулась и молча ушла в комнаты. Когда Николай вернулся в столовую, ее не было. Целый вечер она не показывалась, и Николай пришел в свою комнату сердитый, что попал в глупое и смешное положение. Теперь она будет смеяться. Одна мысль о том, что он смешон, приводила его в бешенство.

«Однако ж я порядочный болван!» – обругал он себя самым искреннейшим образом.

Весь дом уже спал, а Николай еще не ложился. Он

был в каком-то возбужденном состоянии: сердце билось сильней, дрожь пробегала по телу, нервы были натянуты. Он ходил взад и вперед по комнате, напрасно стараясь не думать о Нине, а между тем все мысли его были поглощены образом роскошной красавицы. То казалось ему, что она рассердилась и презирает его за его пошлую – именно пошлую – выходку, достойную разве гимназиста, или – что для нашего молодого человека было еще больнее – она смеется над ним, как смеется над Присухиным, Горлицыным и мало ли над кем еще. То, напротив, представлялось ему, и так живо, что она не сердится, нет… Она заглядывает в его глаза нежным, ласкающим, манящим взором, обвивает его шею ослепительно белыми руками и шепчет: «Я люблю тебя, люблю».

– Что за чепуха! – повторил он громко и взглянул на часы. – Уже два часа! Пора ложиться спать, но спать не хочется… душно как-то.

Николай подошел к раскрытому окну и долго стоял, всматриваясь в мрак густого, косматого сада. Хорошо так, тихо. Только ночной шорох дрожал в воздухе. Деревья не шелохнутся. Небо блестело звездами. Ласкающей свежестью дышала прелестная, тихая ночь.

Николай затушил свечку, присел у окна и задумался. На него нашло мечтательное настроение. Тоска молодой страсти, безотчетная тоска охватила его. В

эту минуту ему казалось, что он очень несчастлив. Хотелось с кем-нибудь поделиться своим горем, но непременно с женщиной, с красивой женщиной.

Снизу раздался тихий скрип, точно отворились двери. Николай невольно вздрогнул и напряженно смотрел вниз. Опять скрипнула половица на террасе, через мгновение белая тень мелькнула перед его глазами и скрылась в глубине сада. Снова все стихло.

«Это она! – блеснула мысль у Николая, и он тотчас же решил идти вслед за нею. – Это непременно Нина!»

Он спустился вниз, осторожно через темную залу вышел на террасу и пошел в глубь сада, прислушиваясь напряженным ухом и напрягая взор: не мелькнет ли белая тень? Сдерживая дыхание, подвигался он вперед, но никого не было. «Уж не галлюцинация ли?» Он шел дальше, по направлению к беседке. Вдруг до него долетели тихие голоса. Они показались ему какими-то мягкими, нежными.

– В беседке… свидание, верно! – шепнул ревниво он и, не думая, что делает, как тень подвигался вперед.

Он был в нескольких шагах от беседки и притаился за деревом. Мягкий звук поцелуя отчетливо прозвучал в ночной тиши, еще, еще и еще.

– Так вот она, разгадка!.. Кто ж этот счастливец?

Неужели Присухин, неужели Горлицын?

Едва успел он подумать, как из беседки раздался тихий мужской голос и вслед за тем сдержанный, ласкающий смех. Николай сразу узнал этот смех, но голос? Чей этот знакомый, мужественный, повелительный голос?

Он жадно вслушивался и в изумлении остолбенел.

– Прокофьев! – вырвался из груди Николая беззвучный шепот. – Вот кто этот счастливец, а она, она… хитрая!

Он бросился прочь и долго бродил, как шальной, в темноте сада. Это открытие совсем поразило его.

– Прокофьев и Нина! Удивительно!

Невольно тянуло его снова к беседке. Опять долетели звуки поцелуев. Опять шепот, замиравший в ночной тиши. Николай пошел было назад, как до ушей его долетело его имя, вслед за которым раздался смех. Он остановился.

– Готов и этот нежный юноша? – насмешливо произнес Прокофьев. – Для счета?

– От нечего делать! – засмеялась Нина.

– Не надоело еще?

– Тебе это не нравится? – покорно сказала Нина.

– С богом! – как-то насмешливо произнес Прокофьев. – Хищная у тебя природа. Только, смотри, не дошутись. Он ничего, юноша красивый и насчет аму-

ров, должно быть, ходок…

Николаю показалось, что в голосе Прокофьева звучало раздражение.

– Послушай, ведь ты знаешь… видишь…

– Вижу и знаю. Нечего нам уверять друг друга, но только… а впрочем, что говорить! Тебя разве убедишь? – усмехнулся Прокофьев. – Когда его отправляешь?

– Послезавтра.

– Оставила на денек! Экая ты какая… Ну, однако, пора мне. Завтра еду.

– Завтра? И до сих пор ничего не сказал? Надолго?

– Не знаю.

– Куда… можно спросить? – послышался робкий вопрос Нины.

– Не все ли тебе равно куда? Дела.

– Странные у тебя дела! Три месяца пропадал, три месяца не писал. Я и не знаю, что ты делаешь!

– И к чему знать тебе?

– Тайны? – усмехнулась Нина.

– Тайны, моя милая… Могу только заверить тебя, что не любовные… Ну, до свиданья. Поцелуй еще раз… вот так. Да смотри, пожалей Сердечкина. Сердце у него нежное, у этого юбочника. Не смущай его… Может, из него и толк выйдет, если между хорошими людьми будет вертеться… Свежесть есть…

– Уж не ревнуешь ли ты?

– Этим не грешен, кажется… а все ж предупреди, если готовишь его в кандидаты на мое место.

– Ты с ума сошел? Тебя променять на кого-нибудь? Тебя?

– Отчего ж?

Голос Прокофьева вздрогнул, когда он сказал эти слова.

Снова послышался шепот.

– Полно, полно, Нина… я пошутил.

– Дай хоть знать о себе! – сквозь слезы говорила Нина. – Долго не видать тебя, не знать о тебе – ведь это мука. Мало ли что может случиться!

«Они давно знают друг друга!» – пронеслось в голове Николая.

– Упреки? – резко сказал мужской голос.

– Что ты, что ты! Я разве жалуюсь?

В голосе ее звучала тревога и мольба.

– По крайней мере, если можешь, скажи приблизительно, когда ждать?

– Через две недели. А если не буду, получишь известие через Лаврентьева.

– Деньги возьмешь?

– Нет, пусть остаются у тебя. Да не болтай вообще. Твоя мать…

Он понизил голос, так что Николай ничего не слы-

хал.

– Пора, пора! С тобой и время забудешь. Прощай, рыбка моя… прощай, Нинушка, царевна моя ненаглядная! – с глубокой нежностью проговорил Прокофьев. – Если что, не поминай лихом.

Послышались рыдания.

Николай скоро был в комнате. Он разделся, лег в постель, но заснуть не мог. Самолюбие его было ужалено. Его жалели, о нем говорили с небрежностью, над ним издевались. Он вспоминал разговор в беседке, и куда девалось горячее его чувство к Нине! Молодая женщина была права: любовь его как рукой сняло. Он был почти равнодушен к Нине Сергеевне.

– Но кто этот таинственный Ринальдо [24]? Почему он смеет так говорить о нем? Сам-то он что за птица? – повторял молодой человек, ворочаясь с боку на бок и завидуя счастливцу. О, как хотелось ему доказать этому Прокофьеву, которого он совсем не знал, всем доказать, что он далеко не мягкосердый юноша, что из него выйдет толк, что он готов на все честное, хорошее, что он пострадать готов за свои убеждения… И он докажет это, непременно докажет…

Николай под утро наконец заснул, после того как он

---

[24] Ринальдо – имя героя популярного романа о «таинственных и благородных разбойниках» немецкого писателя Х.А.Вульпиуса (1762-1827) «Ринальдо Ринальдини» (1798).

в мечтах совершил много хороших дел, обнаруживших силу его характера и доблесть, и подосадовал, что Нина так скверно над ним подшутила.

Когда на следующий день снопы яркого света ворвались в комнату Николая и он проснулся, первою его мыслью было уехать поскорей из Васильевки. В самом деле, он долго здесь бил баклуши… Пора бросить глупости и домой за работу; ему так много надо прочесть еще, а он целую неделю сибаритствовал среди этих «культурных каналий»…

Он чувствовал в эти минуты особенную бодрость, жажду к работе… В голове его роились планы превосходной статьи… Он напишет ее, о ней все заговорят… Она произведет впечатление… Господин Прокофьев прикусит язык и не скажет, что писать не стоит…

Странное дело! Николай сердился на Прокофьева и жаждал его одобрения… Ему почему-то хотелось подняться во мнении этого человека, так напоминавшего Мирзоева… Ему было и досадно и обидно, что о нем Прокофьев так небрежно говорил… Он непременно поближе с ним познакомится…

Но какое ему дело до Прокофьева? – вспомнил Николай и озлился.

– Наплевать мне на его мнение! – с сердцем проговорил он, но в то же время чувствовал, что это не так, что он только говорит «наплевать», а, в сущности,

«наплевать» он не может, и не только на мнение Прокофьева, но и на мнение многих людей, которых он даже считал не особенно хорошими. Он стал припоминать и, к досаде его, припомнились разные подробности, как будто подтверждающие эту сторону его характера… Но он старался объяснить эти подробности иначе и в конце концов решил, что он самостоятельный человек, и еще раз утешил себя тем, что ему «наплевать!»

Недовольный, мрачный, сошел он к завтраку, хотя и напрягал все усилия, чтобы скрыть дурное расположение духа, но при своем сангвиническом темпераменте он не мог владеть собой, так что все обратили на него внимание и осведомлялись, здоров ли он, хорошо ли спал, и т.п.

Николай поспешил ответить, что совсем здоров и отлично спал. Он взглянул на Нину. Молодая женщина, по обыкновению свежая и ослепительная, сидела себе как ни в чем не бывало. Только – показалось Николаю – лицо ее сегодня было серьезнее, вот и все.

Он не обращал более на нее внимания и болтал с Евгенией… Нина Сергеевна равнодушно подняла на него глаза и про себя усмехнулась.

Когда Николай объявил, что завтра утром едет домой, и, несмотря на общие просьбы, решительно отказался остаться, Нина Сергеевна не без изумления

взглянула на Николая. После завтрака она подошла к нему и спросила:

– Вы в самом деле едете?

– В самом деле…

– Что так? Хотели остаться поскучать вместе и вдруг бежать. Испугались?

– Испугался! – иронически ответил он.

Она пристально взглянула на Николая, и от нее не укрылась перемена, происшедшая в нем. Он уж смотрел на нее и говорил с ней не так, как вчера. Николаю показалось, что на лице молодой женщины скользнуло выражение испуга, но это было на мгновение… Глаза ее снова светились чарующим взглядом, все лицо ее улыбалось.

– Нет, без шуток, отчего вы едете? – ласково-заискивающим тоном спрашивала Нина. – Отчего вдруг изменили намерение?

– Пора ехать, Нина Сергеевна… И так я засиделся здесь и довольно уже наглупил! – прибавил он тише.

– А! – протянула она и больше не расспрашивала.

«Успокоилась!» – подумал Николай, когда Нина отошла от него.

И правда; Нина Сергеевна не заговорила больше в течение дня с молодым человеком и вечером простилась с ним очень холодно, даже не приглашала его приехать. Смирнова и барышни, напротив, любезно

упрашивали Николая не забывать их.

– Вы непременно помогите нам устроить школу! – снова заговорила о школе Надежда Петровна. – Эту неделю я так была занята, что не успела заняться этим делом! С имением теперь столько хлопот, столько дел! – жаловалась Смирнова. – Крестьяне положительно не признают права собственности… рубят лес, портят поля… Счастливый! Вы не хозяйничаете…

Рано утром на следующий день Николай ехал домой и обрадовался, завидев родное свое гнездо.

– Работать, работать! – воскликнул он в каком-то одушевлении.

XIV

– Загостился ты, Коля. Целую неделю просидел там! – встретил Николая отец, горячо обнимая сына. – Разве так весело было?

– Не весело, а скорей интересно…

Старик пристально взглянул на Николая и, улыбаясь, повторил:

– Интересно?..

– Кто тебе там больше всех понравился?.. Рассказывай-ка! – спрашивала Марья Степановна, радостная, что Николай вернулся.

Признаться, она-таки очень беспокоилась, что Николай так долго гостит у Смирновых, и хотела было послать за ним лошадей, но Вязников остановил ее:

– Сам вернется… Пусть развлечется мальчик!

Николай не без юмора описал все семейство, рассказал о Присухине, о Горлицыне и несколько дольше остановился на Нине Сергеевне.

– Понравилась она тебе?

– Сперва – да… Немножко! – краснея, отвечал Николай.

– А потом? – допытывалась Марья Степановна.

– Потом – нет!

– Разгадал ее?

– Нет, мама… Эту женщину не так легко разгадать. Бог ее знает что она за человек. Во всяком случае, оригинальный…

– Просто пустая женщина; право, Коля, пустая, и больше ничего! – быстро подхватила Марья Степановна.

– Да ты что так горячишься? – улыбнулся Николай. – Не бойся, я не влюблен.

– Долго ли?.. Она большая кокетка.

– Ты, мама, уж слишком преувеличиваешь. Почему, ты советовала остерегаться ее?

– Не спрашивай, Коля. Бог с ней. Я не люблю, ты знаешь, повторять слухи, а о ней говорят нехорошие вещи…

– Мало ли что говорят, мама!

– И бог с ними. А я не судья чужих поступков! – кротко заметила Марья Степановна.

– Здорово, Васюк, здорово, братишка! – весело окликнул Николай, входя в комнату к брату. – О чем это ты размечтался?

Вася лежал на кровати одетый, в длинных своих сапогах и картузе, с закинутыми назад руками.

Он медленно повернул голову при восклицании Николая. Когда Николай приблизился и взглянул на Васю, то поражен был страдальческим выражением его лица. Видно было, какая-то упорная мысль болезнен-

но работала в нем.

– Что с тобой, Вася?

Юноша поднялся с кровати, пожал крепко руку брата, улыбнулся кроткой своей улыбкой и проговорил:

– Я и не слыхал, как ты приехал. Впрочем, я и сам только что вернулся. В Залесье был.

– Да что с тобой? Ты какой-то возбужденный.

– Так нельзя наконец. Нельзя ведь так, Коля! – заговорил он тихим, странным голосом, медленно шагая по комнате. – Рассуди сам, можно ли так? Ведь это жестоко, совсем жестоко!

Он остановился прямо против Николая и глядел на него, но едва ли видел брата. Взор его голубых глаз убегал куда-то внутрь.

– Да ты о чем? Я ничего не понимаю.

– Неужели нигде нет правды, Коля? Неужели? О господи!

– Что случилось?

– Ты разве не знаешь? Да, ты у Смирновых был, я и забыл! – прибавил он. – Случилось, Коля, большое несчастье в Залесье. У мужиков там скоро все продадут, нищие будут совсем. Я только что оттуда. Через три недели приедет пристав… Если бы ты видел, какое отчаяние!

– За что продадут?

– По иску Кривошейнова. Он дал им в прошлом году

деньги под залог построек и хлеба и теперь требует их… У них ничего нет… Я был у Лаврентьева. У него тоже денег нет. Послушай, не знаешь ли ты, как помочь? – в волнении проговорил Вася. – Иначе может быть большое несчастие.

– Как ты волнуешься! В первый раз, что ли, узнал?

– Я давно знал, но теперь сам видел. Хочешь – поедем, увидишь, что делается в Залесье. Я папе говорил, и он сказал, что ничего нельзя сделать. Неужели ничего?.. И это совершается на глазах у всех!

– Что делать, Вася! Успокойся. Если из-за таких вещей волноваться, то тогда и жить нельзя.

– А разве можно видеть это и… жить? – произнес он глухим голосом.

Он умолк. Напрасно Николай старался его успокоить.

Вася, не прерывая, слушал горячие речи брата, недоверчиво покачивая головой.

– Все то, что ты говоришь, Коля, я слышал уже. Вот и папа почти то же говорит… Оба вы, знаю я, честные, хорошие, добрые, но – прости меня, брат, – от ваших слов не легче, и никак не убедят они меня.

– Ты просто болен, брат, вот что я тебе скажу…

– Может быть, и болен… пожалуй, что и болен!.. – подхватил Вася. – Иной раз думаешь, думаешь… просто до боли думаешь, и, что всего ужаснее, то есть

больнее, что ничего не придумаешь, и сознаешь себя таким дрянным, ничтожным, себялюбивым подлецом…

– Что ты, что ты! – улыбнулся брат.

– Смейся, Коля, а оно так… Ах, когда-нибудь открою я тебе свою душу… Больная она в самом деле… Ты вот говоришь: все так живут… А почему все так живут? Отчего иначе не живут? Разве нельзя иначе жить? Неужто вечно брат должен терзать своего брата?..

Он остановился, задумчиво взглянул на Николая и продолжал:

– Отчего Петр готовит нам кушанье, а я не готовлю? Отчего ж я вот и ем каждый день, и сплю на постели, а другие голодны и не призрены? Отчего? Где узнаю я, отчего?.. Кто объяснит это?.. Ты опять скажешь: все так, но мне-то, мне, моей душе разве от этого легче? Пойми ты!

Он с какой-то болью произнес эти слова, ожидая возражения, но Николай молчал, изумленный исповедью бледнолицего юноши.

«Откуда все эти мысли? Как он дошел до такого состояния?» – спрашивал себя Николай, вспоминая прежнего Васю. Прежний Вася не такой был, казалось ему.

– Ты вот говоришь, и папа тоже говорит, что надо

быть добрым, честным, но как быть добрым, как быть честным? И разве я честен, разве добр?.. Подлец я, Коля, вот кто я такой… Я все раздумываю, а ведь давно бы следовало делать…

– Что делать?..

– Жить иначе… Какое имею я право жить так?.. Ответь мне…

И, не дожидаясь ответа, Вася продолжал:

– Ты вот думаешь, что всегда будет так, всегда человек будет делать другому зло, а я верю… глубоко верю, что так не будет и не должно быть… Не может быть… иначе зачем же столько мучеников прежде было?.. Зачем Спаситель был распят, если бы он не верил?.. Нет, Коля, ты вот образованный человек и знаешь больше меня, а говоришь неубедительно. Оно как будто и правда, а душа чувствует неправду. И кругом, кругом ложь… говорят, любят бога, а сами?!. Взгляни-ка ты на залесских мужиков… каково им из-за одного человека? И – удивительно! – он и без того богат, этот Кривошейнов, к чему ему еще богатство?.. Что делать с ним? На что, например, Смирнова оттягивает лес у мужиков, который им отдан, она знает хорошо это, покойником ее отцом? За то, что бумаг нет?

– Разве это правда?

– Правда. Лаврентьев говорил, а он говорит только о том, что знает… Курс кончить?! – отвечал как бы са-

мому себе Вася. – Папа, вижу я, сердится, что я не готовлюсь в академию. Но к чему мне готовиться? Разве, если я буду доктором, я стану лучше?.. Или с годами пройдет все, и я повторять буду, что все так? Нет, Коля, я не могу… Я чувствую, что так нельзя. А как нужно – тоже не вполне понимаю. Но я дойду до этого… дойду.

Вдруг Вася остановился и, как бы спохватившись, промолвил:

– Ты, Коля, извини… Я тебя своими мыслями занимаю и, верно, тебе надоело, а ты и не скажешь…

Николай обнял Васю и заметил:

– Экий ты какой!.. Говори, говори… легче станет… Не надоел ты мне… Рассказывай все… я охотно слушаю…

– Не умею я говорить… всего не перескажешь… Ах, Коля, если бы я был, как прежде… верующий… Помнишь?

– А теперь?

Вася безнадежно покачал головой.

– Тогда бы лучше было!..

Он замолчал и продолжал молча ходить по комнате. Потом вдруг остановился и прошептал:

– Человек же и Кривошейнов… И у него душа должна же быть… Как думаешь, брат?

Николай засмеялся.

– Сомневаюсь…

– Напрасно. Нет злодея, который бы не смягчился… Да и есть ли злодеи-то?..

Опять, видно было, в голове у юноши поднялась какая-то внутренняя работа.

– По-твоему, злодеи есть, Коля?

– Есть.

– А мне сдается, кет их!

– Знаешь ли, что я придумал, брат? – сказал Николай. – Напишу-ка я корреспонденцию о твоем злодее… Быть может, обратят внимание и продажа в Залесье остановится…

Вася сперва обрадовался.

– Только смотри, Коля, напиши хорошо… Все расскажи. Но только подожди посылать ее до завтрашнего вечера. Быть может, и не надо.

– Отчего? – удивился Николай.

– Так… у меня один план есть! – серьезно проговорил Вася. – Попробую.

– Секрет?

– Теперь не спрашивай. Да вот еще что, Коля: не говори ты маме ни слова о нашем разговоре. Она и так все волнуется, глядя на меня. К чему огорчать ее, голубушку нашу? И вообще никому не говори лучше. После все объяснится! – как-то загадочно прибавил он. – Я с папой сам переговорю.

Вася несколько успокоился и спустя несколько времени рассказал брату, что Лаврентьев очень зовет его к себе и что Леночка была эти дни нездорова.

– Что с ней?

– Не знаю. Доктора не хотела. Раздражительная стала какая-то… похудела, голова болела все. Григорий Николаевич очень скорбел за Елену Ивановну. Теперь, впрочем, ей лучше. Да, я и забыл: она о тебе спрашивала, просила дать знать, когда ты приедешь. Удивлялась, что ты засел у Смирновых. Я и сам, признаться, дивился. Разве там приятно было тебе?

– Надо, Вася, побольше людей видать, иначе односторонне судить о них станешь. Кстати, я там с Прокофьевым познакомился. Ты, кажется, знаешь его?

– Видел у Лаврентьева!

– Нравится он тебе?

– Я мало его знаю, но слышал, что это замечательный человек! – проговорил с каким-то благоговейным восторгом Вася.

– Ты, брат, слишком увлекаешься. Человека раздругой видел – и уж замечательный человек.

– Тебе разве Прокофьев не нравится? – удивился Вася.

– Я не к тому. Я вообще! – заметил Николай, чувствуя почему-то досаду на то, что Вася так восторженно относится к Прокофьеву. – Так Леночка, ты гово-

ришь, обо мне спрашивала?

– Да, спрашивала, – прошептал Вася. – Ты зайдешь к ней?

– Зайду как-нибудь.

– Хороший она человек, и Лаврентьев хороший. И как он ее любит, если б ты знал, Коля! – проговорил Вася и вдруг покраснел.

– К чему ты говоришь об этом?

– Так, к слову!.. – шепнул Вася и снова заходил по комнате.

«Как все принимает близко к сердцу, бедняга! Того и гляди сделает какую-нибудь непоправимую глупость! – раздумывал Николай, оставшись один. – И ничем не убедишь его».

В тот же вечер, после чая, отец говорил Николаю о Васе с большим сокрушением. Его удивляла его болезненная мечтательность, и он не знал, как быть с юношей.

– Ты видел, как расстроило его известие о продаже имущества крестьян?

– Да. Бедняга сам не свой. Действительно, возмутительная история.

– Кто спорит – история гнусная, но что поделаешь?.. Мало ли скверного в жизни! Нельзя же на этом основании приходить в отчаяние. Он утром пришел ко мне таким страдальцем, что я испугался сперва, а де-

ло-то все оказалось самое обыкновенное у нас. Вообще Вася меня беспокоит. Совсем странный мальчик. У него какая-то беспощадная логика, чуткость, доходящая до болезненности. Отчасти я виноват в этом! – с грустью проговорил старик.

– Ты? Ты-то чем виноват?

– Мало наблюдал за ним, когда он был ребенком. У него и тогда был особенный характер, а теперь он развился в уродливом направлении. Это – несчастная натура. Для него мысль и дело неразлучны, и он может дойти до нелепостей. Ты бы подействовал на него.

– Едва ли.

– И то. Он кроток, мягок, но независим! – вздохнул старик. – Пристал ко мне, чтобы я помог… И без того меня, старика, беспокойным считают. Я стал убеждать Васю, и он ушел от меня грустный, сосредоточенный. Да, странные теперь времена!.. Ребята и те страдают. Прежде мы в семнадцать лет не страдали. И бог еще знает что лучше!.. Что, как Вася?.. Успокоился?

– Кажется.

– У него склад какой-то странный, – продолжал старик. – Все его мучат вопросы неразрешимые. Одно утешает меня, что с годами он поймет тщету мечты о всеобщем благоденствии и станет трезвее смотреть

на вещи. Мечтать всю жизнь – невозможно.

Старик долго еще говорил на эту тему и долго еще думал о Васе, ворочаясь на постели.

Он жалел сына и в то же время с ужасом думал, что из него может выйти человек, способный разбить кумиры, которым он, старик, всю жизнь поклонялся и свято чтил… Этого старик перенести не мог.

«Утопистов», как он называл всех сомневающихся современной цивилизации, он считал варварами и безумцами.

– Никогда толпа, как бы ни была она сыта, не может дать миру то, что дали ему высшие умы. При господстве толпы, при культе скромного довольства разве возможно могущество и проявления гения? Дух исчезнет, и вместо господства духа будет царить накормленная посредственность. Это невозможно, ужасно, бессмысленно!

Так нередко говорил в задушевной беседе, потрясая своим могучим кулаком и взмахивая львиной своей гривой, Иван Андреевич, когда-то ярый фурьерист [25].

Для Вязникова всякие «утопии» были покушением на личность, а личность он считал неприкосновенной.

---

[25] Фурьерист – последователь учения французского социалиста-утописта Ш.Фурье (1772-1837).

XV

А наш юный «безумец» тоже плохо спал ночь, обдумывая свой план. Рано утром на следующий день он проснулся, по обыкновению сделал свои гимнастические упражнения, – он «закалял» себя, находя, что без этого человек ни на что не годен, – потом сходил купаться и, напившись чаю, вышел из дому и зашагал по проселку, задумчиво опустив голову.

Он шел, ни на что не обращая внимания, серьезный и сосредоточенный, казалось, не чувствуя усталости, хотя прошел уже около десяти верст. Солнце порядочно пекло, и пот градом катился с его побледневшего лица. Он прибавил шагу, но скоро должен был остановиться, почувствовав одышку. Впалая грудь юноши тяжело дышала, и в ней что-то ныло. Он прижал своими тонкими пальцами грудь, словно желая утишить боль, и опустился на землю. Слабое тело не выдержало сильного напряжения.

– Бессильный, слабый я какой! Надо еще долго закалять себя! – грустно прошептал Вася, закашливаясь.

Он прилег на траву, глядя своими чудными, большими глазами на светлое, синее небо, и мятежное его сердце притихло под наплывом надежды. Он проле-

жал несколько минут и снова, бодрый, пошел далее.

Двенадцатая верста кончалась, когда он завидел большой старый барский дом, стоявший среди густого старинного сада. Он прибавил шагу и через четверть часа входил на двор усадьбы, принадлежавшей Кузьме Петровичу Кривошейнову, или, как называли его в околотке, «живодеру Кузьке».

Кузьма Петрович Кривошейнов еще лет двадцать тому назад был простой, умный мужик, снимал у Вязникова мельницу и занимался, как он говорил, «по малости» разными делами. Преимущественно он терся около мужиков, давал им на проценты деньги, скупал хлеб и т.п. В течение десяти лет он нажил громадное состояние, записался в купцы, купил громадное имение от разорившегося помещика Лычкова и сделался очень влиятельным человеком в уезде. Он был гласным, почетным мировым судьей [26]; ему почти все были должны, все водили с ним знакомство, у него обедал раз губернатор и заезжал всегда при объездах архиерей, – одним словом, «Кузька» был один из тех «новых людей», которые вдруг, как грибы, выросли на развалинах вымирающего барства.

К нему-то и пробирался теперь Вася.

– Где тут Кривошейнов живет? В большом доме или

---

[26] Гласный, почетный мировой судья – должность, выборная уездным земским собранием.

во флигеле? – осведомился Вася у бабы, проходившей по двору.

– Кузьма Петрович? А ступай во флигель, наверх. В хоромінах он не живет, только когда гости приезжают, а то во флигеле. Наниматься?

– Нет, по своим делам.

– По делам? Много и по делам ходят! – промолвила баба, оглядывая с жалостливым участием бледного усталого юношу. – А я подумала – наниматься. Писарек требуется. Намедни он Федота Алексеевича расчел. Ступай, паренек, вон сюда, в этот флигель, ступай с богом!

Вася поднялся наверх и вошел чрез отворенные двери в прихожую, а оттуда в залу, уставленную без толку разнокалиберной мебелью, с лубочными литографиями на стенах, старинными фортепианами и большим образом Спасителя в углу, перед которым теплилась лампада. На окнах красовались большие бутыли с наливками, по столам стояли маленькие деревянные чашки с «пробами» хлебов. В комнате было не прибрано, пахло затхлостью.

Вася с минуту постоял, думая, что кто-нибудь войдет, но никто не входил. Двери в соседнюю комнату были притворены; оттуда доносился звук костяшек, щелкавших по счетам. Вася кашлянул – никто не отозвался. Тогда он приотворил двери.

– Кто здесь? – окликнул громкий, несколько сипловатый голос. – Ступай сюда!

Вася вошел в небольшую комнату, где за небольшим столиком, накрытым сукном, сидел плотный, крякжистый, добродушный на вид мужик лет под пятьдесят, в цветной рубахе с расстегнутым воротом, из-под которого краснела загорелая, багровая, жилистая шея. При входе Васи толстые пальцы одной руки замерли на счетах, и умные глаза остановились на юноше зорким, несколько недоумевающим взглядом.

– Вы господин Кривошейнов? – тихо, почти робко проговорил Вася.

– Я самый!.. – произнес Кузьма Петрович, продолжая недоумевать, к какому разряду людей следует отнести этого гостя.

– Я к вам, Кузьма Петрович, по очень важному делу. Я, видите ли… Вы позволите оторвать вас на несколько времени?

– Милости просим садиться… Какое такое ваше дело?.. Как прикажете звать вас?.. – сказал Кузьма Петрович, отбрасывая ловким жестом костяшки и придвигаясь поближе к столу.

– Меня зовут Вязников… Василий Вязников… Верно, слышали?

– Василий Иванович! – воскликнул Кузьма, протяги-

вая руку. – Как же, как же… Очень даже хорошо знаем и почтенного родителя вашего, и матушку вашу, и вас помню, вы тогда ребеночком были… Я у вас мельницу снимал… Вы-то, чай, не помните?.. Чайку не хотите ли, Василий Иванович? Вот гость-то нежданный! Не угодно? Как хотите, а то бы мигом самоварчик… Выпейте, право…

Кузьма Петрович говорил с таким добродушием и казалось, так обрадовался гостю, что Вася еще более сконфузился и как бы недоумевал, глядя на этого самого словоохотливого, добродушного и веселого человека, известного под названием «живодера Кузьки».

– Благодарю вас, Кузьма Петрович, я только что пил чай.

– Как хотите, упрашивать не смею!.. – продолжал Кузьма, соображая, по каким таким важным делам мог прийти к нему сынок Ивана Андреевича. Кузьма хорошо знал, что Вязников терпеть его не мог, и относился к нему с презрением.

«Уж не прогорает ли старый барин?» – подумал не без злорадного чувства Кузьма и снова заговорил:

– Как поживают Иван Андреевич и Марья Степановна? В добром ли находятся здоровье? Слышал я, будто Николай Иванович приехали? То-то радость, должно быть. Так какое такое важное дело, Василий Ива-

нович? Я, вы знаете, завсегда со всем моим удовольствием для вашего семейства.

– Не для нас. Что нам! Я пришел вас просить за залесских мужиков, Кузьма Петрович. Через две недели назначена в Залесье продажа по вашей претензии, и они будут несчастными. Не делайте этого, не делайте, прошу вас… Пожалейте людей! – проговорил Вася в волнении.

Просьба эта была так неожиданна, что Кузьма изумленно раскрыл глаза и не знал, что и сказать. А Вася между тем продолжал:

– Заплатить им нечем, а продадут все – нищими люди станут… Разве так можно? Разве вам не жалко, Кузьма Петрович?

Кузьма наконец понял, в чем дело. Он усмехнулся, взглядывая на взволнованного юношу, и проговорил:

– Так вот какое у вас важное дело! А я думал, в самом деле вы за делом. Вы, барин молодой, напрасно путаетесь не в свое дело. Чай, по младости. Коли жалко, вы бы тятеньку попросили внести мне денежки за залесских мужиков. Оно бы и в порядке было. Всего пятнадцать тысяч.

– У отца нет таких денег, я просил! – серьезно проговорил Вася.

– Ну, сами заплатите, коли у него нет.

– Вы шутите, Кузьма Петрович? Разве можно те-

перь смеяться?

Кузьма захихикал снова.

– Как тут не смеяться? Пришел молодой барин и говорит: не получай, Кузьма Петрович, своих денег. Денежки-то у меня кровные, сударь, не барские, а кровные. Так как же мне не получать? Залесские мужики давно мне известны, знаю я мужика – сам мужик: понатужатся – внесут, а не внесут – сами виноваты. Дураков учить надо, а не то что потакать им? Разве я неволил их? Сами пришли: помоги, Кузьма Петрович. Так должен я свои-то кровные получить или нет? И слушать-то ваши слова – смехота одна. Вам бабы намололи, а вы… Напрасно изволили пожаловать, – сердито оборвал Кузьма. – Разодолжили, нечего сказать… Ха-ха-ха!..

– Не сердитесь, прошу вас. Я не с тем пришел; не сердить, а объяснить пришел вам, Кузьма Петрович. Именно объяснить. Вы, верно, не верите в человека и про всякого думаете, что подлец, а я вот верю, и в вас верю. Вы только подумайте, Кузьма Петрович, разве для того живут люди, чтобы мучить слабых и беззащитных? Вот там у вас, – махнул Вася на двери, – лампада теплится перед образом Спасителя. Вы ведь знаете, чему учил он? Любить ближнего! А разве любите вы ближнего? Да и вам-то самому легко, что ли, так жить? Я полагаю, тяжело. Точно вы не знаете, как

проклинают вас… Разве весело? Это ужасно! Из-за вас народ стонет, вы разве не слышите? Сколько разорения, слез-то сколько! И чего ради? Из-за чего сами-то хлопочете зло делать? Богатства ради? Так разве вы не богаты? Да и можно разве быть счастливым, если около вас все несчастливы? Вы, Кузьма Петрович, чуть-чуть подумайте, оглянитесь, сердце-то смягчите и поймите, что есть другое, настоящее счастье – делать добро, а не зло. Кузьма Петрович! – с мольбою в голосе воскликнул Вася, – не разоряйте Залесья, не разоряйте и без того нищий народ! Отсрочьте хоть на год взыскание. Умоляю вас ради страдальцев, ради самого вас.

«Безумец» юноша, говоривший такие речи перед «Кузькой-живодером», никогда не дававшим никому пощады, смолк, и надеждой светился его восторженный взор. От волнения он был совсем бледен; крупные капли пота сбегали по белому его лбу. Какою-то наивной красотой сияло болезненное, необыкновенно серьезное его лицо. Из впалой и болезненной груди его вырывалось учащенное дыхание.

Кузьма Петрович сперва слушал длинный монолог и взглядывал на тщедушную, долговязую фигуру барчука, как на веселое представление, но потом насмешливое выражение сменилось другим, угрюмым. Довольно потешаться. «Шальной барчук», пришед-

ший поучать его, как жить, осердил Кузьму.

– Тятенька-то ваш знает, какими делами вы занимаетесь?

– Какими делами? – недоумевая, спросил Вася.

– Да этими самыми, ась? Это по каким правам вы ко мне пришли экие речи говорить? Нынче и без того везде пошел соблазн, а вы, барчонок, вместо того чтобы наукам обучаться, людей стращатъ ходите. За это по головке не гладят. Вот сейчас урядника свистну, и… хорошо, что ли, будет? Тоже!.. Идите-ка с богом лучше да тятеньке скажите, что не годится за последышем не смотреть. То-то! Ах ты господи! Всякий щенок нынче учит.

Вася никак не ожидал подобного исхода и совсем переконфузился. Долгим, странным взглядом посмотрел он на Кузьму, встал, тихо вышел из комнаты, тихо спустился на двор и в раздумье побрел по дороге, недоумевая, как Кузьма не понял таких простых вещей, какие он ему, кажется, так ясно объяснил.

Впоследствии, вспоминая об этом эпизоде, Вася грустно улыбался над самим собой, но теперь ему было не до смеха.

Печальный, возвратился он к брату и сказал:

– Посылай корреспонденцию, Коля. Готова она?

– Готова. Завтра утром отошлем.

Вася прочел и остался доволен, но не совсем.

– Очень уж ты Кривошейнова бранишь. Этим больше еще ожесточишь его. Я все-таки стою на том, что он не злодей, каким ты его описываешь.

– А кто же?

– Безумец. Не ведает, что творит.

– Тогда все безумцы?

– Все…

– И следует, значит, прощать всем?

– Прощать – да, но в то же время…

Вася задумался.

– Что же дальше-то? Говори, философ.

– Нет, нет… не скажу. Я не знаю еще сам, что дальше! – прошептал Вася, пугаясь мысли, мелькнувшей в его голове.

Тяжелые дни переживал юноша, испытывая муки сомнений, неясных дум в поисках за истиной. Много страниц исписал он в своем дневнике.

– Да как же жить-то, что же делать? – нередко с тоскою шептал он по ночам, лежа в темноте с открытыми глазами.

По-видимому, он был совершенно спокоен в ожидании продажи имущества залесских мужиков, так что даже старик Вязников немного успокоился, вообразив, что волнение, выказанное им, было только вспышкой горячего сердца.

А между тем какие планы не копошились только в

голове Васи, чтобы спасти мужиков от разорения! На действие статьи брата он мало рассчитывал.

XVI

Николай засел за работу. Он принялся с увлечением, работал запоем, не отрываясь от письменного стола по нескольку часов сряду, так что Марья Степановна нередко приходила к нему и упрашивала его отдохнуть.

– Изнуришь ты себя так, голубчик мой! – говорила добрая женщина, любуясь сыном. – Ты бы работал каждый день понемногу, а не то что сразу. Долго ли так и надорваться?

Улыбаясь, слушал Николай, советы матери, обещал послушаться их и, разумеется, не слушался. Привычка к такой работе, нервной, спешной, укоренилась в нем давно и еще с малолетства, как у многих, очень даже многих русских людей. Надеясь на свои силы с какой-то удивительной бесшабашностью, обладая изрядной ленью, он привык откладывать всякое дело до последнего момента, рассчитывая, что он его одолеет, и, когда наступал такой момент, он принимался за него с лихорадочной поспешностью. Так бывало во времена студенчества, так было и теперь. Когда Николай был студентом, то по целым месяцам он ровно ничего не делал, не прикасался к тетрадкам и проводил иногда время самым нелепейшим образом,

не умея, как вообще русские, распоряжаться временем. Перед экзаменами он обыкновенно просиживал несколько ночей и блистательно выдерживал их. Диссертацию он написал в несколько ночей и получил медаль. Способный, талантливый, быстро схватывающий, он действительно одолевал подчас трудное дело так скоро, что товарищи ахали от изумления, но зато и все работы его никогда не были первым нумером и носили следы легкости, как и все, за что он ни брался и что он ни делал. Все было недурно, но и только. Стройности, цельности, глубины не было.

Отец давно замечал в сыне эту наклонность, загубившую стольких небесталанных людей на Руси, но вместо того чтобы приучить его к правильному труду, нередко восхищался быстротой соображения и легкостью, с которой все давалось способному мальчику, и таким образом способствовал развитию в Николае самоуверенности. Гимназия и потом университет не исправили Николая, и он переходил от безделья к лихорадочной работе и как будто даже гордился этим.

Когда он принес первую свою статью в редакцию журнала и она была напечатана (и даже обратила на себя внимание), то Николай сознался приятелям, что написал ее, что называется, за один присест. Все приятели дивились этому и восхищались даже, только один студент из семинаристов укорительно покачал

головой и заметил:

– Не слушай ты их, Вязников, и не увлекайся сам. Если ты будешь так относиться к работе, никогда ты ничего выдающегося не сработаешь, и всегда твоя работа будет вторым нумером. Остерегись, пока не поздно, а втянешься – поздно будет. Надо прежде выучиться сидеть, и тогда можно работать.

Но Николай сидеть-то и не умел. Он или «присаживался», или вовсе не садился. В нем сказывалась общая черта русского барства. Работать, как работают европейцы, мы не умеем, оттого и работы наши в большинстве случаев не идут выше второго нумера.

Николай писал публицистическую статью; статья близилась к концу, и Николай был ею доволен. Когда он наконец кончил ее, он прочитал ее отцу и с понятной тревогой ждал его приговора.

– Статья превосходная, горячая, страстная, в ней разбросано несколько хороших мыслей, но все-таки, мне кажется, ты мог бы написать лучше. Подожди-ка отсылать ее, мой милый! – сказал отец.

Николай смутился.

– Отчего подождать? Сам же ты говоришь, что статья превосходная.

Вязников незаметно улыбнулся, заметив по лицу Николая, как больно кольнуло сына его замечание.

– Я стою на том же, а все-таки подожди… дай вы-

лежаться ей, просмотри снова, дополни, исправь. В твоей, статье нет законченности, и, кроме того, неверные факты, правда мелочные, а все-таки неверные. Это ведь вредит впечатлению. Из-за одного неверного факта могут не поверить всей статье. Ты очень торопился, мой друг, и… и не поработал как следует. Ты не сердись на отца.

Николай вступил в спор, но должен был согласиться в Иваном Андреевичем, что многие сообщенные факты неверны и что некоторые положения требуют большего развития.

– Вот видишь ли! Сам к этому пришел… – ласково заметил отец, оставляя Николая в полкой уверенности, что он «сам» пришел к сознанию недостатков своей работы.

Время за работой летело быстро. По вечерам Николай играл с отцом с шахматы, гулял, играл на фортепиано. О Смирновых он совсем и забыл и даже удивлялся, как его могла занять такая кокетка, как Нина. Однако каждый раз, когда приходилось вспоминать Нину Сергеевну, Николай ощущал чувство оскорбленного самолюбия.

Леночка реже бывала в Витине, несмотря на приглашение Марьи Степановны.

– Совсем забыла нас! – упрекала Марья Степановна забегавшую на минуточку и вечно торопившуюся

домой Леночку. – Что с тобой, Леночка? Или все с женихом сидишь?.. Так ты и его приводи.

Леночка обыкновенно старалась замять такой разговор. Она отговаривалась хлопотами по хозяйству и недосугом.

– Прежде находила досуг. Каждый день, бывало, навещала нас, а теперь совсем забыла!

«То было прежде!» – подумала Леночка, горячо обнимая Марью Степановну и уверяя, что она не забыла и никогда ее не забудет.

Николай изредка видал молодую девушку; она обыкновенно забегала на минуточку по утрам, когда Николай занимался. При встречах с нею он несколько удивлялся той сдержанной холодности, с которою она держалась с ним. Прежние товарищеские, дружелюбные отношения сделались натянутыми и церемонными. Ее веселость исчезла. Она была какая-то серьезная и нервная, словом, не та Леночка.

– Елена Ивановна, вы, должно быть, на меня сердитесь? – сказал он однажды, нагоняя ее в саду.

– Я?.. На вас? – проговорила она, вспыхивая.

– Да как же? Когда вы были больны, говорили Васе, что хотели меня видеть, о чем-то переговорить, а вместо того совсем отвернулись от старого приятеля. Что это значит? О чем-то хотели поговорить, да так и не говорите?

– Я хотела попросить у вас книг.

– И до сих пор не спросили?

– Некогда было, да и мешать вам не хотела… Вы работали…

– И не стыдно вам, а еще приятель! Каких вам книг?

– Вот об этом я и хотела спросить вашего мнения. Мне бы хотелось систематически читать…

Николай горячо одобрил за это Леночку и обещал составить ей самый хороший подбор книг, которые предложил ей оставить у себя до будущего лета.

– Летом приеду сюда, так вы меня за книги угостите вареньем своего изделия. Смотрите, непременно угостите! Григорий Николаевич не отрицает варенья?

Леночка с раздражением заметила:

– Вы пустяки говорите. Почем я знаю?

– Как не знаете? И вы называете мой вопрос пустяками? Да, значит, вы до сих пор не изучили вкусов любимого человека! Это непохвально! – шутил Николай.

Леночка так сухо отнеслась к этим шуткам и так сдвинула брови, что Николай тотчас же воскликнул:

– Да вы опять? Ну, простите, я, право, не хотел рассердить… Я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что вы для меня не прежняя Леночка!

Он так задушевно сказал об этом, а Леночка хоть и улыбнулась, как улыбалась всегда, всем лицом, но вслед за тем сделалась еще серьезней.

«Совсем не та Леночка!» – подумал Николай.

Ее холодная сдержанность очень ему не нравилась, даже несколько обижала его. Он приписал это влиянию Лаврентьева. Николаю хотелось по-прежнему быть на дружеской ноге с Леночкой, с которой, бывало, прежде они были неразлучны. Славная, честная, простая девушка невольно располагала к себе, но все попытки Николая были напрасны. Леночка даже отклонила его предложение читать вместе, как в прежнее время, под предлогом забот по хозяйству.

Николая этот отказ совсем сбил с толку.

«Уж не Отелло ли ее будущий благоверный?» – рассмеялся он.

– Пора, однако, познакомиться и с диким человеком, – решил Николай, встречавший Лаврентьева раза два, когда был еще мальчиком, и однажды утром отправился к Лаврентьеву. Усадьба Лаврентьева была недалеко, всего в пяти верстах от Витина.

Небольшой новый домишко и новые хозяйственные постройки глядели очень основательно и солидно, хотя и не архитектурно; видно было, что строитель на архитектуру не обращал ни малейшего внимания и более всего заботился о прочности. Такое же хорошее впечатление чистоты, порядка и благосостояния

производила и небольшая деревня, почти прилегавшая к усадьбе Лаврентьева. Избы все были крепкие, исправные, крытые тесом, улица обсажена молодыми ветлами, в конце деревни стояла школа, около которой разведен был молодой садик. Мужики, которых Николай повстречал, тоже удивили молодого человека своим зажиточным видом, – словом, Лаврентьевка производила самое благоприятное впечатление и, по сравнению с соседними деревнями, являлась каким-то светлым пятном на фоне грязи и разорения.

Николаю сказали, что Григорий Николаевич в саду гряды копает. Он пошел в сад – сад был очень небольшой, фруктовый – и издали заметил приземистую, коренастую фигуру с большой косматой головой, в белой рубахе и широких штанах, засунутых в высокие сапоги. Приблизившись, Николай увидал смуглого брюнета лет под сорок, широкоплечего, с могучей спиной, мускулистого, крепкого, с грубым, загорелым лицом, поросшим черными как смоль с легкой проседью волосами, что придавало физиономии несколько свирепый вид. Силою, здоровьем и выносливостью веяло от этой плохо скроенной, но крепко сшитой фигуры. В ней было что-то мужицкое. По виду и по платью Лаврентьева легко можно было принять за мужика и даже испугаться, завидев издали этого «лохматого медведя», как окрестил его сразу Николай.

Но стоило только подойти поближе, взглянуть в небольшие карие глаза, чтобы впечатление испуга немедленно прошло и даже изумило вас приятной неожиданностью. Необыкновенно добродушно глядели эти глаза из-под страшных, нависших бровей, смягчая суровость лица.

То же испытал и Николай, когда Лаврентьев, оставив лопату, добродушно встретил его, так сильно пожимая руку, что Николай чуть не вскрикнул.

– Здорово, Николай Иванович. (Лаврентьев говорил: «Миколай Иванович». В речи его слышались простонародные выражения.) Давненько желал с вами познакомиться. Наслышаны о вас и статью вашу читали. Статья добрая, хорошая. Побольше бы таких!.. – говорил грубоватым тоном, полным задушевного добродушия, Лаврентьев, посматривая на молодого человека с каким-то особенным уважением. – Пойдемте-ка в горницу. Ишь солнышко подпекать будто стало. Вам-то с непривычки поди и неладно…

Лаврентьев повел гостя в свою «избу», как назвал он небольшой свой домишко.

Внутри «изба» оказалась очень опрятной и чистой. В ней было четыре комнаты, из которых две были пусты, – а две – убраны с спартанской простотой.

– Хватит на наш век! – промолвил Лаврентьев, показывая гостю свое жилище. – Вот скоро и две горни-

цы отделаем почище!.. – прибавил Григорий Николаевич, как-то радостно улыбаясь счастливой улыбкой. – Знаете, чай?..

– Как же, как же!.. – ответил Николай.

– Оно и еще краше станет жить-то. И вам спасибо, Николай Иванович… – вдруг сказал Лаврентьев, пожимая руку. – С Еленой Ивановной-то вы занимались, и вышел из нее человек, а не то что какая-нибудь легковесная дамочка…

«Меня-то он за что благодарит?»

– Так, вместе росли.

– Одначе пора и водку пить. Пьете?

– Нет…

– И ладно делаете. Я так, грешным делом, выпиваю. Может, закусить хотите?.. Десятый час…

Он вышел распорядиться. Тем временем Николай оглядел шкаф с книгами. Книги были все более сельскохозяйственные и серьезные. Кроме Гоголя, не было ни одного тома беллетристики.

Лаврентьев скоро вернулся, но уже в поддевке из грубого серого сукна, причесанный и вымытый.

– Что это вы церемонитесь со мной, Григорий Николаевич?

– Нельзя, порядок нужен! – засмеялся добродушно Лаврентьев.

«Нынче он все-таки почище стал!» – подумал Нико-

лай, вспоминая рассказы об его костюме и привычках и взглядывая на его жилистые, загрубелые, как земля, руки.

Они разговорились. Николай заинтересовался беседой Лаврентьева, увидав в нем с первых же слов очень умного и своеобразного человека. Образованием, правда, Лаврентьев похвастать не мог, но зато в нем был громадный запас здравого смысла, он поражал меткими, оригинальными замечаниями и массой практических сведений и, видно было, близко и хорошо знал народную жизнь.

– Братишка ваш, приятель мой Василий Иваныч, сказывал, что вы, Николай Иванович, хотите кое-что поузнать по крестьянскому обиходу. Так чем могу помочь – всегда рад. Дело это доброе, а то у вас в Питере насчет мужика здорово врут… Больше со слухов строчат… Иной раз читаешь, как брешет человек, даже с сердцов скверно выругаешься. Видно, и носом-то не нюхал, а строчит!

Баба принесла водку и закуску, хлеб, масло и кусок солонины. Лаврентьев опрокинул в себя большой стакан водки и ел с большим аппетитом, запивая квасом.

– Вот вы, Николай Иваныч, хозяйство мое увидите. Я вам покажу все, как есть, уж сегодня, куда ни шло, для дорогого гостя и работать не буду! – весело говорил Лаврентьев. – И на деревню пойдем, и школу по-

смотрим.

– Живут у вас под боком мужики, как видно, хорошо, – сказал Николай.

– Ничего! Бог грехам терпит!..

Лаврентьев ни словом не заикнулся о том, кому мужики обязаны, что живут недурно, и что он для них сделал, а между тем сделал он немало.

Николай слушал с удовольствием Григория Николаевича. Он и раньше слышал много рассказов про него о том, как он ни с кем, кроме мужиков, не водился, как его побаивались и не любили кулаки и презрительно относились помещики к его мужицкому образу жизни, какой популярностью и доверием пользовался он у крестьян, и невольно проникся уважением к «дикому человеку», забившемуся в деревню и, по-видимому, вполне счастливому и довольному своей жизнью.

«Я бы не мог так жить!» – подумал Николай.

В его беседе, заметил он, всегда было дело, факт, сведение, но как только Николай попробовал коснуться в разговоре искусства и завел речь об общих вопросах, так тотчас же увидел, что это закрытая, неведомая для него область. Тут Лаврентьев пасовал совершенно.

«Неужели этот славный медведь мог увлечь такую отзывчивую натуру, как Леночка?» – спрашивал Нико-

лай и не находил ответа.

А «медведь» уже звал Николая смотреть свое хозяйство.

– А что же Василий-то с вами не пришел ко мне? – спрашивал Лаврентьев, выходя с Николаем из дома.

– Вася с утра пропал. Я думал, что он к вам…

– Нет, не бывал… Куда это он?.. А, разве не туда ли он пошел?! – вдруг вспомнил Лаврентьев и нахмурился.

– Куда?

– В Залесье! – сердито проговорил Григорий Николаевич. – Сегодня этот скот Кузька разоряет Залесье… Ужо, погоди, доберусь я до него! – прибавил Лаврентьев, вдруг сжимая кулак.

В голосе его звучала такая ненависть, что Николай взглянул на Лаврентьева и удивился злобе, исказившей черты его лица.

Николай почувствовал, что угроза эта – не пустые слова в его устах и что недаром Григория Николаевича звали «диким человеком».

– Таких негодяев не жаль… Уж я его выслеживаю… Не миновать ему Сибирки, мерзавцу!.. Сколько бед он у нас творит, просто страсть!.. А Василий, пожалуй, туда пошел… У вашего братишки золотое сердце. Того и гляди… влопается… Знаете ли что, – дружески хлопая по плечу Николая, сказал вдруг Лаврентьев, –

пойдем-ка в Залесье… Тут недалечко… боюсь, как бы что не вышло…

Не успел он сказать этих слов, как во двор прискакал на маленькой лошаденке молодой парнишка и, спрыгивая с лошади, проговорил взволнованным голосом:

– Григорий Николаевич! Беда у нас… Решает нас Кузька… Народ не дает… шумит… Тятька к тебе послал.

– Тележку! – гаркнул Лаврентьев на весь двор. – Витинского барчука не видал там?

– Кажись, там.

– Живо! – скомандовал он. – Скачи, Федька, назад, скажи – сейчас буду. Идем, – отрывисто произнес Лаврентьев, обращаясь к Николаю. – Телега нагонит.

Лаврентьев ходко зашагал, так что Николай едва поспевал за ним.

Через несколько минут их догнала тележка, и они что есть духу помчались в Залесье, обогнав по пути скакавшего парнишку.

Лаврентьев сидел угрюмый и только время от времени произносил совсем нецензурные ругательства.

XVII

Большое, совсем оголенное село уж было близко, когда наши знакомцы увидали всадника, скакавшего навстречу, по дороге из Залесья. Через несколько минут мимо них промчался, насколько позволяли силы заморенной лошаденки под неустанными ударами нагайки, полицейский урядник. На зычный окрик Лаврентьева: «Что случилось?» – он, не оборачиваясь, махнул отчаянно рукой по направлению к Залесью и снова стегнул плетью лошадь.

– Дьяволы! – выругался Лаврентьев. – Тоже из образованных! За воровство из думы выгнали, так он к мужику присосался! – пояснил Григорий Николаевич и с сердцем вытянул кнутом вдоль по спине своего взмыленного коня.

Добрый рыжий конь, не ожидавший такого угощения, рванулся и понесся снова вскачь. Тележку подбрасывало, словно мячик, по выбоинам скверного проселка. Николай чуть было не выскочил и схватился обеими руками за края тележки, чтоб не упасть.

– Непривычно? – обронил Лаврентьев, взглядывая, как неумело сидит молодой человек.

– Ничего, скоро приедем, – отвечал Николай, стараясь глазами смерить расстояние, отделявшее их от

Залесья.

Село было близко, и он беспокойно всматривался вперед, волнуемый мыслями о брате. Он вдруг увидал, как из-за задов села показалась тройка и понеслась засеянным полем вперерез на дорогу.

– Видите?

– Вижу! Поди начальство утекает! Должно, пристав! – прибавил Григорий Николаевич, присматриваясь в сторону. – Кум мой! Со страху парнюга хлебушка не жалеет! Блудливы, как кошки, а трусливы, как зайцы. Черти! Сколько хлебов-то помяли!

Небольшой тарантас въехал на дорогу, быстро приближаясь. Лаврентьев поглядел вперед и, замахав шляпой, крикнул, чтобы остановились. Две фигуры в форменных сюртуках привстали и замахали руками. Ямщик осадил тройку. Лаврентьев остановил коня. Николай увидал рядом двух господ, сидевших в тарантасе с испуганными возбужденными физиономиями.

– Куда вы, Григорий Николаевич? – взволнованным голосом крикнул один из них, молодой еще, рыжеватенький господин в веснушках, с закрученными усами. – Разве не слыхали? Ворочайтесь назад… В Залесье бунт… чуть было нас не убили!

– Ой ли, кум? – усомнился Лаврентьев. – Уж и убили!

– Едва спаслись, спасибо старшине! – продолжал рыжеватый господин, не слыша или делая вид, что не слышал ядовитого замечания Лаврентьева. – Уж мы всячески убеждали их покориться закону… Какое! Настоящие звери… А мы-то чем виноваты?

Он говорил торопливо, захлебываясь от страха и негодования, и поминутно оглядывался назад.

– Вы, кум, толком сказывайте. Пороть хотели?

– Ведь взыскать приказано. Надо было как-нибудь, а они, как идолы, уперлись, галдят – не согласны, не дадим… А толпа все больше… Вижу – сопротивление власти, никакие вразумления… Мы с ними, – указал он на спутника, – в правление, а оттуда задами… Старшина доложил, что они стали терзать волостного писаря и поймали Потапа Осиповича… Пожалуй, умертвят. Совсем рассвирепели, как звери. Что сделаешь с ними, с подлецами? – с каким-то отчаянием в голосе произнес рыжеватенький пристав. – Озверели! Пусть Иван Алексеевич как хочет, а по мне, без солдат ничего теперь не поделаешь! Ворочайтесь-ка, кум, подобру-поздорову… Не ровен час… Они уж два дома разнесли.

– Никодим Егорыч! – начал Лаврентьев, слезая с тележки, – знаете ли, что я скажу? Вернемтесь-ка назад в Залесье… Я бунт этот мигом окончу… Верь, любезный человек, моему слову. Со страху мало ли что по-

казалось… Слава богу, я залесских мужиков знаю…

В ответ оба чиновника замахали руками, а «кум» взглянул на Лаврентьева, видимо обиженный.

– Не подымайте, братцы, истории, – продолжал Лаврентьев. – Пожалейте народ-то. Помните, Никодим Егорыч, такое же дело, три года тому назад? Тоже и вашему брату попало… Послушайте доброго совета! Видно, Захарку к Ивану Алексеевичу услали? Он давеча проскакал как оглашенный… Так мы вдогонку сейчас же… Иван Алексеевич свой человек… Идет, что ли, кум?

– Я даже удивляюсь, Григорий Николаевич, как вы, не зная обстоятельств… Я, слава богу, народ тоже знаю… Они, наверное, убили бы нас, а вы рекомендуете ехать на убой… Благодарим покорно! Не угодно ли одним ехать, а наше дело по начальству…

– Никодим Егорович! По-приятельски… Вылезайте-ка, что я скажу…

Никодим Егорович неохотно вылез из тарантаса с видом оскорбленного достоинства. Григорий Николаевич отвел его в сторону и в чем-то убеждал его, но видно было, что никакие убеждения не действовали. Он торопливо вскочил в тарантас, приговаривая:

– Сами увидите, со страху ли нам показалось! А лучше – не ездите. Теперь они даже такого гуманного человека, как вы, не пощадят! – съязвил при-

став, с особенным ударением произнося слово «гуманный». – Пошел! – крикнул он ямщику. – Да еще… забыл совсем… если решаетесь ехать туда, сынка господина Вязникова увезите. Совсем безумный молодой человек! – вдогонку крикнул пристав.

Сердитый, влез Лаврентьев в тележку.

– Кто его знает: врет ли Никодимка вовсе, или нет? – заговорил он. – Народ в Залесье смирный… И если он наконец озлился, значит Кузьма совсем донял… Сто целковых предлагал куму! – прибавил минуту спустя Григорий Николаевич. – Не взял! Видно, взаправду помяли кого-нибудь, и Никодимка трусит… Ну, Кузьма! Ужо погоди! – прибавил Лаврентьев. – Опять из-за тебя пропадают люди.

– Про какого Потапа Осиповича говорил пристав? – осведомился Николай.

– Потапка? А Кузькин сподручник. Доверенный из мещан. Лютая тварь… Он, верно, и настаивал, а они супротив Кузьмы не посмели… Силища! Около него сколько сволочи кормится… Эка дрянь дело-то! Того и гляди солдат пригонят… Языки у этих – слышали? – без костей… Сейчас: убить хотели!.. Черти!.. Наверно, брешут!

Он замолчал и опять хлестнул лошадь.

Через несколько минут они подъезжали к Залесью. У самого въезда в село тихо колебалась громадная

толпа народа. Гул голосов, покрываемый по временам женскими причитаниями, стоял в воздухе, то усиливаясь, то замирая, словно ропот волнующегося моря. Что-то стихийно-могучее, что-то таинственно-внушительное чуялось в этом гуденье народной толпы, и когда Лаврентьев как ни в чем не бывало двинулся, ведя за собой Николая в самую середину гудящей толпы, – у Николая екнуло сердце.

На мгновение говор смолк при появлении новых лиц. Вслед за тем раздались приветственные восклицания. Мужики охотно расступались, пропуская вперед Лаврентьева и Николая. Сразу было видно, что Лаврентьев тут свой человек. Он шел, отвечая на здравствования, в середину толпы, пожимая приятелям-мужикам руки. С появлением Григория Николаевича толпа как будто оживилась. Все точно просветлели, ожидая с надеждой утешительного слова.

Прошла секунда, другая, и Николаю сделалось стыдно за чувство малодушного страха, охватившего его было вначале. Достаточно было бросить беглый взгляд на массу этих загорелых, добродушных физиономий, чтобы почувствовать себя совершенно спокойным среди этих рассвирепевших «зверей», о которых только что рассказывали. Какие «звери»! Ни од-

ной черточки зверя не мог он уловить в лицах окружающих. Напротив: несмотря на раздражение, проглядывавшее на многих из этих лиц, в то же время что-то покорное, необыкновенно доверчивое сказывалось в их огрубелых чертах, в этих типических простонародных физиономиях… Раздражение было – раздражение, какое чувствует самый покорный человек вследствие боли, – выражавшееся в жалобах на Кузьку, которые раздались, как только Лаврентьев спросил в чем дело, на то, что их хотели совсем «рушить» и не соглашались повременить хоть до осени, пока хлебушко созреет; но даже и в этих жалобах звучала такая покорная нотка, которая невольно резала сердце… Такое впечатление произвели на Николая эти «звери», которых он вначале так испугался. Однако среди этих жалобных нот нет-нет, а попадались протестующие, но таких было немного.

Глядя на эту толпу, Николай невольно вспомнил чье-то сравнение народной толпы с могучим львом. Да, перед ним – лев, но лев, не чуявший еще своей силы, лев, издающий покорные жалобы, но не тот народ-лев, один слабый ропот которого внушает страх и ужас тем, кто сознает себя виноватым…

Николай чувствовал какую-то симпатию к народу, но в то же самое время сознавал, что он ему чужой и что всем этим мужикам нет до него никакого дела.

Теоретически он, пожалуй, и любил народ, но все эти грубые лица, этот запах земли, навоза и пота были чужды ему, даже неприятны… Он понимал, что заговори он теперь с мужиками, – и он будет им непонятен… Целая пропасть лежала между ними… А между тем Лаврентьев говорил и говорил совсем понятно… Его слушали со вниманием и объясняли ему, как и почему это случилось, что пристава уехали и «Потапку маленечко помяли».

Ветхий старик с большой седой бородой, высокий и худой, с длинной багровой шеей, на которой дрожали синие жилы, с лицом фанатика аскета, опершись на палку, внимательно прислушивался к восклицаниям жалобы, отчаяния и недоумения, вырывавшимся односложными, короткими обрывками из толпы, и, показалось Николаю, великой скорбью запечатлено было лицо старика…

Когда старик начал говорить, толпа затихла. Видно было, что этот старик пользовался большим уважением, односельцев.

– Я миру сказывал, чтобы мир по воле не отдавал решать… Я за мир и ответчик. Бедность наша не скрытая… Они видели… Христовым именем просили ослобонить хоть до Покрова… Так пусть теперь я один буду за мир ответчик…

– Не дадим тебя в обиду… Не дадим! – заревели

голоса.

Старик низко поклонился миру.

– Я стар, я немощен, какая от меня миру помога… Я готов постоять за мир… Милости прошу!

– Антон Федосеич! – заговорил стоявший впереди черноволосый здоровый мужик с умным, энергичным лицом. – Ты мир обижаешь… Мы все решали…

– Все, все!.. Одни мироеды в утек!

– И ежели что, все и в ответе!..

– Все, все! – опять раздались голоса.

– Друг дружку не выдавать!

– Миром… Всем миром!

– А что теперича будет?

– Известно что будет!..

– Все равно решат… Сегодня не решили, завтра решат! – послышались голоса.

Высокая красивая баба с ребенком на руках, стоявшая напротив Николая, усмехнулась едкой усмешкой и крикнула:

– А еще мужики! Рази хуже будет?

– Баба это правильно…

– Нет, братцы, Кузьма так не оставит!.. – заговорил старик. – Не сумлевайтесь…

– Все едино порешат!..

– Лучше по доброй воле…

– Раззор, одно слово!

– Еще подожди, что ответишь!

Снова толпа загудела… Слышались восклицания, что «так никак невозможно», «царь не позволит», «в законе нигде не показано!» и т.п., но тем не менее нотка отчаяния все более и более звучала в этих криках, как будто толпа чувствовала, что, во всяком случае, дело ее проиграно. Даже обещание Лаврентьева просить начальство об отсрочке, сперва было возбудившее надежду, впоследствии, под впечатлением скептических речей большинства, потеряло оживляющий смысл… Покорность судьбе начинала сменять порыв возбуждения. Точно инстинктом, народ понял, что неоткуда ждать помощи, и Николай удивился, когда через несколько времени уж шли разговоры о том, как придется теперь отвечать и т.п.

Несмотря на попытку двух-трех мужиков и высокой бабы с ребенком поддержать уверенность, что начальство «смирит Кузьку», что «царь не попустит обиды», что они, не позволивши решить себя, ничего дурного не сделали, – толпа, минуту тому назад готовая надеяться, уже не надеялась. Да и едва ли те, которые обнадеживали, сами верили тому, что говорили.

Порыв, вызванный отчаянием, проходил, сменяясь тупой покорностью. Лев, издававший стоны, обращался в подъяремного вола.

Угрюмый, стоял Лаврентьев перед народом. Что мог сказать он ему в утешение? Чем мог пособить ему?

Николай понял, что нечем, и с участием взглядывал и на эту толпу, и на «дикого человека».

– Вот что, братцы… Я сегодня же поеду в губернию насчет вашего дела, а вы выберите человек трех ходоков… Дойдем до губернатора… Но только, ребята, мое слово такое: если чего, боже храни… вы, смотри, лучше не того… смирненько штобы…

Голос Лаврентьева осекся… Он обещал и сам сомневался в успехе своих хлопот. Он рекомендовал, чтобы «смирненько»…

– Ну, а если…

И снова что-то засело в горле… Он не мог говорить.

– Спасибо тебе, Григорий Николаевич!..

– Заступник ты наш!

– На добром слове спасибо…

– Бог не оставит тебя!

«И они еще благодарят! и как благодарят! Только за слово участья, за желание помочь, за человечное отношение!» – подумал Николай, ощущая прилив необыкновенно хорошего чувства… Слезы выступили у него на глазах. Он весь как-то умилился при этой сцене. А Лаврентьев, напротив, стал еще мрачнее после этих слов и как-то резко крикнул:

– Чего галдите? Нечего галдеть-то!.. Выбирай, ребята, ходоков!..

Снова загудела толпа. Стали выбирать депутатов для подачи жалобы губернатору. Выбрали худого старика, черноволосого мужика и еще третьего, старого, степенного мужика. Все трое низко поклонились миру за честь.

– А вы, Николай Иванович, помогите-ка нам прошение смастерить, да побольше жалких слов… Губернатор любит… Видели?.. – прибавил он. – Каков бунт? Разбойники! И что я присоветую им? – прошептал он с тоской в голосе.

Он помолчал и, как бы спохватившись, прибавил:

– О брате я вам и не сказал… Он тут в правленье за Потапкой ходит…

– Как ходит?

– За лекаря! – усмехнулся Лаврентьев. – Потапку помяли, и то не все, – иначе бы Потапки и в живых не было, – а два-три молодых парня, и поделом подлецу! А Вася при нем же… Эко сердце у вашего брата… Парень золото! Пойдем в волостное, там и пишите прошение; авось что и выйдет.

Толпа медленно стала расходиться, разбившись по кучкам. Разговоры стихали. Все находились под гнетом ожидания. Бабы причитали и взвизгивали. Некоторые спохватились выносить из изб свой скарб и пря-

тали его на задах.

– Небось Кузьма разыщет! – посмеялся кто-то над бабами.

– Эти дела Кузьма не впервой делает! – объяснил Лаврентьев, направляясь с Николаем в волостное правление. – Раз к нему мужик в лапы попал – не выпутается. Процент берет отчаянный, окромя того, делает ярыжнические договоры… Даст по времени, когда мужику деньга до зарезу нужна, рублев двадцать, а через год-другой мужик, смотришь, полета должен… А условия-то какие! Ужо я покажу вам… Избы и вся движимость в залоге, да и хлеб на корню запродан по самой низкой цене… Одна кабала! А тут как на грех два года неурожаи… Народ и вовсе обнищал!

Они подходили к волостному правлению, когда около раздался насмешливый женский голос:

– Какие вы мужики? Хуже баб, право хуже!..

Николай обернулся.

Та самая высокая молодая баба с ребенком на руках, которая на сходе обратила на себя внимание Николая, стыдила теперь трех молодых парней. Ироническая усмешка скривила ее губы. Необыкновенно строгое, красивое лицо ее дышало ненавистью и презрением.

– Мужики! Хороши мужики! – повторила она, бросая уничтожающий взгляд. – А еще хвастали, что укротите

Кузьку! – заметила баба, понижая голос.

– Вы знаете эту бабу? – спросил Николай.

– Прасковью-то? Еще бы не знать… Норовистая баба… Муж ее, – прибавил Григорий Николаевич, – в Сибирь пошел из-за Кузьки… Кузька ее в полюбовницы норовил, она у него в работницах жила… Кто их знает, что у них было, – темное дело, только мужик царапнул Кузьку ножом… Засудили… Она при детях осталась… Погоди, еще она Кузьме припомнит… Эта баба не простит!..

Вошли в волостное правление. Из-за перегородки, разделявшей избу на две комнаты, слышались стоны, прерываемые ругательствами.

– Спасибо, Василий Иванович… Век не забуду… Ох, матушки… пресвятая богородица!.. Ужо погоди, голубчики… Ужо ответ дадите… Идолы проклятые… Чуть не до смерти!..

– Это Потапка причитает! Должно, помяли порядочно! – заметил Лаврентьев.

Они заглянули в соседнюю комнату. На диване лежал «Потапка», а около него сидел Вася. Он подошел к вошедшим, взволнованный, пожимая руки.

– Потапку стережете? – тихо проговорил Лаврентьев улыбаясь. – Здорово помяли его?

– Порядочно-таки… Прикладываю ему компрессы. Все просит, чтобы я не отходил… боится!..

– Отлежится!.. – тихо заметил Лаврентьев. – Ему не раз бока мяли!.. Сказывают, вы, Вася, его отстояли?

– Нет, я так… около случился, когда его схватили и трое стали бить… Народ-то очень сердился, что человека так избили… Да он сам виноват… Тут горе великое, а он еще дразнит людей! Неужели, Григорий Николаевич, ничего нельзя сделать?.. Так и разорят?

– Попытаем!..

– Василий Иваныч! Отец родной! Что ж вы оставили меня? – застонал Потап Осипович из угла. – Не оставляйте, а то убьют меня, звери окаянные… душегубы безжалостные… Ох, господи, боже мой… Ох, мучения какие!..

– Не бойсь, Потап Осипович, не убьют!.. – проговорил Лаврентьев, подходя к дивану. – Как бог тебя милует… цел еще?

– Совсем истерзали, Григорий Николаевич… Если бы не Василий Иванович, как бы архангел, не видать бы мне божьего света… Безвинно пострадал, за чужое дело… Ох, господи милосердый!.. Спасите вы меня отсюда. Увезите поскорей, благодетели, голубчики… Век буду бога молить за вас…

Николай приблизился и увидал толстого небольшого человека с темно-рыжими волосами, лежащего на деревянном диване в изодранном сюртуке, из-под которого виднелись полосатая жилетка и клочки ситце-

вой рубахи, запачканной кровью. Лицо избитого было закрыто полотенцами. Оставались открытыми только вспухший рот да подбородок, окаймленный рыжей редкой бороденкой.

– Посмотри-ка, Григорий Николаевич, что они со мной сделали!

С этими словами Потап Осипович, охая, приподнял толстую руку, на коротеньких пальцах которой были надеты перстни, и снял полотенца, обнажив вздувшееся сине-багровое лицо, сплошь покрытое кровавыми подтеками. Из-под вспухших век злобно выглядывали маленькие неприятные рысьи глаза. Все лицо представляло собой сплошную кровавую маску.

Заметив на лице Николая чувство ужаса при виде этого зрелища, Потап Осипович нарочно не закрывал своего лица, несмотря на совет Васи, как бы радуясь впечатлению, произведенному его физиономией.

– Каково это?.. А здесь посмотрите!.. Вот не угодно ли?.. Что они с телом сделали?.. Тело-то как истерзали!..

Он было стал открывать грудь, но ему сказали, что не надо.

– Нет, господа, будьте свидетелями… Каково тут, а?.. Дотронуться больно… Пожалуй, ребро тронуто… Тоже и у меня семейство… Я безвинно, человек служащий… подневольный. Кузьма Петрович послали

меня к этим дьяволам для присутствия, в виде как бы аблаката, а они убить… Это как же?.. Тело в растерзании, нутренность вся потревожена… Как я теперь могу продолжать свои занятия?.. С кого взыскивать буду?.. Разве эти люди вознаградят?!.

– Бог даст отлежишься, Потап Осипович… И после поговорим насчет вознаграждения… с рассудком человек будешь и спросишь подходящую цену. А пока лежи смирно, ничего не бойся…

– Как не бояться… Чуть было не убили…

– Не ври, Осипыч… Кабы хотели, давно от тебя мокренько бы осталось. Благодари бога, что цел! – проговорил Лаврентьев.

Через несколько времени Потапа Осиповича отправили по его просьбе в усадьбу Кривошейнова. Старшина и писарь, избитые, по словам пристава, куда-то скрылись… Кто-то видел, что они уехали. По словам мужиков, их даже и не «помяли».

Николай написал прошение, Лаврентьев одобрил его и прочитал мужикам. Мужики остались довольны, ставили под ним кресты и подписывались, кто умел. Выборные уже собрались и отправились в губернский город, сопровождаемые пожеланиями. Лаврентьев обещал вечером ехать туда же, только прежде повидается с исправником, и наказал без него к губернатору не ходить.

Вслед за тем Лаврентьев и Вязниковы оставили Залесье, напутствуемые благодарностью и благословениями.

– Подай вам господи, добрые люди!

– Заступники вы наши…

– Бог не оставит вас!..

– Прощай, Григорий Николаевич! – произнесла высокая баба с ребенком, протягивая руку Лаврентьеву.

Молча возвращались наши путники назад. Только что виденное произвело на всех огромное впечатление. На Васе лица не было… Скорбные мысли волновали юношу.

XVIII

Солнце садилось, когда оба брата вернулись домой. Старики радостно встретили их с встревоженными лицами. Иван Андреевич уже слышал о происшествии в Залесье, узнал, что Вася был там, и боялся за сына. Он выслушал рассказ Николая, – Николай рассказал обо всем очень живо и талантливо, – и в волнении заходил по кабинету.

– Я поеду к губернатору, – сказал он, – и объясню всю эту историю. В самом деле, это вопиющее дело!

– Если бы ты видел сам, папа!.. – вставил Вася.

– А ты как туда попал? – резко оборвал его Иван Андреевич. – Ты зачем мешаешься не в свои дела, скажи мне на милость, когда твое дело учиться? К чему ты побежал в Залесье? Чем ты помог? Ты только себя погубишь своими глупыми выходками. Послушай, Вася, я давно хотел с тобой поговорить… Твое поведение, признаюсь тебе, крайне мне неприятно.

Он остановился и взглянул на Васю. Вася стоял смущенный, кротко посматривая на взволнованного старика.

– Оставь нас, Николай, – промолвил он, и, когда Николай ушел, он сказал Васе: – Сядь!

Вася сел на кресло. Старик уселся напротив и пер-

вые минуты молчал, стараясь побороть вспышку гнева. Его взгляд понемногу смягчался, останавливаясь на задумчивом лице сына. И чем дольше он глядел на Васю, тем более и более смягчался. И отцу вдруг бесконечно стало жаль своего бедного мальчика. В кротком, страдальческом взоре восторженных голубых глаз, в бледном лице, в этом немощном теле старик впервые прозрел что-то необыкновенно глубокое, искреннее, беззаветное. Ему почему-то припомнилось, что он видел однажды, во время своей молодости, молодого раскольника, шедшего под кнут с таким же самым восторженным лицом. И сердце заныло у старика. Разве можно сердиться на Васю? Об этот кроткий взгляд разбивался всякий гнев.

«В самом деле, он какой-то особенный, не похожий на других, этот Вася. Чем же занята его голова? Чем болит его сердце в такие юные годы?» – думал Иван Андреевич, с тоскливым участием взглядывая на Васю.

– Ты извини меня, Вася, – начал Вязников совсем смягченным голосом, – я давеча горячился и был резок…

– Что ты, папа!.. – остановил его Вася. – Что ты!

– А теперь, мой милый, скажи мне откровенно, как другу: зачем ты ходил в Залесье? Какие побуждения заставили тебя идти туда? Конечно, не любопытство?

– Любопытство? Как можно смотреть на страдания ближних из любопытства?

– Ну, разумеется, нельзя: по крайней мере ты не станешь… Я знаю…

– Я, видишь ли, папа…

Вася остановился на секунду в колебании и продолжал:

– Ты не смейся, папа, надо мной, а впрочем, что ж я заранее прошу! – улыбнулся юноша. – Может быть, оно и смешно, но только мне не смешно… Я, видишь ли, думал как-нибудь пособить, отвратить это несчастие… Когда туда приехали продавать, я просил пожалеть, отсрочить, доложить губернатору, что так нельзя…

– Ты просил?

– А то как же? Я полагал, что они убедятся…

– И что ж тебе сказали?

– Сказали, что не мое дело… Все так говорят!.. Но как же не мое дело? Мне кажется, это дело всякого! И должен я тебе еще признаться, – я тебе не говорил прежде и никому не говорил, – что раньше еще я ходил к Кузьме Петровичу.

– Ты? Зачем? – все более и более удивлялся Иван Андреевич.

– Просить его о том же. Но только и его я напрасно упрашивал. Он не согласился. Стращал урядником.

Странный он… Рассердился…

– Да ведь это, Вася, в самом деле смешно, мой милый. Ходить убеждать Кузьму! Кто дал тебе право давать советы людям, которые их не спрашивают? Рассуди сам. И разве ты приобрел право учить других, ты, мальчик, который еще сам ничего не знает, который должен учиться, а не учить других?! И почему ты полагаешь, что ты прав? Откуда такая уверенность?

– Я никого не учу, я только просил…

– И ты видишь, все твои просьбы бесплодны… Тебя волнует, что Кузьма поступает недобросовестно, – я не спорю, он нехороший человек, – но разве ты призван исправлять его? Мало ли дурных людей на свете! Мало ли несовершенств! Но все это не дает тебе права считать себя судьей чужих дел. Удивил ты меня! Ходить к Кривошейнову! Убеждать его! Это чересчур смешно! Воображаю, как он смеялся, слушая твои увещания. Еще благодари, что он только прогнал тебя, а не поднял истории.

– Какой истории?

– Ты не понимаешь?.. Он мог извратить смысл твоих слов, и мало ли что могло быть.

– Что бы ни было, но ведь нельзя же!.. Ты пойми, нельзя же!.. Я никогда не учу, я не считаю себя судьей, – сохрани меня бог! – но нельзя же равнодушно смотреть, как людей оскорбляют. Разве можно?.. Я

не могу… Сердись не сердись, папа, а это выше моих сил. Я не знаю, что делать, как помочь, но чувствую, что надо, надо!.. – проговорил юноша.

– И не смотри равнодушно, друг мой; но чтобы быть полезным, надо учиться. Наука даст исход твоим хорошим стремлениям. Наука скажет тебе, что зло всегда было, но что постепенно оно уменьшается, люди постепенно делаются лучше, отношения становятся мягче… И тогда, когда ты научишься, ты действительно можешь быть полезным своей родине, а в противном случае ты, Вася, с своими добрыми стремлениями, с своей восторженностью, останешься бесполезным и, боже храни, бесплодно погибнешь. Какая-нибудь выходка, вроде той, которую ты сделал, и жизнь твоя потеряна для других.

Старик продолжал говорить на эту тему и увлекся. Он говорил о назначении образованного человека, о пользе, которую он может принести; он приводил исторические примеры, как постепенно улучшается жизнь, и когда кончил и взглянул на Васю, то увидал, что юноша все так же смотрит своим кротким, страдальческим взором и что горячие слова отца не произвели на него того впечатления, на которое рассчитывал старик.

И правда: Вася слушал, и все-таки слова отца не произвели на него успокоивающего действия. Скорее

сердце, чем разум, подсказывало ему, что в словах отца что-то не то, что они не отвечают на вопросы, над которыми он задумывался.

По своему обыкновению, он припоминал слова отца и, помолчавши, заметил:

– Ты, папа, осуждаешь мои выходки и вообще советуешь беречь себя, чтобы не погибнуть бесплодно. Так ведь?

– Ну, конечно.

– Прости меня, если я тебе напомню. Ты в молодости за что же пострадал? Разве не за то, что тебя мучило несчастье ближних? И разве ты раскаивался когда-нибудь?

Старик был поставлен в затруднение этим вопросом. Раскаивался ли он? Конечно, нет!

– Ошибки отцов служат уроком детям! – ответил он, с любовью посматривая на Васю.

– Так это была ошибка с твоей стороны? – опять спросил Вася.

– Увлечение, пожалуй… Но видишь ли, Вася… Когда я увлекался, я все-таки кое-чему учился! – улыбнулся Иван Андреевич.

– И вот что еще, – продолжал Вася. – Ты говоришь, что наука даст выход, что образованный человек принесет пользу, но объясни мне, почему же вот и ты образованный, и Коля образованный, и мало ли обра-

зованных, а в Залесье такая история?.. Да и в одном ли Залесье?.. Объясни мне, бога ради, почему же одни должны терпеть, а другие должны мучить?.. Скажи мне, дорогой мой, скажи, разве это так должно быть? Разве это и есть правда? Меня эти вопросы, папа, давно мучат. Ну, научи же ты, как же это… Разреши мои сомнения… Кто разрешит мне их?

Он произнес последние слова таким страстным, замирающим голосом, со слезами на глазах, что Иван Андреевич испуганно взглянул на Васю, подошел к нему, обнял и тихо промолвил:

– Вася… Вася, что с тобой, голубчик? Разве можно так волноваться?

– Как же не волноваться? И чем я виноват, что волнуюсь? Ты успокой меня, и я перестану…

– Болен ты.

– И Коля говорит… Нет, я не болен, папа…

– Скажи мне, откуда у тебя эти мысли, эти вопросы?

– Как я скажу тебе, откуда? Я не знаю, откуда… Вижу я, что кругом делается, и раздумываю, отчего это так делается, а не иначе…

Долго еще старик беседовал с сыном, стараясь разъяснить ему мучительные вопросы, но Вася ушел неудовлетворенный и неуспокоенный.

И старик, оставшись один, сам чувствовал, что он не успокоил сына. Он со страхом думал о будущно-

сти «бедного» восторженного мальчика и долго не мог заснуть в эту ночь, волнуемый тяжелыми мыслями и не зная, как помочь сыну избавиться от пагубных заблуждений.

XIX

На следующий день Иван Андреевич собрался ехать вместе с Николаем в губернский город С. Вязников принял близко к сердцу вчерашнее происшествие в Залесье и выразил надежду, что бог даст дело как-нибудь обойдется и никаких дурных последствий для крестьян не будет. Быть может, явится даже возможность через губернатора, который, в сущности, добрый человек, – прибавил Вязников, – повлиять на Кузьму и убедить его отсрочить продажу.

– Во всяком случае, надо попытаться!

Вася просиял, когда за чаем услышал этот разговор. Он так восторженно любовался отцом, что старик, улыбаясь, промолвил:

– Ты что так смотришь, Микула Селянинович, а? И сегодня ты как будто веселей, не то что вчера.

– Я надеюсь, что ты, папа, поможешь. Тебя послушают.

– Ну, брат, не особенно нас слушают! Ведь вот ты же меня вчера не послушал, я не убедил, кажется, тебя, что тебе надо учиться, а не поучать Кузьму и становых! – шутя заметил Вязников. – Но я не падаю духом и не теряю надежды со временем убедить тебя, что твои увещания по меньшей мере бесполез-

ны. Еще поспорим, мой философ! Теперь будем чаще спорить, а то ты какой-то со мной бука был, мой мальчик. Будем ведь спорить?

– Будем.

– Но споры – спорами, а занятия – занятиями. Надеюсь, что ты будешь готовиться к экзамену?

– Я готовлюсь.

– Ты не захочешь огорчить нас, стариков, оставаясь неучем?

– Мне было бы тяжело огорчить вас! – с чувством проговорил Вася как бы в раздумье.

– То-то… Эх, брат, перемелется – мука будет! Не все кругом ложь да зло, как тебе кажется. Ну, до свидания. Пожелайте нам успеха, господа! – проговорил старик, прощаясь с женой и сыном.

Вечером Вязниковы приехали в губернский город С. и остановились в гостинице. Иван Андреевич облекся в черный сюртук, чтобы тотчас же отправиться к губернатору, а Николай собирался в театр. Они условились после театра поужинать вместе с отцом в трактире.

– Сегодня я тебя угощу шампанским! – заметил Николай.

– Ладно, ладно. Я, признаться, люблю это вино. Благородный напиток!

– Смотри же, в одиннадцать часов. Желаю тебе

успеха! – проговорил Николай, прощаясь на подъезде с отцом. – Быть может, и мое прошение подействует. Верно, уж Лаврентьев здесь!..

В это самое время его превосходительство Евгений Николаевич Островерхов, военный генерал лет под сорок, сидел в своем кабинете, внимательно слушая сообщение Кузьмы Петровича Кривошейнова о подробностях происшествия в Залесье и о нанесении побоев его доверенному. Время от времени его превосходительство нетерпеливо поднимал глаза на рассказчика, не без брезгливости рассматривая угреватое, грязноватое лицо Кривошейнова и его толстые, жирные пальцы и снова опуская глаза на бумаги, лежавшие на письменном столе.

Еще вчера его превосходительство получил от рыжеватенького станового телеграмму о происшествии, – Ивана Алексеевича, исправника, не случилось в ту пору дома, и становой решился сам телеграфировать, – и утром сегодня выслушал доклад об этом деле лично от станового и от Ивана Алексеевича, поспешившего приехать в город и доложить со слов своего помощника. Распорядительный и энергичный генерал еще ночью отправил на место происшествия чиновника особых поручений, приказав ему

немедленно дать знать ему о том, что делается в Залесье, и уполномочив в крайнем случае вызвать из ближайшего города воинскую команду. В то же время сообщено было судебной власти, и на место происшествия отправились прокурор и следователь. Первые сведения, полученные его превосходительством, были таковы, что дело представлялось крайне серьезным. Выходило как бы вроде бунта или по крайней мере сопротивления властям, так что не мудрено было, что его превосходительство был крайне озабочен этим делом и внимательно выслушивал многоречивые объяснения Кузьмы Петровича, приехавшего просить защиты своих интересов и «ограждения неприкосновенности».

Его превосходительство нахмурился, когда Кузьма Петрович, между прочим, старался придать этому делу оттенок подстрекательства и рассказал, как несколько недель тому назад к нему приходил сын Вязникова и с угрозами просил не поступать по закону, причем говорил возмутительные речи.

– Я тогда не пожелал обеспокоить ваше превосходительство, полагая, что Иван Андреевич, как родитель, образумит своего сынка, но вчерась этот молодой человек был в Залесье и, как мне известно, подстрекал мужиков.

– Откуда вам это известно?

– От доверенного моего. И наконец становой видел.

– Становой пристав о подстрекательстве мне не докладывал…

– Кроме того, туда же приехали господин Лаврентьев и старший сын Вязникова.

– И что же?

– Они, ваше превосходительство, говорили речи мужикам.

– Я насчет этого имею более верные сведения! – сухо проговорил его превосходительство. – Вас, очевидно, ввели в заблуждение, и я не советую вам, Кузьма Петрович, давать такое ложное направление этому происшествию. Могу вас успокоить, что в этом деле никаких подстрекательств не было, по крайней мере, судя по данным, пока имеющимся у меня. Во всяком случае, поверьте, что дело это будет строжайше исследовано и интересы закона соблюдены.

Его превосходительство привстал, давая знать, что аудиенция кончена, и, протянув руку, проводил Кузьму Петровича до дверей.

– Скотина! – произнес генерал, оставшись один и беспокойно шагая по кабинету. Тем не менее поступок молодого Вязникова и присутствие Лаврентьева и Вязниковых в Залесье во время происшествия, о чем генералу было донесено становым приставом и подтверждено исправником, – несколько беспокоили

его превосходительство, особенно ввиду слухов, уже ходивших в городе по поводу этого происшествия. Он нетерпеливо ожидал телеграммы от чиновника по особым поручениям, но от него известия еще не было. Его превосходительство уже третий год управлял губернией, и, слава богу, все шло благополучно, как вдруг теперь неприятное происшествие, о котором дойдут, пожалуй, в Петербург превратные известия… Это тревожило генерала, мечтавшего о видной дальнейшей карьере. Он был назначен сюда после очень строгого губернатора, и ему при назначении намекнули действовать зорко, но осторожно, и вдруг такое неприятное дело у него в губернии.

Он позвонил и приказал лакею позвать правителя канцелярии.

Невысокий скромный молодой человек тотчас же явился в кабинет.

– Известий новых нет из Залесья, Александр Львович?

– Нет…

– Странно…

– Быть может, дороги задержали Лазарева, ваше превосходительство!

– Вы думаете, дороги?

– Полагаю, что дороги…

– Дай бог, чтобы не было хуже. Сейчас Кривошей-

нов был… Он там, между прочим, разные кляузы рассказывает.

– Он уже и мне говорил… По-моему, все это вздор.

– Пожалуй, в городе кричать будет… Этот мужик в последнее время совсем с ума спятил. И откуда он набрался этого духа? Конечно, поступок Вязникова смешон, дик, но тем не менее…

В эту минуту лакей принес телеграмму.

– Наконец-то, – произнес Островерхов, быстро вскрывая телеграмму. – Ну слава богу! Снежков доносит, что порядок в Залесье вполне восстановлен и что главные зачинщики арестованы! – прибавил генерал, протягивая телеграмму правителю канцелярии.

Скромный на вид чиновник, молодой человек, лет под тридцать с некрасивым, несколько заморенным лицом, с плоскими аккуратно прилизанными волосами, стал читать телеграмму. По мере чтения лицо его делалось серьезнее и серьезнее, и если бы генерал внимательно взглянул в это время на своего подчиненного, то увидал бы едва заметную улыбку, искривившую тонкие губы скромного чиновника. Впрочем, улыбка тотчас же исчезла, и лицо чиновника снова сделалось бесстрастно.

– Ну, что скажете, милейший Александр Львович?.. Да что вы не присядете? Прикажете папироску?

– Очень вам благодарен, Евгений Николаевич! –

отказался чиновник. – Внизу спешная работа. Мне кажется, ваше превосходительство, что телеграмма Снежкова нисколько не разъясняет дела. Какие беспорядки, чем они были вызваны – об этом ни слова здесь нет.

– Вы разве сомневаетесь в донесении пристава? Телеграмма его была очень тревожная, и наконец не смеет же он так нагло лгать!

– Я позволю себе заметить, ваше превосходительство, – с некоторой аффектацией скромности продолжал молодой человек, – что под первым впечатлением весьма возможны сильные преувеличения. До меня дошли об этом деле несколько иные слухи. Сегодня приехал из своего имения Лаврентьев, который, как ближайший сосед Залесья, поехал на место происшествия и был там. Не угодно ли будет вашему превосходительству повидать Лаврентьева и самому услышать от него подробности? Лаврентьев человек честный и благонамеренный, и я уже имел честь докладывать, что все рассказы Кривошейнова о нем не имеют ни малейшего основания.

– Я верю, верю, но все-таки этот Лаврентьев… Впрочем, пригласите его.

– Прикажете сегодня?

– Нет, дайте, Александр Львович, и мне вздохнуть! Пригласите его завтра утром, в девять часов. Кста-

ти, мне очень любопытно будет познакомиться с этим чудаком. О нем столько рассказывают смешного, – усмехнулся его превосходительство. – Говорят, он совсем мужиком глядит? Правда это?

– Несколько одичал в деревне.

– Во всяком случае, завтра нам надо послать донесение в Петербург.

– Не дожидаясь подробного сообщения Снежкова?

– Он завтра будет. А то того и гляди в газетах появится телеграмма раньше, чем мы донесем. И так шум поднят. Вы не слыхали, как здоровье этого избитого? Кривошейнов говорит, что он при смерти.

– Нет, ваше превосходительство. Этот побитый скоро поправится! – ответил чиновник.

– Неприятное дело, очень неприятное!.. – проговорил генерал, присаживаясь к столу.

– Я больше не нужен? – спросил молодой человек.

– Нет, Александр Львович. Если что, я вас побеспокою! – проговорил генерал, протягивая руку.

Правитель канцелярии поклонился и, спустившись в канцелярию, тотчас же написал Лаврентьеву записку следующего содержания:

«Известное происшествие представлено нам совсем в ином свете, дорогой Григорий Николаевич. Очень боюсь, что мы взглянем на него глазами Снежкова, посланного в Залесье. Приходите завтра в де-

вять часов. Вас примут, я предупредил. Оденьтесь почище и постарайтесь говорить поделикатней, не мешало бы и побриться. Завтра же посылайте и мужиков с прошением. Я доложу. Относительно вашего юноши можно, кажется, быть спокойным. С нашей стороны по крайней мере нет доверия к сплетням Кривошейнова. Во всяком случае, советуйте ему держать себя осторожней. Жму вашу руку. Завтра увидимся. Сегодня не могу. Завален работой, и мой генерал каждую минуту меня зовет. Ваш А.Н.»

Запечатав конверт, правитель канцелярии отправил письмо с рассыльным, приказав отдать письмо в собственные руки Лаврентьева, под расписку, и засел за работу.

Евгений Николаевич, оставшись один в своем большом, увешанном картами кабинете, стал было прочитывать одну из бумаг, лежащих перед ним, но занятия что-то не шли. Он отодвинул от себя бумаги, поднялся с кресла и заходил по кабинету, занятый мыслями о неприятном деле, случившемся у него в губернии.

Евгений Николаевич, начавший свою карьеру в одном из гвардейских полков и окончивший курс в военной академии, был, в сущности, добрый и неглупый человек, не особенно образованный, но «нахватавшийся», трудолюбивый, одушевленный добрыми намерениями и наделенный природой большим само-

любием и честолюбием. Он принадлежал к числу деловых карьеристов и без особенных связей, без состояния все-таки умел пробить себе дорогу и пользовался репутацией весьма способного, дельного и благонамеренного человека. Он умел ладить с земством (хотя столкновения и были), ладил с обществом, ладил с начальством, умел говорить при открытии разных собраний недурные речи и писать обстоятельные записки, более же всего хлопотал, чтобы у него в губернии все шло ладно и тихо. Он заместил слишком уж беспокойного администратора и с свойственным ему тактом понял, что вверенная ему губерния требует успокоения. Правда, когда он приехал в С-кую губернию, он, никогда не выезжавший из Петербурга и проведший всю свою молодость в канцеляриях, не умел отличить пшеницы от ржи и не особенно был тверд в знании различных положений, с которыми ему предстояло иметь дело, но понемногу он познакомился с делами, сам усидчиво работал и донимал работой чиновников, заставляя их составлять ему всевозможные сведения и таблицы статистического характера, на основании которых он не только знакомился с положением своей губернии, но и составлял записки по всевозможным вопросам торговли, промышленности и сельского хозяйства, испещряя их цифрами и выкладками. Нечего и говорить, что все эти записки,

направленные, конечно, ко благу губернии, еще более возвышали репутацию Евгения Николаевича, как дельного человека, убеждая его и самого в этом, хотя по долгу справедливости надо заметить, что если бы на основании цифр, сведений и таблиц, доставляемых Евгению Николаевичу, были приняты какие-либо меры, то случилось бы нечто невероятное, так как по большей части сведения, доставляемые чиновниками, сообщались больше для очистки себя перед требовательностью начальства. Любуясь у себя в кабинете развешанными по стенам красиво иллюминованными картами всех уездов, на которых подробно были обозначены качества почвы, фабрики и заводы, мельницы и т.п., Евгений Николаевич считал себя отличным знатоком края и во всякое время мог решить: где нужны дороги, где мало школ, где недоимки легко взыскивать, где трудно. Все это наглядно докладывали его превосходительству карты всевозможных видов, величин и форм: были большие карты, утыканные гвоздиками с черными шляпками, были карты, сплошь усеянные гвоздиками с медными шляпками, были проткнутые деревянными разноцветными иглами, были, наконец, покрытые протянутыми вдоль и поперек шелковинками разных цветов. Каждая подобная карта-таблица имела специальное назначение и во всякое время могла уяснить Евгению Николаеви-

чу, почему наводнение затопило такую-то деревню, сколько пожарных инструментов в таком-то селе, какие местности подвержены неурожаям, где свирепствует дифтерит, где и сколько числится недоимок, в каких местах пьянство больше, в каких мужики – плотники, в каких – землекопы; одним словом, подробная энциклопедия губернии развешана была по стенам, составляя гордость ее обладателя. Он, разумеется, вполне уверен был в точности всех этих раскрашенных карт и разнокалиберных гвоздиков и сидел среди них не без самодовольного сознания, что дело управления поднято им (хотя и не без борьбы) на надлежащую высоту. Его не могли обманывать недобросовестные чиновники. Его не могли подкупить какие-нибудь ходатайства земства. Его не могли ввести в заблуждение неправильные сообщения. Он обо всем знал, все видел, не выходя из своего кабинета: стоило только подняться с кресла, приблизиться к одной из карт и посмотреть.

Было бы непростительно относительно подчиненных его превосходительства не упомянуть, что они тотчас же после обнаружения слабости генерала к статистике не только сами прониклись любовью к ней, но даже поощряли к этому и своих жен. Не только у каждого станового висела карта его стана, усеянная гвоздями, но вначале более красивые и молодые гу-

бернские дамы к арсеналу своего оружия против молодого и холостого губернатора приобщили и статистику, хотя, впрочем, напрасно. Его превосходительство отличался весьма солидным поведением, так что ни одна из дам не могла посплетничать насчет другой.

Точно так же было бы несправедливостью по отношению к подчиненным генерала, если бы читатель подумал, что они не сочиняли этой статистики самым немилосердным образом и не изыскивали бы способов обманывать генерала с таким же успехом, с каким делали это и при его предместнике, который сам всюду ездил и во все мешался. И очень часто случалось, что, недоверчивый, в сущности, Евгений Николаевич доверял таким людям, которые умели мошенничать и ловко прятать концы в воду, несмотря на массу сведений, имеющихся под руками у его превосходительства.

XX

Евгений Николаевич все еще ходил по кабинету, и на его приятном лице все еще отражалось беспокойство, когда в дверях снова появился лакей и доложил:

– Иван Андреевич Вязников.

– Проси, проси! – с живостью произнес генерал, направляясь к дверям.

Его превосходительство встретил почтенного старика с такой предупредительной вежливостью и даже почтительностью, каких не удостоивалось ни одно лицо в городе, несмотря на то, что Иван Андреевич никакого официального значения не имел, богат не был и, как известно читателю, даже пользовался репутацией не совсем спокойного человека. Но таков уж был нравственный престиж Ивана Андреевича. Этот высокий старик с львиной гривой и большой седой бородой невольно внушал такое уважение своим прошлым, безупречным настоящим, независимым характером и прямотой, что знакомство с ним считалось за честь, тем более что Иван Андреевич с большим разбором приглашал к себе и редко у кого бывал.

– Очень рад видеть, уважаемый Иван Андреевич!.. – проговорил Островерхов, пожимая руку Вязникова. – Не угодно ли вот сюда, на кресло! – продол-

жал он, придвигая кресло. – Давно не заглядывали к нам! Как поживаете?

– Благодарю вас, Евгений Николаевич, ничего себе. Вот приехал беспокоить ваше превосходительство! – проговорил Вязников, опускаясь в кресло.

– Чем могу служить вам? Вы можете быть уверены, Иван Андреевич, что я всегда к вашим услугам! Не прикажете ли сигару? Сигары, кажется, не очень скверные! – продолжал его превосходительство, подавая Ивану Андреевичу ящик с сигарами.

Иван Андреевич закурил превосходную, душистую сигару и сказал:

– Я счел своим нравственным долгом, Евгений Николаевич, поделиться с вами сведениями насчет прискорбного происшествия, бывшего вчера в Залесье. Вии конечно, знаете о нем по официальным донесениям, но я счел не лишним сообщить вам сведения, которые узнал от очевидцев. Надеюсь, вы извините, ваше превосходительство, мое непрошеное вмешательство, но дело так… так серьезно, что я рискнул побеспокоить вас.

– Помилуйте, Иван Андреевич! Я могу только благодарить вас. Без помощи общества мы часто бродим в потемках. Дело это действительно неприятное, но, слава богу, я сейчас получил телеграмму, что там порядок восстановлен и виновные арестованы, а ведь

вчера станового пристава чуть было не убили… К сожалению, открытое сопротивление!..

– Извините, Евгений Николаевич, но я вижу, что сведения, полученные вами, не совсем точны. Никого они не хотели убивать и никакого сопротивления не было, – горячо подхватил Вязников.

Его превосходительство поморщился при этих словах.

– Что ж тогда было? – спросил задетый за живое генерал. – Кажется, я должен быть au courant* всего того, что делается!

></emphasis>

** в курсе (фр.).*

– Вот об этом именно я и приехал рассказать вам, причем ручаюсь своим словом, что сведения мои вполне достоверны. Я слышал их от сыновей, которые были там – один с начала происшествия, другой в конце приехал с Лаврентьевым.

– Мне говорили об этом, – вставил генерал.

– Хотя младший сын мой и несколько экзальтированный юноша, – вы, верно, слышали о его нелепом визите к Кривошейнову! – но мальчик добрый и никогда не лжет, – проговорил гордо старик, – и я ручаюсь, что все переданное ими совершенно справедливо. А они рассказали следующее. Прежде, однако,

позвольте выяснить вам необходимые подробности. Вам, конечно, известно, Евгений Николаевич, в каком бедственном положении находятся залесские мужики и в какой зависимости они стоят от господина Кривошейнова…

Евгений Николаевич любезно остановил на этих словах Ивана Андреевича и попросил его подойти вместе с ним к одной из многочисленных карт, висящих на стене.

– Мы сейчас увидим! – не без гордости произнес он. – У меня тут все, как на ладони!.. Вот оно… Залесье… – продолжал он, поднося свечку к большой раскрашенной карте уезда. – Земля тут хорошая, суглинок с черноземом, крестьяне зажиточные, неурожаев в последние годы не было… Недоимок не состоит! – объяснял Евгений Николаевич разные знаки на карте, отлично ему известные.

Вязников, зная слабость Островерхова, слушал, сдерживая улыбку, и, когда генерал окончил, произнес:

– Помилуйте, Евгений Николаевич, я знаю землю. Земля скверная, и четыре года сряду были неурожаи.

Его превосходительство как-то недоверчиво взглянул на Ивана Андреевича, но, зная в то же время правдивость Вязникова, был несколько смущен.

– Вы говорите, земля там скверная?

– Помилуйте, суглинок с песком.

– И неурожаи четыре года?

– Четыре года сряду!

– Но как же однако… за ними не числится недоимок?

– Этого я не знаю, но знаю, что они очень бедны и принуждены были занимать деньги у Кривошейнова на условиях самых невероятных…

Евгений Николаевич все еще находился под влиянием некоторой оторопи, как человек, внезапно получивший удар по лбу. В его больших, серых, добродушных глазах проглядывало недоумение, и он пощипывал свою белокурую бакенбарду с беспокойством.

– Признаюсь, вы, Иван Андреевич, несколько удивили меня. Впрочем, ошибка возможна, хотя казалось бы…

И Евгений Николаевич тотчас же взял карандаш и на месте Залесья сделал большое нотабене.

– Мы исправим это. Мне остается благодарить вас!.. – произнес Островерхов, возвращаясь к столу.

Вязников вслед за тем показал его превосходительству копию с условия, заключенного Кривошейновым с крестьянами, рассказал, какие проценты берет он и в каком безвыходном положении находятся, таким образом, мужики. Его превосходительство внимательно выслушал и несколько раз восклицал:

– Вы правы, Иван Андреевич: это возмутительные условия, хотя… хотя все, кажется, законно.

– Совершенно законно.

– И мы ничего не можем сделать! Мы не закрываем глаз на положение дел, но, знаете, при всем нашем желании мы должны умывать руки и… и собирать подати, – добавил генерал.

Иван Андреевич перешел затем к рассказу о том, что случилось в Залесье.

– При таких-то обстоятельствах приехали продавать имущество. Крестьяне, понимая, что им предстоит полное разорение, умоляли об отсрочке, но получили отказ. В отчаянии они стали говорить, что не допустят продажи и будут жаловаться вам. В ответ на это пристав стал бранить их и приказал принести розог… Можете себе представить, ваше превосходительство, насколько такой образ увещания был уместен. Вместо того чтобы доложить начальству и подождать дальнейших инструкций, пристав продолжал настаивать. Тогда вокруг него собралась толпа и стала снова просить. Пристав ударил ближайших мужиков и снова повторил обещание пересечь всех. Тогда толпа стала уже кричать, что не даст разорить себя, причем пристава опять просили немедленно дать знать вам… Некоторые стали укорять пристава, что он держит сторону Кривошейнова. Раздались даже

крики, чтобы пристав убирался, что он берет взятки. Тогда он тотчас же уехал, совершенно свободно: решительно никто за ним не гнался и не хотел его убивать. В то же время двое или трое крестьян, возбужденных глумлением доверенного господина Кривошейнова, мещанина Потапа Осипова, бросились на него и стали его бить, когда он собирался уехать, но были остановлены другими крестьянами. Одновременно с этим крестьяне отправились искать старшину и писаря, но они скрылись, боясь раздражения толпы, так как они люди крайне недобросовестные. Затем в село поехал ближайший сосед Лаврентьев, в гостях у которого был мой старший сын, и, встретив на дороге пристава, приглашал его вернуться, обещая уговорить крестьян, но пристав в испуге объяснил, что в Залесье бунт, и не согласился, говоря, что его хотели убить… Вот какой был бунт, ваше превосходительство, – заключил свой рассказ взволнованный старик. – И если действительно было некоторое раздражение, то вы очень хорошо видите, кто этому причиной.

Евгений Николаевич выслушал весь рассказ с полным вниманием, и, когда старик окончил, Евгений Николаевич проговорил:

– Мне доносили об этом происшествии совсем иначе. Во всяком случае, я искренно благодарен вам за

вашу помощь. Нечего и говорить, что я приму ваше сообщение к сведению, обращу особое внимание на это дело и постараюсь, насколько возможно, смягчить последствия. Так трудно найти порядочных людей! – вздохнул генерал. – Нас нередко обвиняют, но разве мы так виноваты? Нам часто приходится, почтеннейший Иван Андреевич, быть козлищами отпущения! – улыбнулся Евгений Николаевич. – И где найти людей? У нас, к сожалению, какое-то предубеждение против полицейской службы, и не мудрено, что мы довольствуемся тем, кто есть. Право, мы не так виноваты, как говорят о нас газеты. Нас обвиняют за все, а между тем не входят в наше положение.

– Всем, Евгений Николаевич, трудно!..

– Именно всем, вы это совершенно верно. Всем!.. – задумчиво повторил генерал.

– Сердитесь не сердитесь, Евгений Николаевич, я уж злоупотреблю вашей любезностью до конца! – продолжал Вязников и намекнул о том, чтобы его превосходительство повлиял на Кривошейнова относительно отсрочки взыскания.

– А то опять, пожалуй, выйдет какое-нибудь недоразумение.

– Я постараюсь, непременно скажу ему.

– Ваше слово, Евгений Николаевич, будет иметь вес.

– Ну, не особенно рассчитывайте, Иван Андреевич! Нынче эти господа почти вне нашего влияния.

– Однако ж…

– Что ему! Он миллионер и чувствует свою силу отлично, – умный мужик!.. Кстати, он был сегодня и ушел недовольный от меня, так как я отнесся с недоверием к его глупым сплетням. Вы простите меня, Иван Андреевич, но я позволю себе приятельский совет: уговорите своего сына быть осторожней. Его посещение и увещание Кривошейнова, конечно, не более как выходка юности, но ей могут дать толкование весьма нежелательное. Я, конечно, не поверю, но другие могут поверить, а теперь, ввиду разных прискорбных явлений, вы понимаете…

Вязников поблагодарил за участие и расстался с его превосходительством очень дружески. Генерал проводил Ивана Андреевича до дверей и еще раз обещал расследовать дело самым тщательным образом и повлиять на Кривошейнова.

Оставшись один, Евгений Николаевич подошел к карте, оказавшейся не вполне правдивой, внимательно посмотрел на нотабене, записал сведения, сообщенные Вязниковым, и, отходя, несколько раз повторил:

– Удивительно, как это случилось!.. Удивительно!..

Это так беспокоило Евгения Николаевича, что он

хотел было послать за правителем канцелярии, но, взглянув на часы и увидав, что уж одиннадцать часов, отложил свое намерение до утра.

В первый раз, кажется, у генерала явилось сомнение в безусловной верности своих карт и таблиц, развешанных в кабинете, и он, лежа в постели, несколько времени размышлял об этом, пока, наконец, не успокоился на том, что обнаруженная ошибка, вероятно, какая-нибудь случайность, и не решил собрать по этому поводу самые точные справки.

Если бы он когда-нибудь узнал, что все эти гвоздики и шелковинки, которыми он так гордился и в которые вложил душу, ровно ничего не стоят, то едва ли бы наш добросовестный, усидчивый и добродушный кабинетный генерал так скоро заснул, как заснул в эту ночь.

XXI

– Ну, что, папа? Удалась твоя миссия? – спрашивал Николай, когда они сошлись в трактире поужинать. – По твоему лицу вижу, что удалась!

– Кажется.

И старик передал сущность беседы с его превосходительством.

– Превосходно! – воскликнул Николай. – Ну, заказывай ты. Хорошо здесь кормят?

– Ничего себе. А ты любишь хорошо поесть, Коля?

– Грешен, папа, люблю!

Они заказали ужин. Николай потребовал бутылку шампанского.

– Я говорил, что, в сущности, Островерхов порядочный человек, если бы только не его статистика, в которую он так верит!

Когда старик рассказал о картах и таблицах генерала и о том, как Островерхов был смущен, когда Иван Андреевич объяснил, что сведения о Залесье неверны, то Николай хохотал как сумасшедший.

– Выходит, папа, что это бумажный администратор!

– Есть грех, но все же спасибо Евгению Николаевичу.

Они продолжали беседу, похлебывая шампанское,

и просидели вдвоем далеко за полночь. Старик был в духе. Его радовал успех его заступничества.

– А ведь продажа все-таки состоится! – поддразнил Николай.

– Я думаю, Кузьма отсрочит.

– А если нет? Ведь он вправе.

– Ну, тогда что делать!

– И если мужики в самом деле озлятся?

– Избави бог!

– Ведь возможно, папа? И тогда, какой бы ни был твой Евгений Николаевич, а придется усмирять. Ведь придется?

– Ну, конечно, придется.

– Выходит, папа, как ни ворочай дело, а дело-то скверное. Ну, положим, и отсрочит. Ведь не с неба же явятся деньги потом.

– Извернутся понемногу. Как-нибудь выплатят.

– И ведь Залесье – один случай, а таких случаев разве один? Газеты читаешь, надеюсь?

– Ну что ж? Ты, Коля, сейчас преувеличиваешь! Сейчас же обобщаешь и как будто нарочно стараешься окрасить в мрачный цвет все. Это у вас, у молодежи, точно закон какой-то! Ну, да, времена не особенно хорошие, несовершенством полна наша жизнь, все это справедливо, но что ж из этого? Лес рубят – щепки летят. Не сразу же все. Не все же кругом Кривошей-

новы, не все же эгоисты. И разве всегда так будет, как теперь? Не вечно же! Прежде хуже было, – что сказал бы ты в наше время? – а нынче уж не то. Разве прогресс не заметен? И что это за манера сомневаться да глумиться? Глумиться, Коля, легко. Надо верить и работать с этой верой. Чокнемся же, мальчик мой, за лучшие времена. Чокнемся, и да не оскудеет в тебе вера в ближнего своего!

Николай с любовью смотрел на своего старика, в котором жила такая сильная, горячая вера. И самому ему, под впечатлением горячих слов, все показалось светлей и лучше, и самому ему еще более верилось в свои молодые силы, тем более что они с отцом уже допивали вторую бутылку шампанского.

– Удивительно ты живуч, папа! – проговорил Николай.

– Ну, а вы, молодежь, разве не живучи? – засмеялся старик.

– Мы? Мы, папа, все тронутые какие-то.

– Как тронутые?

– Так; почвы нет. Во что верили вы, в то мы не верим…

– Полно, полно клеветать на себя, Коля. Еще не жил, а уж не веришь. И во что это вы не верите? В жизнь, в людей? Глупости ты говоришь, Коля. Эдакий скептик в двадцать два года! Нечего сказать!.. Однако

пойдем, мой скептик, спать. Пора. Заболтались мы с тобой.

Вязниковы решили остаться еще день в городе. Ивану Андреевичу надо было побывать в управе и навестить кое-кого знакомых.

Когда Николай на следующий день открыл глаза и потягивался в постели, Иван Андреевич уже был одет и собирался уходить.

– Заспался же ты, Коля! Двенадцатый час!

– Что ж ты не разбудил меня?!

– Да к чему же было тебя будить? После ужина надо выспаться. Ну, до свидания. Мне пора. А ты что будешь делать?

– Поброжу по улицам. Зайду в библиотеку; вечером пойду на бульвар.

– Ну, ладно, а я до вечера не буду дома.

– А обедать где будешь? Разве не вместе?

– Нет. Не знаю, как успею. Обедай без меня.

Николай оделся и пошел бродить по городу. От нечего делать зашел в гостиный двор и очень обрадовался, встретив Лаврентьева.

– Здорово, Николай Иванович! – произнес он. – Ну, я сегодня удостоился – был у губернатора. И прошение подано. Ничего. Обнадежили лапотников. Они уж и домой пошли, а я вот остался на денек, кое-что по хозяйству купить, – весело говорил Лаврентьев. – На-

до справляться. И одежину надо пошить. Оно как будто и в самом деле лучше пошить, а то ходишь словно бурлак. Надо теперича при параде.

«Вот оно что! – усмехнулся про себя Николай. – Совсем преображается дикий человек по случаю женитьбы!»

– А вы, Николай Иванович, куда идете? – спросил Лаврентьев.

– Шатаюсь, как видите.

– Так помогите мне, любезный человек. Сходим к портному насчет фрака.

– Вы и фрак заказываете? – невольно вырвалось у Николая.

– То-то!.. Советуют все; мало ли какая надобность… И то сегодня губернатор на мою сюртучину зарился. А еще поглядим фортепианы. Я звал Елену Ивановну, да она не поехала. Нездорова, говорит.

– Что с ней?

– А бог ее знает. Так, никакой болезни будто и не видно. Я сказывал, чтобы лекаря, – не хочет! – проговорил Григорий Николаевич как-то грустно. – Да и фортепианы просила еще не покупать. Так мы только присмотрим. Елена Ивановна любит музыку! – с любовью произнес Лаврентьев.

Николай с удовольствием согласился. Они сперва пошли к портному. Когда немец-портной сказал, что

фрачная пара будет стоить семьдесят пять рублей, то Григорий Николаевич даже ахнул.

– Да наплюйте мне в рожу, если я такие деньги дам! Отроду не плачивал. Что во фраке-то… и материалу нет, а такая прорва денег!

Николай и портной не могли не улыбнуться.

– Но зато фрак будет, настоящий фрак! – говорил портной.

– Не танцует! – проговорил Григорий Николаевич. – Пойдем, Николай Иванович, к другому немцу.

– Оно можно, господин, и дешевле, – улыбаясь, проговорил почтенный немец, – но зато не тот материал.

– Главное, чтобы прочно, потому этот мне фрак до смерти.

Лаврентьев торговался, как торгуется русский крестьянин. Он несколько раз уходил из лавки, снова возвращался и наконец решился заказать фрачную и сюртучную пару за шестьдесят рублей.

Портной стал снимать мерку, а Григорий Николаевич все приговаривал:

– Первое дело, чтобы пошире.

Николай только улыбался, глядя на этого «медведя», и представлял, каков он будет во фраке.

А «медведь» и сам смеялся.

– То-то хорош я буду во фраке, Николай Иванович!..

Ну, теперь фортепианы пойдем смотреть!

Николай перепробовал довольно много инструментов и выбрал несколько на разные цены. Лаврентьев не ахнул тут, когда за лучший инструмент спросили шестьсот рублей; он только спросил, нельзя ли сто скинуть, и когда ответили, что можно скинуть только двадцать пять рублей, он сказал, что через неделю решит дело.

– Пусть Елена Ивановна посмотрит! – заметил он Николаю. – Понравится – куплю. Спасибо, Николай Иванович, – прибавил он, крепко потрясая руку Николая. – Теперь, кажись, все. Разве космы-то свои снять!.. Как вы думаете? Уж заодно!

– Пожалуй, постричься не мешает.

– И бороду маленько обкорнать?

– Ничего и бороду! – подтвердил Николай, все более и более удивляясь.

– Ну, ладно. Послушаю вас, Николай Иванович. Добрый вы, как погляжу, человек-то! Смотрите, ко мне захаживайте. Мы так и не успели заведения моего поглядеть. Вы в Питер-то скоро?

– В сентябре, думаю.

– И что в вашем Питере? Вонь одна. Оставались бы у нас, Николай Иванович, право. В деревне жизнь вольная. Тоже и здесь дело найдется. Вы, слышал я, собираетесь в адвокаты?

– Да.

– Так у нас честному человеку здесь дела-то довольно, право. Аблакаты-то здешние, вроде Потапки, душат мужика!.. Эк я зубы-то заговариваю, а дело-то и забыл… Сегодня встретил я здесь васильевского старосту. Они судиться хотят с Смирновой.

– Так что же?

– А то, что просил меня указать им адвоката. Чего лучше – вам-то? Хотите?

– Я был бы очень рад! – воскликнул Николай, обрадованный и польщенный внезапным предложением Григория Николаевича.

Воображение тотчас же рисует ему заманчивую картину: он на суде говорит блистательную и убедительную речь при массе публики (верно, Нина Сергеевна тоже будет и Леночка тоже) и выигрывает дело, являясь, таким образом, защитником угнетенных крестьян.

– Я не прочь, Григорий Николаевич? – продолжал Николай, все более и более увлекаясь этой мыслью, – хотя и слышал, что у васильевских мужиков нет никаких доказательств.

– Дело занозистое, это верно… Документов никаких, но они владели леском еще при покойном Смирнове… Он подарил им лес… Все об этом знают! Попытать надо, не отдавать же так лес, зря, Смирнихе…

Баба она с перцем!

– Страшно как-то, Григорий Николаевич!.. Ведь это будет мой первый дебют…

– Да вы поди речисты?.. Правда, супротивник ваш будет – петербургская ваша шельма…

– Присухин?

– Слышал, он самый…

– Что ж… попробуем!.. Я, впрочем, не даю окончательного ответа. Я прежде познакомлюсь с делом, поговорю с крестьянами…

– И я кое-что расскажу, я тоже дело это знаю… Ужо приходите ко мне денька через два, я тем временем прикажу васильевскому старосте прийти… А насчет денег – васильевцы заплатят вам хорошо! – прибавил Лаврентьев.

– Я не возьму с них денег! – вспыхнул Николай.

– Как не возьмете? – удивился Лаврентьев и даже приостановился, посматривая на молодого человека во все глаза.

– Так, не возьму…

Лаврентьев расхохотался.

– Вот сейчас и видно, Николай Иванович, что вы мужика совсем не знаете. Да нешто он согласится, чтобы вы даром?.. Ни в жизнь! У него тогда и веры не будет к вам… Боже вас сохрани! Мужик смекнет, что вы так, по-господски… позабавиться… Что вы! За свой

труд да не взять?!

– Ну, положим, пустяки какие-нибудь…

– И это не дело, – берите по чести! Вы с ними торгуйтесь, нечего белендрясы-то с ними строить… Мужик над вами будет смеяться, коли вы с ним, как с младенцем, станете бахвалиться! Васильевцы – плут-мужики и ничего себе – брюхо отрастили, даром что прикинутся казанскими сиротами… Я здесь мужика знаю… Ну, да об этом нечего толочь воду-то! Коли возьметесь за дело, мы ужо обладим…

Они шли, продолжая беседу. Лаврентьев время от времени поглядывал все по сторонам улицы.

– Что это вы ищете, Григорий Николаевич?

– Вот ее самую – цирульню!

Лаврентьев ткнул пальцем на противоположную сторону улицы и прибавил:

– Пойти окорнаться, а то, сказывают люди, и взаправду детей пугаю! – усмехнулся Григорий Николаевич.

«Это он все для Леночки!» – подумал Николай.

– Опосля еще к одному человечку заверну, да и гайда домой! – продолжал Лаврентьев, останавливаясь. – Что здесь хорошего? Одна пакость в городе! А вы когда домой?

– Мы завтра.

– Так прощайте, Николай Иванович! И то замотал я

вас! Спасибо за помощь! Ужо мы с Еленой Ивановной приедем свои фортепианы брать… По крайности музыка у нас будет, а то что гитара?.. Ей наскучит моя гитара… Елена Ивановна музыку любит… Душа у нее… такая… чуткая… Словно струна звучит!

Когда Лаврентьев упоминал имя невесты, некрасивое, поросшее волосами лицо его умилялось, глаза светились бесконечною любовью, и в грубом голосе звучала такая нежная нотка, что Николай невольно подумал, глядя на этого «медведя»: «Любит же он Леночку и как сильно любит!»

«А Леночка?» – подкрадывался вопрос.

– Не забудьте же через два дня ко мне, к вечеру, что ли… Лес тягать будем от Смирнихи! – прибавил Лаврентьев, сжимая, по своему обыкновению, руку Николая так крепко, что Николай чуть не присел.

– Ай больно? – простодушно спросил Лаврентьев, гладя своей рукой руку Николая, точно нянька ребенка. – Да, батюшке-то вашему, Ивану Андреевичу, нижайший мой поклон! Очень помог он! Кабы не он, може, генерал и слухать бы не стал Гришку Лаврентьева. Брешет, мол, все Гришка!.. Он и так глаза все пучил на меня! Теперь по крайности кум усмирять не будет… и то ладно! А до Кузьки доберусь!.. Ты не сумневайся, Иваныч!.. Для этого я и к человечку иду. У Кузьки-то все рыло в грязи, как у борова, да и кровь-

то на рыле еще не засохла… Мы ее отмоем… дал бы бог до концов до его добраться!..

Он снова пожал руку и пошел в другую сторону.

Николай, улыбаясь, проследил глазами неуклюжую, мешковатую фигуру Лаврентьева и пошел вперед, охваченный мыслями о сделанном предложении. Он шел, опустив слегка голову, и в воображении произнес уже несколько превосходных речей, совершенно уничтожил своего противника, так что Присухин то бледнел, то краснел, и сила этих речей, разумеется, произвела такое впечатление, что суд, несмотря на отсутствие документов, решил дело в пользу его доверителей, – как вдруг чей-то голос сзади назвал его по имени.

Николай повернул голову и увидел перед собой ту самую «легальную грабительницу», которую он только что так назвал в своей мысленной речи. Смирнова была не одна, а с Ниной Сергеевной. Обе они, видимо, обрадовались встрече.

– Знакомых не узнаете? – весело заговорила Надежда Петровна, протягивая руку. – И забыли нас совсем. Это стыдно, Николай Иванович! – ласково упрекнула «легальная грабительница».

– И, во всяком случае, нелюбезно! Обещал приехать и… в воду канул! – прибавила Нина, вся улыбаясь и по-английски пожимая руку молодого человека.

Он взглянул на нее. Она все та же: ослепительная, свежая, белая, улыбающаяся. Тонким ароматом веяло от нее и приятно щекотало нос. Платье, показалось Николаю, сидело на ней как-то особенно шикарно. И вся она была такая изящная, выхоленная, красивая. Он пошел рядом с Ниной.

– Надолго в город? – осведомилась Смирнова.

– Вчера приехали и завтра уезжаем. Отец тут по одному делу.

– А вы от скуки? – усмехнулась Нина.

– А вы, Нина Сергеевна? – переспросил с живостью Николай. – Разве вы уже соскучились в деревне? – значительно прибавил он.

Но Нина, казалось, не поняла намека и ответила:

– От скуки. Мама тоже по делам, так я воспользовалась случаем. Вот по магазинам ходили… Только ничего здесь нет. Дрянь все!

– Так мы вас будем ждать! – снова сказала Надежда Петровна. – Я все-таки рассчитываю на вас с нашей школой… И приезжайте не на день, не на два, а на неделю… Мы послезавтра домой.

– И Алексей Алексеевич без вас соскучился! – вставила Нина. – Бедному не с кем спорить!

– Не с кем?

– Не с кем! Нет достойных противников! – прибавила она тихо и при этом так ядовито улыбнулась, что

Николая кольнуло.

Ему было досадно, что она смеется над ним, как над мальчишкой, смеется так небрежно, и в то же время ему была приятна ее болтовня. Говорить с ней было как-то весело и заманчиво. Какая-то раздражительная прелесть насмешки была в ее болтовне. И при этом иногда в ней прорывались такие нотки, что Николай становился в тупик. «Пусть, однако, она не думает, что я ею очень интересуюсь!» – решил вдруг Николай и стал раскланиваться, когда подошли к перекрестку.

– Да вы опять бежать? Или вспомнили о каком-нибудь деле? – спросила Нина.

– Нет, просто нужно сделать один визит! – соврал молодой человек.

– Так смотрите же, до свидания! – повторила Смирнова. – И до скорого.

– Еще, верно, вечером увидимся? – лениво обронила Нина, кивнув головой. – Верно, на бульваре будете? Больше некуда деваться. Посмотрите все здешнее обществе в сборе. Говорят, здесь много хорошеньких!..

– Не знаю. Может быть! – сказал Николай.

Он тогда же решил не идти на бульвар. «Подумает, ради нее пришел!» Но после обеда его одолела такая скука в номере, что он вышел из гостиницы, побродил

по улицам и очутился на бульваре.

«Пусть думает, что хочет. Черт с нею!»

XXII

В саду играл хор военной музыки. По аллеям медленно двигалась публика, тихо разговаривая. За столиками кое-где пили чай и пиво. Не слышно было ни смеха, ни громкой речи. Все точно собрались для того, чтобы поскучать на людях и показать наряды. Лица у всех были какие-то натянутые, скучные. Дамы оглядывали костюмы друг друга и бросали завистливые взгляды. Мужчины как-то совсем скучно гуляли. Николай вмешался в толпу и пошел по течению. Он описал несколько кругов вокруг площадки, где играла музыка, испытывая адскую скуку, стал искать Смирновых и не видел их.

– Николай Иванович!

Он обрадовался, услыхав знакомый голос Нины Сергеевны, и торопливо подошел к скамейке, на которой сидела Смирнова с Ниной. Обе они лорнировали проходящих.

– Садитесь-ка, а то вы ходите, как рыцарь печального образа [27]! – проговорила Нина, указывая на место подле себя. – Видно, очень весело?

---

[27] Рыцарь печального образа – Дон Кихот, герои одноименного романа Сервантеса (1605-1615).

– Не особенно.

– Не особенно. Да на вашем лице такое воплощение скуки, что при взгляде на вас невольно делается скучно!.. Давайте-ка вместе смотреть на публику… Что, много красивых лиц?

– Не заметил.

– А вот эта – взгляните! – вступилась Надежда Петровна, указывая едва заметным движением на проходившую молоденькую красивую барыню. – Вы не знаете этой губернской красавицы?

– Нет.

– Жена вице-губернатора. Не правда ли, хороша?

– Хороша, но слишком уж довольное лицо. На нем написана глупость!..

– Ну, а вот эта брюнетка, дочь здешнего городского головы, с брильянтами в ушах и с миллионом приданого. Хороша?

– С миллионом или без него? – засмеялся Николай.

В это время к скамейке приблизился какой-то пожилой господин, раскланиваясь с дамами. Надежда Петровна усадила его возле себя.

– Ну, теперь мама не будет скучать!.. – заметила Нина.

– Почему? Разве этот господин интересный?..

– Да вы, как посмотрю, решительно никого не знаете. Это известный здешний сельский хозяин, господин

Барсуков… помещик.

– А! – промолвил Николай. – Известный?

– Мы неизвестных не любим! – усмехнулась Нина. – Однако давайте-ка лучше злословить, а то, право, скучно.

Нина Сергеевна начала осмеивать проходящих дам, делая ядовитые и подчас меткие замечания насчет их лиц и костюмов, и весело болтала, не обращая, по-видимому, внимания на сдержанное обращение Николая. Молодой человек все еще не мог забыть подслушанный разговор в саду и не то чтобы сердился, а хотел как-нибудь дать понять молодой женщине, что она его нисколько не интересует.

Нина Сергеевна продолжала болтать и смеяться – и вдруг смолкла. Смех оборвался неожиданно, точно лопнувшая струна.

Вязников взглянул на молодую женщину и был поражен внезапной переменой. Та ли это Нина, только за секунду перед тем веселая, сияющая, смеющаяся?

Она вся как-то притихла, как притихают дети после долгого веселья. Тоской и утомлением дышали ее черты. Она медленно прислонилась к спинке, откинула вуалетку, и сквозь белый газ – показалось Николаю – блеснула слеза в ее глазах.

Николай молчал, не смея нарушить торжественности ее настроения и проникаясь участием. Молчала

и Нина. Сбоку шла оживленная беседа Смирновой с известным сельским хозяином.

– Рассказывайте же что-нибудь! – наконец проговорила Нина.

– Что рассказывать?

– Что-нибудь веселое!..

– Вам трудно угодить… Странная вы женщина, Нина Сергеевна, – вот все, что я могу сказать!

– Это я и без вас знаю.

– Такие резкие переходы!.. Сию минуту смеялись, а теперь…

– Перестала смеяться? Нервы!

– Нервы – только?

– Разумеется. У нас, у женщин, все нервы. Вы так и запишите в свою записную книжку: нервы и нервы! – прибавила она с иронией в голосе. – У вас, как у, литератора, верно, есть записная книжка. Я думаю, много глупостей вы в нее записываете!..

– У меня нет записной книжки.

– Нет?.. У всех литераторов есть; по крайней мере они уверяют. А может быть, лгут, чтобы пугать провинциальных дам и барышень, благоговеющих перед литераторами!..

Она помолчала и через несколько времени сказала:

– Признайтесь, вам очень бы хотелось знать, отчего

это такая перемена? Смеялась, злословила и вдруг сделалась серьезна. Может быть, воображение ваше и слезу на моих глазах представило.

– Я и без воображения видел слезы! – прошептал Николай.

– Ну, и поздравляю вас, если видели! – резко оборвала Нина. – А положение очень интересное, не правда ли? Сад, «темнолиственных кленов аллея» [28], под развесистым дубом скамейка, вдали звуки из «Фауста» [29], хоть и скверные звуки, но можно вообразить, что прекрасные, и хорошенькая – не будем, молодой человек, лицемерны! – хорошенькая женщина поверяет тайны своего сердца благородному, сочувствующему и тоже – будем справедливы! – красивому молодому человеку. Хоть и старо, а все-таки чувствительно! Сознайтесь, что вы любопытны не менее нас и не прочь узнать, что происходит с женщиной… конечно, если женщина не похожа вон на эту даму! – прибавила она насмешливо, указывая на очень некрасивую барыню, проходившую мимо.

– Я и так знаю!

– Что вы знаете? – как-то презрительно протянула

---

[28] «Темнолиственных кленов аллея» – неточная цитата из стихотворения И.И.Панаева (1812-1862) «Будто из Гейне» (1847).

[29] …звуки из «Фауста» – «Фауст» (1858) – опера французского композитора Шарля Франсуа Гуно (1818-1893).

Нина. – Ничего вы не знаете.

– Разрешаете сказать? – насмешливо проговорил Николай.

– Говорите! – равнодушно протянула Нина. – Впрочем, постойте, лучше не говорите, Николай Иванович! Не разочаровывайте меня хоть сегодня! Пусть я останусь в приятном заблуждении, что вы не похожи на… на Горлицына. Ведь я наперед знаю, что вы скажете.

– Что я скажу?

– И вы сознаетесь?

– Даю слово!

– Ах, то, что вы скажете, мне столько раз повторяли ваши развитые люди, которые бывают в обществе, что я наизусть выучила эти слова! Вы скажете, что я неудовлетворена оттого, что ничего не делаю, не имею в жизни высокой цели, не открываю школ, не записываюсь в филантропки, не… мало ли каких умных вещей не делаю, что я скучающая, блазированная [30] аристократка, – хотя, заметьте на всякий случай, Николай Иванович, я не имею чести быть аристократкой по рождению, пусть мама и отрицает это, – что меня тешит внешний блеск, что я кокетка, что… ну, мало ли еще что… Но что натура моя, прекрасная натура, противодействует плодам моего воспитания, и отсюда – разлад, отсюда неровность, нервность, тревога,

[30] Блазированная – пресыщенная (фр.).

неудовлетворенность… Стоит только читать умные книги, беседовать с серьезными людьми, выйти, пожалуй, замуж за какого-нибудь развитого, порядочного человека, воспитывать по всем правилам будущих граждан, не забывая, однако, быть ревностным членом какого-нибудь дамского кружка, посещать приют, где пригреты, обуты, напоены и накормлены пятнадцать прелестных беспризорных малюток, устраивать журфиксы, на которых был бы живой обмен мыслей, и тогда… тогда, – с какой-то злостью в голосе прибавила Нина Сергеевна, – тогда я стану во всех отношениях счастливой женщиной, буду примерной женой, прекрасной матерью и превосходной гражданкой… Пощадите хоть вы, Николай Иванович. Неужели и вы, несмотря на свою молодость, хотите говорить такие пошлости?.. Не говорите их лучше!

– Честное слово, вы ошибаетесь, Нина Сергеевна. Ничего подобного у меня не было в мысли. Я не то хотел сказать.

– Не то? – проговорила она, поднимаясь. – Так что же?.. Пойдемте походим, – прибавила Нина. – Мы, мама, скоро вернемся! Надоело сидеть! – сказала она.

– Скорей возвращайтесь. Уж поздно, пора и домой, Нина.

– Мы недолго… Так что ж вы хотели сказать? – спрашивала Нина Сергеевна, идя под руку с Никола-

ем. – Это начинает меня интриговать. Вы разогнали мою скуку.

– Говорить ли?

– Вы должны теперь сказать! – повелительно произнесла она. – Говорите!

– Вы любите! – прошептал Николай.

Рука Нины Сергеевны как будто дрогнула. Она засмеялась, но смех звучал как-то фальшиво.

– Вот глупости!.. Нечего сказать – открыли секрет. Выдумайте что-нибудь похитрее! Не знаете ли, кого?.. Не вас ли?.. – произнесла она с явной насмешкой в голосе.

– Стою ли я такой чести!.. Помилуйте! Со мной можно от деревенской скуки пококетничать, и за то спасибо.

– Не сердитесь… Ну да, я кокетничала… Простите! – вдруг кротко сказала она.

Николая тронул этот кроткий тон.

– За что сердиться? Помните, вы сами говорили, что мне полезно изучать людей?..

– Серьезного ведь ничего не было?

– Ни малейшей опасности!

– Вот видите, значит, и не сердитесь!

Она помолчала и снова спросила:

– Так, по-вашему, я люблю и, верно, безнадежно?

– Любите, а безнадежно – едва ли.

– И уж если вы такой волшебник, то не отгадаете ли, кого?

– Тут мое волшебство кончается.

– Кончается? А я думала, что вы, как настоящий волшебник, скажете и имя моего рыцаря, – поддразнила Нина Сергеевна.

– Вот имени рыцаря-то я и не знаю!.. – отвечал Николай.

«То-то бы ты удивилась, если б я сказал», – улыбнулся он.

– Итак, заблуждение ваше насчет меня не поколеблено?

– Нет. Каюсь перед вами, что нет!

Нина больше не начинала разговора. Молча подвигалась она с Николаем по аллее и снова притихла. Они сделали круг, и молодая женщина сказала:

– Верно, мама уже беспокоится. Пойдемте к ней!.. Так вы в самом деле не сердитесь? Нет?

– Да нет же.

– Право, я не так дурна, как кажется! – сказала она так просто и таким задушевным тоном, что Николай с участием взглянул на нее.

Они тихо приближались к скамейке. Она хотела что-то сказать, но как будто колебалась. Николай заметил это. Она прочитала в его взгляде, что он заметил, и тихо промолвила:

– Я не решалась просить вас, но теперь решаюсь. Быть может, мне будет нужна ваша помощь. Позволите обратиться к вам?

– Я буду очень рад, если в состоянии помочь.

– Так, навести справки, узнать об одном…

Она спохватилась и прибавила:

– Ничего особенного. Но, во всяком случае, благодарю вас! – горячо сказала она.

«О чем просьба? Какие справки?»

Николай с минуту ломал голову и вдруг вспомнил, что Прокофьев еще не вернулся и, по словам Лаврентьева, от него не было никаких известий.

«Так вот отчего эти нервы!» – решил Вязников.

Дамы собрались домой. Николай проводил их до дому, где они остановились, а сам отправился в гостиницу и застал отца спящим.

Когда утром Вязниковы возвращались домой, Николай рассказал отцу о своем намерении взять на себя ведение процесса васильевских крестьян со Смирновой.

– Разве она в самом деле требует лес обратно?

– Ты думаешь, папа, шутит!..

– Я от нее этого не ожидал!

– Так, как ты думаешь, папа: брать мне дело?

– Справишься ли? Дело трудное.

– Я поработаю, хорошо поработаю над ним.

– Тогда, что ж! Но только надо засесть хорошенько, Коля! Тут одно красноречие не поможет! К чужим интересам надо относиться свято!.. Свое потеряешь – не беда, а чужое – на совести будет!

Он долго сидел молча и потом проговорил:

– Казалось, женщина порядочная и… отнимает лес! Признаюсь, удивила меня Надежда Петровна! Удивительно! – в раздумье несколько раз повторял Иван Андреевич, неодобрительно покачивая головой.

– Кстати, папа, помнишь, ты предупреждал меня насчет Нины Сергеевны. Почему ты советовал быть осторожней?

– Да темная история ее замужества. Она вышла замуж за старика и, говорят, играла при этом скверную роль. Просто, говорят, поймала его. Впрочем, я этого не видал, а предупреждал тебя потому, что она большая кокетка и из-за нее застрелился очень порядочный человек.

– Это еще что за история?

– Я тебе когда-нибудь ее расскажу! – отвечал Иван Андреевич. – Впрочем, и тут, быть может, ее винят более, чем следует. Поди узнай человеческое сердце!

Солнце только что подымалось, и земля сверкала дрожащими каплями росы, когда Григорий Николае-

вич, мурлыча под нос песню, выехал из прохладного леса, и перед ним открылась его усадебка, залитая розовым светом солнечных лучей. Он тряхнул вожжами, и тележка покатилась быстрей. Рыжий, добрый конь прибавил рыси.

Спокоен и счастлив ехал Григорий Николаевич домой. Радостная улыбка мелькала на лице его, когда он окинул взором свои небольшие владения, такая радостная улыбка, которой не бывало, когда он прежде возвращался домой. Теперь и его «изба», как называл он свой крепко посаженным небольшой дом, и лес направо, отливавший золотистым блеском, и поля с наклонившимся колосом казались ему еще милей, еще, если можно так сказать, родственней. И все теперь как будто получало особенный смысл, все казалось ярче и радостней, и лист – нежнее, и птица – певучее.

И прежде он ласковым взором приветствовал свое гнездо, но этот взор не блистал той любовью, какой блистал теперь. Тогда он был одинок. Сиротливей чувствовал он себя с годами, и нередко щемящее одиночество неутоленная потребность любви заставляли его забываться в вине. Но теперь другое дело! Дух любимого создания уже жил в доселе пустом гнезде. Еще Леночка не вошла в дом, еще она не ходила хозяйкой в поле, не оглашала чудным своим голосом

молодого сада, а между тем и дом, и поле, и сад – все было полно ею, и близок был день, когда ее свежий голосок будет ежедневно раздаваться здесь, и славная, честная Леночка, как трудящаяся, домовитая ласточка, озарит дом счастием и ласкою… Какое еще может быть для человека счастие?

Так думал Григории Николаевич, посматривая вокруг и затягивая все громче и громче песню своего сердца.

Не совсем обыкновенно, верней – совсем необыкновенно сложилась жизнь этого столбового дворянина, сына заслуженного генерала. Не без борьбы пришел он к тихой пристани полумужицкого счастья. Но зато уже давно он не испытывал мук сомнения, не искал в поте лица истины, не мучился вопросами, не подходил даже к ним. Раз он попал в колею, – он не сворачивал с нее и шел по ней с упорством вола и непоколебимой честностью испытавшего себя человека, добровольно лишившего себя большого состояния. Почему бывшего богатого морского офицера, когда-то мечтавшего о подвигах, о славе, потянуло к мужику и как он сделался таким, каков он теперь, – об этом читатель узнает из следующей главы.

XXIII

Не особенно радостно протекли детские годы Лаврентьева. Мать его умерла в чахотке еще молодой женщиной, когда младшему ее сыну и любимцу, Грише, минуло только пять лет. На другой же день после похорон приехавшая из деревни тетка, родная сестра отца осиротевшего мальчика, генерала, отличавшегося в это время на Кавказе, – старая дева лет под шестьдесят, увезла ребенка из Москвы, где, брошенная мужем, одиноко окончила свою печальную жизнь мать Григория Николаевича.

Тетка привезла племянника в свое имение в Орловской губернии. До одиннадцати лет Гриша рос в пустынном, мрачном большом барском доме, лишенный нежной ласки матери» когда эта ласка так нужна детскому сердцу, в обществе суровой, нелюдимой старухи тетки да ее компаньонки, пожилой девицы, бедной дальней родственницы, безропотно сносившей насмешки и капризы своей благодетельницы. Сиротливо и жутко было бедному мальчику, особенно в первое время, когда он был еще маленьким мальчиком. Холодом веяло от этого пустынного дома, где все ходили молчаливые, испуганные, страшась прогневить суровую барышню. Неприветлива, суха, при-

дирчива и строга была с Гришей старая тетка. Казалось, она как будто перенесла на ребенка свою нелюбовь к покойной его матери, которая осмелилась породниться с старинным дворянским родом Лаврентьевых, происходя из мелкопоместных дворян. Брак Лаврентьева в свое время возбудил общее неудовольствие. «Если б покойный батюшка был жив, никогда не было бы такого позора!» – не раз говорила старая тетка, не стесняясь присутствием ребенка. Она ни за что не хотела видеть невестку и увидала ее в первый раз в гробу. Набожно кладя земные поклоны, она в то же время в душе радовалась, что господь прибрал наконец эту женщину, бывшую виновницей многих семейных ссор.

Маленькое создание, очутившееся в большом старом доме, не смягчило очерствевшего сердца тетки. Молчаливая, суровая, набожная и озлобленная, вечно подозрительно поглядывавшая серыми острыми глазами, часто зажигавшимися зловещим огоньком, она внушала страх не только ребенку, но и всем в доме. Ее боялись и ненавидели. Эта старая девица была одной из жестоких помещиц, так что после одного уж слишком жестокого истязания, совершенного ею над горничной, имение ее чуть было не взяли в опеку, но благодаря ее связям дело было замято. В околотке ее иначе не звали, как «старой ведьмой». Скупая, не

доверявшая никому, она одиноко проводила жизнь в своем мрачном гнезде, находя, по-видимому, наслаждение наводить на всех трепет. Родные боялись ее, раз или два в год ездили к ней на поклон, как к богатой родственнице, но оставались обыкновенно недолго: очень уж неприветливо и тоскливо было в ее берлоге.

Нечего и говорить, что маленький Гриша чувствовал непреодолимый страх к своей тетке. Он невольно вздрагивал, как только, бывало, завидит высокую, худощавую фигуру в длинном балахоне, с высоко поднятой седой головой, с костылем в руках и связкой ключей, болтавшихся у пояса, – и пугливо жался к няне. Тетка замечала этот детский страх, но никогда не пробовала приласкать ребенка. Она молча проходила, обводя его взглядом, от которого душа у него уходила в пятки. По вечерам, перед отходом ко сну, мальчик должен был просиживать около часу с теткой в гостиной. Обыкновенно он съеживался где-нибудь в уголке большого кресла, не смея пошевелиться и не отводя глаз с желтого, высохшего лица старой девы, раскладывавшей в это время гран-пасьянс и отпускавшей жесткие колкости компаньонке – забитому существу, обязанному неизменно находиться при своей благодетельнице.

Иногда она пробовала шутить с мальчиком, но шутка выходила такая неласковая, холодная, мальчик так

пугливо отвечал на ее вопросы, что она умолкала и еще жестче и ядовитей издевалась над безответной компаньонкой.

Жутко бывало в такие зимние вечера, в этой мрачной гостиной, бедному мальчику. В его воображении тетка принимала какие-то фантастические размеры и казалась ему бабой-ягой, поедающей маленьких детей. Он закрывал глаза и сильней съеживался в кресле, пока на пороге не появлялась любимица няня и не приглашала его идти спать. Нередко добрая Арина Кузьминишна нарочно приходила пораньше, и когда тетка отрывисто спрашивала: «Разве время?» – старая няня отвечала, что наверху уж пробило восемь часов.

Гриша подходил к тетке и прикладывался к ее длинной, костлявой руке. Тетка молча крестила его, делала какое-нибудь строгое замечание няне, и затем ребенок уходил наверх, в детскую, где часто рыдал неутешными слезами, пока не засыпал с улыбкой на устах, утешенный, ободренный и пригретый на любящей груди Арины Кузьминишны.

Мало светлых воспоминаний осталось бы у Лаврентьева из этой поры детства, если б у него не было верного друга и заступницы, этой славной няни, отдавшей всю силу любви своего горячего, сострадательного сердца бедному брошенному ребенку. И кого

же так горячо любила и жалела Арина Кузьминишна? Маленького барчука, последыша того самого человека, который причинил ей же величайшее зло, отдавши единственного ее сына за какую-то грубость в солдаты. За зло она отплатила добром. Она пожалела сироту и добровольно поехала с ребенком жить к старой «ведьме», несмотря на то, что после смерти молодой барыни, которой была подарена мужем, Арина Кузьминишна, по завещанию, получила вольную.

«Кто призрит сиротку?» – подумала Арина Кузьминишна, когда ей объявили вольную, и решилась не оставлять ребенка, пока он не подрастет.

Чудным, светлым, неизгладимым воспоминанием запечатлелся навсегда образ этой старой подруги сиротливого детства в сердце Григория Николаевича. С благоговением и признательностью вспоминал он самоотверженную, любящую женщину, выносившую из-за него брань и наказания суровой тетки, заменившую ему мать, бывшую его лучшим, верным другом и пестуном. Она согрела сердце ребенка нежной лаской, она заставляла забывать одиночество сказкой и песней, она первая посеяла в молодой душе ребенка семена любви к подневольному, униженному и оскорбленному, – словом, Арина Кузьминишна была одна из тех русских крепостных нянь, которые беззаветной любовью скрасили не одно сиротство дворянских под-

ростков, утерли немало слез, смягчили немало сердец и бывали первыми и лучшими наставницами многих беспризорных русских дворянских детей.

Матери своей ребенок не мог помнить, но, по рассказам няни, сохранил о ней горячее и признательное воспоминание, нередко впоследствии задумываясь над ее печальной судьбой. Судя по портрету, писанному масляными красками вскоре после свадьбы и доставшемуся потом Григорию Николаевичу, мать его была женщиной замечательной красоты – блондинка с кротким взглядом и необыкновенно добрым лицом. Полузадумчивая, полугрустная улыбка уже скользила на ее устах, словно предчувствие будущей печальной судьбы.

Судьба матери Григория Николаевича в самом деле была из печальных. Она была дочь мелкопоместного дворянина Смоленской губернии, жившего по соседству с Лаврентьевым. Кроткая, задумчивая девушка, единственная дочь родителей, выросла дома, не получив никакого образования, едва знала грамоту и, на беду свою, в шестнадцать лет была замечательной красавицей с пышными русыми волосами и черными глазами. На нее заглядывались соседи; за нее уже сватался какой-то приказный из уездного города, когда отец Григория Николаевича, в то время бывший подполковником, только что переведенный

за какой-то проступок из гвардии в армию и заехавший по дороге на Кавказ погостить к старухе матери, – встретил в церкви молодую девушку и был поражен ее красотой. Она возбудила в нем сильную животную страсть, и он чрез несколько времени решил, что дочь мелкопоместного дворянина будет его женой, хотя бы пришлось из-за этого поссориться со всей родней. Лаврентьеву было в это время тридцать пять лет, он был очень нехорош собой, низенького роста, брюнет, с резко выдававшимися челюстями. Он не отличался изящными манерами – от него несло казарменным духом николаевского времени. Характера он был упрямого, деспотического, угрюмого и не терпел противоречий. В нем сказывалась лаврентьевская порода. Образование он получил неважное, книг не читал, редко посещал общество, был любимцем Михаила Павловича [31] и грозой солдат. Вот этому-то человеку имела несчастие понравиться тихая, робкая шестнадцатилетняя девушка. Лаврентьев тотчас же познакомился с ее отцом и однажды спросил ее шутя: пошла ли бы она за него замуж? Вместо ответа она заплакала, закрыла лицо руками и убежала из комнаты.

---

[31] Михаил Павлович (1798-1849) – великий князь, брат Николая I, главный начальник Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов, командир Отдельного гвардейского корпуса, генерал-инспектор по инженерной части.

Но это не остановило Лаврентьева, хотя он и удивился, что дочь несчастного мелкопоместного дворянина не бросилась к нему сразу в объятия… Однако дело скоро сладилось. Отец, обрадовавшись счастью, выпавшему дочери, заставил ее идти замуж. Молодые обвенчались чуть ли не тайком и уехали на Кавказ, откуда мать Лаврентьева получила извещение о женитьбе сына.

Первые годы жизнь молодой жены была еще сносна, хотя муж терзал ее ревностью и пугал дикими вспышками гнева. Она боялась его и еще более робела. Прошло несколько лет. Лаврентьев охладел к ней и стал тяготиться своей робкой, несветской, застенчивой женой. В это время он отличался в делах против горцев, был за отличие произведен в генералы, и ему предстояла видная, блестящая карьера. Скромная жена совсем не годилась для роли генеральши, и под конец Лаврентьев возненавидел ее, находя в ней помеху для своей карьеры. Он стал теснить несчастную женщину с безжалостной жестокостью, держал ее взаперти, не показывая никому, и, наконец, отправил ее в деревню, запретив выезжать оттуда. Старшего сына он отправил на воспитание своей матери, а младшего, только что родившегося Гришу, оставил при матери. Тихо чахла бедная женщина и после долгих просьб вымолила разрешение ехать в Москву ле-

читься. Там одиноко протянула она еще три года и наконец, брошенная всеми, умерла. Тем временем Лаврентьев пожинал на Кавказе лавры, и имя его гремело в газетах того времени. Получивши известие о смерти жены и о том, что младший сын взят на воспитание теткой, Лаврентьев обрадовался и скоро женился во второй раз, сделав весьма блестящую партию.

Когда Григорий Николаевич впоследствии узнал от няни печальную судьбу своей матери, он еще более охладел к отцу и питал к нему чувство далеко не сыновнее.

Впрочем, Григорий Николаевич никогда не был близок с отцом. Он совсем не знал его, никогда не жил вместе, и в редкие, короткие свидания, во время наездов отца в Петербург, мальчик испытывал почтительный страх – и только. Он, пожалуй, гордился отцом, о боевых подвигах которого гремела слава, сам мечтал о подвигах, когда будет офицером, но не испытывал большой радости, когда отец, весь в орденах и ленте, приезжал на пятнадцать минут в корпус, трепал мальчика по щеке, давал рубль денег и, осведомившись у корпусного начальства о поведении сына, уезжал, прикладывая колючие свои усы к щекам сына. Иногда отец, во время приездов в Петербург, брал его на воскресенье и оставлял на целый день одного в номере гостиницы с своим денщиком. Гриша обык-

новенно завязывал беседу с старым солдатом и не особенно горевал, что отец в отсутствии. Он невольно чувствовал, что отец ему чужой, что он на него не обращает внимания и ни одним ласковым словом не приближает к себе. Всегда резкий, сухой, с грубыми манерами, приземистый, некрасивый, с красным солдатским лицом, этот человек, быть может, и любил по-своему сына, но любил уж очень странно, никогда не проявляя своей любви нежным чувством, мягким словом, дружеским участием. Разговоры его с сыном бывали всегда лаконичны.

– Здоров? – обыкновенно встречал он сына, торопливо надевая мундир, когда мальчик по воскресеньям в девять часов утра приходил из корпуса в номер гостиницы, где останавливался отец.

– Здоров, – отвечал Гриша, подходя к красной, короткой, жилистой, поросшей волосами руке.

– Хорошо учился?

– Хорошо.

– Не секли?

– Нет.

Затем разговор прекращался. Гриша садился в сторону и не без удовольствия любовался на шитый мундир, на золотые аксельбанты и на ордена, которыми усеяна была выпяченная грудь кавказского героя. Иногда, впрочем, его созерцание нарушалось неожи-

данными вспышками гнева отца против денщика. Тогда красное лицо генерала становилось багровым, глаза наливались кровью, и он бил кулаком по лицу старого солдата с каким-то непостижимым зверством и ругался площадными словами. Денщик только жмурился и чуть-чуть отстранял лицо после каждого удара. Обыкновенно вспышки эти бывали из-за каких-нибудь пустяков. Гриша в это время полон был сострадания к солдату, испытывая чувство стыда и негодования. Когда отец уезжал, Гриша вздыхал свободнее.

Раз или два в год отец писал сыну в корпус безграмотные, короткие и лаконические, как канцелярские бумаги, письма, с приложением десяти рублей на лакомство; в этих письмах обыкновенно отец рекомендовал сыну хорошо вести себя, слушать начальство и не рассуждать, как это подобает будущему слуге отечества, и быть впоследствии бравым офицером. Иногда в письме сообщалось и о полученных наградах. Вот точная копия с одного из писем, полученных однажды четырнадцатилетним кадетом:

«Любезный Григорий!

Я, слава богу, нахожусь в вожделенном здравии. Бог хранит меня. Недавно государь император изволил пожаловать меня орденом Владимира [32] второй степени. Этот орден надо

[32] Ордена Владимира – учрежден 22 сентября 1782 года по случаю

заслужить. Желаю и тебе впоследствии быть его достойным. А впрочем, будь здоров и веди себя хорошо.

При сем посылаю десять рублей.

Твой отец генерал Лаврентьев».

Таковы были отношения между отцом и сыном.

Когда, через два года после смерти жены генерала Лаврентьева, старая тетка однажды получила от брата письмо с извещением о вступлении его во второй брак с грузинской владетельной княжной, «девицей привлекательной наружности, приятного характера, получившей воспитание в Смольном институте [33]», – обыкновенно суровое лицо старухи прояснилось, и на лице ее промелькнула радостная улыбка. В тот же день она велела позвать священника и приказала отслужить молебен.

После молебна она торжественно объявила, что брат ее вступил во второй брак, и во этому случаю пригласила батюшку обедать и приказала испечь для людей пироги и дать мужчинам по стакану водки, а женщинам по рюмке, – дальше этого ее щедрость не

20-летия царствования Екатерины II как награда за отличие на государственной службе. Имел 4 степени.

[33] Смольный институт – закрытое женское учебно-воспитательное учреждение в дореволюционной России, которое было основано в 1764 году в Петербурге при Воскресенском Смольном женском монастыре.

шла.

Обратившись к маленькому племяннику, она сказала:

– У тебя теперь есть мать. Молись за нее в своих молитвах. Слышишь?

Семилетний мальчуган не совсем ясно понимал в чем дело, почему это тетка так торжественно объявила, что у него теперь есть мать, когда няня говорила, что добрая его мама взята на небо и живет с ангелами несравненно лучше, чем жила в Москве. По обыкновению, он взглянул на няню, требуя разрешения этого недоразумения, но Арина Кузьминишна была как-то особенно сдержанна и, как показалось Грише, невесела. Она ничего не ответила мальчику в зале, а повела его в детскую, взяла его на руки, крепко-крепко прижала к своей груди и залилась слезами.

– Бедный, бедный ты мой сиротка! – тихо наконец произнесла Арина Кузьминишна.

Отчего он вдруг после молебна стал бедный? Что такое случилось? Почему тетка радуется, а няня плачет, что папенька женился?

Несколько минут ломал он над этими вопросами свода голову и наконец пришел к заключению, что, верно, новая его мать – не прежняя добрая мама, а такая же страшная и сердитая, как и тетка; оттого тетка так радуется, а няня, напротив, плачет. Немедлен-

но же он сообщил своему другу свои предположения и был несколько озадачен, когда няня, улыбаясь сквозь слезы, заметила:

– Она молодая. Тетенька сказывала: грузинская царевна.

– Молодая? Царевна? Не похожа на тетеньку? Так что ж ты плачешь, няня?

– Она тебе мачеха, а не мать. Родную твою маменьку господь прибрал к себе. Мачеха не будет любить тебя!

– Так я мачеху и знать не хочу. Перестань, няня, не плачь! Если ты ее не любишь, так и я не люблю. Зачем нам мачеха? Мы всегда вместе будем жить. Ведь правда, няня? Я вырасту, буду офицером, и ты со мной… Стоит из-за мачехи плакать! Она сюда не приедет!

Он с необыкновенно комичной серьезностью стал утешать Арину Кузьминишну, вытирая платком крупные слезы, катившиеся по сморщенным, грубым щекам, и, когда няня немного успокоилась и с надеждой прошептала: «Бог не оставит тебя!» – Гриша весело сказал:

– И ты не оставишь меня! И нам будет очень хорошо!.. Мы возьмем к себе жить кучера Ивана, Федю, Митю, а мачехи не надо!

Няня слушала болтовню ребенка, и грустная улыб-

ка светилась в ее добрых глазах.

Здоровым, сильным и крепким мальчуганом вырастал Гриша на деревенском воздухе. По счастию, тетка недолюбливала мальчика и не обращала на него особенного внимания. Таким образом, первоначальное воспитание свое Гриша получил у няни и среди прислуги. Все жалели беспризорного барчонка, и все наперерыв старались приласкать его, полюбивши мальчика за ласковый нрав и жалостливое сердце. В людской ходила о Грише молва, как он однажды спас казачка, разбившего дорогую фарфоровую чашку, от жестокого наказания, сказав тетке, что разбил чашку он, за что и был высечен теткой. Этот поступок произвел большой эффект, и с тех пор Гриша стал общим любимцем дворни. Участие и ласку, которых он не находил у родных, он нашел среди чужих людей, и, очень понятно, мальчика тянуло в людскую, несмотря на воркотню няни, что тетенька узнает и им обоим достанется. Тем не менее Гриша сдружился с дворовыми мальчишками, своими сверстниками, играл вместе с ними в саду, уверенный, что няня его не выдаст. Нередко няня отыскивала его в людской, обедающим вместе с дворовыми, или в конюшне, сидящим на коленях у старика кучера Ивана, большого приятеля Гриши. Старик рассказывал отличные сказки, тешил мальчика волчками и украдкой сажал на ло-

шадь и возил по двору. Арина Кузьминишна не раз трепетала за своего любимца, когда он, бывало, долго не возвращался домой, забегая вместе с друзьями в лес, как сумасшедшая бежала за ним звать его обедать, – тетка терпеть не могла, когда мальчик опаздывал к обеду! – и часто находила его в целой компании, где-нибудь под деревом, беззаботно беседующим о разных разностях. Арина Кузьминишна бранила любимца, драла за вихор кого-нибудь из мальчишек постарше, торопливо вела Гришу домой, переодевала и приводила в столовую как раз перед самым обедом. Сколько раз спасала эта Арина Кузьминишна своего любимца от теткина гнева! Сколько ночей не спала она, когда Гриша заболел корью; как усердно молилась она за сиротку и с какою настойчивостью докладывала барышне, что Григорий Николаевич «очень занедужили» и не прикажет ли барышня послать за лекарем. Во время болезни Гриши – корь у него была очень серьезная – вся дворня была смущена; все спрашивали: как барчук? – украдкой засматривали в детскую, и когда наконец барчук вышел в первый раз, то все с таким радостным участием отнеслись к Грише, что Гриша сконфузился от радостного чувства, охватившего его сердце при виде общей любви к нему.

Тетка и не догадывалась о таком тесном общении

своего маленького племянника с «хамами», как называла она обыкновенно своих крепостных: ни одна душа ни разу не заикнулась ей об этом. Все тщательно оберегали сиротливого барчука. С теткой Гриша виделся за утренним чаем, за обедом и вечером, когда племянник обязан был отсиживать около часу в гостиной перед отходом ко сну. В это время Грише нередко доставалось от тетки. Она находила, что он совсем не похож на благородного мальчика, что он совершенный мужик и что она напишет отцу, чтобы тот поскорее определил его в корпус. Действительно, большеголовый, плотный, некрасивый Гриша нисколько не походил на изящного ребенка. И не отличался хорошими манерами, которым, впрочем, нельзя было научиться у кучера Ивана. Когда тетка начинала выговор, мальчик опускал глаза в тарелку и молчал, пока продолжалась назойливо-злобная воркотня. Молчание мальчика нередко гневило тетку. Она с презрительной улыбкой взглядывала на ребенка и резко произносила:

– Весь в мать, – такой же скрытный волчонок! Ступай вон из-за стола!

Гриша уходил в детскую – няня, разумеется, украдкой приносила ему обед – и не думал просить прощения, несмотря на советы няни. Это еще более раздражало старуху и, случалось, она приказывала привести «упрямого мальчишку» вниз и собственноручно

секла маленького племянника, и секла не шутя, к величайшему огорчению доброй Арины Кузьминишны. Грише пошел девятый год. Он знал много сказок, песен и пословиц, умел назвать все деревья и цветы в саду, знал укромные местечки в лесу, где водится много ягод, различал птиц, умел заливать суслика и ловить ящериц, научился у кучера Ивана запрягать лошадь и с честью мог выйти из драки с любым из своих сверстников-приятелей, причем никогда не жаловался няне, если, случалось, бывал побежден, – но зато буквы азбуки различать не умел и, надо сознаться, не имел к этому ни малейшей склонности.

Тетка все собиралась выписать гувернантку, о чем даже сообщала брату-генералу, но по скупости откладывала намерение и однажды призвала дьякона, молодого семинариста, недавно поступившего на место, и предложила ему за три рубля в месяц учить племянника и быть с ним построже… Высокий, с лицом, сплошь покрытым веснушками, и с намасленными рыжими волосами, отец дьякон оказался весьма порядочным и добрым малым, стал учить барчука с любовью и скоро сделался большим приятелем Гриши. Гриша выучился читать, писать, знал, с грехом пополам, четыре правила арифметики, имел смутное понятие о Рюрике [34], Святославе [35], Игоре [36] и Ольге

[34] Рюрик (ум. 879) – по летописному преданию – родоначальник кня-

[37], знал «Верую» и десять заповедей, но еще лучше знал, как насвистывать птиц, насчет чего отец дьякон был большой мастер и с охотой посвящал в свое мастерство ученика. Впоследствии отец дьякон обещал Грише взять его с собой на озеро и научить его удить рыбу, но обещания своего исполнить не мог, так как в один прекрасный день, когда, после диктовки, отец дьякон, вместо урока из русской истории, стал, по настоятельной просьбе ученика, рассказывать, сколько он третьего дня наловил окуней и как сорвалась большущая шельма-щука, – неожиданно к крыльцу усадьбы подъехал тарантас – дело было в августе – и учитель с учеником увидали в окно, как из тарантаса выскочил молодой офицер и вошел в дом.

– Сродственник, видно? – полюбопытствовал отец дьякон.

Но Гриша не мог дать удовлетворительного ответа. Он знал наперечет всех редких посетителей тетки, но между ними молодого офицера не видал. Пока учитель с учеником делали разные предположения насчет приезжего офицера, Арина Кузьминишна пришла вся в слезах и объявила Грише, что тетенька зо-

---

жеской династии Рюриковичей.

[35] Святослав Игоревич (ум. 972) – великий князь Киевский.

[36] Игорь (ум. 945) – великий князь Киевский.

[37] Ольга (ум. 969) – великая княгиня Киевская.

вет Гришу вниз. Мальчик в недоумении и испуге вопросительно смотрел на няню, но няня ничего не говорила, и он тихо спустился вниз.

Тетка сидела в гостиной у стола, на котором лежало развернутое письмо. В кресле сидел молодой человек в адъютантской форме.

Мальчик подошел к тетке, поклонился офицеру и с любопытством стал разглядывать его форму.

– Завтра ты с ними поедешь в морской корпус! – проговорила торжественно тетка и потом прибавила: – Давно пора, а то здесь мальчик совсем избаловался! Поди скажи твоей няньке, чтобы она приготовила все к отъезду!

Известие это ошеломило Гришу. Он прибежал наверх, бросился на шею к Арине Кузьминишне и заревел, как теленок, которого собираются резать. Гриша несколько успокоился только тогда, когда няня сказала, что из корпуса он выйдет офицером, и дала слово переехать в Петербург и навещать Гришу в корпусе.

Рано утром на следующий день он простился со всей дворней, побывал в людской, на конюшне, у садовника, сбегал к отцу дьякону и после обеда уехал из теткиной усадьбы, напутствуемый самыми искренними пожеланиями, едва сдерживая слезы при виде неутешно рыдающей Арины Кузьминишны.

Тетка простилась с племянником сухо, однако по-

дарила червонец и советовала вести себя хорошо и не огорчать отца.

Когда тарантас тронулся, Гриша долго еще макал картузом няне и долго еще всхлипывал, несмотря на уверения своего спутника, что будущему кадету стыдно плакать.

Арина Кузьминишна сдержала свое слово. Через неделю после отъезда Гриши уехала и она, рассчитывая пробраться в Петербург.

XXIV

– Медведь! Медведь! Смоленский медведь!

– Новичок! Новичок!.. Мишенька!

– Топтыгин!

– Лесной зверь!.. У-у, какой он страшный, господа!

– Кусается?.. Ты кусаешься, Мишенька?

– Медведь! Медведь Лаврентьич!

– Лаврушка! Лавренович! Лаврешка! Лавровишневые капли!

Под градом таких восклицаний, окруженный толпою мальчуганов в курточках с белыми погонами, стоял Гриша в своей неуклюжей статской куртке и не без сердитого изумления посматривал вокруг на смеющиеся лица новых товарищей, принявших его в первый же день так недружелюбно. Около него, словно чертенята, прыгали, кричали эти стриженые мальчишки, дергали за куртку, щупали волосы, щипали за коленки, а Гриша в самом деле озирался, как сконфуженный медвежонок, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг совершенно неожиданно дал такую здоровую затрещину какому-то егозе, схватившему его за нос, что егоза о визгом отскочил, и все моментально шарахнулись в сторону, словно испуганные воробьи.

– Славно! – одобрительно воскликнул какой-то чер-

ненький мальчуган.

– Ого?! Он умеет хлестаться! – раздались голоса.

– Посмотрим! – раздался чей-то самоуверенный голос, и с этими словами белобрысый мальчик выступил из толпы и, подойдя к Лаврентьеву, произнес вызывающим тоном:

– Давай, новичок, хлестаться!

– Что значит хлестаться? – изумленно спросил Гриша.

Веселый хохот толпы маленьких мальчишек раздался в ответ на вопрос Гриши.

– Он не знает, что значит хлестаться?! – раздались насмешливые восклицания со всех сторон.

– А вот пойдемте в умывалку! – с серьезным видом произнес белобрысый кадет. – Я покажу тебе, что значит хлестаться!

– Пойдем! – произнес Гриша.

С этим словом он храбро пошел, окруженный толпой, в умывальную комнату, не совсем ясно понимая в чем дело, но предчувствуя что-то серьезное.

– Господа! На часы! – крикнул кто-то.

– Ладно. Не прозеваем.

Двое мальчуганов стали у дверей сторожить дежурного офицера. Остальные мальчишки сомкнули круг, в котором очутились друг против друга оба противника с серьезностью, достойной предстоящего дела, и

приготовились следить за ходом битвы.

– Шмаков его отхлещет! – замечали тихо в толпе.

– Он проучит смоленского медведя.

Несколько секунд оба противника стояли друг против друга в ожидании. Гриша, казалось, не хорошо понимал, что будет дальше, как вдруг, не говоря ни слова, белобрысый кадет со всего размаха хватил Гришу по уху и стал быстро наносить удары. Гриша первое мгновение ошалел и отступил было, но затем яростно бросился на противника и, в свою очередь, не ударил лицом в грязь. Удары сыпались за ударами. Двое мальчуганов то сходились, то расходились, как два разъяренные петуха. Первое время казалось, что победа будет на стороне белобрысого кадетика. Ловкий, увертливый, словно угорь, он дал подножку, так что Гриша, коренастый и неуклюжий, чуть было не свалился, но все-таки продолжал напирать с упорством раздраженного медвежонка.

– Признавайся, что тебя отхлестали! – крикнул кто-то. – Куда тебе со Шмаковым! Проси пощады!

– Еще подожди, братцы! – заметил черномазый мальчуган, который раньше одобрил Гришу. – Новичок молодцом хлещется! Еще неизвестно!..

Гриша не слышал ничего. Он храбро наносил удары и наконец успел обхватить своего противника. Тот пробовал вырваться, но крепкие объятия все более

и более сдавливали его, и он опустился наземь. Гриша стоял над поверженным врагом, крепко надавливая ему грудь, и, весь красный, взъерошенный, только пыхтел и отдувался, но не бил уже более своего врага.

– Шмаков отхлестан! – раздались голоса. – Проси пощады!

– Молодец новичок!.. Он честно хлестался!

– Пусти! – прошептал наконец поверженный противник.

Гриша тотчас же отпустил противника. Тогда сконфуженный мальчуган произнес, обращаясь к Грише:

– Ты хорошо хлещешься, но, не повали ты меня, я бы тебе задал!

Все присутствующие единогласно признали, что новичок отлично хлестался, вообще держал себя молодцом и, как следует молодцу, ни разу не ударил в живот и показал великодушие, не воспользовавшись случаем совсем «расхлестать» Шмакова, когда Шмаков лежал на полу. Не без уважения теперь подходили к Грише мальчуганы, недавно дразнившие его, и знакомились с ним, подавая руки.

– Теперь хорошенько вымойся да причешись! – советовали ему со всех сторон.

– Да подбели синяки мелом. Умеешь ты белить синяки? – спрашивал его черненький, быстроглазый, веселый, маленький мальчуган, которого все звали

«Жучком». – Не умеешь? Эй, господа, принесите кто-нибудь мелу, я ему подбелю, он сам не умеет! Да смотри, Лаврентьев, – ласково прибавил тихим голосом Жучок, – если Селедка спросит, с кем ты хлестался, – не говори.

– Какая селедка?

– Селедки не знаешь? Разве не видал ротного командира? Такой длинный, высокий, с седыми баками. Мы его «Селедкой» зовем… Он не любит, когда с новичками дерутся. Да и никому не говори, а то Шмакову достанется.

– Я не фискал! – произнес Гриша, утираясь носовым платком, обязательно предложенным Жучком. – Я никому не скажу.

– Да ты, как видно, молодец! Хочешь, будем дружны? – воскликнул Жучок.

– Будем дружны! – отвечал Гриша, которому очень понравился этот черномазый Жучок.

– И будем делиться?

– Будем.

– Так пойдем же сейчас, я тебе полбулки вчерашней дам. Ты ел когда-нибудь вчерашнюю булку? Нет?.. Сейчас увидишь, как это вкусно.

Гриша выходил из умывалки в другом настроении. Все эти стриженые мальчики в курточках с белыми погонами, казавшиеся ему за полчаса такими гадкими и

злыми, теперь казались ему уже не такими, а Жучок сразу даже очень ему понравился. Теперь Гришу уж не дразнили, а, напротив, дружелюбно расспрашивали: откуда он приехал, часто ли прежде хлестался, кто его отец, к кому он будет ходить «за корпус» и т.п., так что Гриша едва успевал отвечать на вопросы. Жучок между тем повел своего нового друга в коридор, вытащил из кармана теплую булку и, отдавая половину, сказал:

– Ешь!.. Не правда ли, хороша? Она целое утро в печке была. Повернись-ка на свет… Ничего незаметно. Ты только не попадайся на глаза Селедке. А ты, Лаврентьев, славно хлестался. Только зачем ты морочил, будто не знаешь, что значит хлестаться?

– Я не знал.

Вместо ответа Жучок плутовски подмигнул черным бойким глазом, словно бы говоря: «Ладно, меня не проведешь!» – и, хлопнув приятеля по спине, продолжал:

– Поделом Шмакову. Он задира!.. Только тебе, пожалуй, еще придется хлестаться с Кобчиком!

– Зачем?

– Он сильный, Кобчик, и как узнает, что ты отхлестал Шмакова, обидится и, пожалуй, тебя отхлещет! – в раздумье продолжал Жучок, – но только я ему скажу, что если он тебя тронет, то я вступлюсь. Я хоть не

очень сильный, а спуску не дам!.. Пожалуй, он тогда не посмеет!

– А где Кобчик?

– В лазарете огуряется!

– Как огуряется? Что значит огуряется?

– Боится в класс идти, не знает уроков, и пошел в лазарет. Сказал доктору, что у него голова болит и все болит. Понял?

– А у него взаправду болит?

– То-то ничего не болит. Это и называется – огуряться! – весело смеялся Жучок, входя в объяснение. – Если ты не будешь знать урока – непременно огурнись, а то Селедка в субботу, пожалуй, выпорет. Он по субботам всегда порет ленивых. Три нуля получишь – знай, что выпорет.

– Однако ж Селедка, должно быть, сердитый! – промолвил Гриша.

– Нет, не очень. И сечет не больно. Много-много – десять розог.

В тот же день Жучок самым добросовестным образом старался просветить своего нового друга насчет подробностей предстоящей жизни. Он рассказал, какие офицеры добрые и какие злые, за что секут, за что сажают в карцер, за что ставят «под часы», как надо быть с фельдфебелем и унтер-офицерами, – одним словом, сообщил немало интересных сведений.

На следующий же день Гриша, остриженный под гребенку, в форменной курточке с белыми погонами, был посажен в «точку», то есть в приготовительный класс, и, по счастию, ему довелось сидеть с своим новым другом. После классов, когда малолетняя рота была во фронте, готовясь идти обедать, вошел высокий, сухощавый ротный командир и, обходя по фронту, заметил новичка и, приблизившись к нему, спросил:

– Ну что, Лаврентьев, не скучно у нас? Привык?

– Привык.

– А знаешь ли, как зовут ротного твоего командира?

– Александр Егорович.

– Ай да новичок!.. А это у тебя что? – наклонился Александр Егорович, рассматривая лицо Лаврентьева и дотрогиваясь пальцем до большого синяка на лбу.

– Я ушибся.

– Ушибся? Когда ушибся? Ты, Лаврентьев, уже врешь? Вижу – дрался! С кем ты дрался?

– Я не дрался, я ушибся.

Селедка пристально взглянул на Гришу, едва заметно улыбнулся и, потрепав его по щеке, проговорил, отходя:

– Смотри, Лаврентьев, вперед так не ушибайся… Ведите роту! – обратился он к дежурному офицеру.

Рота пошла в столовую. Жучок одобрительно подмигнул своему новому другу. И за столом поступок новичка вызвал всеобщее одобрение. Все находили, что новичок совсем молодец.

Несмотря, однако, на первые свои успехи и на дружбу, которую оказывал ему Жучок, Гриша все-таки тосковал первое время в корпусе, нередко вспоминая няню, кучера Ивана, маленьких своих друзей, отца дьякона и раздолье деревенской жизни.

Корпусная жизнь со всеми ее обычаями казармы – мальчик поступил в 1852 году, когда солдатчина была в большой моде в морском корпусе, – первое время очень смущала Гришу, привыкшего к простору полей, шуму леса и забавам деревни. Тесно и скучно казалось ему в ротной зале, негде было разгулять-ся, нельзя было с отцом дьяконом насвистывать птиц, запрячь с Иваном лошадь, а главное – не было Арины Кузьминишны, которую так сильно любил мальчик, и он первые дни очень тосковал, несмотря на старания доброго Жучка развлечь своего нового друга. Он добросовестно выучил его многим кадетским штукам и фокусам, которые, по уверению Жучка, составляли секрет немногих; он предлагал даже Лаврентьеву по вторникам и субботам, когда на третье блюдо давали слоеные пироги с яблоками, меняться пирогом на «говядку», убежденный, что яблочный пирог значитель-

но повлияет на расположение духа Лаврентьева, но, однако, Гриша все-таки тосковал, к изумлению веселого и забавного Жучка. Он заметил, что Лаврентьев, ложась спать, всегда закрывает лицо одеялом и даже не хочет толковать о «домашнем», говоря, что хочется спать. «Уж не ревет ли Лаврентьев?» – заподозрил Жучок и решился обследовать это обстоятельство. Однажды, когда в спальне была тишина, все мальчики спали, Жучок осторожно поднялся с постели, незаметно подошел к кровати Лаврентьева и услышал тихий плач. Жучок тихо подтолкнул своего друга и произнес голосом, полным участия:

– Это я! Жучок!.. Отчего ты, Лаврентьев, скрытничаешь? Разве мы не друзья?! Чего ты плачешь? Не нравится, что ли, в корпусе?

– Нет, не нравится. То ли дело в деревне.

– И мне прежде не нравилось, а теперь ничего себе. Прежде, Лаврентьев, так домой хотелось… Ты, видно, по матери скучаешь? – осторожно спросил Жучок, присаживаясь к кровати.

– У меня, Жучок, нет матери. Она давно умерла.

– Это нехорошо! У меня мать есть, она мне пишет письма. Так если, ты говоришь, у тебя нет матери, так о ком же ты скучаешь, Лаврентьев? Может быть, об отце?

– Отец с нами не жил.

Худощавое, тонкое личико черномазого мальчика выражало участие. Он покачал головой и, вздрагивая от холода в одной рубашке, продолжал:

– Не жил? Так у кого же ты жил?

– У тетки.

– Видно, тетка-то добрая?

– Нет, злая.

– Злая? – изумился Жучок. – Так о ком же ты скучаешь?

Гриша колебался открыться другу, он знал, что Жучок, при всех его хороших качествах, иногда любил поднимать на смех, и боялся, что друг его не с должным сочувствием отнесется к его деревенским друзьям, а это было бы очень больно любящей душе мальчика. Однако потребность вылиться пересилила эту щекотливую боязнь деликатного чувства.

– Ты не станешь, Жучок, смеяться и никому не скажешь?..

– Отхлещи меня, Лаврентьев, пять раз по роже, если я скажу кому-нибудь слово!

После такого торжественного заверения Гриша вполне открылся своему другу, и у него стало гораздо легче на душе. Он уже не плакал и вполголоса объяснял Жучку, как следует отыскивать птичьи гнезда, как отец дьякон отлично насвистывал птиц и как Иван давал ему запрягать лошадь. С большим сочув-

ствием слушал Жучок своего друга. Он полюбил Гришиных деревенских приятелей, негодовал на тетку и взял слово с Гриши, что тот познакомит его с няней. В свою очередь и Жучок счел долгом открыться Грише и посвятить его в свои домашние дела. Он рассказал ему, что отец его в дальнем плавании, а мама живет в Коломне с двумя маленькими сестрами и что мать очень его любит. Есть у него и тетки, но они – очень хорошие тетки, зато няни у него такой, как у Лаврентьева, нет. Мальчуганы долго еще болтали о «домашнем» и, прощаясь наконец, дали торжественную клятву в неизменной дружбе.

Прошел месяц, и маленький Гриша совсем свыкся с новым положением; его уже не тянуло в деревню. Новая жизнь охватила его новыми интересами. Скучно ему бывало по воскресеньям, когда товарищи его уходили по домам, а он оставался в корпусе, но вскоре приехала в Петербург няня и навещала своего любимца по воскресеньям.

Почти безвыходно провел Лаврентьев годы учения в морском корпусе, и корпусная жизнь того времени, конечно, не осталась без хорошего влияния на закалку его характера, хотя мало способствовала умственному развитию. Учился он так себе, не дурно, но и не хорошо. Вообще Лаврентьев не выдавался ни способностями, ни умом, ни быстротой соображения; все

ему давалось с трудом, ум его работал тяжело… В кругу товарищей он пользовался любовью и уважением за прямоту и истинно рыцарский характер. Если Лаврентьев находил какой-нибудь поступок нехорошим, это значило, что и в самом деле поступок был нехорош; все знали, что Лаврентьев не покривит душой, не обидит слабого, не выдаст товарища. Он всегда был грозой обидчиков и шпионов и в таких случаях пользовался своей физической силой. В пятнадцать лет Лаврентьев был заправским кадетом старого времени. Он мог съесть на пари двадцать пять блинов, был отличным по фронту, любил патриотические стихотворения, считал за позор быть штафиркой [38], старался говорить басом, презирал «француза» (так звали французского учителя), стригся под гребенку, выносил розги стоиком и для закалки, вместе с двумя такими же, как он, кадетами, ходил ночью на Голодай, для испытания своей храбрости. Он напускал на себя грубость, гордился хорошо развитыми мускулами, мечтал о военных подвигах и преодолении разных опасностей. Жизнь моряка манила его. Если к этому прибавить, что наружность его не переменилась к лучшему – в пятнадцать лет он был плотным, неуклюжим, угловатым и застенчивым подросткам с

[38] Штафирка – (воен. жаргон) презрительное название штатского человека.

красным, некрасивым лицом – и что манеры его далеко не отличались изяществом, то читатель поймет, что недаром в корпусе Лаврентьева звали «Медведем». Когда в семнадцать лет Лаврентьев был произведен в офицеры, то он все-таки оставался таким же неразвитым малым, как и был. О литературе он не имел никакого понятия, ничего не читал и тотчас же по выходе из корпуса ушел в кругосветное плавание, мечтая о карьере моряка. С Жучком Лаврентьев остался по-прежнему закадычным приятелем, хотя с годами разница между ними делалась все больше и больше. В то время, когда Лаврентьев остался старым кадетом, Жучка уже коснулись веяния шестидесятых годов, и он в последние два года корпусной жизни кое-что почитывал и мечтал об университете. Когда приятели сделались офицерами, то Жучок однажды объявил Лаврентьеву, что он окончательно решил бросить службу и поступить в университет. Лаврентьев покачал головой и не одобрил намерения друга.

– Опять за книги? И охота тебе в студенты! То ли дело офицером!..

– Ты чудак, Лаврентьев… Ты все меня не понимаешь… Не тянет меня служба. Жаль, что ты со студентами не знаком… Они не то что мы…

– А что же они?

– Они образованные…

– И черт с ними!.. – обрезал Лаврентьев. – Моряку не нужно знать разные глупости… Наше дело – поддерживать честь флага и умереть с честью. Ты помнишь, как сказал Нельсон: «Надеюсь, каждый исполнит долг свой!..» [39] Вот наше дело… Это жизнь настоящая, а то каким-нибудь чиновником или учителем… Мерзость!

– Кому как…

– Отец разве позволяет тебе в отставку?

– Нет, – отвечал Жучок.

– Так как же ты? Разве хочешь против воли отца?

– Я попрошу его, а не согласится – что делать!

Друзья задушевно простились, когда Лаврентьев уходил в плавание, и обещали друг другу писать. Горячо обнялись они; каждый мечтал о будущности с надеждой в сердце: Лаврентьев мечтал о карьере моряка, хотел выработать из себя морского волка, бравого морехода, поддерживающего честь флота, а Жучок, напротив, жаждал иной деятельности.

Если веяние шестидесятых годов осталось вначале без влияния на Лаврентьева, то тем сильнее оно коснулось его впоследствии. Заграничное путе-

---

[39] …как сказал Нельсон: «Надеюсь, каждый исполнит долг свой!..». – Нельсон Горацио (1758-1805) – английский адмирал, по приказу которого перед сражением с франко-испанским флотом у мыса Трафальгар (21 октября 1805 г.) был передан подобный сигнал.

шествие было первым толчком, заставившим его подумать, что в России не все лучше, чем в Европе. Сравнение лезло в глаза, и Лаврентьев, бывший в те времена ультрапатриотом, невольно задумывался. К тому же беседы в кают-компании образованного и сведущего молодого врача, плававшего вместе на корвете, производили свое действие. Все это было совсем ново для Лаврентьева; речи, доселе никогда им не слыханные, действовали на него сильно, хотя он и не поддавался им сразу, а, напротив, старался противостоять им. Доктор был очень порядочный человек, и скоро Лаврентьев сошелся с ним. Он стал читать. Новый мир идей понемногу стал открываться перед ним; статьи Добролюбова и другого известного писателя [40] произвели на молодого человека потрясающее, ошеломляющее впечатление. Голова его сильно работала в это время, и прочитанное находило отклик в горячем его сердце. Заглохшая было детская любовь к мужику пробудилась в нем с новой силой и уже сознательно… Матрос напоминал ему мужика с его бесконечным горем. Воспоминания детства, просветленные сознанием, наполняли благодарностью горячее сердце, жаждавшее случая отплатить за добро. Когда теперь он припоминал прошлое,

[40] …статьи… другого известного писателя… – Имеется в виду публицистика Н.Г.Чернышевского (1828-1889).

ореол героя отца потухал в его глазах. Медленно, не без борьбы спадала пелена с духовных очей молодого человека, и когда через три года он вернулся из кругосветного плавания в Россию, то не мечтал уже более о славе, о подвигах, о карьере. Другие мысли, другие стремления охватили его.

Через год после его возвращения умер его отец, и Лаврентьеву досталось огромное имение в Смоленской губернии. Несмотря на увещания начальства, Лаврентьев тотчас же вышел в отставку и переехал вместе с няней в деревню. Первым шагом его новой деятельности была раздача всей земли крестьянам. Себе он оставил двести десятин и повел жизнь, к изумлению няни, совсем не господскую. Он жил в двух комнатах ветхого барского дома, держал одну прислугу, ел совсем скромно. В скором времени он устроил в селе школу, основал ссудо-сберегательное товарищество [41], сблизился с крестьянами и зажил скромною, трудовою жизнью, не имеющею ничего общего с жизнью русского помещика, а скорей напоминающею жизнь английского фермера. Он сам работал в поле, вместе с своими рабочими, торговал хлебом, одевался по-мужицки. Сперва на него в уезде смотрели как

[41] Ссудно-сберегательное товарищество – учреждение мелкого кредита, организованное среди крестьян на артельных началах. Появились в России в 1865 году, большое распространение получили в 70-е годы.

на сумасшедшего, потом как на очень опасного человека, но в конце концов привыкли к «чудаку» и только время от времени подымали в заглазных разговорах на смех «дикого человека». В свою очередь и Лаврентьев не вел с соседями помещиками знакомств, а знался только с крестьянами. Так прожил он в своей Лаврентьевке четырнадцать лет, пользуясь любовью и доверием мужиков, всегда готовый постоять за их интересы, помочь в нужде, спасти в беде, выбираемый всегда гласным крестьянами, бельмо на глазу у кулаков и мироедов, довольный скромной своей жизнью и ни за что не променявший бы ее ни на какую другую. Он понемногу так втянулся в эту жизнь, что не понимал, как можно жить в городе и быть чиновником или офицером.

Полная забот, деятельная жизнь Лаврентьева отнимала все его время. Читать было некогда, да он както и отвык за последнее время от книг и читал мало. В своей деятельности он нашел разрешение сомнений и примирение с совестью. Он нашел себе колею, и «мучительные вопросы» уже не волновали его; они были им разрешены давно и раз навсегда. Занятый практической деятельностью, он не пытался, да едва ли и умел обобщать безобразные явления, встречающиеся на каждом шагу. Факты волновали его, находили в нем горячего порицателя, но обнять связи

их и причинности он был не в состоянии. Всей душой ненавидел он притеснителей крестьян, собирался добраться до какого-нибудь «Кузьки» и несколько наивно дивился, что ни ссудо-сберегательные товарищества, ни артельные сыроварни не в состоянии помочь в борьбе с разными «Кузьмами Петровичами», овладевшими деревней.

Несмотря ни на постоянные неудачи в борьбе Григория Николаевича с разными хищниками, донимавшими деревню, ни на бесплодность его оригинальных речей в земских собраниях, ни на ничтожность результатов от устроенных им ссудо-сберегательного товарищества и артельной сыроварни, Григорий Николаевич не падал духом, не искал иных путей, а шел вперед с упорством вола и все еще не терял надежды упечь ненавистного «Кузьку» по Владимирке.

Крепко привязан был Григорий Николаевич к своему гнезду и с любовью занимался хозяйством в своем маленьком имении. Дело свое он знал превосходно, зорким глазом смотрел за всем, с раннего утра был на ногах, нередко сам работал в поле, словом – вел трудовую жизнь. Он был расчетлив, даже скуп, умел торговаться с купцами с остервенением и при умеренном образе жизни прикопил себе даже небольшую сумму денег из доходов своей Лаврентьевки. Работящие, хорошие мужики всегда ссужались у него, но лодырям

он не давал. В округе мужики уважали Лаврентьева, называли его «дошлым», ходили к нему за советом и знали, что его на кривой не объедешь.

Лаврентьев знал мужика хорошо, сжился с ним, любил его без сентиментальничания, всегда готовый помочь и защищать его интересы. Не умевший обобщать явлений, человек ума неповоротливого и не широкого полета мысли, Григорий Николаевич не умел объяснить причин своих неудач и все беды и злополучия сваливал на недостаток хороших людей и на разные частные причины.

Погруженный в хозяйство, занятый заботами деревенской жизни, он мало-помалу втянулся в эту жизнь зажиточного фермера и трезво, спокойно шел по намеченной им колее, не зная ни мук сомнения, ни работы неугомонной мысли. В книге он искал фактов, цифр и сведений, но обобщения и выводы не заставляли работать его мысль. Он был доволен и своим положением, и своей деятельностью. Никакая скептическая струйка не смущала его личного довольства. В идеале скромного полупомещичьего, полумужицкого счастья он нашел примирение, исход благородных стремлений молодости, никогда не жалел о карьере и удивлялся, как это люди не могут устроить себе счастия. Он не без гордости говорил, что «не растит брюха на счет других».

Уверенный в этом, Григорий Николаевич расхохотался бы в глаза всякому, кто сказал бы ему, что и он в своей Лаврентьевке роковым образом не чужд общего греха…

Он очень любил Васю, но, когда однажды юноша открыл ему свою душу и поделился сомнениями, волнующими его горячее сердце, Григорий Николаевич изумился и не понял его порываний…

XXV

Вернувшись из города, Григорий Николаевич в тот же день, как только спала жара, вышел из дому и весело зашагал по направлению к усадьбе, где жила Леночка… Скорыми шагами прошел он лес, и когда увидал знакомый серый небольшой дом на пригорке, окруженный садом, – сердце Григория Николаевича застучало быстрей.

Мог ли он, еще год тому назад, думать о таком счастье?! Смел ли он ожидать, что Леночка наконец согласится быть его женой?.. Скоро, скоро пройдут полтора месяца, и Леночка переберется в Лаврентьевку. По временам он даже не верил своему счастью. Застенчивый, нелюдимый, боявшийся женского общества, он почему-то думал, что ни одной женщине не может понравиться, и вдруг, поди ж, Леночка согласилась выйти за него, за «сиволапого», как он себя называл!.. И она увидит, какое преданное сердце у сиволапого. Он будет беречь свою любимую, ненаглядную Леночку. Он все сделает для ее счастия, и они заживут отлично. И отчего ей быть несчастливой? Она не такая, как другие: она славная, честная, трудолюбивая, как пчелка, эта Леночка, и будет именно такая жена, о которой он порой мечтал в грезах. Славная

будет хозяюшка Леночка! Лаврентьевка с Леночкой!.. Господи! Да какое может быть еще счастье!.. Только бы поправилась она, а то в последнее время бедняжка что-то прихварывает… Непременно лекаря… Надо уговорить ее!

Такие мысли проносились у Лаврентьева. Счастливый своим глубоким чувством, радостный и веселый вошел он в сад, озираясь по сторонам, не мелькнет ли между деревьев знакомая фигурка молодой девушки.

«Верно, на крыльце сидит!» – решил он и пошел к дому. На крыльце никого не было, и Григорий Николаевич вошел в комнаты.

В столовой на диване сидела Леночкина тетка, Марфа Алексеевна, по обыкновению изнемогая от жары, вся красная, обливаясь потом. Она лениво отмахивалась веткой от мух и покрикивала от скуки на босоногую девочку, собиравшую чай.

При входе Лаврентьева Марфа Алексеевна лениво кивнула головой и, протягивая руку, произнесла:

– Эка вы обкорнались как, Григорий Николаевич!.. Давно пора, а то с космами от жары с ума сойдешь… Экая жара-то! Садитесь, сейчас чай будем пить!.. А вам не стыдно бедного братца подводить? – вдруг выпалила Марфа Алексеевна.

– Вы это о чем, Марфа Алексеевна?

– Да в Залесье-то… Охота было путаться!.. Бед-

ный братец только что из города вернулся, расстроенный… Кажется, будущего тестя можно было бы пожалеть… Видно, вам мужичье ближе, чем тесть… Впрочем, вам хоть кол на голове теши… Вы какие-то полоумные…

Григорий Николаевич знал хорошо Марфу Алексеевну и не обращал особенного внимания на ее речи. «Пусть себе брешет!» – обыкновенно говорил он, когда она начинала охать и жаловаться на нынешние времена.

– Тоже и Вязниковы хороши! – продолжала между тем Марфа Алексеевна. – И старик и сынки очень хороши! Нечего сказать… А из-за них бедный братец в ответе…

– Да вы сказывайте, барыня, толком… Разнес, что ли, генерал Ивана Алексеевича?

– Разнес?! Эка у вас слог какой… Хоть бы вы, Григорий Николаевич, ради Леночки несколько поотесались, а то, право, словно бы вы не благородный человек, а мужлан говорите!

Лаврентьев добродушно усмехнулся и промолвил:

– Была, значит, выволочка?

– Тьфу ты! И откуда вы такие хамские слова берете?

– Что вы, Марфа Алексеевна? – поддразнил Лаврентьев. – Это самое деликатное слово. Нонче во

дворце не иначе говорят…

– Не вам бы о дворце говорить! Могли бы и во дворце быть, если б не ваша глупость… Экое именье-то было!..

– Слыхали, Марфа Алексеевна…

– И еще раз услышать не мешает… А еще жениться выдумали… Чем детей-то содержать будете?

– Небось прокормимся! – шутя говорил Лаврентьев.

– А братец ужо поблагодарит вас. Это вы, видно, старика Вязникова настроили к губернатору ехать, а губернатор после все срамил братца насчет какой-то статистики… Очень это по-родственному!.. И Вася долговязый туда же… путается! Я даже и не поверила. Что выдумал глупый! К Кузьме Петровичу разлетелся с советами!.. Ну, времена, нечего сказать!.. И как это старик не высек сына-то… Впрочем, и то: сам он недаром в молодости в солдатах был. Яблочко от яблони падает недалеко! Вот еще намедни пришла братцу бумага секретная: искать по уезду какого-то студента Мирзоева… Просто ни минуты покоя… Каково по жаре по эдакой рыскать!

– Да где Леночка? – перебил словоохотливую старуху Григорий Николаевич.

– А я почем знаю! Верно, сейчас придет. За книжкой, чай, сидит!

– Здорова она?

– Не говорит, что больна; значит, здорова.

– Ну, это значит, что пристяжная скачет!

– А я вот что вам скажу насчет вашей Леночки. Вы, как жених, книжки бы у нее все отобрали…

Лаврентьев весело рассмеялся при этих словах, произнесенных Марфой Алексеевной самым серьезным тоном.

– Не смейтесь… смеяться еще погодите, а право, послушайте меня, а не то того и гляди и она обезумеет… Долго ли! Нынче какая-то мода безумствовать… Мало ли нигилистов [42] этих развелось, а братец совсем дочку свою распустил… И вот еще что: уж скорей бы вы венчались, право…

– Вы-то что спешите?

– А то, что кровь-то родная; слава богу, племянница! – даже обиделась Марфа Алексеевна. – Вы-то слепы, а я, даром что старуха, а вижу.

– Что ж вы видите?

– Лена, бог ее знает… больна – не больна, а стала последнее время какая-то нехорошая. Худеть стала, – это не к добру. По-моему, это все от книг. Обрадо-

---

[42] Нигилисты – представители передовой разночинной интеллигенции 60-х годов XIX века, отрицавшие господствующую идеологию. В буржуазно-либеральных кругах также пользовались репутацией отрицателей морали, искусства, норм жизненного поведения. Это название получило распространение после выхода в свет романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» (1862).

валась, что Вязников из Петербурга понавез разных книжек, и набросилась. Хорошего она оттуда не вычитает, верьте слову, а только от хозяйства отобьется! И то отбилась! И к чему Вязников Лене книги дает? Читай сам, коли путного дела нет, но благородную девушку зачем впутывать? Слава богу, она тоже училась, в гимназии курс кончила, нечего ее опять учить!

Марфа Алексеевна хотела было продолжать, но посмотрела на Григория Николаевича и с сердцем плюнула.

– И я-то хороша! – проговорила она. – Я по-родственному предостерегаю жениха, а он смеется! Да мне-то что за дело! С вами, как посмотрю, и говорить-то нечего!

– Опять баталия? – раздался в это время из дверей веселый стариковский голос, и вслед за тем в столовую вошел, потягиваясь после сна, Иван Алексеевич.

Это был предобродушный, небольшого роста бравый старик лет под шестьдесят, с седыми, коротко остриженными волосами и располагающим лицом. Он был в форменном люстриновом пальто, держался с молодцеватостью старой военной косточки и посасывал какую-то невозможную сигару.

– Снова Марфа донимает вас, а, Григорий Николаевич? – весело продолжал старик, пожимая руку Лаврентьева. – Она ведь консерватор чистейшей крови…

Хе-хе-хе! Верно, на нигилистов жаловалась? Сестрица и меня в нигилисты записала! – снова разразился веселым смехом бравый старик.

– И впрямь старый нигилист!

– Нигилист – исправник! Ах ты, Марфа Посадница [43]! Тоже и она нынче политикой занимается, а мне так она… хоть бы вовсе ее никогда не было, – столько с нею хлопот!

– Вам, братец, посмотрю, как с гуся вода. Губернатор вам сраму наделал, а вы…

– Не плакать же! Ну, распек; надо правду сказать, распек, что называется, со всеми онерами, – обратился Иван Алексеевич к Лаврентьеву. – Главное – зачем статистика неверна. Так разве я статистик? Я исправник, а не статистик. Ну, да пусть. На то он и губернатор!

– А все Никодимка нагадил, а еще кум! – вставил Лаврентьев.

– Это он против меня хотел апрош [44] вести, да сам попался!.. Жаль, что вы не застали тогда меня; на следствие в другой конец уезда катал! А Никодиму Егорычу на руку. Бестия обрадовался случаю и набре-

---

[43] Марфа Посадница (XV в.) – вдова новгородского посадника Борецкого, вставшая во главе боярской группировки, отстаивавшей политическую независимость Новгорода от Москвы.

[44] Апрош – здесь: подкоп (фр.).

хал в телеграмме с три короба. И мне гонка, и его того и гляди турнут! Так-то. Жаль, жаль, Григорий Николаевич. Мы бы эту поганую историю затушили бы своими средствами. Я бы вашего врага как-нибудь уговорил, а теперь – скандал. Его превосходительство не знает, как и быть… Чиновник по особым поручениям дело представил по-своему. Кузьма-то, не будь дурак…

С этими словами Иван Алексеевич плутовски прищурился и весело рассмеялся.

– Как бы и вам, братец, не досталось?.. – заметила Марфа Алексеевна.

– А мне за что? Слава богу, я каши-то не заваривал. Мне предписано было взыскать, а я предписал Никодиму Егорычу. Так разве я предписывал ему пакостить? Я ему по-дружески еще сказал, что ежели что такое, то отложи… Иной раз и строжайшее предписание забудешь, коли придется его исполнять на людских спинах. Тоже и мы люди! Да. На многое насмотришься, а иной раз и ничего не поделаешь, жалость надо в карман, чтобы своя шкура осталась цела! При бывшем губернаторе всего бывало: иногда, я вам скажу, чуть не плачешь, а порешь. Анафемская служба, самая анафемская, – вздохнул старый исправник. – А кормиться надо!

Лаврентьев лениво слушал старика, все прислушиваясь, не раздадутся ли шаги Леночки. А старик, осед-

лавши своего любимого конька, не скоро останавливался.

– И знаете, что я вам скажу, Григорий Николаевич: верьте мне не верьте, а прежде куда душевней было…

– Будто?..

– Конечно, слова нет: реформы… высокое их значение… гласный суд [45]… не спорю… но только прежде проще все как-то, смятения этого в умах не было… цивилизации… Уж я и не знаю, как это вам сказать!.. Ну, положим, – взятки, это точно; но ведь и теперь разве ангелы? Оно, если разобрать, то еще спорный пункт… Потребности нынче разные, воспитание детей, а жалованье – мизерия какая-то; человек и должен позаботиться о семье… Я, впрочем, не об этом, а насчет простоты… Прежде ты знал, что делать, а теперь разве я знаю, как мне поступать?! С одной стороны, чтобы немедленно, а с другой – чтобы деликатно, без шума! И немедленно, и без шума… вот и вертись! А главное: и тут смотри, и там смотри! И начальства остерегайся, и публики остерегайся, и всякому толстопузому мирволь, и чтобы в газетах о тебе ни слуху ни духу, и чтобы все везде благополучно!.. Что ни губер-

[45] Гласный суд – суд присяжных, введенный судебной реформой 1862-1864 гг. Назывался гласный, между прочим, и потому, что судебное разбирательство происходило в нем в присутствии публики.

натор, то система… Прежде одно начальство знали и опасались, а теперь еще и разных толстопузых опасайся… Разве я могу его, жидомора, теперь за бороду, как прежде? Шалишь, исправник! У них теперь амбиция, и он тебе такую мину подведет, что и с места слетишь!.. Анафема, а не служба!

Старый исправник хотя был и добрый человек, но все-таки не ангел и, где мог, пользовался; впрочем, брал по чину и добродушно. Тем не менее при всяком удобном случае старик любил пофилософствовать и искренно возмущался тяжелыми временами.

– И честят же нас! – продолжал старик, закуривая свой трабукос [46]. – Честят! – повторил он, улыбаясь. – Что ни нумер ведомостей [47], то непременно либо исправника, либо станового пробирают. Только про них и пишут. Читаешь, читаешь, а иногда даже злость берет, выходит, будто вся беда идет от исправника да от станового. Все хороши, только, мол, исправники шельмецы!.. А как смекнешь, что и писателю надо кормиться, так даже и злость отходит. Повыше жарить нельзя, а кормиться надо; может, у него и семейство есть, он и жарит нашего брата. Иной раз, шельма,

---

[46] Трабукос – т.е. те «невозможные сигары», которые курил Иван Андреевич

[47] …нумер ведомостей… – имеется в виду газета «Санкт-Петербургские ведомости», выходившая в Петербурге в 1728-1917 годах.

так отбреет, что лихо… хохочешь, как он расписывает! Вот теперь, наверное, скоро будет корреспонденция. Прочтем!.. И продернет же он за эту историю!.. А губернатор не любит, когда об нашей губернии пишут. Вот давеча он меня распекал за эту статистику: зачем, мол, о Залесье неверные сведения… Верно, говорит, и весь уезд так же спутан, и приказал всю статистику заново! А когда мне статистикой заниматься? И так последнее время все по секретным предписаниям гоняют, как зайца… Губернатор ничего себе, человек добрый, но донял своей статистикой… беда!

– Може, я могу помочь? – спросил Григорий Николаевич.

– Помоги, отец родной, в ноги поклонюсь. Я вам дам таблички эти, вы там проставьте что знаете, чтоб им пусто было!.. Тут – статистика, там – недоимки, чтобы немедленно, а вдобавок – гонка по секретным предписаниям… Вот намедни еще новое получил: разыскать какого-то студента – Мирзоева. А как его разыщешь? У него на лбу не написано, что он Мирзоев, а приметы такие, что и вас можно принять за Мирзоева: лицо смуглое, волосы черные, роста среднего. Вот и ищи!

Старик добродушно рассказывал о секретном предписании. Обыкновенно все его домашние тотчас же знали о служебных секретах, ибо исправник неред-

ко в домашнем совете обсуждал секретные бумаги.

– Очень уж трудно стало! Вот год дотяну до полного пенсиона, и бог с ними! Слава богу, все дети на ногах теперь. Намедни Кузьма Петрович приехал, как бы вы думали, с чем? Скажи я ему автора корреспонденции, которая – помните? – недели две тому назад была напечатана в газетах. И ведь обиделся, когда я сказал, что это не мое дело. Он сына Вязникова подозревает… Только едва ли. А статейка была ядовитая… Кривошейнов очень сердился и теперь после истории рвет и мечет… Эх, времена-то пошли! – вздохнул исправник. – Да что ж это Леночка не идет? Не знает разве, что Григорий Николаевич здесь?

Иван Алексеевич подошел к окну и крикнул:

– Леночка! Лена! Иди, голубчик, к нам! Григорий Николаевич пришел, и самовар на столе.

– Сейчас иду! – раздался сверху Леночкин голос.

Через минуту она вошла в столовую. Лаврентьев был поражен видом молодой девушки, такая она была расстроенная и сумрачная. Он подошел к ней, крепко пожал руку и с нежным участием взглянул ей в глаза. Они были красны от слез. Леночка поглядела на Лаврентьева робким взором, точно виноватая, и опустила глаза. Слабая, страдальческая улыбка мелькнула на ее лице, когда Леночка заметила перемену в Григорье Николаевиче. Он был в черном

сюртуке, и вместо косматой гривы, придававшей его лицу оригинальный вид, волосы его были приглажены и даже напомажены, отчего некрасивая физиономия Лаврентьева еще более потеряла…

– Вы нездоровы, Елена Ивановна! – произнес с необыкновенной нежностью в голосе Григорий Николаевич. – Позвольте, я за лекарем быстро смахаю.

– Нет, не надо, Григорий Николаевич. Я… так… голова болит.

Она торопливо отошла от него и села за самовар.

– Что ты, Леночка? В самом деле не прихворнула ли? – осведомился и старик, ласково поглядывая на дочь.

– Нет. Голова немного болит.

– А ты бы капустки, Леночка, на головку!

– Еще бы голове не болеть! Целые дни за книжками! – заметила Марфа Алексеевна.

Лаврентьев свирепо взглянул на Марфу Алексеевну и проговорил:

– Это вы все, Марфа Алексеевна, зря говорите…

– Деликатно, очень деликатно! – проворчала Марфа Алексеевна. – Вы с отцом готовы во всем Лене потакать. Ужо погодите, как мужем будете, так ли станете в глаза смотреть…

– Да полно тебе, Марфа Посадница, воевать-то! – вступился старик. – Жаль, что вас исправниками не

назначают, а то бы хорошая из тебя вышла исправница! – смеялся Иван Алексеевич. – Мы вот с тобой книг не читаем, а Леночка пусть себе на здоровье читает. Ее дело!

Леночка молча сидела за самоваром, пока старики перебранивались. Когда отпили чай, она подошла к Лаврентьеву и проговорила, не поднимая глаз:

– Пойдемте, Григорий Николаевич, в сад!..

Они вышли в сад и тихо пошли по дорожке. С тревогой и нежностью посматривал Григорий Николаевич на Леночку, недоумевая, что у нее за болезнь и отчего она упорно отказывается от доктора. Он напрасно старался заглянуть ей в лицо. Она шла, склонив на грудь голову, погруженная, казалось, в раздумье. По временам ее плечи вздрагивали, и рука нервно сжимала платье.

Так шли они несколько минут.

– А мы вчера с Николаем Ивановичем фортепиано в городе торговали. Теперь за вами дело, Елена Ивановна. Поедем-ка завтра? Заодно к лекарю бы съездили! – с глубокой нежностью произнес Лаврентьев.

Леночка вздрогнула и остановилась. Она взглянула на Лаврентьева умоляющим взглядом, хотела что-то сказать, но слова замерли на ее устах.

– Елена Ивановна! Родная, ненаглядная! – дрожащим голосом сказал Григорий Николаевич, осторож-

но беря ее руку. – Вам очень недужится. Ишь рука совсем холодная. Что болит у вас? Я мигом слетаю за лекарем.

– Нет, не надо. Доктор не поможет, – прошептала девушка.

Потом, как бы решившись наконец, она быстро подняла голову и, останавливая на Лаврентьеве глаза, полные слез, проговорила:

– Простите ли вы меня, мой добрый, хороший Григорий Николаевич?

У Лаврентьева заныло в груди. Растерянным взглядом смотрел он на Леночку и, казалось, не понимал в чем дело.

– Я хотела вам писать… Я… я не должна идти за вас замуж, – чуть слышно прибавила Леночка.

Мелкие судороги исказили лицо Григория Николаевича. Оно вдруг потемнело и осунулось. Несколько секунд стоял он неподвижно, пораженный внезапным ударом, и не проронил ни слова. Казалось, он все еще неясно понимал значение ужасных слов.

– Простите, простите меня, если можете, Григорий Николаевич!..

– Простить? Да разве вы виноваты? – произнес наконец Лаврентьев таким тихим, нежным голосом, что у Леночки сжалось сердце. – Спасибо вам, что напрямки сказали. Хорошая вы девушка…

Григорий Николаевич казался теперь спокойным. Необычайной силой воли пересилил он невыносимую боль. Он не спрашивал объяснений, а думал только, как бы успокоить Леночку.

– Я во всем виноват, а вы-то чем виноваты?.. Я должен был понять, что вы не пара мне, и я не сделаю вас такой счастливой, какой вы должны быть. Туда же в калашный ряд! – как-то печально усмехнулся Григорий Николаевич. – Хотел вас законопатить в Лаврентьевке…

– Я в Петербург думаю ехать, Григорий Николаевич!

Лаврентьев вздрогнул.

– Учиться, – успокоительно прибавила Леночка.

– Вот видите, какая вы хорошая… Дай же бог вам всего доброго, Елена Ивановна! Коли что, – помните, что у вас есть верный друг.

С этими словами он поднес ее руку к своим губам и, не оглядываясь, вышел поспешными шагами из сада.

Лаврентьев пошел в лес, забираясь в самую глубь. Голова у него кружилась, в виски стучало. Он останавливался, отдыхал и снова шел вперед, сам не зная, куда и зачем он идет. Ему просто хотелось куда-нибудь уйти подальше. Он припоминал подробности только что бывшей сцены, и Леночкины слова так и врезывались в самое сердце. Она потеряна для него, и опять впереди одиночество, а он-то надеялся, ждал, что и

для него есть счастие, что на его горячую любовь откликнулось любимое существо!..

– Она меня жалела только! – произнес Лаврентьев. Невыносимая тоска охватила все его существо. Крупные слезы катились по осунувшемуся лицу «дикого барина».

Поздно ночью вернулся он домой, выпил несколько графинов водки и снова ушел. Так пропадал он несколько дней в лесу и не ночевал дома. Когда он наконец вернулся домой, то кухарка со страхом взглянула на Григория Николаевича: так он был мрачен и так осунулся.

Через несколько дней Григорий Николаевич писал следующее письмо своему старому другу, Жучку, бывшему в Петербурге доктором:

«Любезный Жучок! Свадьба моя лопнула, а потому, если некогда, – не приезжай. Сегодня первый день, что я тверез окончательно и перестал киснуть, а то дрянь дела были, да и сам я дрянь. Завтра займусь опять делом. Она, брат, не виновата: она по совести сказала, что не может идти за меня замуж, и сама убивалась. Скоро поедет в Питер к вам, учиться. Ты, друг, познакомься с нею и, коли что надо там, окажи помощь; да если будет бедствовать – напиши: схитрим работу. Славная, брат, это девушка, очень хорошая; ну, да и то: видно, мне не жениться никогда. Нечего

тебя предупреждать, чтобы ты ей о моих любвях никогда не сказывал, да и вообще никому не сказывай… В ту пору, как она это объявила, очень было трудно: насилу устоял, за собственное мясо руками ухватился, – синяки важные! Человечина – тварь слабая… Такая одолела тоска и так все опоганело, что я запьянствовал. Опротивела теперича Лаврентьевка, хоть бы продать, а поди к делу пойдет – не продам. Если хочешь чревною жизнью пожить и время позволяет – кати сюда; жать станем, тебе поди в охотку, а то шатнем в другую сторону, куда вздумаем. Проветриться хочется. А затем будь здоров… Чай, в Питере-то отощал?.. Я – по-прежнему, только седой волос одолел, и всяческая мерзость здесь иной раз сердит. Твой Григорий Лаврентьев».

Тяжелое время переживал Григорий Николаевич, хотя он и писал другу, что перестал киснуть. Он усердно, по обыкновению, занимался с утра до вечера по хозяйству, но по вечерам нападала на него такая хандра, что он либо напивался, либо уходил в лес и затягивал там заунывные песни. Леночка по-прежнему безраздельно царила в его сердце, и он нередко боролся с желанием как-нибудь увидать ее… Ни с кем ему не хотелось видеться, и даже, когда пришел както к нему Вася, Григорий Николаевич не особенно был доволен этим посещением, и Вася ушел от Лаврен-

тьева печальный, недоумевая, как Леночка могла так жестоко поступить с таким хорошим человеком, как Григорий Николаевич, который ее так сильно любит. Он решил непременно переговорить об этом с Леночкой.

XXVI

Только после тяжелой внутренней борьбы Леночка пришла к решению, результатом которого было известное читателю объяснение молодой девушки с Григорием Николаевичем. Не одну бессонную ночь, в тоске и слезах, провела она, не зная, как быть, что делать, сознавая себя бессильной перед неведомым до сих пор мучительным и сладким чувством, охватившим все ее существо с силой впервые пробудившейся страсти, встревоженная под наплывом новых идей и стремлений, вызванных вновь чтением и беседами с Николаем. В то же время сердце ее сжималось от жалости, когда она думала о тяжком ударе, который нанесет глубоко любившему ее человеку, если ему откажет.

«Господи! Да что же мне делать?» – не раз спрашивала себя Леночка. Она старалась отогнать любимый образ, а он все-таки носился перед ней. Она начинала думать о Лаврентьеве, считая себя глубоко виноватой перед ним; она старалась уверить себя, что любит Григория Николаевича, что должна его любить и сдержит слово… Иначе – она разобьет чужую жизнь. Она должна пожертвовать собой. С людьми нельзя так шутить… Она будет непременно его женой и заглушит в

себе чувство… И в то же время мысль о том, что она должна быть женой Лаврентьева и вечно быть с ним в Лаврентьевке, приводила ее в ужас. «Нет, нет, это невозможно!» – вырвался из груди ее скорбный стон; незаметно она снова начинала думать о Николае, и сердце ее опять трепетало, как птица в клетке. Все в нем казалось ей прекрасным: и лицо, и голос, и мысли, и улыбка. Она ловила себя на этих «гадких», как называла она, мыслях и заливалась слезами.

– Зачем он приехал? Зачем? Зачем? – шептала Леночка в отчаянии. Она избегала последнее время встреч с Николаем и при нечаянных встречах держала себя с ним холодно и сдержанно, глубоко и стыдливо тая про себя любовь к нему, но зато тем больше о нем думала: думала, оставаясь одна, думала, читая книгу, гуляя в саду, слушая Лаврентьева. Сердце ее замирало при встречах с молодым человеком. Она тосковала, если долго не видала его, не слыхала его голоса; она выдумывала какой-нибудь предлог, чтобы пойти к Вязниковым, и в то же время краснела при одной мысли о том, что Николай может узнать о ее любви к нему.

«Разве он, умный, красивый, может когда-нибудь полюбить ее, такую скромную, простенькую, некрасивую девушку?» – часто думала Леночка и еще сдержаннее и суровее держала себя с Николаем.

Она раньше любила Николая, но то было весеннее дыхание любви, товарищеская дружба, любовь, оставившая по себе приятное воспоминание. Теперь не то!.. Теперь совсем иное чувство пробудилось в Леночке, и она не могла противостоять ему. Она удивлялась, почему с приездом Николая все как-то переменилось в ее жизни, и Григорий Николаевич стал в ее глазах гораздо более чужим, чем прежде. Постепенно, незаметно для нее самой случилось это, и она напрасно старалась уверить себя, что это так только, пройдет потом… Она почувствовала с инстинктом любящей девушки, что совсем иные чувства заставили ее согласиться быть женой Григория Николаевича. Она привыкла к нему, она уважала и ценила его как прекрасного, честного и доброго человека; Леночку трогала его привязанность; чувство благодарности она приняла за любовь и наконец после двух отказов дала слово. Но никогда она не испытывала того, что испытывала теперь; Григория Николаевича она встречала всегда спокойно и ровно, встречала как хорошего, доброго друга; никогда сердце ее не билось тревожно в ожидании его прихода, никогда рука ее не вздрагивала в его руке; а теперь с ней совсем не то.

– Я люблю! – невольно шептала Леночка и с этим словом нередко засыпала, счастливая своим чувством.

Вместе с чувством пробуждался и духовный мир молодой девушки.

Николай слишком поспешно вывел заключение, что Леночка «успокоилась», что бывший отзывчивый его товарищ, прежняя умная, пытливая Леночка, мечтавшая не меньше своего товарища, годится только для того, чтобы «нянчить, работать и есть». Сдержанная вообще, неуверенная в себе, Леночка принадлежала к числу тех скромных, глубоких натур, которые стыдливо прячут задушевные мысли и не сразу показывают богатство внутреннего своего содержания. Такова была и Леночка. Хотя она сразу показалась Николаю чересчур солидною для ее лет, слишком погрузившеюся в хозяйственные заботы, но в действительности на дне ее души теплился огонек, и мысль не засыпала. У нее были свои заветные убеждения, свои мечты, неясные стремления. Ей подчас становилось тесно в захолустье, но она считала своим долгом вести маленькое хозяйство отца и с усердием посвятила себя этому занятию. Все то, что бродило в голове Леночки, было неясно, неопределенно; ее порывания не находили себе отклика ни в окружающих ее людях, ни в окружающей обстановке и глохли, как цветок, лишенный света. Она росла физически, расцветала на деревенском приволье, но ум ее не развивался. Книг не было, приходилось читать урывками, что

попадется под руку, без всякого выбора. Людей, которые бы возбудили духовную ее деятельность, тоже не было. Лаврентьев не годился для этого. Он сам ничего не читал и если влиял на нее, то влиял в другом направлении: он научил ее любить деревню, любить работу, быть полезной окружающим, но не ему было разбудить чувства высшего порядка, дремавшие в душе молодой девушки и только ждавшие какого-нибудь толчка, чтобы развиться во всей полноте.

Скромная, трудолюбивая, всегда занятая мыслями о других, готовая помочь каждому, она мало-помалу свыклась с скромным своим положением и сумела в тесной сфере своей деятельности быть полезной. Она лечила крестьян домашними средствами, ходила за больными, нередко бывала предстательницей за них перед отцом, который любил без памяти свою Леночку, и все это она делала тихо, без шума, не напоказ, а из глубокой потребности доброго сердца. Всюду поспевала она, всегда кроткая, веселая, вносящая с собой добрую свежесть цветущей молодости и несравненную прелесть добродушия и ласковости.

Приезд Николая, его горячие речи, полные увлекательной прелести, повеяли на нее чем-то знакомым, давно желанным. Он говорил о своих стремлениях, он высказывал свои надежды, и его слова западали глубоко в сердце девушки и звучали в ее ушах, как вече-

вой колокол. Она верила всему, что говорил он, и он поднимал со дна ее души тысячи мыслей и ощущений. Под влиянием этих новых ощущений и идей она точно вся встрепенулась. Она жадно вслушивалась и стала жадно читать книги, которые дал ей молодой человек. Чем-то светлым, возвышающим, манящим вдаль, волнующим душу, захватывающим мысль залило сердце молодой девушки, когда она прочитывала Шекспира, Байрона, Гете, когда она познакомилась с Белинским и Добролюбовым… Новый мир охватил ее всю. Узкий круг ее прежних дум и стремлений стал для нее тесен. Мысль рвалась на простор. Леночка переживала те счастливые времена молодости, когда под впечатлением книги так сильно чувствуется все светлое, честное и высокое, в неясной еще дали мелькает заманчивая перспектива, дух захватывается от внезапного наплыва идей и ощущений, и слезы, плодотворные слезы невольно льются над какой-нибудь потрясающей страницей. В такие минуты сердце проникается восторженностью и любовью, жажда знания и подвига охватывает человека, просветляется ум, возвышается дух, и мысль кладет свой благородный отпечаток на челе.

Такие минуты испытывала Леночка рядом с борьбой мятежного сердца. Это время было переломом в ее жизни. Она много пережила и передумала. Как ни

тяжело ей было, но она поняла, что надо было нанести удар Лаврентьеву и сказать ему, что она не может быть его женой.

Удар был нанесен, она ему сказала, а все-таки Леночка чувствовала себя виноватой и долго еще с тоской вспоминала о нем. Григорий Николаевич так мягко, так деликатно отнесся к ней. Ни одного слова упрека; напротив: она, хотя невольно, причинила ему жестокое страдание, а он так искренно, так просто пожелал ей счастия и даже уверял, что виноват он, а не она. Он виноват за то, что так сильно, горячо любил! Она сама любила, любила втайне, не ожидая взаимности, и тем более жаль ей было Григория Николаевича, тем яснее понимала она, каково ему. Она хотела было послать Лаврентьеву длинное письмо, но какая-то внутренняя деликатность подсказала ей, что лучше теперь не посылать, не бередить его сердца, лучше когда-нибудь после, после, когда пройдет время и он спокойней отнесется к ее исповеди и ее извинениям.

XXVII

Велико было изумление старика Ивана Алексеевича, когда, дня через два после объяснения с Григорием Николаевичем, Леночка вошла к отцу в кабинет и сказала ему, что отказала Лаврентьеву. Старик не верил своим ушам, так неожиданно было для него это известие.

– Повтори, повтори, что ты сказала, Леночка? – переспросил он дочь.

– Свадьба наша расстроилась, папенька! – повторила Леночка.

– То есть как же это? Почему расстроилась? Что случилось?

– Ничего не случилось, папенька, просто я раздумала.

– Но как же, однако? Ты дала слово, все знают. Наконец, это, в некотором роде, скандал. Григорий Николаевич, конечно, не бог знает что за партия, но все-таки он человек хороший и основательный. Правда, несколько того… мужиковат…

– Он превосходный человек. Я очень люблю и уважаю Григория Николаевича, – горячо подхватила Леночка, – и считаю, что он – превосходная партия, а не бог знает какая, как вы, папенька, говорите!..

Иван Алексеевич совсем недоумевал и смотрел во все глаза на Леночку.

– Или я, на старости лет, потерял голову, или ты, Леночка, с ума спятила, но только я ничего не понимаю. Сама же ты говоришь, что любишь и уважаешь Григория Николаевича, и в то же время отказала ему. Это что же значит? Или новая какая-нибудь мода такая? Объясни мне, пожалуйста! – с сердцем проговорил старик.

– Мне нечего объяснять больше, папенька! Я просто не хочу идти замуж!

– Не хочу! Не хочу! Заладила: не хочу! Мало ли чего и я не хочу. Уж не хочешь ли ты за принца какого выйти замуж? Так принцев-то на твой обиход нет. Шалишь!

– Я ни за кого не желаю выходить замуж!

– И что это вдруг на тебя нашло? Все была согласна, приданое сделали, всем объявили и вдруг: не хочу! Ой, ой, Елена! Смотри, не к нашему лицу быть разборчивой невестой. Ты знаешь: у меня средств никаких нет, так, кое-какие гроши, а бесприданниц нонче не очень-то берут. В девках сидеть тоже не радость.

– Я знаю это, папенька.

– То-то знаешь. И все-таки отказала?

– Решительно отказала.

– Ну, девка, пеняй тогда на себя. После плакать будешь. Нечего сказать, разодолжила! А я-то думал…

Вот тебе новость!.. Ай да выкинула коленце! То-то тетка удивится!.. Послушай, Леночка, ты лучше выкинь дурь эту и напиши скорей Григорию Николаевичу. Он по твоей младости простит.

– Что вы, папенька? Разве я шучу?

– Вот как? Мудрец какой! – ворчал старик.

– Да полно вам, папенька, сердиться!

– Как не сердиться? Сама говорит: хороший человек, и вдруг: не хочу! Или кто другой приглянулся, что ли? – прибавил старик, понижая тон.

Леночка вспыхнула.

– Никто мне не приглянулся.

– Ну, ну. Уж ты сейчас и в обиду!.. Я ведь не гоню тебя; слава богу, будет нам вдвоем места. Любя тебя говорю. Ты знаешь: неволить не стану!.. – совсем уже ласково проговорил отец. – Делай как знаешь, Леночка. А все жаль: Григорий Николаевич человек основательный.

– Оставим этот вопрос, папенька… Я еще имею к вам просьбу.

– Какая твоя такая просьба, говори?

– Вы отпустите меня в Петербург?

– Это еще что за новости? Зачем тебе в Петербург? – удивился Иван Алексеевич.

– Учиться.

– Что?..

– Учиться, папенька…

– То есть как это учиться, позвольте вас спросить?.. Разве дома ты не можешь учиться?

– Я хочу окончить курс. Надо систематически учиться.

– Ой, Лена! Да ты никак в самом деле в книгах одну дурь вычитала… Уж не Вязников ли тебя сбивает?..

– Я сама решила. Никто меня не сбивает.

– Ишь выдумала: в Петербург!.. – удивлялся старик.

– По крайней мере, папенька, я никому не буду обузой. Сами же вы говорили, что у нас средств нет, что бесприданниц не берут…

– Ты не очень-то стрекочи… мало ли что говорится!.. А если я не пущу тебя в Петербург?

– Вы не захотите причинять мне горе! Не правда ли?

– Ей-богу, тетка права, что ты от рук отбилась, Елена! И не воображай лучше, чтобы я когда-нибудь согласился на твою дурацкую просьбу. Знаем мы этот Петербург и разные там ваши курсы! Очень знаем, слава богу! Того и гляди нигилисткой сделаешься: фанаберия, очки, стриженые волосы, а после разные революции – смотришь, и ведут бычка на веревочке!.. Каково-то будет отцу, ты только подумай… И откуда, скажи мне на милость, блажь полезла в твою голову? Замуж не хочу, учиться хочу!.. Жила себе спокойно,

прилично, как следует порядочной девице; дала человеку слово; все, кажется, отлично; приданое нашили – и вдруг: папенька, хочу в Петербург! Учиться!.. Мало, что ли, училась!.. Нет, Елена, ты лучше выкинь из головы дурь-то. И не думай. Я не пущу. Слышишь ли? – проговорил старик, возвышая голос.

– Мне очень жаль, что вы не согласны, но я не оставлю своего намерения…

– Не оставишь? – крикнул вдруг старик.

– Не оставлю! – тихо ответила Леночка.

– Так знай же, что и я своего решения не переменю и ни гроша тебе не дам. Чем ты будешь жить в Петербурге?.. Нет, ты лучше не серди меня, Елена!.. Зарядила: хочу да хочу. А я не хочу!

– Но что за причина?..

– Причина? А причина та, что земля кругла! Вот тебе и причина! – вспылил старик. – Ишь выросла упрямая дура. Отец толком говорит, а она: что за причина?.. Как посмотрю, в самом деле нынче вы умней отцов стали. Очень уж умны! Удивительно! И всякая девчонка: «Какая причина?»

Леночка тихо вышла из кабинета. Она хорошо знала характер отца и была уверена, что пройдет время – и старик станет сговорчивей.

Когда Марфа Алексеевна узнала об отказе Леночки Лаврентьеву, то она напустилась на брата.

– Вот, полюбуйтесь, плоды вашего воспитания! Нечего сказать – хороши! Давали девке волю, вот вам и воля. Ах, срам какой! Приданое пошили… Да я бы заставила идти замуж. А вы небось, братец, по головке погладили? Очень хорошо. Теперь на весь уезд осмеют. Любуйтесь дочкой-то! Говорила я, книжки-то эти до добра не доведут. Из-за книжек и бунтуют все, вам же хлопоты. Ну уж и детки!..

Досталось, разумеется, и Леночке. Марфа Алексеевна ее всячески бранила, говорила, что она погубит отца, что теперь, после такого пассажа, никто на ней не женится; одним словом, не давала Леночке покоя и сердилась, что Леночка покорно выслушивала все эти упреки, не отвечая ни слова.

– Очень уж вы воображаете о себе, сударыня!

– Я, тетенька, ничего не воображаю!

– Понимаю, понимаю!.. Вы думаете, что Вязников на вас женится?.. Дудки!.. Он на вас и смотреть не хочет!..

– Тетенька, с чего вы это выдумали? Прошу вас, не говорите этого!

– Просите не просите, но только будьте покойны. Ваш Николай Иванович на вас плюет! Он за вдовушкой за богатой ухаживает, за Ниной этой бесстыжей. Тоже молодой человек понимает жизнь, не дурак, не бойтесь!.. А вы думали, он вам книжки дает из сердеч-

ного интереса, что ли? Ах, боже мой, какая вы красавица! Так и привлекли! Нашелся один дурак, так вы бы должны бога молить, а вы вдруг накануне почти свадьбы отказали… Вы хоть бы подумали об отце. Приданое денег стоит, а у отца-то вашего средств нет. Нынче времена не прежние. Доходы нынче самые мизерные. Ну, что теперь с приданым делать?

– Тетенька!

– Нечего «тетенька»! Срам один!

Леночка уходила в свою комнату и запиралась, но за обедом тетка снова начинала пилить племянницу, так что старик даже раз заметил с сердцем сестре:

– Ну, будет тебе язычничать-то! Оставь Лену в покое!

Несколько дней старик дулся на Леночку и ни слова не говорил, но наконец не выдержал и, целуя Леночку, спросил:

– А ты все еще, упрямица, в Петербург хочешь?

– Хочу.

– И обещаешь мне, что будешь там жить, как следует порядочной девушке?

– Папенька!.. Что это вы?

– Эх, Леночка!.. Ну, уж что с тобой делать!.. Ты девушка серьезная и не будешь там вертопрашничать. Поезжай себе с богом. Будешь с братьями жить, а я тебе буду давать двадцать пять рублей в месяц, боль-

ше не могу. Ты когда хочешь ехать?

– В сентябре.

– Ну, и Христос с тобой. На праздники к нам приезжай. Ведь без тебя пусто будет, Леночка. Приедешь?

– Разумеется. Ах, добрый мой, хороший! – воскликнула Леночка, горячо обнимая отца.

«Пусть себе в самом деле девка учится. По крайней мере кусок хлеба будет иметь! Состояния у бедняжки нет!»

Вопрос о куске хлеба победил старого исправника.

XXVIII

Целую неделю Леночка не ходила к Вязниковым. Ей было как-то совестно идти в Витино. Ей думалось, что после истории ее с Григорием Николаевичем старики должны косо на нее смотреть, а она их так любила, они так ее ласкали… Кроме того, она все боялась, чтобы как-нибудь они не догадались о причине ее отказа и не открыли бы тайну, которую она так тщательно скрывала в тайнике души… «Никто и никогда не узнает об этом!» Однако ей очень хотелось повидать Марью Степановну, и вот она выбрала время, когда Николай обыкновенно работал, и пошла в Витино.

Она хотела пройти прямо в комнату к Марье Степановне, но в зале ее встретил Иван Андреевич.

– Леночка!.. Наконец-то вы зашли, а я было к вам хотел идти, проведать вас, – необыкновенно мягко и участливо встретил ее Иван Андреевич, и особенно нежно, ласково – показалось Леночке – звучал его голос. – Ну, пойдемте к жене. Она вас давно ждет!

Он ни одним словом не намекнул о том, что знает об ее отказе, и с участием смотрел на молодую девушку, которая в короткое время так сильно изменилась. Она похудела, осунулась, и на лице ее лежал отпечаток пережитого горя. Это уж была не прежняя

веселая Леночка.

– Посмотри-ка, Марья Степановна, какую я дорогую гостью к тебе привел!

С этими словами старик пропустил вперед Леночку, а сам вышел из комнаты, оставив их наедине.

– Леночка! – произнесла своим мягким голосом Марья Степановна, приближаясь плавной походкой к молодой девушке.

Она больше не произнесла ни слова, а крепко-крепко обняла Леночку и поцеловала ее. Потом, обхватив ее талию, она привела Леночку к дивану, усадила ее, сама села подле и взглянула на Леночку так ласково, с такой материнской нежностью и любовью, что Леночка, тронутая до глубины души, бросилась на шею к Марье Степановне и залилась слезами. А Марья Степановна по-прежнему не говорила ни слова и только тихо гладила своей широкой ладонью голову Леночки. Так прошло несколько секунд. В этой безмолвной ласке доброй женщины Леночка нашла утешение, которого она напрасно искала в своих одиноких думах. Ей было так тепло и хорошо от этой материнской, нежной ласки. Она ее пригрела и успокоила.

– Добрая, хорошая вы! – прошептала Леночка, припадая к руке Марьи Степановны.

– А ты-то разве не добрая? – ответила Марья Степановна, целуя молодую девушку. – Ведь вон ты как

измучилась. Осунулась, похудела…

– Тяжело было. Он такой славный, хороший. Ни одним словом не упрекнул.

– За что ж упрекать? Ты честно поступила.

– Но каково ему!

– Тяжело, очень тяжело. Он тебя так любит; но разве лучше было бы, если бы ты вышла замуж, не любя человека? Этого скрыть нельзя, моя девочка. Рано или поздно нелюбовь сказалась бы, и тогда было бы еще тяжелей. Ты по крайней мере вовремя спохватилась…

Так утешала Марья Степановна, любуясь своей любимицей.

– Славная ты, Леночка, девушка!.. – произнесла как-то задушевно Марья Степановна. – Не горюй, время залечит горе бедного Григория Николаевича. И к тебе счастие придет, найдешь своего суженого.

«Найду ли?» – подумала Леночка.

– Такую девушку, как ты, нельзя не полюбить, право… И я от души желаю, чтобы будущие мои невестки походили на тебя. Бог с ними, с этими кокетками, говоруньями! Они счастья не приносят!..

– Что вы, что вы, Марья Степановна! – шептала Леночка, вся замирая от охватившего ее волнения.

– Я тебе не комплименты говорю, Лена, ты знаешь!..

Леночка сообщила Марье Степановне о своем намерении ехать в Петербург и Марья Степановна одобрила ее планы.

– Поезжай, поезжай, мой друг. Нынче и нашей сестре надо учиться. Дай бог тебе всего хорошего. Жаль только без тебя скучно будет, ну, да ты будешь ведь приезжать? Это ты умно надумала. Тебе надо из этих мест уехать, а то, в самом деле, что тебе, молодой девушке, в глуши-то жить. Жить там с братьями будешь?

– Да.

– Отец согласился?

– Сперва было отказал… сердился, а потом позволил. Папенька ведь очень, очень добрый!

– Да разве с тобой можно недобрым быть? Ты всякого обезоружишь, – ласково промолвила Марья Степановна. – Вчера еще за обедом мы о тебе вспоминали, какой ты девочкой славной была… Так, значит, решенное дело… Студенткой будешь?

– Да.

– Я уверена, что ты отлично кончишь курс… Ты, слава богу, способная… С Колей-то вместе поезжайте; вдвоем – веселей. А в Петербурге он будет тебя навещать, в театр когда вместе сходите… все свой человек. Я скажу Коле, чтоб он тебя чаще навещал.

«Она не догадывается!» – радостно подумала Леночка и быстро сказала:

– Нет, нет, не говорите. Зачем говорить!

– Как зачем? Одну тебя оставить там, что ли?

– Я буду с братьями жить.

– Еще как ты с братьями-то сойдешься… Давно ведь ты их не видала… Мало ли что… А я непременно попрошу Колю, чтоб он к тебе заходил. Слава богу, ты нам не чужая, и Коля любит тебя, как сестру.

«Как сестру!» – вздохнула Леночка и спросила:

– Разве Николай Иванович в сентябре едет в Петербург? Кажется, он рассчитывал остаться до октября?

– Мало ли как Коля рассчитывает! – рассмеялась Марья Степановна. – Он непоседа. Не усидеть ему в деревне до октября! Уж я замечаю: скучать начал, хоть и уверяет, что ему весело. Мать-то ему не провести! Сердце чует… это он по своей деликатности нам, старикам, в утешение. Что ему с нами-то делать? Недавно он статью свою окончил и отослал в редакцию, теперь беспокоится, ответа ждет. Как жаль, Леночка, что ты не слыхала его статьи. Превосходная статья! Он читал нам. Так хорошо написана, честно, горячо… Ты не думай, – спохватилась добрая женщина, – что я говорю пристрастно, как мать, ей-богу нет… Статья в самом деле прекрасная и, наверное, будет иметь успех.

– Еще бы! – подхватила Леночка. – Наверное, будет

иметь успех. Николай Иванович такой умный, честный, талантливый.

– Не правда ли? – наивно спросила Марья Степановна.

И Леночка горячо ее поддержала и рада была, что может говорить о Николае.

– Как Коля статью кончил, – продолжала Марья Степановна, – он, показалось мне, заскучал. Хотел было процессом заняться, попробовать себя адвокатом.

– Процессом? Каким?

– Разве ты не слыхала? Чуть было со Смирновой не завел дела. Смирнова лес от своих крестьян требовала.

– Да, да, слышала. Григорий Николаевич говорил. Так отчего ж он не ведет дело?

– Смирнова окончила дело миролюбиво.

– А! – протянула Леночка таким тоном, как будто была недовольна, что Николаю не пришлось вести дело со Смирновой.

– А Коле очень хотелось. Так, сложа руки сидеть, ему скучно. И то: натура живая, впечатлительная… Человек молодой, а развлечений-то никаких, и людей кругом мало, а он любит общество… Ему и не сидится в деревне.

– А разве у Смирновых, например, не весело… Там

гостят приезжие из Петербурга, люди развитые, и наконец старшая дочь, Нина, говорят, очень интересная и умная женщина? – проговорила Леночка, стараясь придать равнодушный тон своим словам.

– Бог с ней, с ее красотой и с умом. Признаюсь, мне эта Нина не нравится… В ней что-то такое… непонятное… И про нее рассказывают странные вещи… Из-за нее человек застрелился!..

– А Николаю Ивановичу тоже не нравится?

– Спроси-ка его сама! – засмеялась Марья Степановна. – Смотри меня не выдавай, а сдается мне, что она произвела на него впечатление; хоть и говорит, что нет, а кажется, есть грешок…

К счастью, Марья Степановна не заметила, как молодая девушка при этих словах изменилась в лице.

– Впрочем, я думаю, это уж и прошло. Он всегда легко увлекался… Верно, Нина с ним кокетничала, а Коля самолюбив… в нем самолюбия много, надо правду сказать… И еще в нем есть черта… признаюсь, она смущает меня… Он как-то все новых людей ищет… Набросится, а потом и отойдет! Совсем характер его не похож на Васин… Вася другой… какой-то особенный! – вздохнула Марья Степановна.

– Вася не едет в Петербург?

– Не знаю еще… Здоровье его смущает меня… Кашляет все… И такой он какой-то, Леночка, несчаст-

ный: все волнует его, все-то он близко к сердцу принимает… И все из-за других… о себе и не думает. Если он поедет в Петербург, ты, Леночка, сделай милость, чуть что – напиши мне… Он ведь такой деликатный… Терпеть будет и никому не скажет. Ты знаешь, после этой залесской истории Вася захворал, даже перепугал меня… Жар, бред… в бреду-то все говорит: «Так нельзя… так нельзя!» Нервный он такой… Уж я, признаюсь тебе, Леночка, много о нем поплакала… Все страшно мне за него… И ребенком он был не такой, как другие… Бывало, заберется в сад, сядет где-нибудь под деревом, да и сидит смирнехонько один, задумчивый такой… Болит у меня за него сердце. Страшно от себя его пускать, а делать нечего – надо… Смотри же, Лена, в Петербурге о Васе узнавай… Да ты куда это, Леночка? Разве не с нами обедаешь? – удивилась Марья Степановна, заметив, что Леночка берет шляпку.

– Нет, Марья Степановна, домой пора.

– Уж и домой. Оставайся; что дома-то делать?

В эту минуту вошел Николай.

Он подошел к Леночке, улыбаясь, по обыкновению, приветливой своей улыбкой, крепко пожал ее руку и дружески проговорил:

– Останьтесь, Елена Ивановна. Вы ведь так давно у нас не были. Останетесь?

И Николай, не дожидаясь ответа, тихонько высвободил из рук молодой девушки шляпку.

Когда Марья Степановна сообщила, что Леночка собирается в Петербург, то Николай воскликнул:

– Вот это славно! Молодец вы, Елена Ивановна! Давно бы так! В самом деле едете?

– Еду!

– Браво, браво! Порадовали вы своего старого товарища!

Леночка пробыла у Вязниковых целый день. Она была сдержанна и молчалива и почти не отходила от Марьи Степановны. Все заметили перемену в Леночке. За эти дни она очень изменилась. Это была не прежняя веселая, приветливая Леночка. Она стала серьезной, и на ее лице появилось то сосредоточенное выражение, которое является у людей, переживших серьезный момент жизни. И это выражение придавало ее прекрасному лицу оттенок какой-то высшей, духовной красоты.

Вася изумился этой перемене. На его глаза, Леночка как будто сделалась старше на несколько лет и гораздо красивее, чем прежде. Он тотчас же понял, что говорить с ней о Лаврентьеве невозможно.

«Обоим им тяжело!» – думал он, украдкой подымая на молодую девушку взор, полный любви и участия, и не зная, кого больше жалеть: Лаврентьева или Ле-

ночку, и недоумевая, как это случилось.

Засветло Леночку проводили всей компанией до дому и несколько времени посидели с Марфой Алексеевной. Ивана Алексеевича не было дома. По словам Марфы Алексеевны, «братец рыскал по делам службы». Как-то особенно ласково – показалось Леночке – простился с ней старик Вязников и, пожимая ее руку, проговорил:

– Смотрите, Леночка, не забывайте нас, навещайте! Скоро вы уедете. А мы вас так любим!

«Господи! Какие они все хорошие!» – шептала Леночка, оставшись одна, и тихо-тихо заплакала под наплывом какого-то хорошего, радостного чувства.

Вязниковы лесом возвращались домой.

– Славная девушка! – в раздумье произнес Иван Андреевич.

– Да, – подтвердила Марья Степановна. – И как тяжело ей. Лаврентьев ее так любит!.. Она совсем изменилась за это время.

– Но как же, однако? Так неожиданно?

– Я не расспрашивала… она не говорила… Верно, почувствовала, что не любит, и сказала. А Лаврентьев тоже какой хороший… Ни одного слова упрека…

– Сильно любит!

– Я рад, мама, за Леночку! – проговорил Николай, подходя к матери. – Признаюсь, я всегда удивлялся,

что она хотела идти за Лаврентьева… Он прекрасный человек, но только не пара ей. Какова бы была ее жизнь с Григорием Николаевичем?

Вася не проронил ни слова. Он только взглянул на брата долгим взглядом и снова задумчиво опустил голову на грудь.

XXIX

Август приходил к концу.

Жизнь в Витине шла обычной колеей. Иван Андреевич, по обыкновению, хозяйством не занимался и больше для очистки совести, чем из любопытства, заглядывал иногда на скотный двор, на гумно, осматривал поля и т.п. Он большею частью по утрам занимался у себя в кабинете: читал журналы и газеты или писал различные записки и проекты для земского собрания хотя в последнее время и у него как-то пошатнулась вера в свои записки. Он спорил с Николаем, по вечерам играл с ним в шахматы, чаще, чем прежде, беседовал с Васей, с тревогой в сердце следя за юношей, и нередко с грустью думал, что скоро оба сына уедут, и Витино опустеет. Прежде, бывало, осенью и зимой, Леночка часто навещала одиноких стариков, а теперь и Леночка уедет, и они останутся совсем одни до лета. Нередко смущали старика и денежные их обстоятельства. Небольшой капитал, бывший у него, был прожит, а надежды впереди плохие. Хоть Марья Степановна, которая несла бремя хозяйственных забот, по-прежнему не посвящала Ивана Андреевича в «эти дрязги», как она нарочно при муже называла свои труды и хлопоты, но Иван Андреевич по лицу ее

замечал, что дела скверны. Урожаи, действительно, предстояли плохие. Эти мысли нередко наводили на него хандру.

– Плохи доходы? – спрашивал он Марью Степановну.

– Не очень однако! Ты не беспокойся, мой друг.

– Как не беспокоиться? К декабрю придется платить в банк проценты, и, кроме того, надо же Коле давать, пока он не найдет себе места… Васе тоже.

– Как-нибудь справимся со всем! – отвечала Марья Степановна. – Не волнуйся! И проценты внесем, и детям поможем.

– Из каких это доходов?

– А видишь ли… я думаю свои брильянты продать… Тысячу рублей дадут. Мы и извернемся!

Иван Андреевич нахмурился.

– Не люблю я этого… Ты и так все свои брильянты спустила.

– Так что ж? Носить их, что ли?

– Все же… как-то… Ты ведь готова последнюю юбку для нас продать… Знаю я! – нежно проговорил Иван Андреевич, поднося руку Марьи Степановны к своим губам.

– Ишь выдумал! Слава богу, юбок у меня много!.. Коля, конечно, скоро пристроится, и тогда нам вдвоем хватит… А Васе, сам знаешь, многого не надо. Он и

не возьмет!

После этого разговора Иван Андреевич несколько успокоился и по-прежнему ворчал, если обед был нехорош и вино кисло. Иван Андреевич любил жить хорошо и недаром в молодости прожил порядочное состояние.

Николаю деревня начинала надоедать. После того как он окончил статью, Николай решил было призаняться – для этой цели он и книги с собою привез, – но занятия как-то не клеились; он было начал, но ему скоро надоела серьезная работа, и он отложил ее до зимы. А пока он читал журналы, ходил на охоту, ездил верхом, был раза два у Смирновых, снова там поспорил с Присухиным и сцепился с Горлицыным – апломб «молодого ученого» был ему ненавистен, – заходил раза два к Лаврентьеву, но не заставал дома, и, вероятно, не знал бы, что делать, если бы в последнее время он не принялся с увлечением за развитие Леночки.

Сперва Леночка избегала Николая, но он с таким товарищеским участием расспрашивал об ее занятиях, приносил ей книги, вступал в споры, что Леночка мало-помалу перестала избегать молодого человека, и они часто бывали вместе. Она тщательно скрывала свои чувства, и Николай не только о них не догадывался, а напротив, не раз говорил с упреком, что Ле-

ночка совсем переменилась к нему и стала какая-то другая.

Обыкновенно Леночка по утрам занималась дома, а по вечерам приходила к Вязниковым. Нередко в саду молодые люди вместе читали и вели горячие споры по поводу прочитанной книги или статьи. Николай не без изумления замечал, что бывшая его ученица вовсе не такая «простенькая», какою он считал ее. Леночка нередко поражала Николая чуткостью, тонкостью понимания, глубиною мысли. Николай попрежнему относился к Леночке немножко свысока, – Леночка по скромности как будто не замечала этого – и удивлялся, когда молодая девушка не всегда соглашалась с ним, а горячо отстаивала свои взгляды.

Николай так привык по вечерам видеть молодую девушку, что, когда она не приходила, ему чего-то недоставало. На другой день он шел узнавать, что случилось, и звал Леночку… Она покорно приходила, чувствуя, что не в силах бороться против искушения, и утешая себя мыслью, что Николай не знает и не должен знать о ее любви.

«Что она для него?»

Как тщательно ни скрывала Леночка свою любовь, но разве можно было скрыть ее?.. Она сказывалась в разных мелочах: она сказывалась в неровности ее обращения, в нежной дрожи голоса, когда они оста-

вались наедине, в краске лица, в смущении… И Николай стал догадываться. Он вдруг как-то сделался с ней сдержан при других и искал случая оставаться наедине. Тогда он говорил как-то мягко, нежно, рассказывал о своей дружбе, посвящал Леночку в свои мечты, с увлечением говорил о своих идеалах, надеждах, планах, нередко дольше, чем следовало другу, держал ее руку в своей, бросал на нее взгляды, полные значения, и незаметно увлекался, не думая, что будет впереди… Ему было так весело и хорошо вдвоем с Леночкой. Она была такая хорошенькая, эта Леночка, и Николай любил ее провожать по вечерам домой. Обыкновенно они шли по лесу. Николай замедлял шаги, чтобы подольше идти рука в руку с Леночкой. И часто шли они, оба молодые, полные страсти, стараясь найти предмет разговора и часто не находя его.

Однажды после обеда, чудным солнечным осенним днем, молодые люди шли по лесу и оживленно разговаривали. Леночка в этот день была как-то особенно оживлена и горячо говорила. Николай слушал ее и не слышал, любуясь ею с каким-то наивным восторгом. Она заметила его взгляд, смутилась и смолкла. Николай начал было разговор, но разговор не клеился… Оба молчали, тихо подвигаясь вперед в чащу леса.

– Куда это мы идем? Пойдемте назад! – вдруг испуганно промолвила Леночка.

– Здесь так хорошо. Тихо так. Впрочем, как хотите! Пойдемте на дорогу!..

Опять наступило молчание.

– Послушайте, Леночка, я давно хотел спросить вас, – заговорил Николай, – любили вы Лаврентьева или нет?

– К чему вам знать, Николай Иванович? Не все ли вам равно?

– Мне интересно знать. Я думаю, вы никогда его не любили и не могли любить!

– Отчего? Он превосходный человек.

– Мало ли хороших людей, но он не мог же нравиться вам… признайтесь… вы просто из жалости хотели выйти за него замуж…

– Николай Иванович! Не говорите об этом! – тихо произнесла она.

– Так вот она, дружба! – проговорил Николай.

– Вы непременно хотите знать: ну, да, я никогда его не любила! То есть любила и теперь люблю, как очень хорошего человека, но не так, как…

Она запнулась.

– Как надо любить! – подсказал Николай.

– Пожалуй, как надо любить! – повторила Леночка.

– Я был уверен в этом.

– Почему?

– Да разве вы, с вашим чутким сердцем, с жаждой знания, с богато одаренной натурой, могли удовлетвориться идеалом Григория Николаевича? Его идеалы – узки; его жизнь – суха; сам он…

– Послушайте! – перебила Леночка. – Я вас прошу при мне не говорить худо о Григории Николаевиче.

– Да разве я худо о нем говорю?.. Я первый уважаю его, и все-таки, когда я приехал сюда и узнал, что вы выходите замуж за Лаврентьева, мне было так больно, так обидно за вас…

– Как за ученицу, не оправдавшую надежд?

– Как за человека, как за друга!..

«Как странно он говорит!» – подумала Леночка, жадно прислушиваясь к его словам. А в словах его звучали нежные струны.

– И когда я узнал, что свадьба расстроилась, я… очень обрадовался.

– Каково-то другим!

– Эх, Леночка!.. Все на свете проходит!

– Проходит, но не все легко переживается… Вот вы, кажется, счастливый человек.

– Как счастливый?

– Да так. Вам увлечься нипочем.

– Вы думаете?

– Вы не сердитесь: я думаю!

– Вот вы какая! А на каком основании?

– Как вам сказать?.. За откровенность – откровенностью. Вам очень нравится Нина Сергеевна?

– Откуда вы взяли?

– Нравилась?

– Пожалуй, чуть-чуть!

– А теперь?

– Ни капельки!

– Так как же вы не счастливый человек! Впрочем, и слава богу!

Они вышли к дороге и пошли опушкой.

– А вы… вы никого не любили?

– Никого! – чуть слышно промолвила Леночка.

Николай посмотрел на молодую девушку, и какая же она ему показалась прелестная, эта Леночка, и как хотелось ему услышать, что она его любит, и сказать ей, что он ее любит, любит… Он шел несколько минут молча, и вдруг совершенно неожиданно у него сорвалось, именно сорвалось:

– Леночка, ведь я хотел бы не только вашей дружбы…

Николай проговорил эти слова взволнованный, охваченный страстью.

Рука Леночки задрожала в его руке. Она вся затрепетала от счастия, но это было на мгновение. Внезап-

но отдернула она руку, отступила на шаг и прошептала упавшим голосом, прямо глядя в лицо Николая:

– И вам не стыдно смеяться надо мной?

– Смеяться? Леночка! Разве вы не видите?

Он схватил ее руку и стал осыпать ее поцелуями. Теперь она не отрывала руки и только испуганно шептала:

– Это правда? Правда?

– Правда! правда! Разве я умею лгать?

Никто не догадывался о любви наших молодых людей. С хитростью влюбленных они тщательно скрывали свою любовь. Леночка была счастлива. Она верила словам любви, которые шептал ей Николай, доверчиво склоняя свою голову на тяжело дышавшую грудь Николая. Они собирали весенние цветы любви, писали друг другу записки, жали друг другу руки, целовались и не думали о будущем. Им так хорошо жилось настоящим. Николаю казалось, что он любит Леночку так, как никого не любил, и он говорил о своей любви гораздо более, чем Леночка. Она слушала как очарованная и верила. Ей так хотелось верить. Она любила его горячо, с беззаветностью глубокой страсти, и пошла бы за ним куда угодно… Они решили не говорить до времени никому, пока Николай не устроится.

XXX

Нашего юношу сомнения и скорбные мысли не оставляли в покое. Тяжелая внутренняя работа происходила в нем, и ни жизнь, ни книги, которые он перечитал, не давали ему удовлетворительных для его сердца ответов. Есть души – правда, мало их – с удивительно чуткой совестью, болящие чужим страданием, чужим горем, которое становится их собственным страданием. Такая чуткая до болезненности душа была и у Васи. Он словно чувствовал на себе чужую неправду и жаждал примирения своих неясных еще идей с действительностью. Нередко он задумывался над жгучими, терзающими его вопросами, и какие только планы, какие фантазии не бродили в его голове! О себе он никогда не думал – эта черта в Васе была выдающаяся. Себя он забывал. Он считал себя виноватым, что до сих пор жил не по совести, и с искренней печалью высчитывал, сколько он стоил своему отцу. Он твердо решился жить не так, как живут вокруг, но как? Что делать? К кому обратиться, как тот богатый юноша, который обратился к Христу [48]? Никто

[48] …тот богатый юноша, который обратился к Христу? – Согласно Евангелию от Матфея (гл. 19, ст. 16) некий юноша, обладавший «большим имением», обратился к Христу с вопросом: «Что сделать мне доб-

из окружающих не давал ответов. Все говорили не то, что нужно было его сердцу. Приходилось искать ответа в книгах и в себе самом, и Вася пришел в заключение, что он обязан укрепить свое слабое тело, работать и есть так же, как и мужик. Эта мысль одно время сильно занимала юношу и не давала ему покоя, и он закалял себя, занимался гимнастикой, полевыми работами и горевал, что силы нет. Он стал в последнее время отказывать себе в пище; ему казалось, что он не имеет права наедаться, когда вокруг люди питаются бог знает как. Но и эта будущность не удовлетворяла его, хотя несколько и примиряла с совестью. Ему надо было помочь ближним, отдать всего себя на служение им. Но как? – этот вопрос главнейшим образом и мучил его…

О, он охотно бы положил живот свой за обездоленных и угнетенных! Что значит жизнь? Отец его рисковал же ею!

Так часто думал юноша, и думы эти не выходили у него из головы. Недаром он с таким восторгом перечитывал биографии Гуса [49] и Савонаролы [50], попав-

---

рого, чтобы иметь жизнь вечную?»

[49] Гус, Ян (1369-1415) – национальный герой чешского народа, идеолог чешской Реформации.

[50] Савонарола, Джироламо (1452-1498) – флорентийский религиозно-политический реформатор, поэт. Был арестован папскими агентами и казнен.

шиеся в библиотеке отца.

Вася усердно готовился к экзамену. Он сделает, как хочет отец, и, кроме того, приобретет знания – отец в этом прав, – но ни за что он не употребит эти знания во зло другим. Но сколько ждать времени? Оно, впрочем, пройдет с пользою, он укрепит свое тело.

Так думал Вася, усердно следуя своей программе. Он вставал очень рано, делал гимнастику, потом занимался какою-нибудь физической работой, возвращался домой, занимался и после обеда читал. Читал он, обыкновенно, книги, описывающие быт крестьян, или исторические сочинения, делал заметки у себя в тетради; мысли же и факты, особенно его поражавшие, он записывал в свой дневник. По вечерам он ходил гулять и часто заходил в деревню к знакомым крестьянам. Он любил слушать о крестьянском житье, и речи с одной и той же унылой нотой глубоко западали в его чуткое сердце. Молодого барчука любили и звали его «чудным».

Иван Андреевич нередко беседовал с Васей и должен был сознаться, что он совсем ошибался, назвав юношу неучем. Скромный и застенчивый Вася никогда не бросался в глаза, но при разговорах с отцом он подчас выказывал такую начитанность, особенно по истории, что отец удивленно спросил однажды:

– Да откуда ты все это знаешь?

– Из твоей же библиотеки.

– Когда же ты успел?

– Слава богу, полтора года прожил здесь!

– Ах ты какой! И хоть бы сказал когда!.. – с любовью заметил Иван Андреевич.

Отец был очень рад, что Вася поступит в технологический институт – Вася в академию не пожелал, – но все-таки видел, что беседы его не переубедят юношу. Отец звал сына не туда, куда стремился юноша. Он предлагал ему счастие, а сын искал креста.

Марья Степановна тревожно смотрела на Васю. Она нередко спрашивала: «Что с ним? Здоров ли он?»

– Ничего, мама, не беспокойся, я здоров.

– Но отчего ты такой нелюдим?

– Так уж… Разве это тебя огорчает?

– Тебя жаль. Мне все кажется, что ты болен. Не остаться ли тебе еще годик в деревне?

– Нет, я поеду. А ты не беспокойся.

И он обвил шею матери своими длинными руками и нежно глядел ей в глаза. А мать тоже смотрела долго на него, и вдруг ей сделалось жаль сына. Ее поразило что-то особенное в этом нежном, страдальческом взгляде, и почему-то показалось ей, что сын не жилец на свете. Слезы тихо закапали из ее глаз.

– Ты что это? Не плачь, дорогая!..

– Милый мой!..

– К чему плакать? Разве я такой жалкий?

– Нет, нет. Так… взгрустнулось.

Вася долго сидел около матери и все старался ее успокоить. Она сквозь слезы улыбнулась, улыбнулся и он.

Однажды Вася откуда-то пришел домой со связкой книг, необыкновенно взволнованный и возбужденный.

– Что с тобой, Вася? Откуда ты? – остановил его Николай, пораженный встревоженным видом брата.

– От Прокофьева. Он мне книг дал.

– Разве он приехал?

– Две недели тому назад.

– Покажи-ка, что за книги?.. Ого!.. – протянул Николай. – Книги все хорошие. Да разве ты, Вася, знаешь французский язык?

– Ничего себе, знаю. Читать могу свободно.

– Когда ты это успел?

– Да здесь.

– А это что за список у тебя из кармана торчит? Можно взглянуть?

– Смотри.

Николай пробежал длинный список книг и проговорил:

– Список превосходный. Это на что же?

– Прочитать надо.

– Прокофьев советовал?

– Да.

– У него книг, видно, много?

– Ах, если бы ты знал, Коля, сколько у него книг! Вся комната завалена книгами, и все такими. А сам-то как живет, – тут же и кровать; скромно-скромно живет. Я у него целое утро провел и целый бы день остался, да ему некогда. Он пошел рабочим лекции читать.

– Лекции?

– Как он говорит! То есть не то, что хорошо… нет, и хорошо, а знаешь ли, – так никто не говорил, то есть я не слыхал. Никто! Знаешь ли, Коля, – все, о чем я думал, что меня мучит, он понял… Нет, Коля, это такой человек, такой…

– Да говори толком, а то только и слышу: такой человек, такой человек! Что за телячий восторг!

– Не смейся, Коля! Ну да, я в восторге. Ведь он, Коля, все мое душевное состояние объяснил. Ведь он… Да ты пойми, Коля, пойми, голубчик… Он не так, как все… Он не для себя живет… Он…

– Эка восторги какие! А для кого же? – насмешливо перебил Николай.

– Для кого? Да ты, Коля, опять смеешься. К чему же ты расспрашиваешь? Я не стану говорить. Я не могу

слышать, когда над такими людьми смеются!

И Вася прошел в свою комнату.

XXXI

В светлый сентябрьский день, в четырехместной коляске, с кучером Иваном на козлах, ехало семейство Вязниковых на станцию железной дороги. Грустные сидели старики, поглядывая на своих сыновей. Особенно печально сидела Марья Степановна, едва удерживая слезы.

– Полно, полно. Ведь они на рождество приедут. Коля, может быть, будет занят, а Вася непременно приедет. Ведь так? – обратился Иван Андреевич к сыновьям.

– Я приеду! – отвечал Вася.

– И я постараюсь, если только будет какая-нибудь возможность.

– И Леночку привозите! – вспомнила Марья Степановна.

– И ее привезем, мама! – сказал Николай.

– Вот видишь ли! Всего каких-нибудь три месяца одним нам прожить. Много ли? И не заметим, как пролетит время, а чтобы оно скорее летело, вы, мои милые, письма нам чаще пишите. Смотри, Вася, ты обещал со мною особенную переписку вести! – пошутил Иван Андреевич. – Не забудь же. Просвети меня. Мо-

жет быть, и я, на старости лет, стану утопистом. Кто знает! Да смотри, Вася: тебе, голубчик, может быть, двадцати пяти рублей не хватит, так ты пиши.

– Куда больше!

– А на дорогу вам мы пришлем. Только приезжайте.

– Да что ты, папа! Ты и без того мне много дал денег. Куда мне шестьсот рублей.

– Ну, ну, что об этом говорить. Много! Тебе нужно. Пока еще работу найдешь!

– Я скоро найду. Уж у меня есть в виду присяжный поверенный, – не Присухин, не бойся! – который возьмет меня в помощники. Кроме того, еще за статью получу!

– Ну, ладно, ладно. А пока при деньгах-то – лучше.

Коляска остановилась у станции. Вязниковы вошли на станцию. Там уже дожидалась Леночка с Марфой Алексеевной.

– А Иван Алексеевич не приедет? – спросил старик.

– Братцу невозможно. Вот служба-то, даже с дочерью проститься не дадут! Разве вы не слыхали? Ведь Залесье сгорело дотла сегодня.

– Залесье? – спросили в один голос отец и сыновья.

– Братец там был. Сегодня эта продажа назначена по иску Кузьмы Петровича. А мужики опять было не давать. Однако ничего, братец уговорил, как вдруг пожар… Все дотла… ничего не спасли, да, кажется,

и спасать-то не хотели мужики. Говорят: подожгли. Одну бабу молодую подозревают. Взяли ее с пожара-то… Братец к губернатору по телеграмме. Все насчет этого, будь он проклят… как его звать-то, Леночка?

– Мирзоев! – подсказала Леночка.

– Мирзоев? – спросил Николай.

– Ну да, Мирзоев! Бог его знает, какой такой; сказывают, беглый студент; только из-за него братцу покоя нет. Три раза – все секретные предписания. Братец рыскал, искал, да разве так он и объявится. Шутишь! Дурной человек, известное дело, логово безопасное ищет! Но только вчера приехали из Петербурга два господина; думали, видно, что братец не сумел бы без них найти, – обидчиво проговорила Марфа Алексеевна.

– И что же? – спросил Николай.

– Да ничего. Ночью уехали и ни с чем и вернулись! – торжественно объявила Марфа Алексеевна, обиженная за брата. – Братец по секрету мне сказывал, – а вы не болтайте, молодые люди! – что будто бы этот Мирзоев около именья Надежды Петровны скрывается. Это слух так был. Ну, и никакого Мирзоева не оказалось. А Надежду Петровну даром потревожили. У нее все хорошие люди живут: один адвокат и ученый из Петербурга, управляющий заводом еще… как его?

Да, вспомнила, Прокофьев. Только управляющего-то дома не было. По делам, три дня тому назад, Смирнова послала его в Петербург. Закупки для завода сделать. Так вот таким манером и не дали отцу дочь-то проводить! Еще, пожалуй, опять ему достанется! Просто беда нынче; уж лучше бы скорей братец в отставку вышел, право. То сюда, то туда. Ровно угорелый мечись, а ведь Ивану Алексеевичу шестьдесят три года… Каково-то ему!

Известие о пожаре в Залесье произвело на всех тягостное впечатление. Иван Андреевич взглянул на сыновей и совсем насупился. Марья Степановна то и дело утирала слезы, не отрывая глаз от Васи, которого она усадила подле. Николай пошел брать билеты.

– Ты, Леночка, смотри, деньги-то не потеряй. Да в Петербурге не ротозейничай. Там живо карманы выворотят! Я была раз в Петербурге – знаю! – говорила Марфа Алексеевна.

– Не бойтесь, тетя.

– Сейчас поезд идет! – проговорил начальник станции, подходя к Вязникову.

Все вышли на платформу. Тяжело пыхтя, медленно приближался поезд.

– Ну, прощайте, дети! Прощай, Коля, голубчик мой! Желаю тебе успеха. Хороший ты, славный… Оставайся таким! Пиши. Прощай! – взволнованным голосом

говорил старик, обнимая Николая.

А в это время Марья Степановна перекрестила Васю, обняла его, долго не отпускала от себя и, рыдая, прошептала:

– Да хранит тебя господь бог, моего милого!

– Береги себя, Вася! Береги, мой добрый, мой честный мальчик. Береги себя! Ведь ты… ты…

Тут голос старика оборвался, и слезы скатились по его бороде, когда он прижал к своей груди Васю. Он поцеловал его, потом взял за подбородок, с нежностью и тревогой засматривая в глаза бледнолицего юноши, и снова привлек к себе.

Старики обняли Леночку, расцеловали ее, пожелали счастия, и отъезжающие стали садиться в вагон.

Через три минуты поезд тихо двинулся. Вася высунулся из вагона и махнул фуражкой. Скоро поезд скрылся из глаз, и старики, печальные, отправились в осиротелую усадьбу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Ясный, морозный январский день потухал. Зимние сумерки окутывали Петербург серо-туманной дымкой. На улицах зажигали фонари, и ярко осветились магазины и рестораны. Невский и Большая Морская, где только что кишела публика, начинали пустеть. Фланеры и кокотки попадались реже. Взмыленные рысаки, взбивая копытами снежную пыль, развозили катавшийся люд по домам; толстые, краснолицые кучера, с обледеневшими бородами, обгоняя извозчиков, покрикивали зычными голосами на зазевавшихся пешеходов. На малолюдных улицах они сдавали вожжи, и кони мчались стрелой. Только легкий, скрипящий шум на улице, когда пролетали парные сани и быстро скрывались в дали сумерек. Вагоны конно-железных дорог [51] были битком набиты проголодавшимися чиновниками и служащими, возвращавшимися со службы к своим пенатам: у гостиного двора, у Адмиралтей-

[51] Конно-железные дороги (конки) – рельсовые дороги на конной тяге, первые опыты которых проводились в Петербурге еще в январе 1837 года.

ской площади толпилась публика в ожидании прихода конки; места занимались чуть не с бою. Иззябшие извозчики, с ледяными сосульками в бороде и усах, усиленно предлагали пешеходам «прокатить за двугривенный», указывая движением руки на своих вздрагивавших, покрытых инеем, «американских шведок». Начинался обычный отлив от центров к окраинам. Департаменты, правления, конторы опустели. Петербург торопился обедать.

В этот самый час по Фурштадтской улице, направляясь к Таврическому саду, шел Вася. Мороз был порядочный, а между тем костюм нашего юноши совсем не соответствовал сезону: на нем было осеннее пальтецо да плед, которые едва ли предохраняли от холода его тщедушное тело. Хотя мороз и пробирал молодого человека, заставляя его время от времени вынимать из карманов руки и потирать нос и щеки, но, казалось, Вася не очень смущался холодом, так как не особенно торопился, а шел обычной своей походкой, опустив голову и, по-видимому, погруженный в такие приятные размышления, которые заставляли его забывать, что на дворе мороз свыше восемнадцати градусов по Реомюру [52].

---

[52] …свыше восемнадцати градусов по Реомюру… – Температурная шкала Р.А.Реомюра (1683-1757) была предложена в 1730 году. Один ее градус равен 1/25 градуса по шкале Цельсия.

Дойдя почти до конца улицы, он вошел в ворота большого дома, прошел двор, поднялся по темной лестнице на самый верх и тихо позвонил у дверей. Очутившись в теплой прихожей, освещенной лампочкой, Вася почувствовал всю прелесть тепла, охватившего разом его иззябшее тело после совершенного путешествия с Царскосельского проспекта к Таврическому саду.

Он приветствовал старую женщину, отворившую ему двери, и осведомился, дома ли Елена Ивановна.

– Это вы, Василий Иванович? Сразу-то я вас и не признала! Быть вам богатым! – проговорила квартирная хозяйка, добродушная на вид женщина лет за пятьдесят, у которой Леночка нанимала комнату со столом. – Барышня наша еще не вернулась.

– Не вернулась? – протянул Вася.

– Должна скоро быть. Обождите. Небось, иззябли?

– Да, мороз, кажется, порядочный! – проговорил Вася.

– Ступайте-ка в комнату, обогрейтесь. Самоварчик, что ли, приказать поставить? Сейчас Мавра вернется.

– Благодарю вас, Пелагея Петровна. Я уж заодно, когда Елена Ивановна будет пить.

– Ну, как знаете. А то бы выпили?

– Нет. Верно, Елена Ивановна сейчас придет.

– Надо ей давно бы быть. Разве куда зашла?

Вася вошел в Леночкину комнату и присел на диван у стола, на котором был накрыт прибор и горела лампа, освещая мягким, ровным светом крайне скромную обстановку жилища молодой студентки. Комната была крошечная. Постель с подушками и одеялом, сиявшими белизной, кисейные занавески, комод с туалетным зеркалом, этажерка с двумя десятками книг, кожаный диван, стол и два стула составляли все ее убранство, но в этой маленькой келейке было необыкновенно уютно, светло и опрятно. Сразу чувствовалось присутствие умелой женской руки и веяло домовитостью и любовью к порядку.

Вася взял со стола книгу и стал было читать, но ему не читалось. Он отложил книгу и восторженным взглядом обвел эту хорошо знакомую ему комнату; мысли его обратились к Леночке, и он думал о ней с любовью, глубоко спрятанной в его любящей душе. Чувство, которое давно уже питал юноша к молодой девушке, было горячее, бескорыстное юношеское чувство привязанности. Он любил Леночку, как нежный брат и преданный друг. Никакие другие побуждения не смущали его привязанности, и Вася счел бы великим святотатством, если бы было иначе. Целомудренный и стыдливый, он возбуждал не раз насмешки Николая и не любил, когда Николай подсмеивался над его исключительными мнениями по этому предмету.

Привязанность Васи к Леночке была совершенно невинная. Он считал Леночку святой девушкой, желал ей счастия, печалился, когда замечал, что она озабочена или грустна, и радовался, видя ее счастливою и довольною. Он делал ей всякие услуги: доставал билеты в театр, переписывал лекции, помогал заниматься математикой, доставал книги, – словом, обнаруживал самую нежную заботливость.

Доверчивый и простодушный, Вася, разумеется, и не подозревал о любви Леночки к брату, тем более что молодые люди тщательно ее скрывали; близость их он объяснял товарищеской дружбой, чуть-чуть завидовал брату, досадовал на него, когда замечал, что брат обращается с Леночкой с некоторой фамильярностью, и иногда думал, что для Лаврентьева еще не все потеряно, и если он подождет, когда Леночка окончит курс, то она выйдет за него замуж, и они заживут отлично.

Сам Вася усердно работал и много читал. Жил он отдельно от брата, – ему надо было ходить на лекции и нанять комнату поближе к технологическому институту, а Николай не хотел жить в той стороне, – скромной комнатке, с чисто спартанской простотой. Да ему и не было надобности в другой жизни; он не ломал себя, а скромные привычки являлись сами собой. Он жил отшельником, водил знакомство с несколькими

товарищами, бывшими ему по душе, и переписывался с отцом. Переписка эта была очень интересна; читатели познакомятся с нею в своем месте. Теперь можно только заметить, что Иван Андреевич не всегда давал читать эти письма Марье Степановне и каждый раз после получения письма в раздумье ходил печальный по кабинету.

В последнее время Вася стал замечать перемену в молодой девушке. Первые месяцы по приезде в Петербург Леночка была такая счастливая, какою Вася ее никогда не видал; в последние же две недели с ней что-то сделалось. Она была как-то озабочена, раздражительна и грустна. Раз или два он заставал ее в слезах, но у него недоставало духа спросить о причине; он даже делал вид, что не замечает слез, и обыкновенно старался чем-нибудь развлечь Леночку. Она ничего ему не говорила. Однажды только заметила:

– Если случится, услышите, Вася, об уроках, достаньте мне.

Нечего и говорить, что Вася принялся деятельно хлопотать, но хлопоты его были безуспешны. Он сообщил об этом Леночке и, между прочим, заметил:

– Видите ли, Елена Ивановна, пока вы не сыскали уроков, я бы просил вас… У меня есть лишние деньги, они мне вовсе не нужны, право не нужны… Так вы уж не обидьте меня, возьмите по-товарищески…

– Спасибо, Вася! Благодарю вас, но теперь мне деньги не нужны. Вы, я знаю, последнее свое готовы считать лишним! – улыбнулась она.

– Как не нужны? К чему же тогда вы уроков ищете?

– Я всякой работы ищу… Не сейчас… но впоследствии она мне очень нужна.

– Очень нужна? – недоумевал Вася.

– Не спрашивайте… У меня есть один план. Когда-нибудь после узнаете! – как-то грустно и тихо прибавила Леночка.

Вася более не спрашивал и ушел домой, недоумевая, в чем дело, какой такой у Леночки план. Он снова стал хлопотать об уроках, сделал в газетах объявления, но успеха никакого не было. Но вчера один из товарищей сообщил ему, что можно получить место корректорши. Вася спешил сообщить эту новость Леночке.

Через полчаса раздался звонок, и в комнату вошла Леночка, иззябшая, румяная.

– Здравствуйте, Вася!.. – проговорила она, пожимая руку Васе. – Что вас давно не видать?.. Здоровы?

– Что мне делается! Я здоров! – отвечал Вася.

– Холодно сегодня как! – продолжала Леночка, снимая шубку и меховую шапочку и поправляя перед зеркалом волосы. – Я на Васильевском острове была…

– Пешком ходили?

– А то как же?

– Далеко!..

– Не близко!.. Николая Ивановича видели?

– Нет, не видал. Трудно его застать.

– Это что еще значит?.. Как трудно?

– Дома никогда нет.

– Зачем же ему дома сидеть?

– Я не к тому. Я просто говорю: трудно застать. Два раза был и не заставал.

– А вы бы пораньше сходили!

– Он ведь спит до двенадцати часов.

– Уж и до двенадцати?

– Поздно, верно, ложится.

– Верно, по ночам работает!

– Уж я не знаю!.. – промолвил Вася.

– А что, не слышали, его статья… принята? Разумеется, принята?

– Не знаю!

– Как это, Вася, вы ничего не знаете! – с раздражением заметила Леночка. – Хорош брат!

– Я, право, не виноват. Я на неделе четыре раза у него был и не мог застать… Если хотите, я завтра пойду, пропущу лекцию…

– Кто вас посылает!.. Экий вы какой смешной, Вася! – вспыхнула Леночка и отвернулась, воспользовавшись приходом кухарки, которая принесла на под-

носе тарелку щей и кусок зажаренной говядины.

– Хотите есть, Вася?

– Нет, я обедал.

– Не церемоньтесь. Я всего не съем.

– Я не церемонюсь.

– Ну как знаете.

Леночка принялась обедать. Вася молча посматривал на нее. Сегодня Леночка показалась ему особенно возбужденной и раздражительной.

– А у вас Коля давно был?

– Давно!.. Неделю тому назад. Он, верно, бедный, в хлопотах. Все у него неудачи!

Более чуткое ухо подслушало бы в этих словах не одно только товарищеское участие. Слова ее звучали тревогой любящего сердца.

– Хлопоты – хлопотами, а мог бы найти время зайти к вам! – проговорил Вася. – Я ему скажу завтра, чтобы он зашел…

– Кто вас просит? Прошу вас, не говорите!.. – резко оборвала Леночка.

Вася сконфуженно взглянул на Леночку и, минуту спустя, добродушно проговорил:

– Вы, Елена Ивановна, не в духе сегодня.

– Нездоровится…

– То-то… вы бы сказали. Я, может быть, мешаю?.. Я уйду… я только на минуточку, хотел сказать вам, что

есть место корректорши.

Леночке стало стыдно. Она ласково взглянула на Васю и с чувством сказала:

– Вы простите меня, не сердитесь… Вот вы какой добрый, а я…

– Только место это не очень-то подходящее! – продолжал Вася, чувствуя, как радостно бьется его сердце от ласкового слова Леночки. – Глаза можно испортить!..

– Благодарю вас, Вася… Очень благодарю вас… Теперь мне не надо этой работы… Я сегодня уроки получила… Спасибо Александру Михайловичу, он рекомендовал.

– Вот это лучше! – обрадовался Вася. – У кого?

– У одного купца на Васильевском острове… Каждый день два урока маленькой девочке и за это тридцать пять рублей в месяц… Заниматься от пяти до семи часов вечера…

– Молодец доктор! – весело воскликнул Вася. – Вы знаете, он товарищ Григория Николаевича, – прибавил Вася.

При имени Лаврентьева по лицу Леночки пробежала тень.

– Знаю; я о нем давно слышала… Григорий Николаевич его Жучком зовет.

– Он и впрямь на жука похож. Такой черный весь.

Леночка то и дело посматривала на часы и несколько раз выходила из комнаты под предлогом поторопить Мавру с самоваром, но на самом деле она ходила не к Мавре, а подбегала к дверям и прислушивалась, не раздадутся ли по лестнице знакомые шаги Николая. Но на лестнице было тихо; и Леночка, взволнованная, возвращалась в комнату.

– Куда ж вы, Вася? Подождите, напьемся чаю. Сейчас самовар подадут! – остановила Леночка Васю, собиравшегося было уходить. – Еще рано… восемь часов!

– Да вы, быть может, собираетесь куда? Все на часы смотрите!

– На часы?.. Я поджидаю одну товарку… Обещала прийти, да, видно, не придет! – прошептала Леночка.

Подали самовар. Вася молча отхлебывал чай. Он пробовал было начать разговор, но разговор не клеился. Леночка рассеянно слушала его и поминутно взглядывала на часы. Наконец она промолвила упавшим голосом:

– Девять часов. Она, верно, не придет!

– Сходить за ней? – вызвался Вася. – Я скоро.

– Нет, Вася, не надо… Расскажите-ка лучше что-нибудь…

– Не умею я рассказывать, Елена Ивановна!.. – заметил Вася. – Мало ли что бродит в голове, всего не

расскажешь… Да и неинтересно… Мало ли какие у кого мысли, да если они мыслями останутся, что толку-то?.. Это я так… вот сейчас о брате вспомнил… Он вот умеет говорить и писать умеет… да вот жаль только, ум у него как-то особенно устроен.

– Как это особенно?

– Так – особенно. Мы с ним часто спорим… Только напрасно… Каждый остается при своем… Только он сердится…

– Будто сердится?

– Ей-богу, сердится… Он стал какой-то раздражительный.

– Поневоле станешь… Он ведь не то, что мы с вами… Он талантливый человек… ему нужна деятельность широкая, свободная, а вместо этого одни неудачи…

– Неудачи? Какие это неудачи? Коля уж очень торопится… Непостоянный он какой-то, а главное – очень уж любит широко жить… Отец дал шестьсот рублей – деньги немалые, а где они? Коля не может себя стеснить, а это большая беда… А впрочем, он умный человек и, верно, придет к тому, что все это суета одна…

– Ну, уж вы, Вася, опять с вашей философией.

– Так я не буду… Я ведь с своей точки зрения.

– Да и не вы одни… Вот тоже и доктор совсем несправедливо нападает на Николая Ивановича…

Называет его самонадеянным, заносчивым, воображающим о себе бог знает что. Это все неправда… Надо знать хорошо человека, чтобы судить о нем… Я горячо спорила с доктором.

– Коля не заносчив – это вздор, а что он… как бы сказать?.. легко иногда относится к людям, это в нем есть… Это у него как-то без намерения выходит.

– И это неправда… Он просто давит других своим умом и талантом.

– Так не дави… Зачем давить другого?..

– Это невольно…

Леночка проговорила целый дифирамб Николаю, не замечая, какой горячностью звучали ее слова. Вася слушал молодую девушку и находил, что она очень уж захваливала брата. Он сам очень любил брата и смотрел на его недостатки снисходительно, но все-таки не идеализировал этих недостатков так, как Леночка.

В разговоре о Николае Леночка оживилась и не заметила, как пролетело время. Когда она взглянула на часы, было одиннадцать часов.

– Засиделся я у вас! – проговорил Вася, прощаясь.

– Смотрите, не зовите вашего брата… Нечего его беспокоить! Ему не до посещений! – еще раз напомнила Леночка, провожая Васю. – Это что значит? – вдруг воскликнула Леночка.

– Что такое?

– Где ваше меховое пальто? – допрашивала Леночка, заметив, как Вася тщательно укутывался в плед. – С вашим здоровьем да в эдакий мороз в одном пледе! И я еще обещала Марье Степановне за вами смотреть! Где ваше пальто? Верно, кому-нибудь отдали?

– Товарищ один больной… Ему нужней!..

– А вы здоровый что ли?

– Я – ничего, слава богу. Да вы не сердитесь, Елена Ивановна… Он на время взял…

– Ах вы, Вася, Вася, добрая вы душа! – воскликнула Леночка. – Однако так я вас не пущу. Возьмите еще мой платок. Без разговоров! Постойте, я вас сама одену.

И Леночка принесла из комнаты большой теплый платок и заботливо укутала Васю, несмотря на его протесты.

Оставшись одна, Леночка не могла долее сдерживать своего горя. Слезы невольно полились из глаз, и рыдания вырвались из ее груди.

– Он не любит меня! – беззвучно шептали ее губы. – Нет, нет, не может быть, это было бы ужасно!

Одна мысль об этом приводила в отчаяние молодую девушку, недавно почувствовавшую, что она будет матерью.

Она скрывала это от Николая. Ей было почему-то

стыдно сказать ему. Она все откладывала, ждала, когда выяснятся их отношения, но он молчал, молчала и она, переживая тяжелые дни…

На днях она написала ему два письма, звала его – и никакого ответа!..

Она припомнила теперь последнее время, и ей казалось, что Николай ее разлюбил. Он реже у нее бывал, не так говорил с ней, не так глядел. Все казалось ей не так, как было прежде.

– Он не любит меня! – опять прошептала Леночка. – Не любит!

Вася шел домой, погруженный в мысли о Леночке. Он недоумевал, что такое с ней случилось. Что за причина ее грусти и нервности? Почему она так резко остановила Васю, когда он хотел позвать брата, о котором между тем она говорила с необыкновенным чувством и оживлением? Вася никогда не слыхал, чтобы она о ком-нибудь так говорила, как говорила о Николае. Голос ее звучал особенной нежностью, глаза загорались блеском.

В первый раз мысль о том, что Леночка любит Николая, закралась в душу юноши и глубоко засела там. Он стал припоминать разные мелочи, характеризующие отношения между братом и Леночкой, и теперь

эти отношения как бы являлись перед ним в ином свете. Припоминались ему различные факты, которые тогда он пропускал без внимания, а теперь они имели в глазах его особенное значение. Почему Леночка отказала Лаврентьеву? С каких пор она стала особенно часто ходить в Витино? Приезд Николая как раз совпадал, по мнению Васи, с резкой переменой, происшедшей в Леночке. Затем он припомнил внезапный отказ Лаврентьеву, решение Леночки ехать в Петербург, затем сближение ее с братом, чтения вдвоем, беседы и прогулки, – все это подтверждало подозрения юноши.

«Леночка любит брата!» – подумал юноша и в то же время не хотел и допустить мысли, что Николай виноват хоть сколько-нибудь в том, что свадьба Леночки расстроилась, и Лаврентьеву причинено несчастье.

«Это было бы очень нехорошо! – решил Вася. – Коля не способен на такой поступок!»

А между тем именно мысли о виновности брата гнездились в его голове. Он припоминал его отзывы о Лаврентьеве, о том, что Леночка ему не пара. «Уж не говорил ли брат того же и Леночке? Не смутил ли он ее, обворожив своими увлекательными речами?»

– Я клевещу на брата! – обвинял себя Вася. – Он не мог ей этого говорить!

Тем не менее Вася теперь почти не сомневался,

что Леночка любит Николая, и очень сокрушался за Леночку, так как был уверен, что Николай совсем не любит Леночку; по крайней мере не так привязан, как следовало бы, по мнению Васи. Он и держит себя с ней совсем не так и говорит о ней не так, как Лаврентьев. Тот так любил ее!

Но если он не любит ее, так зачем же он не скажет ей? Зачем он ходит к Леночке? К чему до последнего времени он каждый день бывал у нее, ездил с ней в театр, гулял с ней вдвоем? Разве он не видит, что Леночка увлечена им? А если видит и все-таки ходит, продолжая увлекать?

Все эти мысли угнетали Васю, и, вернувшись домой, он долго еще не мог заснуть, раздумывая об отношениях брата к Леночке. Само собой, что Васе и в голову не приходило, чтобы брат мог воспользоваться привязанностью доверчивой, любящей девушки. На это способны только подлецы!

Он припомнил разговоры Николая о женщинах; легкость, с которой иногда брат говорил при нем о них, откровенность, с которой он оценивал внешние достоинства, нередко возмущали непорочного юношу. В своей юношески строгой исключительности Вася недоумевал, как брат его, человек честный и порядочный, мог так относиться к женщине. Когда Вася однажды заметил, что говорить так – значит профани-

ровать высокоидеальное чувство любви, то Николай весело рассмеялся, назвал брата «Иосифом прекрасным» [53] и заметил, что когда он будет постарше, то заговорит иначе. Все это как нарочно припоминалось именно теперь, и Васе почему-то бесконечно было жаль Леночку.

[53] «Иосиф прекрасный». – Иосиф Прекрасный – имя библейского юноши, который был продан братьями в рабство в Египет, где при дворе фараона его тщетно пыталась соблазнить жена царедворца Потифара (Пентефрия). Имя его стало синонимом целомудрия.

II

В тот самый вечер, когда Леночка напрасно ожидала Вязникова, Николай наконец собрался побывать у Смирновых. По приезде в Петербург он сделал им визит и был принят радушно. Надежда Петровна с участием расспрашивала молодого человека, как он устроился, порадовалась, что он поступил помощником к такому безукоризненному человеку и талантливому адвокату, как Лев Васильевич Пряжнецов, который большой ее приятель («Вы помните его речь по делу ограбления почты? Вы помните? Не правда ли, прелестная речь?»); осведомилась, не пишет ли Николай Иванович новой статьи, и, получив утвердительный ответ, дружески посоветовала отдать ее не в «Русскую летопись» [54], а непременно в «Указатель прогресса» [55], редактор которого, «милейший Александр Александрович, высоко держит либеральное знамя» и один из ее добрых друзей. По мнению Надежды Петровны, статья, помещенная в «Указате-

---

[54] «Русская летопись» – название еженедельной газеты, издававшейся в Москве М.Щепкиным в 1870-1871 гг.

[55] «Указатель прогресса». – Такого печатного органа в России не было. Станюкович объединяет под этим иронически-буквальным названием черты многих органов либеральной журналистики.

ле прогресса», скорей обратит внимание; затем Надежда Петровна выразила надежду, что молодой человек не откажется быть членом «общества вспомоществования истинно бедным людям», вручила ему устав и несколько отчетов, так что Николай принужден был вынуть из бумажника десять рублей и отдать их почтенной благотворительнице. Прощаясь, Надежда Петровна любезно пригласила бывать у них непременно по четвергам и вообще не забывать их.

– Вы встретите у нас, – промолвила Надежда Петровна, – небольшой, но избранный и тесный кружок. Для вашего спокойствия прибавлю, – улыбнулась Надежда Петровна, – что консервативный элемент отсутствует на наших четвергах!

Молодому человеку оставалось только поблагодарить за честь быть в числе избранных, что он и сделал с должной любезностью; однако, очутившись на лестнице, он ругнул Надежду Петровну за то, что она так ловко лишила его десяти рублей и сделала членом «общества вспомоществования истинно бедным людям», на что он никак не рассчитывал, отправляясь с визитом.

В исходе десятого часа Николай подъехал к большому, красивому дому в одной из улиц, прилегающих к Литейной. Отдав пальто и калоши швейцару, он оправился перед зеркалом, взбил чуть-чуть воло-

сы, отчего они стали еще кудрявее, что к нему шло, и по широкой лестнице, устланной красным ковром, с тощими пальмами на площадках поднялся в третий этаж.

Хотя Николай и несколько свысока относился к Смирновым, считая их «жидкими либералами», и заранее осмеивал их журфиксы (он вспомнил, как смеялась над ними Нина Сергеевна), тем не менее наш молодой человек испытывал некоторое волнение, когда остановился у дверей с блестящей дощечкой, на которой была выгравирована изящной вязью фамилия Смирновой. Волнение это не были следствием робости, – нет, это было волнение самолюбия.

Мысли о том, как на него посмотрят, как к нему отнесутся, как он войдет, не оставляли его. У Смирновых, он знал, собирались все более или менее «известные» люди, и он, «неизвестный» молодой человек, мечтавший об известности и уже заранее настроивший себя на насмешливо-враждебный тон, теперь вдруг почувствовал такую малодушную робость, что даже не прочь был уехать домой.

Сознание, что он оробел, именно оробел самым постыдным образом, взбесило нашего молодого человека.

– Фу ты, какая мерзость! – проговорил он и придавил пуговку электрического звонка так решительно,

что в прихожей раздался звонок совсем уж неприличный, напоминавший звонки почтальона.

Красивый, необыкновенно представительный лакей во фраке и белом галстуке, с выхоленными бакенбардами, сделавшими бы честь любому камер-юнкеру, отворил поспешно двери и, доложив, что барыня у себя и принимает, пропустил Николая в гостиную. В ярко освещенной, роскошно убранной большой гостиной не было никого; из соседней комнаты раздавался оживленный разговор.

Приподняв свою красиво посаженную голову, Николай прошел в столовую, приостановился на пороге, слегка прищуривая глаза, и, отыскав хозяйку, направился к ней.

– Наконец-то! – любезно приветствовала Николая Надежда Петровна, находя, что Николай и наружностью, и манерами, и безукоризненным костюмом не только не шокировал ее респектабельных чувств, но даже был совсем не лишним украшением ее журфиксов в качестве представительного молодого человека, хотя еще не «известного», но подающего большие надежды.

– Где это вы пропадали, молодой человек? Так-то вы держите слово? Как здоровье ваших? Иван Андреевич не собирается сюда?

И, не дожидаясь ответа на свои вопросы, Надеж-

да Петровна громко произнесла, обращаясь ко всему обществу:

– Николай Иванович Вязников!

Николай сделал общий поклон, а Надежда Петровна между тем назвала по имени несколько более или менее известных фамилий, преимущественно из судебного мира. Впрочем, были и такие фамилии, которые Николай слышал в первый раз.

– С Алексеем Алексеевичем и с мосье Горлицыным вы ведь знакомы.

– Как же, как же! Еще спорили в деревне! – снисходительно проговорил Присухин, протягивая свою мягкую пухлую руку.

Обменявшись рукопожатиями с барышнями и господином Горлицыным, Николай сел на свободное место, очутившись между незнакомыми лицами. С одной стороны сидел худой, совсем худой господин с длинными волосами, с другой – некрасивая полная дама не первой молодости, в светлом платье с большим вырезом, открывавшим более, чем следовало бы в интересах дамы, рыхлую, жирную шею сомнительной свежести.

Прерванный на минуту разговор возобновился, и Николай мог свободно разглядывать общество, сидевшее за столом.

В средине сидела хозяйка, в черном шелковом пла-

тье, безукоризненно сшитом, приветливая, веселая и улыбающаяся. Она внимательно слушала свою соседку, прехорошенькую блондинку, с тонкими чертами лица, щебетавшую приятным голоском о необходимости поторопиться устройством благотворительного базара, чтобы опередить другой дамский кружок, – и в то же время зорко следила, есть ли у всех чай, и, если замечала у кого-нибудь пустой стакан, значительно взглядывала на скромную даму, сидевшую за самоваром на конце стола. Хорошенькая блондинка была вице-председательницей «общества вспомоществования истинно бедным людям», председательницей кружка, призревающего пять прелестных малюток, и женой симпатичного, круглолицего, румяного брюнета, даровитого петербургского профессора, сидевшего напротив. Он то и дело смеялся веселым, заразительным смехом, беседуя с Присухиным и другим солидным господином, известным юристом и членом магистратуры – Анохиным. Около барышень тихо ораторствовал молодой ученый г.Горлицын. На этот раз он объяснял не Спенсера, а Шекспира, и внимательно взглядывал на рыжеватого господина, сидевшего подле, когда тот прерывал плавную, докторальную речь молодого ученого разными замечаниями. Маленький, худенький, чистенький господин с светло-рыжими вьющимися волосами, нервный и верт-

лявый, с необыкновенно юркими, бегающими во все стороны карими глазками, показался знакомым Николаю. Он припомнил, что встречал его в какой-то редакции. Это был господин Пастухов, педагог, археолог, сотрудник газет, ученый дилетант, чиновник, секретарь в многих ученых обществах и вообще бойкий молодой человек, умевший втираться всюду и пользовавшийся, как слышал Николай, покровительством какого-то сановника, которому молодой человек помогал составлять научное исследование о древнерусской посуде.

Невдалеке от Николая сидели два литератора – один очень скромный и молчаливый, другой, напротив, как показалось Николаю, не обладавший большой скромностью. Скромный литератор, с едва заметной улыбкой, скользившей на нервном, умном лице, слушал своего соседа, высокого, плотного, белокурого господина с мясистыми губами, который громко, очевидно желая обратить общее внимание, высказывал необыкновенно либеральные взгляды по поводу современного положения дел. Он волновался, кипятился, говорил необыкновенно развязно и произвел на Николая отвратительное впечатление. В его речах слышалась фальшивая нота. Он точно старался подчеркнуть свой отчаянный либерализм, словно боясь, что ему не поверят. И ему в самом деле как-то не ве-

рили.

Толстая некрасивая дама, соседка Вязникова, млела от восторга и сильно затянутого корсета, слушая нескромного литератора, и подавала ему реплики.

Литератор, однако, не вызвал общего внимания. Худой господин с длинными волосами сидел молча, не вмешиваясь в разговор. Раз или два он поднял большие, темные, ленивые глаза на волнующегося литератора и снова опустил их. По-видимому, его не занимали разговоры, происходившие в столовой. Он обводил равнодушным взглядом общество и то и дело посматривал на двери.

«Верно, улизнуть хочет!» – подумал Вязников, недоумевая, к какому разряду отнести этого барина. По виду он походил не то на художника, не то на артиста.

– Скажите, пожалуйста, кто этот белокурый господин? – спросил тихо Николай своего соседа.

– Браиловский.

– Сотрудник «Почты» [56]?

– А не знаю… Знаю, что литератор и большой болтун!

---

[56] «Почта» – возможно этим названием Станюкович намекал на официальный орган Министерства внутренних дел – газету «Северная почта» (1862-1868), целью которой была защита и пропаганда правительственной программы, а также борьба с оппозиционной прессой.

– А другой, рядом с ним?

– Негожев…

– Негожев! – повторил Вязников и взглянул еще раз на скромного господина в очках, с жиденькой бородкой, рассказы которого отличались недюжинным талантом.

Разговоры то стихали, то становились громче. Дух благовоспитанного недовольства носился в столовой. Все так или иначе осуждали современные порядки, но не было одушевления, не было задевающей жилки; все было в меру умно, либерально и неинтересно. Чувствовалась какая-то вялость, что-то не глубоко прочувствованное во всех этих порицаниях. Все точно говорили потому, что нельзя же на журфиксе молчать. И только когда разговор принимал характер сплетни, лица оживлялись, речь становилась живей, внимание напряженнее.

Надежда Петровна отлично исполняла обязанности хозяйки. Она старалась всех втянуть в разговор, несколько раз обращалась с вопросами к Негожеву, но тот отвечал коротко и в разговоры не вмешивался, а более слушал. Худой господин тоже молчал и, видимо, скучал.

Разговоры замерли, когда общим вниманием овладел Алексей Алексеевич, начав рассказывать о предстоящем знаменитом процессе. Дело шло о подлож-

ном духовном завещании в три миллиона рублей, в составлении которого обвинялось лицо, принадлежавшее к высшему кругу.

Он мастерски рассказал пикантные и романические подробности этого дела, еще неизвестные из газет, и порадовался, что процесс наконец будет.

– Дело это чуть было не замяли!.. – прибавил он, рассказав, как случилось, что его не замяли.

По этому поводу Присухин высказал несколько общих соображений. Он говорил с обычным мастерством и, разумеется, достаточно либерально. Общие соображения дали ему случай пожурчать несколько минут, очаровывая слушателей. Хотя все то, что он говорил, не поражало ни глубиной мысли, ни новизной, но талантливость изложения и блестящая форма его речи заставляли слушать Присухина. Все молчали. Только нескромный литератор, улучив минуту паузы, хотел было высказать, в свою очередь, несколько еще более либеральных взглядов, но это ему не удалось, так как Алексей Алексеевич, не любивший, чтобы его прерывали, очень ловко перебил литератора и продолжал говорить, пока не дошел до настоятельной необходимости реформ, после чего скромно опустил масленые глазки в пустой стакан.

Надежда Петровна воспользовалась наступившим затишьем и пригласила гостей в другие комнаты. Все

поднялись с мест и перешли в гостиную и кабинет Надежды Петровны – изящное гнездышко, освещенное мягким светом голубого фонаря. Все разбились по группам; около Присухина образовался кружок; он рассказывал какой-то анекдот при общем хохоте: рыженький господин хохотал более всех. Нескромный литератор нашел жертву в полной барыне и оживленно ей объяснял, как трудно высказаться.

Николай заметил, что Негожев уже скрылся, а худой господин, его сосед за столом, отыскивал шляпу.

– Куда, куда? Еще так рано! – остановила его хозяйка.

– Голова болит, Надежда Петровна.

– И, полноте!.. Вы нам что-нибудь сыграете из вашей новой оперы? Говорят, прелестная вещь.

И она решительно взяла от него шляпу.

Худой господин остался, но за рояль не сел, а забился в угол и стал перелистывать альбом.

– Не правда ли, сегодня Алексей Алексеевич в ударе? – обратилась Надежда Петровна к Николаю.

– Да, он недурно говорит.

– Недурно, – что вы! Дайте-ка нам парламент!

Но так как молодой человек не мог никак дать парламента, то Надежда Петровна уже оставила его и подсела к Любарскому, заметив, что он один.

Николай начинал скучать между незнакомыми

людьми. Он прошел в кабинет Надежды Петровны; там сидели дамы и неизменно ораторствовал Горлицын, и только что приехавший из театра молодой господин рассказывал о том, как мила была сегодня Паска [57].

Евгения Сергеевна усадила Николая возле себя.

– Долго же вы собирались к нам, Николай Иванович! – любезно упрекнула его Евгения.

– Все некогда было, Евгения Сергеевна.

– Много работаете? Пишете что-нибудь?

– Пока больше бездельничаю! – засмеялся Николай.

– Это нехорошо!

– Пожалуй, что даже дурно.

– Способные люди теперь должны работать! – внушительно заметила Евгения.

– Так я желал бы быть неспособным, – пошутил Николай. – А вы что поделываете хорошего?

– Немного хорошего.

– Однако?

– Хожу на курсы. Штудирую Лессинга [58].

– Лессинга?

---

[57] Паска (1835-1914) – французская актриса. С 1870 по 1876 год играла на сцене Михайловского театра в Петербурге.

[58] Лессинг, Готхольд Эфраим (1729-1781) – прогрессивный немецкий писатель, критик, активный деятель Просвещения.

– У нас целый кружок составился. Собираемся раз в неделю. Составляем рефераты…

– И велик ваш кружок?

– Человек двадцать. Алексей Алексеевич – инициатор… Не хотите ли к нам? Очень интересно.

– Не сомневаюсь, но только…

– Не хотите? – засмеялась Евгения.

– Нет.

«Бедняжка! – подумал Николай. – Изучала Спенсера, изучала химию, теперь штудирует Лессинга, а все-таки не выходит замуж! А ведь очень недурна, особенно сегодня!»

– А как поживает за границей Нина Сергеевна?

– Она здесь.

– Как здесь? – воскликнул Николай.

– Так, в Петербурге. Неделю тому назад вернулась, совсем неожиданно. Никто и не думал. Она уехала на год, а пробыла всего пять месяцев.

– Вот как!

– Она, верно, скоро будет в опере сегодня.

Николай очень обрадовался этой новости. Эта загадочная женщина положительно раздражала его любопытство с тех пор, как он нечаянно узнал ее интимную историю. Он был почти уверен, что ее отъезд за границу имел связь с отъездом Прокофьева из деревни.

Он нарочно заговорил о деревенской жизни летом и, между прочим, вскользь спросил у Евгении Сергеевны, не слышала ли она чего-нибудь о Прокофьеве.

– Об управляющем? Нет. Ведь он уехал в начале сентября на три дня в Петербург по делам и не вернулся. Он опасно заболел и известил, что должен отказаться от места. Вы его не встречали после приезда?

– Нет.

– Странный господин. Очень загадочный!

– Чем же?

– Он нас всех заинтриговал после того, как у нас разыскивали какого-то Мирзоева, бежавшего из Сибири. Слышали?

– Как же, слышал.

– Поиски были дня через три после отъезда Прокофьева. Приметы очень похожи. Мама тогда перетрусила. Она ждала, что Прокофьев вернется, как вдруг она получает письмо от Прокофьева, в котором он извещает о болезни и отказывается от места. Мама еще более перепугалась и не знала, как быть ей с письмом. Алексей Алексеевич советовал послать его к губернатору для собственного спокойствия.

– И послали?

– То-то нет. Нина убедила не делать этого и удивительно хохотала над этими страхами. По ее мне-

нию, Прокофьев не скрывался бы так открыто. Письмо сожгли. Нина сама сожгла, чтобы успокоить маму. Во всяком случае, странное совпадение. Нина всегда наперекор всем думает, а по-моему, ничего не было невозможного, если б и в самом деле Прокофьев скрывался.

В это время подошла Любарская. Евгения заговорила с ней, и Николай незаметно пробрался в гостиную. Там шел оживленный спор между Любарским и Присухиным о каком-то юридическом вопросе. Около них группировались другие гости. Худощавого господина не было. «Таки улизнул!» – решил Николай, усаживаясь в сторонке на маленьком диване за трельяжем.

Он решил дождаться Нины. Он взглянул на часы – было половина двенадцатого; верно, скоро приедет. Все только что им слышанное убеждало его, что никто в семье и не догадывается об ее отношениях к Прокофьеву. Загадочная эта женщина умела хорошо прятать концы.

Но каким образом могли сойтись эти натуры? Что между ними общего? Как могла эта барыня полюбить такого человека, как Прокофьев? И любит ли она его? Не заинтересовал ли он ее только?

Занятый этими мыслями, Николай и не заметил, как приблизился рыженький господин и присел около.

– Мы, кажется, встречались? – проговорил г.Пастухов тоненьким голосом.

– Да, – ответил Николай. – В редакции «Общественного блага» [59].

– Именно. Вы там по-прежнему?

– Нет.

– Ушли?

– Ушел! – сухо ответил Николай.

– Я и не знал. Скотина там редактор… ну, и сотрудники… я вам скажу…

– Вы, кажется, тоже сотрудничаете? – резко заметил Николай.

– Да, печатаю критические, педагогические статьи… Может быть, читали? Буквой Ф. подписываюсь. Платят там… Мне до редакции нет дела… Черт с ними!

Пастухов помолчал и заметил:

– И скучища же здесь, я вам скажу!

– Кто ж мешает вам уехать?

– Да уж подожду до ужина. Ужин по крайней мере хороший! А за ужином будем опять слушать Иоанна Златоуста [60]… Он здесь – соловей. Вы знаете Прису-

---

[59] «Общественное благо». – Печатного органа с таким названием в России не было.

[60] Иоанн Златоуст (ок. 347-407) – видный деятель восточно-христианской церкви.

хина?

– Немного.

– Репутация большая, а в сущности он – скотина порядочная. Состояние имеет большое, а как платит помощникам… Стыд!

Пастухов стал перебирать гостей и про каждого сообщил какую-нибудь сплетню. Сплетничал он с каким-то захлебыванием, и сплетни у него имели характер необыкновенно пакостный. Глазки в это время искрились, и самого его передергивало.

– Слышите, как Браиловский распинается? Прислушайтесь-ка! А ведь все врет, все врет… Выгнали его из акциза, – он в акцизе служил и, говорят, того! – подмигнул глазом Пастухов, – а теперь либерал… читают его… есть дураки… А поэтесса млеет… мужчина-то он ражий!

– Какая поэтесса?

– Да возле вас сидела… Толстая барыня… Сижкова… Ни малейшего таланта, так печатают, на затычку, а она и в самом деле думает, что поэтесса… Бабе мужа хочется, – вот и стихи. Муж хоть и есть, но так только, по названию, так она почувствовала поэтические приливы…

«Фу, какой пакостный сплетник!» – подумал Николай.

– Жаль, вот наш Бетховен уехал, а то бы новую му-

зыку послушали.

– Какой Бетховен?

– Да Битюгов. Худой, с длинными волосами. Он ведь гений… Оперу сочинил. Я слышал отрывки… Черт знает что такое!..

Вязникову становилось противно. Мелкая, самолюбивая, завистливая душонка обнаруживалась совсем голо. Николай встречал немало сплетников, но такого озлобленного и подленького пришлось увидать в первый раз. Не было ни одного лица из множества более или менее известных лиц, упомянутых г.Пастуховым, о котором бы он не рассказал какой-нибудь невозможной гнусности и притом самого ужасного характера. Такой-то, которого все считают за порядочного человека, уморил жену, такой-то бьет кухарку, тот скуп, как Плюшкин, этот по уши в долгах и живет на счет купчихи, тот выдал чужое исследование за свое. Этот рыжеватенький молодой человек, казалось, был пропитан насквозь завистью и не мог равнодушно слушать, когда кого-нибудь хвалили. Он тотчас же как-то ежился, хихикал и дарил какой-нибудь пакостью. А между тем Николай видел, с каким заискиванием он относился к тому самому редактору, которого он обозвал скотиной, как лакейски льстил Присухину, как лебезил перед Любарским. При этом Пастухов, когда сплетничал, как будто сожалел, что такой-де известный чело-

век и вдруг подлец.

– К чему вы рассказываете мне все эти сплетни? – спросил наконец Николай, выведенный из терпения.

Пастухов быстро заморгал глазами и захихикал.

– К чему? Да ведь интереснее же сплетничать, чем слушать все эти возвышенные разговоры. Признайтесь, интереснее? Вон там они требуют реформ, но ведь ни один из них на это рубля своего не даст, ей-богу не даст!

– А вы-то сами?

– Я?.. С удовольствием дал бы, чтобы посмотреть, как все эти господа перегрызутся. Ей-богу, дал бы! – весело хихикал Пастухов. – Спектакль был бы интересный.

Однако Пастухов смолк и взглянул на часы.

– Здесь в два часа ужинают! – промолвил он.

Николай не отвечал. Он поднялся с дивана и пошел в кабинет. В передней звякнул звонок.

– Она! – произнес Николай, останавливаясь на пороге.

В гостиную торопливо вошла Нина, неся за собой тонкие струйки душистого аромата. При ее появлении в гостиной смолкли разговоры – все невольно любовались красавицей. Она действительно бы-

ла необыкновенно красива и изящна в нарядном туалете. Черное бархатное платье, плотно облегавшее мягкие формы роскошного бюста, ниспадало тяжелыми складками вдоль стройной, гибкой, высокой фигуры, оканчиваясь длинным шлейфом. Черный бархат еще рельефней оттенял ослепительную белизну лица, шеи и груди, полуприкрытой прозрачными белыми кружевами, окаймлявшими вырез платья. Золотисто-рыжие волосы, собранные в роскошные косы, спереди были гладко зачесаны назад; высокие белые перчатки обливали изящные очертания маленьких рук с сверкавшими на них браслетами. В маленьких розовых ушах горело по брильянту.

Что-то ослепительное и раздражающее было в нежных, тонких чертах, в блестящих глазах, во всей роскошной фигуре этой красивой женщины, и Нина показалась сегодня Николаю прелестнее, чем когда-либо. Он вместе с другими невольно любовался ею и не спускал с нее глаз.

Нина поцеловалась с матерью, приветливо пожала руки гостям и, сказав несколько слов, как прошла опера, направилась в кабинет.

– Николай Иванович! Вот не ожидала вас встретить! – воскликнула Нина, останавливаясь, несколько удивленная, перед Николаем и дружески протягивая ему обе руки. – Мне сестры говорили, что вы были

раз с визитом и с тех пор в воду канули. Какой счастливый ветер занес вас сюда? Очень рада вас видеть, очень рада! – повторила она задушевным тоном, ласково глядя на Николая. – Как вы живете? Счастливо? Впрочем, нечего и спрашивать! Разумеется, счастливо. Разве в ваши годы люди бывают несчастливы. Одних надежд сколько впереди! Мы с вами, надеюсь, еще поговорим сегодня, поболтаем, как, бывало, болтали в деревне. Хорошо там было!

Николаю показалось, что при этих словах, словно тень, пробежала грустная улыбка по ее губам и легкий вздох вырвался из груди.

– А теперь пойду к гостям! – прибавила она, указывая веером на кабинет. – Вероятно, Горлицын, по-старому, просвещает?

– Да.

– Все как было, ничего не изменилось!.. И как это им не наскучит!.. – улыбнулась она, отходя от Николая. – А впрочем, может быть, оно и лучше! – прибавила она, полуоборачиваясь на ходу.

Через несколько минут Нина сидела с Николаем на одном из маленьких диванов, за столом, на котором стоял маленький поднос с чашкой чая и печеньем.

– Ну, рассказывайте теперь о себе, – говорила она, стягивая перчатки и принимаясь за чай.

– Ничего о себе интересного рассказать не могу,

Нина Сергеевна. Немного работаю, а больше бездельничаю.

– По крайней мере не скучаете?

– Этим не грешен.

– И слава богу. Вы ведь, кажется, адвокат?..

– Да, но пока больше по названию.

– Что так? Еще не сделались известностью?..

– Нет, не сделался!

– Сделаетесь! – засмеялась Нина. – Вы ведь пишете тоже?

– Пока более для насущного хлеба, чем для славы!

– А славы вам хочется, очень хочется? – проронила Нина, пристально взглядывая на Николая.

– Не всем она дается!

– Но это не мешает гоняться за ней! Ужасно вы все самолюбивы, как посмотрю. Всех вас гложет какой-нибудь червь и не дает вам покою. Не умеете вы жить. Не умеете пользоваться счастьем!.. – проговорила Нина задумчиво.

– Кто это – все?

– Все вообще несколько неглупые люди!..

– А вы умеете?

– Я?.. Об этом когда-нибудь поговорим. Рассказывайте пока, что вы делаете, с кем знакомы, где часто бываете?

– Да что говорить? У вас вот есть что рассказывать,

а мне, право, нечего… Хорошо ли вы съездили за границу? Вы, кажется, не рассчитывали скоро вернуться?

– Мало ли на что рассчитываешь!

– Где были?..

– В Париже больше.

– И надолго сюда?..

– А не знаю, как поживется…

Нина Сергеевна неохотно говорила о себе и старалась замять разговор, как только Николай начинал говорить об ее заграничном путешествии.

«Непременно что-нибудь случилось с ней!» – подумал он, взглядывая на молодую женщину. Ему показалось, что она в лице похудела и стала как-то серьезней. Глаза ее не смеялись, как бывало прежде. Напротив, взгляд ее стал мягче, ласковей, грустней.

Она кончила чай и проговорила, вставая:

– Теперь пойдемте слушать Присухина. Кстати, как вам понравились наши четверги? Весело?

– Не очень.

– То-то! А ведь сколько четвергов еще впереди! И опять одно и то же, одно и то же!

Тон ее голоса звучал таким отчаянием, что Николай спросил:

– Да что с вами, Нина Сергеевна? Вы совсем стали другой с тех пор, как я вас не видал.

– Так, хандра. Музыка, вероятно, навела хандру. Музыка на меня действует. Сегодня «Гугеноты» [61] отлично шли. Это пройдет! – улыбнулась Нина. – Все на свете проходит.

– Будто?

– У таких людей, как мы с нами, или, если вы не согласны, так у такой женщины, как я. Кстати, что поделывает ваш брат? Здоров ли он?

«Почему она о нем спрашивает?» – удивился Николай.

– Ничего, здоров, учится. Вы разве знаете Васю?

– Раз видела и случайно много слышала о нем. Говорят, оригинальный, славный юноша. Приведите-ка его ко мне.

– Что за фантазия? – рассмеялся Николай.

– Что вас удивляет? Или он не пойдет?

– Он дикарь. Попробую.

– Смотрите же, приведите. Быть может, он не будет судить по наружности, как все. Да и вы не забывайте меня, Николай Иванович.

Она сказала свой адрес и прибавила:

– По утрам я всегда дома. Придете?

– Непременно.

---

[61] «Гугеноты» (1835) – опера Джакомо Мейербера (1791-1864), либретто которой написано по повести П.Мериме «Хроника времен Карла IX».

– Смотрите же… Я вас жду на днях же. И брата приводите как-нибудь… Да… я и забыла вас спросить: правда, что свадьба вашей знакомой деревенской барышни расстроилась?

– Да!.. Она отказала Лаврентьеву. Вы слышали о нем?

– Как же, и как-то видела в деревне… Что за причина?.. Говорят, это случилось так неожиданно.

– Не пара она Лаврентьеву.

– Она, говорят, здесь теперь… учится?

– Да.

– А вы часто видитесь?

– Мы с Леночкой большие приятели!.. – проговорил, краснея, Николай.

– Уж не вы ли, чего доброго, виновник этой истории? – серьезно заметила Нина.

– Я?.. Что вы!.. – ответил Николай, краснея еще больше.

– Она, говорят, отличная девушка, эта ваша Леночка!.. И хорошенькая… В ней что-то свежее, непочатое есть…

– Откуда вы все это знаете?

– Слухом земля полнится… Ну, смотрите же, на днях я жду вас, тогда поговорим свободнее… И то мама уж на меня смотрит, что я забыла гостей. Надеюсь, мы будем настоящими приятелями?.. Вы меня,

быть может, и с Леночкой познакомите, если она удостоит… Уговорите ее…

Нина присела к гостям и принялась весело болтать, рассказывая об опере, об исполнении, о знакомых, которых она встретила в театре, о туалетах и пр. Около нее тотчас же образовался кружок мужчин. Присухин то и дело заговаривал с ней, но она ему отвечала с нескрываемой сухостью и презрением.

Николай не дождался ужина и, несмотря на просьбы Надежды Петровны, уехал, получив приглашение не забывать по четвергам.

Разговор Нины Сергеевны сильно заинтересовал Вязникова.

«С чего это она вздумала познакомиться с Леночкой и братом?»

III

Было около двух часов ночи, когда Николай вышел на подъезд, сопровождаемый швейцаром, получившим подачку. У подъезда стояли три-четыре кареты с дремавшими на козлах кучерами и несколько извозчичьих саней, около которых сбились в кучу извозчики, собравшиеся на огонек за выручкой. Погода была мерзкая. Сильный мороз захватывал дух; резкий ледяной ветер неистово крутил в воздухе снег, падавший сухими, мелкими крупинками, и прохватывал со всех сторон, заставляя «ночников» усердно оттирать щеки.

Только что стукнули двери подъезда, как толпа извозчиков со всех ног шарахнулась на панель. Обмотанные башлыками головы, завязанные платками щеки, обледенелые бороды, залепленные снегом лица окружили Николая, предлагая «прокатить его сиятельство на доброй». Чей-то веселый голос произнес: «Авек муа, мусью!», что вызвало общий взрыв хохота. «Мне по пути!», «Я два часа дожидаю!» – раздавались вперебой голоса.

Николай на мгновение был в нерешимости, – куда ехать? Он рассчитывал поужинать у Палкина, но погода испугала его. Он пробрался через толпу, сел в

ближайшие сани и, не торгуясь, велел ехать в Кирочную, домой.

– Только, пожалуйста, поскорей, – добавил он, подымая воротник мехового пальто.

– Будьте покойны. Мигом доставлю! – проговорил около него старческий голос, и зимник торопливо стал застегивать жиденькую полость, в то время как другие извозчики, толпясь около саней, весело изощряли свое остроумие и над санями, и над лошадью, и над самим возницей, нашедшим тороватого, по-видимому, седока.

– Кого выбрали, господин! Самого что ни на есть желтоглазого!

– У него не лошадь, а крыса!

– На углу издохнет!

– Сани-то, сани! Гляди, старина, развалятся сейчас!

– Эх, не срамитесь, ваше сиятельство! Я бы вас лихо прокатил!

Старикашка, над которым издевались извозчики, ни единым словом не отвечал на насмешки, точно не над ним смеялись. Он торопливо уселся на облучок и стегнул кнутом свою маленькую лошаденку. Перевязанные веревками санки, дребезжа и громыхая, заскрипели по пустынной улице.

Извозчик то и дело подхлестывал кнутом, чмокал

губами, дергал обледенелые веревочные вожжи, поощрял лошаденку ласковыми словами, привставал с места, но, несмотря ни на что, лошадь плелась мелкой рысцой.

– Оставь, все равно! – проговорил Николай, высовывая лицо из воротника.

– Деревенская! – как бы в оправдание проговорил старик, оборачиваясь. – Тоже кормиться надо!

Николай снова уткнул лицо в воротник, поглядывая одним глазом из-за пушистого меха на вздрагивавшую спину, заметенную снегом… Он погрузился в размышления о проведенном вечере и решил, что ездить на журфиксы к Смирновой не стоит: скука там отчаянная и ничего интересного нет. Если бы не Нина Сергеевна, он, разумеется, не остался бы так долго.

Николай перебирал все лица, припоминал разговоры и отнесся ко всему не только с насмешкой, но даже с некоторым озлоблением. Особенно досталось Алексею Алексеевичу Присухину. Его беседы он находил банальными, манеру держать себя неприличной, самодовольный апломб его, сквозивший под напускной скромностью, отвратительным.

«А все им восхищаются! Все ему верят! Он был десертом журфикса. Каждое его слово ловят, как манну небесную! Остроты его разносятся по городу! Как же! Известный адвокат и публицист. Авторитетное имя!»

«Хорош тоже и этот нескромный литератор, с подозрительным пафосом толковавший о своих статьях. А сплетник журфикса, эта завистливая, мелкая душонка? А молодой ученый, поясняющий Шекспира глупым барышням, изнывающим от желания выйти замуж? Недурна, в своем роде, и эта хорошенькая барынька, щебетавшая с апломбом о базаре и о пяти беспризорных малютках. А сама Смирнова, эта ловкая баба, чего стоит? И ведь воображает, что ее гостиная – святилище в некотором роде; попасть в нее – особенная честь!»

Николай, как видно, был в озлобленном настроении и, по обыкновению, впадал в преувеличения. Все казалось ему у Смирновых смешным; ему не нравился тон гостиной; ни в ком не заметил он задушевности убеждения, огонька… Хотя разговоры и отличались либерализмом, хотя все и казались недовольными гражданами, но в этом недовольстве его чуткое ухо слышало фразу, а подчас и фальшивую ноту…

«А ведь как распинались!» – подумал Николай с каким-то ожесточением.

Он вдруг вспомнил, как за чайным столом его подмывало придраться к Алексею Алексеевичу и оборвать эту «либеральную шельму», готовую за изрядный куш подать иск на самого господа бога (Николай доподлинно знал подноготную г.Присухина). Кровь

прилила к сердцу, весь он вскипел от негодования – и между тем не осмелился заговорить. И не осмелился не потому, что боялся вступить с Присухиным в спор (о нет, он многое мог бы сказать, и хорошо сказать!), а из другого малодушного побуждения. Он уверен был, что Присухин и, пожалуй, все, наверное даже все, отнесутся к его словам с снисходительным пренебрежением. Он боялся сделаться смешным в глазах этой публики!.. В самом деле, как можно не соглашаться с Алексеем Алексеевичем? И кто это осмеливается? – Какой-то Вязников! – Кто такой этот Вязников? – Неизвестный молодой человек, помощник присяжного поверенного.

«И ведь струсил, опять струсил!» – повторял со злостью Николай, чувствуя, что он и в самом деле струсил, испугавшись (и еще как!) мнения тех самых «либералов», к которым вот теперь наедине относился с высокомерным пренебрежением. «Я, мол, не то, что вы!»

Сознание подловатого чувства еще более озлобило Николая, и он с какой-то настойчивостью останавливался на этих мыслях. Он и уехал-то раньше, ужинать не остался, хотя он и очень не прочь был хорошо поесть («А эти либералы едят отлично!»), по той же причине. И наш молодой человек даже выругался вслух, так что извозчик, принявший брань на свой

счет, снова стал стегать лошаденку.

Надо, однако, упомянуть, что недовольство Вязникова журфиксом Смирновой, вызванное вполне искренним негодованием молодого чуткого чувства, усиливалось, кроме того, еще несколько уязвленным самолюбием молодого человека (хотя он и не признался бы в этом), на которого у Смирновых не обратили почти никакого внимания. Снисходительное: «Как же, помню!», которым при встрече приветствовал Присухин Вязникова, пожалуй, было не последним аргументом и при оценке «либеральной шельмы», сделанной под свежим впечатлением.

А Николай с ранних лет обращал на себя внимание, привык слушать похвалы и не лишен был слабости считать их вполне заслуженной данью. Избалованный с детства таким отношением, он убежден был в своей талантливости (о ней так часто ему говорили!) и в тайнике души считал себя существом, несколько отличным от других, существом, о котором рано или поздно заговорят. Совершая подвиги еще в детских мечтах, он наслаждался удивлением, возбужденным его доблестными поступками; его занимали в мечтах не столько самые подвиги, сколько очарование героем, совершившим их. Еще ребенком он, бывало, подолгу разгуливал по саду, возбужденный, с блестящими глазами, счастливый, окруженный орео-

лом славы, сочиненной детской фантазией. Он редко представлял себе препятствия, а если и представлял, то преодолевал их с необычайной легкостью, и маленький герой в конце концов всегда торжествовал, оказывая великодушие врагам и широкой рукой рассыпая вокруг благодеяния… Эта склонность к праздным мечтам, в которых главную роль играл всегда герой, доставляла ребенку наслаждение, отучая его в то же время от упорного труда в занятиях, тем более что блестящие его способности легко преодолевали то, что другим давалось с трудом. Николай, как читатель знает, был общим любимцем в Витине. Отец радовался, глядя на своего любимца, и не замечал, как в мальчике развивались самомнение и наклонность к блеску. Позже, в гимназии, Николай выдавался среди товарищей, а студентом играл даже некоторую роль в одном кружке. Его слушали, им восхищались, его любили за добрый, приветливый нрав, за искренность юности и необыкновенную привлекательность в обхождении; приятели предрекали ему блестящую будущность, а профессора заметили блестящие его способности и упрекали юношу за лень и недостаток усидчивости. Даровитый, талантливый юноша, занимался превосходно; ему все как-то давалось легко, он быстро усвоивал чужие мысли, много читал, но никогда не работал упорно, слишком надеясь на свои

способности. Он кое-что знал, хотя знал поверхностно, но при необыкновенной памяти он умел отлично пользоваться своими знаниями. Его выручала способность быстро схватывать сущность вопроса, не обращая внимания на подробности, и некоторая диалектика. Немудрено, что в кружке он был маленьким божком.

За год перед окончанием курса Николай чуть было не угодил в Вологодскую губернию за одну из тех так называемых «историй», которые губят столько молодых сил. Вся «история» заключалась в том, что у Николая нашли несколько брошюр и книг преступного содержания, и нашего юношу арестовали в числе десятка молодых людей, соприкосновенных к этой истории. Быть бы бычку на веревочке, но и тут нашего баловня выручила его необыкновенная привлекательность, которая, помимо его желания, обворожила даже начальство.

Обходительный джентльмен, занявшийся с молодым студентом с истинно отеческой мягкостью и несколько раз повторивший в виде поощрения, что и сам он в молодости увлекался, предложил Николаю побеседовать по душе, как с старшим другом, и объяснить, от кого он получил книги и брошюры. Однако Николай обнаружил столько скептицизма, что дружбы, столь откровенно предложенной ему, не принял и

ни единым словом не обмолвился.

При всем том, несмотря на такое упорство, юноша все-таки произвел на «старшего друга» такое благоприятное впечатление и своей симпатичной наружностью, и манерами, и костюмом, что когда ректор университета приехал хлопотать за Николая, то счастливый юноша был избавлен от необходимости предпринять отдаленное путешествие и мог окончить курс.

Он отлично выдержал экзамен и оставил университет, полный веры и надежд, мечтая о будущих успехах.

Первый успех не заставил себя долго ждать. Месяца за два до экзаменов он окончил большую статью публицистического характера, полную горячего чувства, юношеского задора и написанную весьма недурно. Приятеля находили, что статья превосходная. Николай отправил ее в редакцию журнала, который он особенно уважал, и с трепетом ожидал приговора. Прошел мучительный месяц, и он отправился в редакцию.

Когда он вошел в приемную комнату и увидал в ней несколько человек, весело беседовавших между собою, то немного смутился. «Неужели так-таки при всех и объявят, что статья не годится?» – пронеслось у него в голове. Он вопросительно поглядывал на разговаривающих, но никто не обратил на него внима-

ния. Так прошло несколько томительных минут. Наконец из соседней комнаты вышел пожилой господин в очках и, заметив Николая, направился к нему. Это был один из редакторов журнала, известный писатель Платонов, которого Николай тотчас же узнал по портрету.

– Что вам угодно? – произнес Платонов сухим, деловым тоном, взглядывая на молодого человека из-под очков своим умным, проницательным взглядом.

– В редакцию доставлена статья Вязникова… – тихо проговорил Николай.

– Вы – автор? – проговорил Платонов уже более любезным тоном.

– Я.

– Очень приятно познакомиться! – продолжал редактор, протягивая руку. – Присядьте, пожалуйста. Статья ваша принята и уже набирается. Она пойдет в этой же книжке. Очень недурная статья и хорошо написана… с огоньком. Вы прежде писали?

– Нет. Это мой первый труд! – проговорил Николай, вспыхивая.

Платонов проговорил с молодым человеком несколько минут относительно статьи, заметил, что статья выиграла бы еще более, если бы фактов было побольше, и сказал, что редакция будет рада его сотрудничеству, если молодой человек будет давать

такие статьи, как первая.

– Если хотите прочесть корректуру – вам пришлют… вы оставьте свой адрес в конторе…

Николай ушел из редакции, очарованный Платоновым и счастливый своим первым успехом.

О, с каким восторгом молодой автор увидал в первый раз имя свое в печати и перечитывал свое произведение! В печати оно казалось ему несравненно лучше, чем в рукописи. Он так часто его перечитывал, что выучил наизусть, и рассказывал товарищам о том, как обласкал его Платонов и какое он производит хорошее впечатление.

Прошла неделя – и для нашего молодого человека наступили новые мучения. Он ждал, обратят ли внимание на его статью, скажут ли о ней в газетах и что именно скажут. С замиранием сердца заглядывал он в газеты и, наконец, увидал свое имя и рядом с ним эпитет «талантливый». Он с жадностью перечитывал рецензию. Статья обратила на себя внимание. Молодого автора похвалили в нескольких газетах.

Этот первый успех вскружил голову нашему автору. Вернувшись из деревни в Петербург, он рассчитывал, что перед ним открывается дорога, что ему остается только пожинать лавры. Он записался помощником к известному адвокату Пряжнецову, рассчитывая заниматься только уголовными делами и в то же вре-

мя не оставлять литературной деятельности, начатой так успешно.

Но прошло пять месяцев, а наш молодой человек еще ничем не заявил себя. Вместо свежих лавров действительность принесла ему заботы о куске хлеба. Он не произнес еще ни одной речи, так как не имел ни одного клиента; никто к нему не обращался. Надо было выжидать случая, а пока произносить блестящие речи у себя в комнате. Вторая статья его, написанная в деревне, хотя и была напечатана, но Платонов заметил, что эта статья вышла неудачнее первой и написана слишком торопливо, причем дружески намекнул, что надо побольше работать. Об этой статье нигде не сказали ни слова, прошли равнодушным молчанием. А Николай так надеялся на эту статью!.. Николай было сделался сотрудником одной большой газеты, написал несколько бойких передовых статей, но через месяц вышел из редакции, не сойдясь во взглядах с редактором… Деньги, полученные от отца и за статью, давно были израсходованы самым легкомысленным образом. Вместо успехов приходилось думать о завтрашнем дне, заботиться о грошах, хлопотать о работе. Проза жизни со всеми ее будничными мелочами действовала подавляющим образом на Николая. Он сделался раздражителен, придирчив. Первые неудачи уязвляли его самолюбивую натуру.

Его грыз червяк, хотя он и тщательно скрывал это. Известность была еще в тумане. Никто его не знал. Одна только Леночка смело верила в его звезду и поддерживала Николая, когда он по временам хандрил. Впечатлительный, он скоро переходил от уныния к надежде, принимался работать запоем и снова мечтал об успехах и известности.

IV

– Сюда, ко второму подъезду! Стой! – крикнул Николай, предвкушая удовольствие теплой комнаты.

Сани остановились у громадного дома в конце Кирочной. Николай рассчитался с извозчиком и торопливо дернул звонок у подъезда.

– Господ много еще там, барин? – осведомился старик извозчик, потопывая ногами.

– Много еще.

Извозчик, поблагодарив барина, сел в сани и хлестнул свою клячу.

Николай поднялся в третий этаж. Прошло добрых пять минут, пока Николай услыхал за дверями шлепанье туфель, ворчание и наконец недовольный голос:

– Кто тут?

– Это я, Степанида… я… Отворяйте скорей.

Заспанная, растрепанная кухарка, позевывая и ворча, пропустила Николая в прихожую.

– Никого не было? – осведомился Николай.

– Братец ваш были. Да письмо еще есть. На столе у вас… Когда будить-то?

– Пораньше… часов в десять.

– Так и встали! – усмехнулась Степанида, отдавая Николаю свечу? – Поди теперь третий час?

– Третий! Смотрите же, непременно разбудите. Мне заниматься надо!

– За мной дело не станет! Вы только вставайте!

Вязников вошел к себе в комнату и зажег свечи. Это была обширная и очень хорошо обставленная комната, служившая кабинетом и приемной; другая, маленькая комната рядом, была спальней. Эти две комнаты Николай нанимал от квартирных хозяев и на меблировку и отделку их затратил большую часть денег, полученных от отца. «Надо же жить по-человечески!» – говорил он Васе, когда Вася спрашивал: «К чему такие хоромы?» Кроме того, его привлекало жить в тишине. Жизнь в меблированных комнатах ему опротивела еще во времена студенчества, а здесь он был единственным жильцом, да и хозяева оказались тихими людьми.

Мягкая, красивая мебель, обитая полосатым репсом и доставшаяся, как уверял приказчик мебельной лавки в Александровском рынке, «по необыкновенному случаю», красивый библиотечный шкаф и полки с книгами, несколько бюстов по углам, недурные литографии равных знаменитостей по стенам, большой письменный стол с изящными письменными принадлежностями, – таково было убранство комнаты Николая, имевшей внушительный вид кабинета литератора или ученого.

Николай нашел на бумагах письмо, быстро разорвал его и стал читать. Вот что прочел он на маленьком листке почтовой бумаги:

«Я жду тебя, друг мой, целую неделю… Я писала тебе… Я была у тебя… Что с тобой? Отчего ты не был или хоть не написал двух слов?.. Меня беспокоит твое молчание… Что это значит? Или все кончено?.. Но разве ты не сказал бы мне прямо? Разве ты, милый мой, не уважаешь меня настолько, что не решаешься сказать?!. Ведь ты знаешь, мы обещали друг другу говорить правду… Я все выслушаю и, конечно, не мне упрекать тебя… Прости… Я так расстроена… нет… не расстроена… не то… просто измучилась, не зная, чем объяснить твое молчание… Приходи же, ради бога… Приходи, ненаглядный мой… Приходи…»

Эти несколько строчек кольнули Николая. В самом деле, он не отвечал на два ее письма, все собирался к ней и не был целую неделю. В отрывочном, нервном тоне записки, в неровном, торопливом почерке он прочел большую тревогу любящего существа и почувствовал себя глубоко виноватым перед Леночкой.

– Или все кончено?! – прошептал он несколько раз слова записки.

Ему вдруг стало невыразимо жаль Леночку. Но что ж такое случилось? С чего она взяла, что все кончено?! Он ее любит, эту славную, милую Леночку…

Он в последнее время реже бывал, это правда… Он иногда был раздражителен, несправедлив к ней, даже резок… но мало ли что бывает между близкими людьми?! О, она ему дорога… Она так доверчиво вверилась ему!.. Разве она не будет его женой, только бы ему устроиться?!

Так оправдывался он, но что-то шептало внутри, что он, во всяком случае, поступает с ней нехорошо, совсем нехорошо, я вовсе не потому, что не был у нее неделю, совсем не потому…

Он никогда прежде не анализировал своих отношений к Леночке. Он как-то отдался волне страсти, охватившей его, и не думал, куда волна унесет его.

Со стороны Николая было увлечение (он прежде увлекался часто), но со стороны Леночки было такое сильное, глубокое чувство, которое не могло не отразиться на Николае. Оно его тронуло и умилило. Он с какой-то боязливой осторожностью сдерживал порывы страсти, но порывистая натура Николая разве могла сдержать себя? Все случилось как-то внезапно… Петербургская жизнь их сближала более и более; Николай каждый день почти бывал у Леночки, реже говорил об идеалах. Но зато чаще вздрагивал, обнимая девушку и нашептывая ей страстные речи.

Леночка отдалась Николаю беззаветно, не думая о будущем, не требуя уверений.

Николай давно говорил о свадьбе. Они повенчаются, как только он устроится. Леночка слушала, счастливая, доверчивая, и просила его не беспокоиться об этом.

– Разве не все равно? Разве мы менее счастливы? – спрашивала она, заглядывая в глаза Николая.

Они переживали медовый месяц любви, тщательно скрывая от других свое счастье. «К чему другим знать? Все равно узнают, когда мы женимся!» – говорил Николай.

– Конечно… к чему другим знать! – повторяла Леночка, но в то же время чувствовала по временам фальшивость своего положений. Ей казалось странным скрывать их отношения. Да если б Николай позволил, она всем сказала бы с гордостью, что любит, любит своего ненаглядного!

Медовый месяц прошел. Прошел у Николая и бурный порыв молодой, вдруг налетевшей страсти. Он стал раздражителен, неровен, капризен. Убежденный в безграничной преданности Леночки, он подчас придирался к ней, срывая на любящем существе свои неудачи. Он, правда, нередко горячими словами любви старался загладить несправедливость, но скоро забывал о ней и снова становился небрежен… Леночка безропотно сносила все, объясняя и извиняя вспышки Николая понятным раздражением неоце-

ненного таланта… В последнее время он стал реже бывать, сделался особенно придирчив и наконец как будто совсем забыл Леночку…

Все это припомнилось теперь Николаю. Он почувствовал себя глубоко виноватым, сознавая, что причинил большое страдание существу, обожавшему его. Он поступил как эгоист. Что сказали бы ею старики?..

– Это гнусно! – воскликнул он и заходил в волнении по комнате. – И к чему долее медлить со свадьбой! К чему ставить Лену в ложное положение?!.

Он решил не медлить и жениться как можно скорей. Завтра же он напишет своим, и чем скорее свадьба, тем лучше!..

– Славная, дорогая Леночка! Я сделаю тебя счастливой! – произнес он, увлеченный порывом, и в этот миг ему казалось, что он любит Леночку больше, чем когда-либо. Он стал мечтать на эту тему, и счастливая Леночка представлялась ему в лучезарном сиянии его будущей славы.

Николай присел к столу и написал Леночке длинное, горячее послание. Он высказал в нем все, что передумал в эти минуты после прочтения ее записки, он просил прощения, говорил о любви, о будущем счастии, превозносил Леночку до небес и писал, что завтра будет у нее.

Письмо успокоило нашего молодого человека, и он

лег спать. Лежа в постели, он опять стал было мечтать, как они славно заживут с Леночкой, как он сделает ее счастливой, но вслед за тем совсем неожиданно в голове его мелькнула мысль, что было бы лучше, если б Леночка вышла за Лаврентьева и он не зашел бы так далеко… Не стеснит ли она его свободы? Будет ли она счастлива?.. Конечно, Леночка – превосходная женщина, он ее любит, но все же она не тот идеал, о котором он мечтал. Она слишком простая, обыкновенная, эта Леночка! Нет в ней захватывающего интереса, нет артистической жилки, нет обаяния исключительной, высшей натуры… Все в ней ясно и светло, как на дне прозрачного озера.

Он стал засыпать, когда перед ним вдруг явился блестящий образ Нины. Она была такая ослепительная, роскошная, красивая… Ее загадочный, манящий взгляд улыбался насмешливой улыбкой, и губы шептали: «И вы надеваете ярмо… Поздравляю! Не умеете вы пользоваться жизнью!»

– Чепуха! – проговорил сквозь сон Николай. – Леночка… я ее люблю… Она чудная, а эта Нина…

Он не докончил, повернулся на другой бок и заснул…

V

На следующий день, только что пробило десять часов, Степанида отворила двери спальни Николая и, остановившись на пороге, повторила несколько раз:

– Николай Иванович, вставайте! Одиннадцатый час! Вставайте! – громко произнесла она.

– Слышу, слышу! Что вы так кричите? – раздался голос Николая. – Встаю.

Старая кухарка, знавшая привычки барина, однако не ушла. Она постояла с минуту и, заглянув в спальню, промолвила:

– Уснул! Ишь соня! А сам просил, чтобы непременно… Полуночничает, вставать-то и неохота!

Она хотела было оставить Николая в покое, но, вспомнив, что Николай настойчиво просил разбудить, громко крикнула:

– Николай Иванович! Вставайте!

– Да что вы пристали? Дайте часок заснуть!

– Мне-то что! Спите себе с богом. Сами просили. Письмо вам…

– Так бы и сказали… Давайте-ка письмо да принесите газеты! – проговорил Николай, окончательно проснувшись.

Степанида подала письмо и газеты и спросила:

– Что в булочной-то брать?..

– Что-нибудь возьмите… Да кстати… возьмите у меня на столе письмо и отдайте посыльному, чтобы немедленно снес… Деньги в ящике… Знаете?

Николай прочел записку, и довольная улыбка появилась на его лице. Записка была от Платонова. Он просил молодого человека зайти к нему на квартиру около двенадцати часов – переговорить насчет статьи Николая и кстати позавтракать вместе.

«Верно, что-нибудь насчет цензурных смягчений! Платонов очень осторожен!» – подумал Николай, возлагавший большие надежды на статью, отданную им недели три тому назад в редакцию. По его мнению, эта статья особенно ему удалась. Он таки поработал над ней. Верно, она понравилась Платонову, и на нее непременно обратят внимание!

Веселый и довольный, он быстро оделся, прошел в кабинет и стал пробегать газеты, прихлебывая кофе… Через полчаса отворились двери, и на пороге появился Вася.

– Васюк! Здорово… Наконец-то! – обрадовался Николай, крепко пожимая холодную Васину руку. – Озяб? Напейся скорей кофе… Степанида, стакан дайте! – крикнул он в двери. – Ну, как поживаешь, Вася? Давно я тебя не видал…

– Я у тебя несколько раз был… все не заставал…

– По вечерам трудно меня застать, особенно в последнее время, – замотался как-то. Теперь опять примусь за работу… А ты как это не на лекциях сегодня? Ты такой аккуратный… Кстати: знаешь, кто с тобой хочет познакомиться?.. Угадай-ка!

– Да я почем знаю…

– Наверно, не угадаешь! – рассмеялся Николай. – Нина Сергеевна…

– Что ей от меня надо?.. Разве она приехала?

– Вчера ее видел, очень просила привести тебя. Пойдешь?

Вася подумал.

– Пожалуй, пойду. Отчего не пойти! – рассеянно отвечал Вася.

– Вот как! И не боишься?

– Чего ж бояться?

– Она такая красавица – эта Нина Сергеевна!

Вася покраснел до ушей и серьезно проговорил:

– Какое мне дело до этого?

– Ну, не сердись, Вася. Ты ведь известный женоненавистник. Я только пошутил. Я, признаться, думал, что ты не пойдешь. Она тебе не нравится.

– Да, не нравится, но я ее совсем не знаю. Бог ее знает; может, мне с первого разу так показалось.

Вася молча допил свой кофе и коротко отвечал на вопросы брата. Николаю показалось, что брат сего-

дня был какой-то странный и как будто смущенный. Он точно собирался что-то сказать, но не решался; то и дело взглядывал он на Николая и потирал руками колени, что служило, как знал Николай, признаком волнения Васи.

– Что с тобой, Вася? Не случилось ли чего? – спросил Николай.

Вася сконфузился и, помолчав с минуту, ответил:

– Со мной ничего не случилось. Чему со мной случиться? Я пришел к тебе поговорить об одном деле. Видишь ли, Елена Ивановна…

Он отвел взгляд и тихо прибавил:

– Она, Коля, все тебя ждет; очень беспокоится.

– Я сегодня зайду к ней. А что с Леночкой? Она больна?

– Елена Ивановна, – подчеркнул строго Вася, – по-видимому, очень расстроена нравственно… Послушай, Коля, – ты прости меня и не сердись. Я, знаешь сам, не люблю мешаться в чужие дела! – продолжал Вася, останавливая на брате серьезный и задумчивый взгляд. – Но бывают такие обстоятельства… И наконец ты мне близкий человек! – прибавил горячо Вася.

– В чем дело? Что тревожит тебя? Говори, говори, Вася. Я не рассержусь, уверяю тебя!

– Ты небрежно поступаешь, Коля, с Еленой Иванов-

ной! Ты разве не видишь сам, что она…

Вася остановился на мгновение и чуть слышно прошептал:

– Любит тебя. Очень любит!

– Кто тебе это сказал? Она сказала? – вспыхнул Николай.

– Никто не говорил. А она разве скажет? Да и зачем ей мне говорить? Я сам вижу. Я слышал, как она о тебе говорила вчера, как близко принимает к сердцу твои дела. Разве ты не видишь? О, она очень любит тебя и может, пожалуй, рассчитывать, что и ты ее так же любишь. Ты так с ней был близок и в Витине и здесь. Она, быть может, и за Григория Николаевича не пошла из-за того, что тебя любит. Ты прости, что я говорю об этом; было бы нечестно скрыть от тебя это. Шутить с человеком нельзя. Ведь ты не любишь Елену Ивановну? Так не вводи ее в заблуждение. Скажи ей. Перестань бывать у нее. Ты, верно, не заметил ее привязанности к тебе? Не заметил?

– Чудак ты, Вася! Большой, голубчик, чудак! Ведь вот как тебя взволновало! И голос дрожит, и смотришь каким-то страдальцем! Почему же ты полагаешь, что я не люблю Леночку? А быть может, ты ошибся и напрасно прочел наставление? Я, право, не сержусь, Вася, не думай, пожалуйста. Нисколько! Я ведь понимаю твои побуждения! – проговорил Николай, протя-

гивая брату руку. – Ты у нас не от мира сего!.. Так, по-твоему, не люблю, а? – улыбался Николай. – Так знай же, мой добрый Васюк, что Леночка – моя невеста, и скоро наша свадьба.

Трудно передать изумление, выразившееся на лице юноши при этих словах. Он привстал даже со стула, опять сел и смотрел на брата растерянным, недоумевающим взглядом, словно услышал нечто совсем невероятное.

– Ты женишься на Елене Ивановне? – наконец проговорил он, медленно произнося слова.

– Экий ты какой смешной! Чего ты так изумился? Ну, разумеется, на Елене Ивановне. Это тебя огорошило?

– Огорошило! – простодушно подтвердил Вася.

Николай рассмеялся и спросил:

– Почему ж это тебя так огорошило?

Вася все еще не мог прийти в себя. Ему показалось удивительным, что вдруг Коля женится, и женится на Леночке. И только, когда Николай повторил вопрос, он ответил:

– Видишь ли, это так для меня неожиданно. Я никак не думал, и ты ничего не говорил. А впрочем, зачем же говорить? Я тоже никому бы не сказал. От всех бы скрыл! Ты смотри, Коля, не сердись; мне очень больно, что я об этом заговорил с тобой. Вчера Елена Ива-

новна так была расстроена и вообще…

– Что вообще? – спросил Николай, когда Вася остановился.

– Вообще в последнее время она изменилась. Я это замечал. Это, значит, от каких-нибудь других причин… А я очень рад за тебя, Коля, что ты любишь Елену Ивановну. Она святая девушка! – восторженно произнес Вася. – Да что ж я-то тебе говорю! – вдруг сконфузился Вася. – А я ведь, Коля, подумал было… Ну, да теперь слава богу. Нечего и говорить!

– Нет, скажи, Вася, что ж ты думал обо мне? Скажи, не стесняйся!

– Если хочешь, я скажу, я не смею не сказать. Ты имеешь полное право спрашивать. Видишь ли, разные эдакие мысли насчет тебя… и мне было больно. Мне приходило на ум, что ты, может быть, говорил что-нибудь Леночке насчет Лаврентьева и вообще насчет ее замужества, вообще подействовал на нее и… как бы сказать?.. так, сам не замечая, произвел на нее впечатление, а потом и отошел, не подозревая, что случилось с ней… Ну, да все это вздор, и ты прости меня, Коля. Я скверно о тебе подумал; мне казалось, что ты вообще иногда небрежен к людям. Я вот тебя заподозрил и сам оказался виноватым. Очень надо быть осторожным. Как раз обвинишь совсем напрасно. И выходит подло, очень даже подло.

Не особенно приятно действовали на Николая слова младшего брата. Николай чувствовал, что Вася был прав, строя свои предположения, за которые теперь он же обвиняет себя в подлости. Ведь Николай действительно не раз говорил с Леночкой насмешливо о браке ее с Лаврентьевым. Ведь он сперва было увлекся Ниной Сергеевной, а потом уж от скуки в деревне сблизился с Леночкой. Небрежность была, и большая.

Вот это-то сознание, что Вася прав, хотя бы отчасти, и что он, Николай, сознавая, что брат прав, все-таки должен скрывать это и принимать еще его извинения, и уязвляло Николая. Он чувствовал, как недоброжелательное чувство начинает шевелиться в его груди именно за то, что брат был прав и что ему же так тяжело теперь, но он тотчас же подавил это чувство, взглянув на кроткое, растерянное лицо Васи. И вдруг, сам не зная, что его подвинуло, он подошел к брату, крепко обнял его и тихо проговорил с дрожью в голосе:

– Складная ты душа, Васюк! Не говори больше об этом. Полно!

– Я не об этом. Ты не сердишься – и дело с концом. Я ведь уверен был, идя к тебе, что все разъяснится. Ты, Коля, благородный человек. Я вообще вспомнил по поводу подозрений. Трудно часто брать на се-

бя ответственность, очень трудно! – продолжал Вася, как бы рассуждая сам с собой. – У нас недавно (я тебе не рассказывал) скверная история вышла с одним товарищем. Очень тяжелая история, которая на многих произвела сильное впечатление… Да ты, быть может, Коля, куда-нибудь собираешься, и я тебя задерживаю?

– Нисколько не задерживаешь. Так какая история? А прежде, впрочем, скажи: не хочешь ли еще кофе?

– Нет, не хочу… Видишь ли, в чем дело. На нашем курсе был один товарищ, которого никто не любил. Очень уж он был какой-то юркий и лебезил перед профессорами. Человек какой-то вкрадчивый… С ним все очень сухо обращались, однако все-таки кланялись, жали руку. Он первый всегда подходил, заговаривал. И со мной был знаком, записок часто просил. На днях вдруг пронесся слух, что вот этот самый студент – шпион. Уж я не знаю, кто первый распустил этот слух, но только все поверили, тем более, что кто-то видел, как этот студент выходил утром тайком из квартиры директора, а в тот же день директор собрал всех нас и по поводу замышляемой на курсе овации одному профессору, не ладившему с директором, предупредил, что ему известно об этом, и пригрозил на случай, если будет устроена овация. А мы это самое предположение, казалось нам всем, держа-

ли в секрете, и директор не мог знать… И все, то есть не все, а большинство – были и заступники – решили, что этот студент доносчик… На другой день, когда он пришел на лекцию, все как-то подозрительно смотрели на него, отходили, когда он подходил, не отвечали на его поклон. Он изменился в лице и как-то весь принизился; странным, жалким таким выражением светился его взгляд. Показалось мне, что он с каким-то недоумением взглянул на всех, но, однако, остался и все время на лекции просидел в задумчивости. После лекции один из студентов громко сказал, проходя мимо подозреваемого, что какой-то подлец донес директору… Этот-то подозреваемый совсем помертвел, – я стоял недалеко и видел хорошо его лицо. Лучше было бы не видать его! В его лице было и страдание, и ужас, и что-то гордое, чего никогда не бывало. Он понял, что это его подозревали. Он посмотрел вокруг каким-то вызывающим, злым взглядом, как-то странно усмехнулся и направился к выходу. В это время кто-то его спросил: был ли он тогда-то у директора? Он опять побледнел, резко ответил, что был, и вышел из аудитории. Никто не сомневался после этого, что он шпион, но мне казалось, что человека безвинно оскорбили. Взгляд, знаешь ли, у него был такой… особенный, и именно во взгляде-то я и прочел, что этот человек не доносил, но что после этой-то ми-

нуты – это когда его заподозрили – он, пожалуй, решится и на это… О, ужасное, брат, было то мгновение! Я высказал сомнение… я и прежде не был на стороне большинства, но мои слова не убедили… однако все как-то притихли; видно было, что всех что-то стало мучить. А меня, Коля, этот его взгляд до того перевернул, что я всю ночь не мог заснуть и на другой день пошел к этому самому доносчику. Прихожу и застаю его сидящего за столом; видно было, что он совсем не ложился, и на себя не похож. За ночь-то он осунулся, изменился совсем, глаза ввалились и блуждали, как у безумного. Вижу, совсем бедняга плох. Он, однако, при моем приходе сперва изумился, а вслед за тем со злостью посмотрел на меня и спрашивает эдак холодно: «Что вам угодно?» – и сам трясется, точно в лихорадке. Я ему протянул руку, но он не подал своей и заметил с какой-то безумной усмешкой: «Как вам не стыдно протягивать доносчику руку!..» Я ответил ему, что не верю, что он доносчик, а потому и пришел к нему. Тут, Коля, произошла, брат, очень тяжелая сцена… Он вдруг зарыдал, как ребенок, и с такою благодарностью на меня взглянул, что у меня заныло сердце. С трудом я его несколько успокоил, уложил в постель и просидел около него. Я у него ни слова не спрашивал, да и он ни словом не упоминал о вчерашней сцене. Нервы его были очень расстроены.

Я посидел у него в комнате, – жил-то он бедно, бедно совсем, – с час или два и, когда он немного успокоился, стал прощаться. Вот тогда-то он и сказал: «Я, может быть, и гадкий человек, но все-таки… не мог бы перенести этого позора!.. Спасибо, вы пришли и спасли меня!» Я в первую минуту не понял, что это он хотел сказать, но, случайно взглянув вокруг, увидал на столе, где он сидел, маленькую стклянку… и, признаюсь, тогда понял смысл этих слов. Нечего и говорить, что я стклянку убрал (в стклянке-то был яд!), и ушел, обещав у него быть через два часа, а от него прямо на лекции, чтобы рассказать все, что видел. А уж там шум… Совершенно случайно узнали, кто это директору-то донес, а донес-то студент, на которого не могло быть и подозрения! Директора племянник сообщил студентам, что он, племянник-то, гимназист, слышал весь этот разговор и знал студента, который был вхож к директору.

– Зачем же этот-то, которого невинно заподозрили, ходил к директору?

– Это после разъяснилось. Он ходил просить пособия… очень он бедный уж… Так за подаянием как бы ходил… Ему и стыдно было сперва признаться… Однако мне он признался.

– Извинились перед ним?

– Целая депутация ходила к нему… торжественно

извинились…

– А он что?

– Он очень холодно принял извинение и через день заболел совсем… нервная горячка сделалась… Теперь в больнице лежит… Очень на него подействовало… Да и как не подействовать!.. Это – ужасное подозрение, Коля! Чуть было человека не погубили! Я навещаю его. Теперь ему лучше. Говорит, что не останется более здесь… В Москву уедет!..

– А настоящий шпион?

– О, этот совсем иначе себя держал! Он пришел в негодование, кричал, что на него клевещут, требовал, чтобы ему подали мерзавца, который распустил про него это, – одним словом, выходил из себя. Многие поверили ему.

– И он остался?

– Остался. Ходит на лекции и держит себя с необыкновенным апломбом!

Вася замолчал и заходил по комнате.

– Ты домой писал о своей женитьбе? – спросил он через минуту.

– Нет еще, сегодня напишу. Я думаю, папа и мама тоже удивятся.

– Я думаю, Коля, очень удивятся.

– Что ж тут удивительного?

– По-моему, Коля, тебе как-то не идет жениться! –

заметил Вася.

– Как это не идет? – засмеялся Николай.

– Да так, не идет. Вот, например, Лаврентьеву шло, а тебе не идет.

– А мне нет?

– Нет. А впрочем, я, быть может, чепуху говорю, ты не обращай на это внимания! – промолвил Вася. – Однако который, брат, час?

– Двенадцать.

– Ну, мне пора! Надо еще к одному товарищу зайти, а после в больницу. Обещал. Что твоя статья? Принята?

– Кажется. Вот сейчас от Платонова получил записку. Зовет переговорить. На днях к нему зайду. Сегодня проспал, вчера от Смирновых поздно вернулся.

– А как вообще дела?

– Пока не важны, Васюк. Ну, да поправятся, а пока жду денег из дому.

– Из дому? – удивился юноша.

– Отцу писал, просил в долг, я не хочу так брать! – проговорил Николай.

– Так, так.

– А ты давно получал письма из дома?

– Нет, недавно. Все здоровы. Там, Коля, тоже, кажется, дела не важны.

– Подожди, Вася. Дай только время. Дела попра-

вим! – весело заметил Николай. – С Леночкой и мотать меньше буду. Ты и то меня в мотовстве винишь! Сам-то живешь отшельником, питаешься акридами и медом [62], хочешь, чтобы и все так жили! Так к Нине Сергеевне-то пойдем? – спрашивал Николай, прощаясь с братом.

– Пойдем.

– Кстати: Прокофьева не встречал в Петербурге и ничего о нем не слыхал?..

– Он арестован! – печально проговорил Вася.

– Арестован?

– Да. В Москве. Из-за границы, говорят, возвращался.

– Давно?

– С месяц.

– Кто это тебе говорил?

– Это верно. Вот, Коля, человек! – прибавил Вася восторженно. – Я когда-нибудь тебе расскажу о нем, а то ты все скептически относишься к нему, не зная его.

– Да я верю, Вася, что он хороший человек, право, верю. Я только над твоею восторженностью смеялся. Он, этот Прокофьев, по твоим словам, какой-то идеал всех добродетелей. Я тоже его немного знаю. А ты

---

[62] …питаешься акридами и медом… – т.е. традиционной пищей отшельников. По одному из толкований, акриды – род саранчи, по другому – листья кустарника.

все-таки расскажи… Меня он по одному обстоятельству очень интересует.

– О, да ты его совсем не знаешь! – воскликнул Вася, оживляясь при одном имени Прокофьева. – Я его прежде тоже не знал, но здесь слышал. О, это, брат, настоящий человек! Однако прощай, Коля!

– Ты мне расскажи про настоящего-то человека, которого ты отыскал! Да вот что, Вася: обедаем-ка сегодня вместе с Леночкой. Приходи к шести часам к «Медведю». Знаешь «Медведя»?

– Нет, не знаю!

– Я и забыл, что ты постник.

Он сказал адрес и прибавил:

– Смотри же, приходи, Вася. Выпьем за наше счастье. Придешь?

– Ладно, приду!

Вася вышел от брата и пошел по улицам, раздумывая о Николае и Леночке. Новость о свадьбе произвела на него сильное впечатление. Он рад был, что ошибся в своих подозрениях, и в то же время ему почему-то жаль было Леночку.

«Оба они хорошие люди, а как будто не пара!» – повторял он про себя.

VI

Через час после ухода брата Николай отправился к Леночке. Она сегодня не пошла на лекции и поджидала Николая, перечитывая несколько раз его горячее, порывистое письмо. В прихожей раздался звонок. Леночка встрепенулась, радостная и счастливая. Послышались знакомые шаги, и в дверях показался Николай. Он бросился к Леночке и, целуя ее руки, повторял несколько раз: «Ты простила? Ты не сердишься, Леночка? Нет? Нет?»

Он глядел ей в глаза и по глазам мог видеть, что она не сердилась. Какое! В ее глазах светилась такая любовь, такое счастье!

– Ты спрашиваешь еще! И тебе не стыдно? Да разве я на тебя могу сердиться?.. И за что? За твое чудное письмо?.. Да если б ты…

Она не досказала мысли и любовалась Николаем с таким простодушным восхищением, что Николай, шутя, закрыл ей рукою глаза.

– Не смотри так, Лена! Не смотри! – проговорил он, смеясь. – Славная ты… добрая, хорошая моя! Ах, если бы ты знала, как тронуло меня твое письмо. И тебе было не стыдно даже подумать? «Или все кончено?» – писала ты. Ах, Леночка? С тобой как-то лучше ста-

новишься, право…

– Ну, ну, не захваливай, пожалуйста.

– Однако ты похудела, Леночка! Что с тобой? Здорова ты? – тревожно спрашивал Николай, заглядывая ей в глаза и любуясь ее счастливым, хорошеньким личиком. – Это я тебя так расстроил? Я? Этого больше не будет, Лена. К чему нам так жить? К чему откладывать свадьбу?! К чему скрывать от всех, что мы – муж и жена? Обвенчаемся скорей… О, мы заживем отлично с тобой!

Леночка слушала, и сердце ее радостно трепетало от этих слов. А Николай между тем продолжал:

– И то я виноват, что до сих пор медлил. Зачем? Кто нам мешает?

– Но ты… твои дела… Ты еще не устроился… Помнишь, ты говорил…

– Мало ли что говорил! И чепуху говорил. Да, наконец, и устроился… Лучше было бы, если бы мы раньше повенчались. По крайней мере ты не имела бы причины думать, что «все кончено!» – весело засмеялся Николай. – И, наконец, твое присутствие поддержит меня. Я ведь, Лена, знаешь, иногда падаю духом, злюсь на неудачи… Ну, да об этом теперь нечего говорить! И разве вдвоем нам много нужно? Особенно вдвоем… с тобой?.. Так ты согласна? Пиши своим, а я напишу сегодня же в Витино. И аминь!

Согласна ли она? Она тихо сияла от переполненного чувства, и слова как-то не шли на ее уста… Николай и любовался ее счастием, и сам в эту минуту был счастлив.

– Послушай, Коля, – наконец произнесла Леночка тихим, замиравшим от счастия голосом. – Ты знаешь, как я тебя люблю. Ты видишь! Но я боюсь, что когда-нибудь могу стеснить тебя. Тогда ты раскаешься, что женился… Мало ли что может случиться… Ты встретишь…

– Леночка… Леночка!.. Что ты говоришь!.. – перебил Николай.

– Нет, дай досказать… Я слишком люблю тебя и верю в тебя… Ты можешь встретить другую, лучше, достойнее меня, а брак стеснит тебя, и ты будешь несчастлив… Мне все равно… Не обращай внимания на меня… Будем жить по-прежнему. Если нужно скрывать, что мы муж и жена, будем скрывать. Я все равно счастлива буду твоей любовью… и по крайней мере буду знать, что ты свободен… всегда свободен…

Николай в волнении слушал ее слова и, умиленный, глядел на нее глазами, влажными от слез. Мало ли она принесла ему жертв!.. Она готова даже быть тайной любовницей… О, как он виноват перед ней!

– Лена! Замолчи! Что ты предлагаешь? Я был бы подлец, если б согласился на твое предложение. Я

не хочу… не хочу тайны… Ты будешь моя жена перед всеми.

– Ты хочешь? Ты не боишься? Ты не будешь несчастлив со мной?

Вместо ответа он взял ее трепещущую руку и крепко сжал в своей руке.

– Но по крайней мере, Коля, дай мне слово, честное слово, что ты никогда не скроешь от меня, если я стесню тебя, если ты разлюбишь меня… Верь мне, желанный мой, одна мысль, что я могу стать тебе на дороге, приводит меня в ужас. Даешь ты мне слово?

– Леночка, да что ты!.. Откуда эти мысли?

– Эти мысли давно у меня… Я много об этом думала… Разве мало несчастных браков? Разве редко люди живут вместе, не имея характера разойтись? Вот я и прошу тебя, чтобы ты никогда не жалел меня. Узнать, что тебя жалели, – это ужасно! Я понимаю, как тяжело было Лаврентьеву! Я не любила бедного Григория Николаевича, а только жалела его… За меня не бойся, Коля… Я все вынесу, даже и твое охлаждение, и, конечно, не от меня тебе услышать когда-нибудь слово упрека! Помнишь, ты не раз говорил, что любовь свободна и ничто не может удержать ее, если она пройдет… Ведь правда?

– Правда, – прошептал Николай.

– Так даешь мне слово? – торжественно повторила

Леночка.

– Даю! – проговорил Николай.

– И если?..

– Полно, Леночка… К чему эти «если»… Не надо их!..

– Да ведь я для тебя… для тебя, мой славный!.. Я за себя не боюсь! – вскрикнула она. – Разве я когда-нибудь ждала такого счастья?.. Разве я стою его?.. Послушай, что я тебе скажу… ведь я виновата перед тобой… скрывала от тебя… – краснея, шептала Леночка.

– Что ты скрывала?..

– Я… беременна, – чуть слышно произнесла она.

«И она еще предлагала остаться любовницей! – промелькнуло в голове у Николая. – И я никогда об этом не подумал!»

– И тебе не стыдно было скрывать от меня? Давно ты это скрывала?

– Недавно, очень. Я не решалась как-то сказать тебе…

– Почему?

– Да видишь ли…

Она остановилась в нерешительности.

– Что ж ты не говоришь?

– Видишь ли. Ты не сердись, мой милый. Я не хотела тебя стеснить.

– Как стеснить?..

– Да разве ты не понимаешь? Ты ведь такой добрый и мог бы пожалеть меня и из жалости жениться. А в последнее время мне казалось, что ты не любишь меня! – улыбалась Леночка своими славными, большими глазами.

– О Леночка, Леночка! – воскликнул Николай. – Какая ты!

– Ну, а теперь, когда убеждена… я и сказала. Ты не сердишься?

Они весело болтали о том, как они устроятся и поведут скромную, трудовую жизнь. Свадьба будет через месяц, и самая скромная. Они с доверием молодости глядели оба в глаза будущего. Оно казалось им таким счастливым и радостным. Она будет ходить на лекции, а он писать. О, она не будет ему мешать, пусть он не думает!

– То-то тетя удивится! Ведь она всегда дразнила меня тобой и говорила, что ты никогда не обратишь на меня внимания и что ты женишься на одной из Смирновых.

– Нашла на ком жениться! Ну, а отец твой?

– Папа рад будет. А твой? Не найдут, что ты делаешь скверную партию?

– Да разве они не знают тебя? Они очень обрадуются…

– Я шучу. Они ведь такие славные – и отец твой, и мать. Мы съездим в деревню летом?

– Поедем, еще бы.

– А быть может, они приедут.

– Пожалуй… И твой отец.

– И его позову. Братья тоже удивятся, когда узнают!

– Они что-то не бывают у тебя.

– Ты знаешь, мы не сходимся. Они недовольны, что я студентка, – улыбнулась Лена.

– И не нравятся они мне. Особенно старший. Чиновник будет, карьерист.

– Ну, бог с ними. И мне не нравится, а все как-то… братья! Нет-нет, да и вспомнишь, что свои… Да ты, Коля, расскажи о себе. Что ты делал это время? Статья принята? Получил работу в «Пользе» [63]?

Николай сказал о письме Платонова и о том, что в «Пользе» получил работу. Леночка обрадовалась. Она уверена была, что статья будет принята и произведет впечатление. Она не сомневалась в этом. А что он будет делать в «Пользе»?

– Пока вырезки из газет. Дают семьдесят пять рублей, – усмехнулся Николай.

– Вырезки? Ну, это пока. И, во всяком случае, эта

---

[63] «Польза» – так же, как и упоминающийся на стр. 394 романа «Правдивый», – выдуманные Станюковичем печатные органы либерального направления.

работа немного займет времени?

– Часа два-три.

– Значит, у тебя времени будет довольно работать серьезно. О, я, Коля, убеждена, что тебе предстоит славная будущность. У тебя талант, ты умен… я верю в твою звезду! – восторженно произнесла Леночка.

– Веришь? Ты веришь потому, что любишь.

– О нет, не потому. Это ты напрасно. Любовь не ослепляет так.

– Ослепляет, говорят. Помнишь, как мы с тобой рассчитывали на успех моей второй статьи? И что же? Никакого успеха.

– Да он будет, будет непременно, только бы тебе не заботиться много о работе из-за хлеба, не тратить времени на разные вырезки! Вот только ты произнесешь первую речь в суде – посмотришь, как заговорят… Увидишь. Только не торопись, Коля. Поверь, все придет. Ведь мы будем жить аккуратно и скромно. У меня будет двадцать пять рублей да еще от уроков тридцать пять, да у тебя семьдесят пять в месяц. Ведь довольно?

– Какие уроки?

– Ах, ты и не знаешь.

И она рассказала, как по рекомендации доктора Александра Михайловича она получила урок.

– Зачем тебе уроки, Лена? Слава богу, и без уроков

твоих проживем! А то тебе на Васильевский остров ходить! Я тебя не пущу! Да и знаешь ли, не надо и от отца тебе брать. Я надеюсь, мы без всякой помощи будем жить. На адвокатуру я не рассчитываю. Ты знаешь, я с большим разбором буду брать дела. Не стану же я вроде Присухина или какого-нибудь подобного барина. Но все-таки кое-что заработаю. И, наконец, статьи. О, ты не беспокойся, Лена.

– О, я уверена, что ты, Коля, можешь много заработать, я не сомневаюсь в этом, но мне было бы тяжело видеть тебя за работой, которая отнимет время от твоих серьезных занятий. Мне все будет казаться, что я виновата…

– Ты-то чем виновата?

– Да тем, что люблю тебя! – улыбнулась счастливой улыбкой Леночка. – Нет, без шуток, тебе и так пришлось вот взять на себя какие-то вырезки ради денег… Разве это твоя работа?! Нет, нет, голубчик Коля, тебе надо думать о твоих серьезных работах, заниматься, читать и как можно меньше заботиться о грошах, чтобы не утомляться бесплодно. Если ты будешь доставать сто рублей – ведь это не трудно? – то этих денег на первое время нам за глаза, вместе с теми, которые я получаю из дому и получу за уроки. Ты не хочешь, чтобы я получала от отца?.. Если ты не хочешь, я откажусь, Коля, но отчего ж мне не брать от

отца?.. Он… он все же отец и, право, Коля, добрый, очень добрый… Или тебе кажется…

Леночка сконфузилась и остановилась, вопросительно взглядывая на Николая.

– Нет, Леночка, ничего мне не кажется… Я так сказал… быть может, твоего отца стесняет эта помощь!.. А если не стесняет, это твое дело, и я, конечно, ничего не имею против того, будешь ли ты получать твои двадцать пять рублей, или не будешь… Но к чему уроки? Из-за тридцати пяти рублей шагать на Васильевский остров, и еще каждый день!..

– Так что ж?.. Мне это даже полезно… моцион! А с лекциями я справлюсь: буду часом или двумя раньше вставать…

– И все это для того, чтобы облегчить меня?.. Ах ты, Леночка! – проговорил, улыбаясь, Николай, целуя ее раскрасневшиеся щеки. – Ну, допустим даже, что моцион этот тебе полезен, – хотя я этого и не нахожу, – допустим. Как же это мы ухитримся прожить на сто шестьдесят рублей в Петербурге, где все так дорого?.. Ты не забудь, что твой муж не похож на блаженного Васю, который дал себе обет отшельничества, и не привык к первобытной жизни, которую ведет твой поклонник Григорий Николаевич.

– Коля! Зачем ты над ним смеешься? – тихо упрекнула Леночка.

– А ты по-прежнему его заступница?

– Мне просто жаль его! – тихо промолвила Леночка.

– Ты тоже прими, Леночка, в соображение, что нам нужны книги, нужны время от времени развлечения, необходимо видеть людей – нельзя же без людей! – и затем расскажи, как это мы на сто шестьдесят рублей будем по-человечески жить? Прикинь-ка наш бюджет.

– Да что ты, Коля! – воскликнула Леночка. – Сто шестьдесят рублей! Разве это мало?.. Да на эти деньги мы будем жить роскошно… прелесть, как будем жить, и еще можем откладывать…

– И откладывать?! Рассказывай, рассказывай, Лена, а я буду слушать, какой рай ты обещаешь на сто шестьдесят рублей…

– Во-первых, мы найдем маленькую квартирку в три комнаты: одна будет побольше, а две маленькие, с кухней, за тридцать рублей… разумеется, во дворе, где-нибудь здесь вблизи, у Таврического сада…

– И с такой лестницей, что надо подыматься, заткнувши нос?.. И, разумеется, у небес?..

– Зачем же уж ты сейчас, Коля, преувеличиваешь? Можно найти и чистую лестницу… Я поищу!

– Я только против идиллии, Леночка. Хорошо, квартиру нашли и даже лестницу не пахучую. Дальше?

– Да ты… уж скептически относишься?

– Да нет же, нет, Лена… Право, нет! Я лишь сделал

маленькую поправку… И не на таких лестницах я жил студентом…

– Так не перебивай. После, когда я кончу, ты можешь делать поправки! – улыбнулась Леночка и продолжала: – Самая большая и лучшая комната будет твоим кабинетом. Не махай головой!.. Конечно, твоя комната должна быть лучшей. Другие две – приемная и столовая, и наша спальня. Не бойся, тесно не будет, – будет хорошо и уютно. Я сама буду заботиться. Ты знаешь, я люблю, чтобы было чисто. Мебель у нас будет, разумеется, самая простая, – к чему роскошь? Не правда ли? Ведь тебе все равно, лишь было бы опрятно? Кабинет, и чудный кабинет, у тебя есть, остается купить немного мебели для гостиной и спальни. Такую квартиру можно нанять за тридцать пять рублей. На стол… ну, на стол положим, рассчитывая, что ты немножко избалован, тридцать рублей, по рублю в день. Чай и сахар, кухарка, остальные расходы… Ты не забудь, что я сама буду за всем смотреть. Пожалуй, мое хозяйство, над которым ты смеялся в деревне, и пригодится… На все остальные расходы положим двадцать пять рублей.

Леночка вся оживилась, вычисляя примерный бюджет, в котором ухитрилась даже отложить на личные расходы Николая пятьдесят рублей. «Тебе ведь довольно будет?» – и затем продолжала рассчитывать

подробности бюджета.

А Николай с улыбкой слушал, с какой любовью и с каким практическим смыслом она рисовала подробности их будущей жизни, на первом плане которой были, конечно, заботы о его комфорте, о его удобствах. Он слушал, и скромный бюджет казался ему очень уж скромным. Эта жизнь, которую так восторженно рисовала Леночка, казалась ему несколько «мещанской». И в то же время, когда Леночка, увлекаясь, расписывала, как он в своем кабинете создаст замечательные вещи (о, она ни за что не будет мешать ему! – опять повторила она) и как по вечерам они будут вместе читать или пойдут в театр, наверх, разумеется, – в его голове пробегали далеко не очень приятные мысли о жизни при таких скромных средствах.

Три чистенькие, светленькие комнатки, кисейные занавески, цветы с Сенной и скромная мебель с провалившимися сиденьями, вонючая лестница, чад из кухни, теснота и крик ребенка, – крик, долетающий в кабинет, – все это казалось ему не так привлекательно, как казалось Леночке. Для нее эта обстановка – рай, а для него – не совсем рай!

– Ну, что ты теперь, Коля, скажешь? Разве не отлично мы будем жить на эти деньги? – спросила она, окончив рассказ и не без торжества взглядывая на Николая. – К чему же тебе особенно хлопотать? Зани-

майся себе, пиши, и, поверь, успех явится к тебе!.. Тебя будут знать, тебя будут читать!..

Николаю жаль было нарушить радостное настроение Леночки. Он взглянул на нее – она была такая сияющая и хорошенькая – и вместо ответа притянул ее к себе и покрыл поцелуями.

Вечером они обедали в отдельной комнате ресторана втроем, с Васей.

Обед прошел весело. И невеста и жених были в отличном настроении. Леночка сегодня приоделась в парадное платье и была необыкновенно мила. Николай посматривал на Леночку, любуясь ею, и находил, что будущая его жена прехорошенькая. От нее веет какой-то прелестью искренности и доброты; на такую женщину можно положиться! Вася сперва застенчиво молчал, поглядывая украдкой на счастливые лица Леночки и брата, но под конец обеда и он разошелся. Ему теперь даже казалось, что он напрасно думал, будто брат не пара Леночке. Оба они добрые, хорошие. Брат, наверное, любит ее и еще больше полюбит Леночку, а она? – нечего и сомневаться. О, она поддержит Николая в минуту его слабости!..

На радостях Николай приказал подать бутылку шампанского. Он налил бокалы и, целуя невесту, проговорил:

– За наше счастье, Леночка! За нашу любовь!

– За твои успехи, милый мой! – отвечала Леночка.

Вася обнял брата и горячо пожал Леночкину руку. Он выпил залпом бокал и проговорил:

– О, я верю, что вы должны быть счастливы! И ты, Коля, и Елена Ивановна, оба вы хорошие… так как же вам быть несчастливыми? Не правда ли?..

– Леночка! И ты позволяешь ему называть себя Еленой Ивановной?

– Конечно, нет! Зовите меня Леночкой, Вася!

– И выпейте, господа, брудершафт на «ты»! – подсказал Николай, наливая бокалы.

– С удовольствием.

– Не все ли равно? А впрочем, отчего ж? Вы теперь моя сестра. Я вас и раньше, Леночка, считал сестрой! – промолвил Вася, конфузясь.

Они выпили брудершафт. Вино возбудило нашего юношу; его худое бледное лицо покрылось румянцем, глаза заблестели. Он восторженно глядел на Леночку и проговорил:

– То-то наши обрадуются!

– Выпьем-ка за здоровье наших и за здоровье Леночкина отца! – воскликнул Николай.

– И за Васино здоровье! – горячо подхватила Леночка и промолвила: – Дай бог тебе всего хорошего, Вася… Всего, всего, чего бы ты ни пожелал!..

– О, спасибо, Леночка.

– Ты такой славный, добрый, Вася… ты и сам не знаешь!

– Не знаю! – добродушно заметил юноша. – Да и тебе так кажется по доброте. А ведь в сущности-то все добрые или, вернее, все могли бы быть добрыми… И будут… о, непременно будут!

– Он неисправим с своей теорией всеобщего блаженства! – усмехнулся Николай.

– А то как же? Разве без этой веры можно жить? Неужели ты и в эту минуту не веришь, Коля? Ты нарочно так говоришь! – восторженно воскликнул юноша. – Ты тоже веришь и обязан верить, что будет не так, совсем иначе будет… Все к тому идет! О чем же ты пишешь? К чему тогда ты пишешь? Зачем ты вот не хочешь жить, как Присухин? Зачем вот Леночка учится? Разве для того, чтобы получить диплом и жить для себя? О, я знаю ее цель!.. Она хоть и не говорила мне, но я знаю… отлично знаю…

– О, добрая ты душа, Вася! – проговорил Николай. – Долго еще придется ждать твоего всемирного счастья… Пожалуй, и не дождешься!

– Разумеется, мы не дождемся. Так что ж? Разве идея не живет? Без идеи жизнь – была бы тоска! О, какая тоска! – воскликнул Вася.

– Ну, Вася, брось пока свою философию… Ты нагонишь хандру. Лучше, брат, выпьем!

– Нет, довольно. Не наливай, Коля! Я и так захмелел… Нет, не надо! Я и без того философию брошу! – добродушно рассмеялся он. – К чему наводить хандру?.. Я не хочу!.. А если навел уж, то простите!

Николай велел подать счет.

– Сколько взяли? – полюбопытствовал Вася.

– Пятнадцать рублей!

Вася только покачал головой. Удивилась и Леночка.

– Ну, стоит ли говорить? Мы праздновали помолвку!

Все вышли на улицу. Вася простился и пошел домой. Николай с Леной тихо пошли по Невскому.

– Какой славный этот Вася! – проговорила наконец Леночка.

– Сгубит себя он без толку!

– Ты думаешь?

– Разве не видишь? А знакомства-то его?

– Какие же знакомства?

– Да все такие же донкихоты, как и он сам. Жаль его будет! А ведь упрямый какой: его не убедишь!.. Я было спорил, да бросил!

– Он искренно верит в то, что говорит. Это такая редкость!

– То-то очень уж слепо верит!

– Да разве это худо?

– Надо принимать в соображение обстоятельства. И если уж гибнуть, так за что-нибудь! – авторитетным

тоном решил Николай.

«Верно, и у Васи на уме есть это „что-нибудь“! – подумала Леночка, но почему-то не сказала этого вслух.

Был девятый час в исходе. После обеда славно бы пройтись на морозном воздухе. Наши молодые люди тихо шли по Невскому, рука в руку. Леночка как-то затихла под сильным впечатлением всех событий этого дня. О, какой это был счастливый день для нее…

– Знаешь ли, Лена! – воскликнул Николай. – На воздухе так хорошо! Поедем-ка куда-нибудь прокатиться!

– Это будет дорого стоить, Коля!

– Э, вздор… Ты ведь хочешь?

– Я не прочь.

– Так едем!..

Они остановились на углу и наняли лихача. Николай усадил Леночку на узкие санки, обхватил ее за талию и придвинул к себе. Лихач дернул вожжи, и сани быстро понеслись по улицам. Когда выехали за город, лихач припустил лошадь, и она понеслась по гладкой снежной дороге по островам.

– Ведь хорошо, Леночка?

– Славно!

– Тебе не холодно?

– О нет, нисколько.

– Ах ты моя славная! – проговорил Николай, сжимая в своих руках ее горячие, влажные руки. – Какая

ты хорошенькая, Леночка!.. Не отворачивайся. Смотри на меня! – шептал Николай, наклоняясь к ней и заглядывая в ее раскрасневшееся на морозе лицо. – Если бы ты видела теперь себя! – повторял он, любуясь Леночкой. – Ну, поцелуй же меня.

Он прильнул к ее влажным устам. Ему хотелось целовать ее без конца.

Сани мчались стрелой. Лихач, предчувствуя хорошую прибавку, не жалел лошади. Леночка склонила голову на плечо Николая и, замирая от счастия, с полузакрытыми глазами, слушала нежные, страстные речи Николая. Он говорил ей о любви, он шептал ей о счастье и все крепче и крепче сжимал ее своей рукой.

– Ты озябла!.. Напьемся чаю… Заедем куда-нибудь. Хочешь?

– Куда хочешь! – прошептала Леночка.

Через несколько минут сани остановились у ресторана. Веселые и иззябшие прошли наши молодые люди в отдельную комнату и приказали подать чай. Николай снял с Леночки шубку и теплую шапочку и согревал ее алые щеки горячими поцелуями.

Когда они вернулись в город и Николай довел Леночку до дверей квартиры, Леночка проговорила:

– До завтра?

– До завтра!

– О милый мой! – еще раз шепнула она, обнимая

его…

Под радостными впечатлениями этого дня, она засыпала счастливая, улыбающаяся, с именем своего любимого на устах.

«Хорошо жить на свете, ах, как хорошо!»

VII

Не без некоторого волнения Николай на следующий день входил в небольшой кабинет Платонова, уставленный шкафами и полками с книгами; кабинет был очень скромный; мебель была старенькая и потертая. Сам хозяин, в стареньком сером пиджаке, сидел за большим письменным столом, заваленным корректурами, рукописями и книгами. Его большая голова с темными седеющими волосами склонилась над работой. Он внимательно читал рукопись, помахивая в руке большим карандашом.

– Добро пожаловать! – приветливо произнес Платонов, подымая свои большие, темные, глубоко сидящие глаза, блестевшие резким блеском из-под очков. – Садитесь-ка, Николай Иванович, побеседуем!

Он протянул Николаю руку, отодвинул от себя рукопись и стал отыскивать на столе рукопись Николая.

«Неужели не принята?» – мелькнула мысль в голове автора.

– А, вот она! – проговорил Платонов, доставая толстую тетрадь и кладя ее перед собой. – Я внимательно прочел, Николай Иванович, вашу статью…

Он остановился, взглянул на взволнованное лицо Николая и, улыбаясь, сказал:

– Очень уж торопливо написана статья, Николай Иванович. Очень торопливо! – прибавил он, покачивая головой как бы с укоризной.

– А что? Разве статья… нехороша… не годится? Она не может быть напечатана? – произнес Николай упавшим голосом.

– Отчего ж! Напечатать ее можно, и мы, пожалуй, ее напечатаем, если вы позволите посократить ее немножко, да дело не в том. Вы могли бы гораздо лучше написать: ваша первая статья была очень недурна; но только вам необходимо серьезно поработать, Николай Иванович! – мягким тоном прибавил Платонов. – Вы извините, что я откровенно высказываю свое мнение.

– О, пожалуйста, прошу вас, не стесняйтесь, говорите все, что вы думаете. Мне бы очень хотелось знать, могу ли я писать, могу ли посвятить себя литературе?

– Ну, так я вот что скажу вам, Николай Иванович: если вы хотите серьезно заняться литературной деятельностью, если вы хотите не печататься только, а быть настоящим литератором, то ведь надо к делу относиться серьезней. В вашей статье есть огонек, вы пишете недурно, не без таланта, но в нее вложено мало, нет труда, продуманности, глубины, и с фактической стороны она прихрамывает. Ведь вот вы написа-

ли свою статью по двум-трем книжкам, не правда ли?

– Правда.

– А ведь по этому вопросу целая литература есть. Надо было перечитать не три книжки, а побольше. Тогда бы и фактов было больше, да и выводы были бы основательней. В общем выводы ваши верны, но они как будто голословны, не убеждают и, следовательно, не производят впечатления. Статью вашу прочтут, написана она бойко, но и только… а ведь разве вы хотели писать только бойко и легко? Разве для этого стоит серьезно посвятить себя литературной деятельности?

Платонов погладил свою бороду, поправил очки и продолжал:

– Я говорю вам это все, Николай Иванович, потому, что вы молоды, потому, что в вас дарование есть, и вам еще не поздно сделаться полезным и даже заметным литературным работником. И мне было бы очень жаль, если бы вы пошли по той дороге, которая многих сгубила и продолжает губить. Плоскость-то это покатая! – серьезно проговорил Платонов. – В последнее время как-то чересчур легко относятся к этому делу, очень легко, даже начинающие литераторы. Литература обращается в ремесло. Отвалял статью, принес; не приняли в одной редакции, примут в другой; статья напечатана – получай деньги. Оно-то, по-

ложим, и легко, но ведь это один литературный разврат! – резко оборвал Платонов, сверкая своими умными глазами из-под очков. – Разврат самый ужасный! Сперва небрежность, а потом… потом погоня за гонораром, а дальше ведь можно прийти и черт знает к чему. И даже приобрести успех среди известных читателей. Ведь вот, например…

И Платонов не без презрения назвал несколько имен.

– А ведь и они начали не так. Тоже дарование было, огонек, но исписались, не работали, а теперь уже поздно. Старого не вернешь. Ну, и пишут всякую дрянь, благо спрос есть! И поздно заняться каким-нибудь другим делом. Ужасная будущность!

– Да, это ужасно! – воскликнул Николай, подавленный суровой речью Платонова.

– А приходят к этому незаметно, не сразу. Легкость успеха губит, недостаток труда, знания. Талантишко есть, и иной думает, что талантишко вывезет. Ну, и вы сами видите, Николай Иванович, каково это отзывается на литературе. О, бойтесь этого! Лучше бросить литературу, если не чувствуешь себя способным на упорный труд, на борьбу, бросить лучше! После, когда втянешься, поздно уж будет, и человек принужден строчить, понимаете ли, строчить из-за куска хлеба… считать строчки, печатные листы, чтобы больше

их было, больше, а прежняя-то легкость уже исчезла. Мыслей нет, так как читать-то и трудно, да и некогда подчас. И выходит какая-то каторга. Я знаю таких несчастных, – их немало.

– И вот еще что меня сердит подчас! – продолжал, разгорячившись, Платонов. – Это какое-то неуважение к печати. Прежде, бывало, приходишь в редакцию, как в святилище какое-то. Да, я помню, как я понес свою первую статью. Знаете ли, поджилки дрожали, ей-богу. Ну, вдобавок, и судья-то кто был? Николай Гаврилович! [64] Неуверенность, знаете ли, страх и все такое. Главное, чувствуешь, что ведь идешь с дерзкой мыслью приобщиться к литературе. А нынче? Точно в кабак, в редакцию ходят, ей-богу. «Годится? – Не годится. – Прощайте!» И ведь всякий лезет! На днях еще один господин пришел, принес два листика, говорит: начало романа, и еще обиделся, что я не взял их и посоветовал ему принести, когда он напишет целый.

Николай в смущении слушал Платонова. Редактор встал и нервно заходил по кабинету, продолжая говорить на ту же тему. Наконец он взглянул на Николая, заметил его смущение, подошел к нему и мягко проговорил:

– Вы не смущайтесь совсем-то, Николай Иванович!

---

[64] «Ну, вдобавок, и судья-то кто был? Николай Гаврилович!» – Речь идет о Н.Г.Чернышевском.

Я все это говорил вам, – к сожалению, не одному вам! – потому, что заметил в ваших статьях дарование, огонек и уменье привлечь читателя. Так вам, следовательно, писать можно… Работайте только, да не падайте духом от первых неудач. И тогда вы напишете нечто посерьезнее. Жизнь-то у вас впереди. Так-то-с, батюшка. Ну-с, теперь о вашей статье. Разрешаете сделать сокращения?

– Сделайте одолжение! – проговорил Николай.

– Не бойтесь, статья от этого не проиграет!.. Вот взгляните-ка, какие места я предполагаю сократить.

Платонов взял рукопись и показал ее Николаю. Очень многие страницы были обведены карандашом. Платонов объяснил, почему он сделал эти сокращения, указал на две, на три фактические ошибки и в заключение прибавил, что статья ничего себе; хоть мысли в ней и не новые, а все-таки она бьет в точку.

– Денег не нужно ли вам? – спросил Платонов. – Нашему брату деньги всегда нужны! – усмехнулся он с горькой улыбкой.

Николай вспомнил в эту минуту, что Платонов имел на руках громадную семью, получал сравнительно немного, хотя и работал, как вол, и пользовался большой репутацией, как писатель и человек. С невольным уважением взглянул молодой человек на некрасивое, но очень выразительное лицо Платонова с

большим, широким лбом и славными темными глазами, на его потертый пиджачок. Все в нем в эту минуту понравилось Николаю, несмотря на суровый приговор: и эта горькая улыбка, появившаяся на его лице, и простота, с которою он держал себя…

– Вы не стесняйтесь, батюшка! Я скажу издателю. Он даст рубликов двести. Довольно?

– Если возможно.

– Очень даже возможно. Статья-то ведь у нас, – усмехнулся Платонов, – следовательно, издатель может быть спокоен! Завтра я вам пришлю деньги… Ну-с, а теперь пойдемте позавтракаем! – произнес он, подхватывая Николая за талию. – Что, вы работаете еще где-нибудь?

– В «Пользе».

– А! Ничего себе газета, приличная. Что делаете?

– Пока внутренним отделом заведую.

– Важный отдел, очень важный!..

– Больше вырезки.

– И вырезки-то надо с толком сделать!.. А пересмотр корреспонденции?..

Они прошли в столовую, где уже была в сборе вся семья Платонова: жена его, высокая, худощавая, когда-то, должно быть, красивая барыня, и шесть человек детей.

– Каково поколение-то?.. Вот, Зиночка, рекомен-

дую тебе Николая Ивановича Вязникова, – проговорил Платонов.

Платонова протянула руку, процедила сквозь зубы «очень приятно» и искоса бросила взгляд на стол.

Завтрак был крайне скромный. Супруга Платонова, накладывая куски, должна была внимательно смотреть, чтобы досталось всем.

– Водку пьете? – спросил Платонов.

– Пью.

Платонов налил рюмку и придвинул к Николаю селедку.

– А недурно бы пивка, Зиночка, – проговорил Платонов робким голосом. – Кажется, пиво есть?

– Есть. Сейчас принесу.

– Да ты сама не беспокойся!.. Наташа принесет!

Николай посматривал на жену Платонова, и ему она не понравилась. Лицо ее было какое-то недовольное и сухое.

Платонов разговаривал с гостем, шутил с детьми и был в очень добродушном настроении. Жена, напротив, сидела молча.

– А ты в редакции не будешь сегодня? – внушительно обратилась она к мужу.

– Нет… А что?

Она бросила на мужа значительный взгляд и проговорила:

– Ты уж забыл? Я, кажется, утром тебе говорила, что необходимо сходить.

– Ах да, да! Извини, пожалуйста, совсем забыл. После завтрака схожу! – как-то робко проговорил Платонов. – Кстати, и вашу статью отдам в набор! – обратился он к Николаю.

Когда все встали из-за стола и Николай пошел в кабинет за шляпой, до его ушей долетел резкий, недовольный голос.

– Ведь ты знаешь, что в доме ни копейки нет, а еще спрашиваешь!..

Одна из девочек затворила двери, и Николай дальше не слышал слов. Через минуту Платонов вернулся в кабинет несколько сконфуженный. Николай тотчас же стал прощаться.

– Так завтра я вам деньги пришлю!.. До свидания, Николай Иванович. Смотрите же, я жду от вас хорошей работы. Если книги нужны, библиотека моя к вашим услугам!.. Да захаживайте когда вечерком. Милости просим! – говорил Платонов, провожая Николая до дверей.

«Жена-то, должно быть, его в руках держит!» – подумал Николай, уходя от Платонова.

Он возвращался от него недовольный. Отзыв Платонова сильно подействовал на впечатлительного молодого человека. Он рассчитывал на статью очень, а

между тем она вызвала со стороны Платонова суровый приговор. Он не мог не согласиться, что Платонов был вполне прав, и это еще более его уязвляло. «Но, однако, у меня есть дарование, талант!» – успокоивал он себя. Он решил основательно засесть за работу и серьезно заняться. В самом деле, он слишком мало работал… О, он поработает как следует, и тогда… Платонов не то скажет!..

Скорей свадьбу?.. С Леночкой ему будет лучше. А то эта холостая жизнь не дает работать как следует!

По обыкновению, он размечтался на эту тему, и когда подъехал домой, то в воображении уже написал прелестнейшую вещь, которая сразу доставит ему имя…

Дома он нашел повестку на триста рублей и, кроме того, записку от своего патрона, Пряжнецова, в которой тот предлагал ему передать по случаю отъезда на несколько дней интересное и благодарное, по его словам, дело: взыскивать с управления одной железной дороги вознаграждение за увечье сторожа. Николай вспомнил, что Присухин юрисконсультом в управлении этой железной дороги, и обрадовался еще более. Наконец-то он скажет блестящую речь и оборвет эту «либеральную каналью»!

– Господин еще один был сегодня, вскоре после вас, – доложила ему Степанида.

– Кто такой?

– А не знаю, не сказывался. Я спросила; говорит: не надо.

– Какой он из себя?

– Лохматый такой, черноватый, неказистый из себя. И говорит грубо так, ровно бы мужик, хоть одежа на нем и господская. Только одет неважно.

– Молодой?

– Нет, средственный. Седого волоса много в бороде, а на голове не приметила. На голове баранья шапка, простая.

«Уж не Лаврентьев ли?» – мелькнула у него мысль, и, надо сказать правду, Николай не особенно обрадовался этому предположению. Он снова стал расспрашивать кухарку, и по дальнейшему ее описанию почти не было сомнения, что к нему заходил Лаврентьев.

– Он обещал зайти?

– Ничего не сказал. Постоял, постоял и ушел!..

– Что ему надобно? – в раздумье проговорил Николай, стараясь подавить в себе невольнее беспокойство.

VIII

Николай не ошибся в своих предположениях. Этот «лохматый», по выражению кухарки, заходивший утром к Вязникову, был не кто иной, как Григорий Николаевич Лаврентьев.

Накануне, в тот самый вечер, когда наши молодые люди обедали в ресторане и спрыскивали шампанским помолвку, Григорий Николаевич приехал в Петербург с пассажирским поездом и, разумеется, в третьем классе. Он торопливо пробрался через толпу пассажиров к выходу, не обратил никакого внимания на зазывания комиссионеров, выкрикивавших названия разных гостиниц, и с небольшим чемоданом в руке зашагал через Знаменскую площадь.

В меблированных комнатах, рядом с Знаменской гостиницей, он занял крошечный номерок, поторговавшись предварительно с хозяйкой, и немедленно, не переодеваясь с дороги, отправился пешком на Выборгскую сторону, к своему приятелю, доктору Александру Михайловичу Непорожневу, более известному читателю под именем «Жучка».

Лаврентьев шел по улицам скорыми, большими шагами, опустив голову, по-видимому, углубленный в думы. Несколько раз он сталкивал прохожих, за-

девая своим могучим плечом, и не думал извиняться. Несколько раз его называли вслед «мужланом», «невежей», «пьяницей», но он, казалось, не слыхал этих приветствий; на одном из перекрестков на Григория Николаевича чуть было не наскочил рысак; оглобля скользнула по его плечу и оттолкнула его в сторону. Он поднял голову, послал вдогонку забористое ругательство и снова зашагал, не обращая ни на что внимания. При свете газа можно было увидать, что лицо Григория Николаевича угрюмо и озабоченно, скулы быстро двигались, и глаза его глядели мрачно. Очевидно, он был чем-то взволнован и, казалось, не чувствовал сильного мороза, свободно хватавшего грудь и шею, открытые из-под распахнувшейся длинной волчьей шубы. Действительно, Лаврентьев был очень озабочен и шел к Жучку по делу, которое занимало все его мысли.

С того памятного для Лаврентьева дня, когда Леночка отказала Григорию Николаевичу (и отказала так для него неожиданно!) и затем уехала в Петербург, обычная жизнь Григория Николаевича точно выбилась из колеи и, несмотря на все его усилия, в прежнюю колею уже войти не могла. Казалось как будто, что все шло по-старому: Лаврентьев так же усердно занимался хозяйством, работал и даже усерднее работал; так же преследовал «Кузьку», хотя все еще под

суд не упек; ратовал за интересы мужиков на земских собраниях; ругательски ругал при встречах «Никодимку», который снова получил место, – но он чувствовал, что в душе его что-то оборвалось. Ему чего-то недоставало: не было прежнего спокойствия, прежней бодрости. И самая его деятельность как будто потеряла для него тот смысл, которым она полна была прежде. Он стал хандрить. По временам одиночество как-то особенно тяготило его, и на Лаврентьева находили такие приступы тоски, с такою болью чувствовалось сиротство любящего, нежного сердца, что он «от греха», зная порывы гнева, сменявшие эту отчаянную тоску, уезжал, бывало, на несколько дней вон из Лаврентьевки, закучивал где-нибудь в селе и возвращался домой, коря себя за слабость. А то уходил с ружьем на плече в лес и шлялся по лесу, отмахивая десятки верст, до тех пор пока не одолевала усталость.

Хотя Григорий Николаевич и писал не раз Жучку, что он «здрав и невредим, чрево в такой же исправности, как, бывало, в корпусе, он на жратву лют и вообще духом ничего себе и не пьянствует», тем не менее между строк слышалась необыкновенно тоскливая нота неудовлетворенного глубокого чувства. Из недосказанной тоски его писем, из нежной заботливости, с которой он справлялся у Жучка о Леночке, из восторженных отзывов о ней было видно, что на душе

у него мрачно, безотрадно и что сердечную его рану нисколько еще не затянуло.

Прямо об этом он ни разу не написал и вообще не жаловался; напротив, в одном из последних своих писем к Жучку (а с тех пор, как Леночка переселилась в Петербург, он, прежде раз в год писавший к приятелю, зачастил письмами), в ответ на шутливое замечание Жучка о «любвях» вообще, категорически утверждал, что «любовную канитель давно бросил и дурость эту из себя извлек, как и подобает сиволапому, который рылом не вышел и не умеет выражать чувствии, как там поди умеют у вас в подлеце Питере. Пораскинувши умом, дорогой мой Жучок, оно быдто и взаправду не к моей роже и не к летам (нам, брат, сорок годов!) любовные-то возвышенности и всякая такая малина. Надо честь знать, коли раньше-то не пришлось сподобиться на этот скус!.. И то, по твоему лекарскому толкованию, всякая баба – баба, и, следовательно, гоняться, задравши-то хвост, человеку с седым волосом не приходится. Почто? – И вот я, по слабости человеческого естества, обладился тут с одной суседкой поблизости, солдатской вдовой. Преядреная, Жучок, баба и из себя по всем статьям, если бы не плут-баба. Посмотрю еще и, може, вовсе возьму ее в дом, если только, сволочь, баловать перестанет. Очень шальливая, хотя и с разумом, но только глазам ее веры что-

то нет, хоть, шельма, и ластится. Линия-то эта будто ей очень нравится… Как полагаешь, уж не сочетаться ли? Однако ты, Жучок, смотри, чтобы как-нибудь… Ни гу-гу… Этого не надо никому знать. Я только тебе для удостоверения насчет любвей».

Так, между прочим, писал Григорий Николаевич в шутливом тоне, но этот тон едва ли убедил Жучка. Лаврентьеву просто совестно было признаться перед другом, что он, закаливавший себя, бывало, в корпусе, ходивший по ночам на Голодай и никогда не пикнувший под розгами, до сих пор «не извлек из себя дурости». Леночка безраздельно царит в его сердце, и мысль о погибшем счастье отравляет его жизнь.

Григорий Николаевич сделался несообщительнее и угрюмее. Он мрачнее стал смотреть на то, что делалось вокруг, а кругом ничего радостного не было. Кузьма Петрович, до которого он так наивно добирался, неистовствовал с большею силою и, что называется, в ус не дул. Новый губернатор (губернатора-»статистика» скоро сменили после залесского «возмущения» крестьян) статистикой не занимался, а приехал с целью «подтянуть» губернию и навел страх не нее. Новое веяние отразилось, разумеется, и на подчиненных; все волей-неволей должны были подтягивать и везде улавливать «злонамеренный дух» и, очевидно, желали его искоренять. В этом похвальном намере-

нии вскоре после его вступления в должность было закрыто несколько школ и выслано несколько учителей; исправникам и становым предписано было строжайше увеличить бдительность; Григорию Николаевичу под рукой сообщили, чтобы он был осторожнее, так как его превосходительство косо смотрит на артельные сыроварни, устроенные еще давно Лаврентьевым, и относится вообще к «дикому барину» подозрительно, считая его причастным к так называемому залесскому бунту. Рассказывали, что Кузьма Петрович немало способствовал такому взгляду его превосходительства при посредстве нового правителя канцелярии, привезенного его превосходительством из Петербурга, человека молодого, но очень расторопного и исполнительного.

Бедный Иван Алексеевич, ожидавший несколько месяцев, чтобы выйти с полным пенсионом в отставку, решительно терял свою седую голову и скакал по уезду из конца в конец, обнаруживая таким образом неусыпную бдительность, и жаловался Григорию Николаевичу, когда тот изредка заезжал в город к старику с целью узнать, нет ли новостей от Леночки.

– Того и гляди, что под сюркуп попадешь [65]… Того и жди, ей-богу! – говорил он, усиленно затягиваясь сво-

[65] …под сюркуп попадешь – здесь: окажешься уволенным; сюркуп – термин карточной игры.

им трабукосом. – Уж губернатор меня два раза этим Мирзоевым допекал! А Никодимка рыжий опять что-то лебезит, видно пакость собирается сделать. И все-то он теперь шнырит и никак ничего не может открыть. На днях, шельма, докладывает, что у него есть великая тайна, ей-богу так и говорит, и весь трясется от радости. Уж вы, говорит, Иван Алексеевич, не скройте, пожалуйста, что это я, мол, первый тайну-то обнаружил!» – «Какая, спрашиваю, такая тайна?» – «Пребольшая, только я, говорит, при Марфе Алексеевне, по чрезвычайной важности, открыть не могу… Они-с, говорит, дама!..» – рассказывал старик, подмигивая глазом на Марфу Алексеевну, по обыкновению коротавшую зимние вечера за гран-пасьянсом.

– Вообразите, Григорий Николаевич, какая скотина! Так и брякнул!.. Он полагал, что и в самом деле мне очень любопытно слушать его дурацкие тайны! – вставила Марфа Алексеевна.

– Ну, положим, сестра…

– И ты туда же!..

– Очень, однако, мучилась в тот вечер… И так и эдак… Но я был неумолим!..

– Неумолим?!. Сам-то ты первый все разболтаешь… Небось поверил тогда Никодимке…

– Ну, ну, не перебивай, дай рассказать. Так вот, как это он, Никодимка-то наш, напустил такой важности, я

его сейчас в кабинет: в чем, спрашиваю, дело? «А дело, сказывает, в том, что у Петра Николаевича Курбатова (знаете Петра Николаевича, акцизного?) по вечерам собираются разные подозрительные личности, сидят за полночь и, как мне известно из достоверных источников, не так, как обыкновенно, проводят время… в карты не играют и вина не пьют, а как будто очень даже предосудительно рассуждают и, полагать надо, читают запрещенные сочинения». Я было сперва расхохотался: слава богу, знаю Петра Николаевича… о чем ему рассуждать! Однако Никодимка обиделся и клянется «Я, говорит, по долгу службы. Мало ли что может оказаться впоследствии, так уж я долг свой исполнил… Вот уже, говорит, четыре дня сряду, как у него собираются, и, заметьте, занавески спущены, чтобы не видать ничего с улицы… Таинственно так…» – «Кто ж бывает там?» – «Всех не перечислю, не знаю, а могу сказать, что два молодых армейских офицера и помещик Усатов, брат которого, знаете, был сельским учителем!.. Не угодно ли, Иван Алексеевич, сегодня же вечером проверить справедливость моих слов… Может быть, мы накроем очень серьезный заговор, и нам объявится фортуна. Не угодно ли?» – говорит и опять, каналья, трясется весь от радости… Ему, натурально, не заговор важен, а показать усердие и в люди выскочить…

– И вы пошли к Курбатову? – усмехнулся Лаврентьев.

– Нельзя было… Пошел… – со вздохом промолвил старик.

– И что же?

– Да смех один… И ругал же я Никодимку потом!.. – смеялся старик. – Он теперь – заметили? – ходит поджавши хвост, как ошпаренный поганый пес. Надо было идти, хоть я и мало верил Никодимке… Ведь окажись потом что-нибудь… в каком бы виде меня аттестовали, а? – с горькой усмешкой проговорил старик. – Сами знаете, какое ныне беспокойное время!.. Эдак в десять часов пошли мы в переулок с Никодимом… Действительно, в квартире Курбатова огонь, занавески опущены и несколько теней… Казалось бы, дело обыкновенное, но вот подите же! В ту пору и на меня, старого дурака, точно затменье нашло! А Никодимка поставил двух полицейских у ворот, заглянул в окно, – квартира-то была в нижнем этаже, – и машет мне рукой… «Посмотрите, Иван Алексеевич! – шепчет он, а голос-то у него дрожит. – Посмотрите!» На улице тихо, улица-то глухая, все спят. «Посмотрите-ка!» Заглянул, признаться, и я – что будешь делать! – в свободный уголок, занавеска-то не вся была опущена, и вижу: сидят несколько человек вокруг стола, а Петр Николаевич что-то читает… «Виде-

ли?» – «Видел, говорю». – «Это непременно какая-нибудь прокламация!» И с такой уверенностью это говорит Никодим, что я и взаправду в ту минуту подумал, что Петр-то Николаевич читает прокламацию… Очень уж, Григорий Николаевич, напуганы мы, ей-богу… Ну, ладно. Я и говорю Никодимке: пойдем! А он струсил: «А если, говорит, с оружием в руках? Надо, Иван Алексеевич, осторожно!.. Разве можно так!» – «Эх, Никодим Егорович!» – Это я-то ему, и сам, недолго думая, в квартиру. Иду, двери нигде не заперты. Тут, признаться, сомненье меня взяло: статочное ли дело Петру Николаевичу прокламации и все такое? Наверное, набрехал Никодимка. Я все иду. Тьфу!

Старик плюнул, засосал сигарку и через минуту продолжал:

– Вошел в залу – темно; думаю: не вернуть ли назад? Хотя и строжайшая бдительность и все такое, но все-таки в чужую квартиру эдак, как бы татью… Не знаю, пошел ли бы дальше, как из соседней комнаты кто-то спрашивает: «Степан, ты?» Ну-с, я кашлянул, да и отворяю дверь. Смотрю – все знакомые: следователь, два армейских офицерика да еще губернаторский племянник, шут гороховый, от скуки по губернии шатается, при дяденьке в поручениях. Петр Николаевич ничего, даже обрадовался. Тары-бары, садитесь. «Как вас бог занес?» – «На огонек, говорю, думал – пу-

лечка». – «Какая пулечка! Интересную книжку читаем, хотите послушать?» – «А что такое, какая такая книжечка?» – «Посмотрите-ка, редкая, только что вышла в Петербурге». И сует мне под нос книжку; посмотрел: «Девица Жиро, моя жена» [66]… «Вы послушайте-ка, Иван Алексеевич…» И Петр Николаевич прочел один отрывок, очень уж пакостный. Я, знаете, для приличия посидел с четверть часика и как дурак выхожу вон. А Никодимка за воротами: «Ну что?» В те поры я очень рассердился и говорю: «А то, что вы болваниссимус!» Он то, се… я ему и рассказал, да и про то, что племянник губернаторский там был. Он перетрусил. «Не давайте, взмолил, огласки!» Ну, уж и пробрал я его. Смотрите и вы, Григорий Николаевич, того… не болтайте, а то как раз посмешищем станешь. Еще слава богу, Петр-то Николаевич не догадался! – окончил свой рассказ словоохотливый старик. – Вот вам и прокламации! Они «Девицу Жиро», а Никодимка сдуру трясся. И я-то, нечего сказать, обезумел! Да и, право, обезумеешь! Времена!..

Григорий Николаевич несколько раз улыбался во время этого рассказа и осведомился, давно ли были известия от Елены Ивановны. Оказалось, что недавно. «Леночка здорова, учится и, кажется, все слава

[66] «Девица Жиро, моя жена» – роман французского писателя Адольфа Бело (1829-1890).

богу». Лаврентьев изредка заезжал к исправнику на полчаса и незаметно расспрашивал о Леночке.

Несколько дней тому назад Лаврентьев, не получая долго писем от Жучка (Жучок писал редко), поехал в город и, по обыкновению, зашел к Ивану Алексеевичу. Старика дома не было, а Марфа Алексеевна встретила его смущенная, с письмом в руках, вся в слезах.

– Что такое? Не случилось ли чего с Еленой Ивановной? – спросил упавшим голосом Лаврентьев. – Неприятное письмо? От Елены Ивановны?

– И очень даже неприятное! – значительно проговорила старая девица. – Ох, уж это ученье! Чуяло мое сердце! Вы-то чего медлили, скажите на милость!

– Больна? Да что же вы, Марфа Алексеевна? Говорите же!

– Да что вы-то пристали? Эх вы! Вовремя-то жениться не умели. Тоже поблажку давали. Говорила я!..

– Да вы толком.

– Тоже умный человек еще считается. Не видал, как козла пустил в огород! Нос-то вам и наклеила девка!

– Ну, уж вы это оставьте, Марфа Алексеевна.

– Оставьте?! Уж очень умны вы стали, а мы глупы. Что «оставьте»? Вы думаете, она не из-за этого молодца вам-то отказала? Глупы вы, мужчины, как втюритесь, я посмотрю! Все он, Вязников-то, умник петербургский… Он книжки носил да потом это вместе и в

Петербург сманил! Я давно ее предупреждала, а она: ах, тетенька! Вот теперь и «ах, тетенька!». Кто-то умен был!

При имени Вязникова лицо Григория Николаевича сделалось мрачно, в сердце у него что-то больно заныло.

Как нарочно в эту минуту ему припомнилось, что Жучок не очень-то одобрительно отзывался в письмах о Вязникове и, между прочим, писал, что он часто бывает у Леночки и, кажется, имеет на нее большое влияние.

– Я говорила тогда отцу: не пускай ты ее в Петербург. Доброму-то там не научится, а только коммуны разные, мерзость всякая… слава богу, пишут, ну, а он, как известно, первый потатчик!.. И хоть бы братьев слушала! Как можно: мы всех умней. Вот и умней. А она-то, глупенькая, доверчивая… и в самом деле вообразила, что Вязников-то имеет намерения, как следует благородному человеку. Да разве он серьезно, что ли? Еще здесь бывши, он все к Смирновым шатался… Знает, где приданое, небось не дурак, на Ваську-то не похож, на блажного! Ну, а глупую отчего же и не облестить. Сама лезла, видно. Долго ли до греха…

Григория Николаевича всего передернуло при этих намеках. Он с презрением взглянул на Марфу Алексеевну и резко проговорил:

– Как вам не стыдно, Марфа Алексеевна, клеветать на Елену Ивановну? Вы все вздор городите. И тот, кто вам эти пакости сообщает, тот подлец!

– Да вы-то что вскинулись? Он же! Его, как дурака обвели, а он на меня же! Вы, сударь, потише. Сделайте одолжение. Она-то мне – кровь, а вам что? Была, батюшка, невестой да сплыла. Клевещут! Стану я на родную племянницу клеветать. Язык у вас вовсе мужицкий. То-то за вас и Леночка даже не пошла! Брат родной ее пишет… брат!.. Понимаете ли? Каково-то отцу, отцу-то каково! – ныла Марфа Алексеевна.

– Что ж он пишет? – спросил Григорий Николаевич.

– Что пишет?! Так вам и скажи. И без того сраму довольно.

– Марфа Алексеевна… Вы того… лучше скажите! Я знать хочу! Слышите! – проговорил Лаврентьев.

Марфа Алексеевна испуганно взглянула на Лаврентьева. Лицо его было бледно и искажено страданием, губы дрожали.

– Да вы, Григорий Николаевич, что ж так глядите?.. Я вам все расскажу… Вы, я знаю, сору из избы не вынесете, я знаю вас. Человек вы верный и любит? Леночку. Читайте сами!

Григорий Николаевич схватил письмо и стал читать. В письме этом брат Леночки сообщал о странных отношениях между Вязниковым и Леночкой и выражал

опасения, что сестра кончит очень скверно и сделается, если не сделалась, любовницей Вязникова. Она влюблена в него, как дура, а он, конечно, не женится на ней и бросит. Случайно он уверился в своих предположениях, но путаться в эти дрязги не намерен, тем более что сестра ему не доверяет, но он считает долгом предупредить и пр.

– Пакость какая! – с омерзением проговорил Лаврентьев. – Хорош брат! Марфа Алексеевна! Если вы любите старика, не показывайте ему этой мерзости! И вы могли поверить?

– Невероятного-то немного! Точно нашу сестру трудно уверить.

– Да разве Вязников… подлец? Да нет… Елена Ивановна…

– И не подлецы увлекутся, а потом и бросят. Мало ли примеров.

– Нет, это все вздор!.. Чепуха!.. Не может быть! Не сказывайте же старику. Бога побойтесь! – упрашивал Григорий Николаевич.

Она дала слово, и Лаврентьев ушел от нее совсем мрачный и расстроенный. В тот же вечер он уехал в Петербург, решившись узнать в чем дело и, если нужно, вступиться за оскорбленную Леночку и наказать негодяя.

«Нет, это вздор! – повторял он, утешая себя. – Она

сказала бы мне, когда отказывала, если бы любила этого Вязникова». Однако слова тетки сделали свое дело. Ненависть к Николаю уже охватила все его существо, и он считал его теперь виновником своего одиночества и несчастия Леночки.

IX

Александр Михайлович Непорожнев, худощавый, низенький господин с маленьким, смуглым, приятным лицом, обросшим черными волосами, и черными светящимися глазами, сидел в старом, запятнанном, военном пальто с засученными рукавами, у большой лампы, привинченной к краю рабочего стола, и, напевая фальшивым тенорком арию из «Руслана» [67], препарировал распластанную на дощечке зеленую лягушку.

Большая комната, в которой он работал, сразу свидетельствовала о профессии хозяина. Огромных размеров рабочий стол, занимавший большую часть кабинета, был заставлен различными инструментами, препаратами, электрическими приборами, банками, бутылями и ящиками. В одних банках шлепались лягушки, в других неподвижно лежала целая груда их, в третьих хранились в спирту различные органы животных. В двух клетках сидели кролики с вытаращенными красными глазами и заяц с перевязанным горлом; на краю стола, в ящике, устланном сеном, смирно лежала маленькая собачонка с обмотанной головой и,

---

[67] …ария из «Руслана»… – «Руслан и Людмила» (1842) – опера М.И.Глинки (1804-1857).

уткнувши морду в лапки, глядела умными, несколько томными глазами на доктора. Несколько шкафов с книгами, письменный небольшой стол да несколько стульев составляли остальное убранство комнаты. В ней стоял тяжелый, особенный запах. Пахло спиртом, животными и табаком.

Доктор отбросил на стол дощечку с лягушкой, хлебнул глоток чаю и посмотрел было на банку с живыми лягушками, как раздался сильный звонок, и через минуту на пороге появилась плотная фигура с косматой головой. Доктор взглянул и бросился навстречу Лаврентьеву.

– Когда приехал? Какими судьбами занесло тебя в подлый Питер? Ого! Поседел-таки порядочно! – весело говорил Непорожнев после того, как облобызался с приятелем и усадил его на диван. – Надеюсь, у меня остановишься? Место-то есть. Не здесь, не думай! У меня рядом еще комната!

– Нет, брат, я у Знаменья пристал!

– И тебе не стыдно, Лаврентьев! Завтра ко мне тащи чемодан.

– Да я, видишь ли, не знал, один ли ты.

– Думал, с дамой какой, что ли? Нет, брат, я без дамы, больше вот с этой тварью! – улыбнулся он, указывая на банки.

– Все потрошишь?

– Потрошу.

– Любезное, брат, дело. А вонь, одначе, у тебя, Жучок! – проговорил Григорий Николаевич, поводя носом. – С воздуха сильно отшибает.

– Попахивает! – рассмеялся Жучок. – А мы пойдем-ка в другую комнату.

– И в Питере у вас везде вонь!

– Нельзя, брат… Столица! Тебе после твоей Лаврентьевки, чай, с непривычки.

– Пакостно! А пес-то что это у тебя обвязан? Нешто пытал его? – спрашивал Лаврентьев, подходя к столу.

– Пытал!

– И зайчину тоже? Эко у тебя, Жучок, всякой пакости!

Они перешли в соседнюю комнату и уселись за самоваром.

– Ну, как живешь, дружище? – участливо спрашивал доктор, наливая чай. – Что, как дела?

– Мерзость одна…

– А что? Кузька вас донимает?

– Всякой, Жучок, пакости довольно! Иной раз тоска берет!

– Гм! А ты, Лаврентьев, на вид-то неказист! – проговорил доктор, разглядывая пристально Лаврентьева. – Лицо у тебя неважное. Осунулся, глаза ввалились. Здоров? А то не спал, что ли, дорогой?

– Самую малость.

– Отоспишься! Ты ром-то пьешь?

– Люблю временем! – промолвил Григорий Николаевич и, отпив полстакана, долил его ромом. – Иной раз выпиваю, Жучок! – как-то угрюмо прибавил Лаврентьев.

– Что так?

– Да так. Тоска подчас забирает!

– Хандрить-то, значит, не перестал, – тихо промолвил доктор, посматривая на приятеля. – Надолго приехал?

– А не знаю, денька три-четыре…

– Проветриться?

– Дело одно!

Лаврентьев все не решался заговорить о Леночке. Приятели несколько времени дружески разговаривали о разных предметах; больше говорил Жучок, Лаврентьев слушал и все подливал себе рому. Наконец он спросил как будто равнодушным тоном:

– Давно Елену Ивановну видел?

– Недели две.

– Здорова?

– Ничего себе. Похудела только немного. Заходила ко мне, урок просила достать. Я достал ей. Барышня твоя работящая, хорошая.

– Хорошая! – воскликнул Лаврентьев. – Это, брат,

такой человек… мало таких, брат!

– Людей вот только не раскусывает. В Вязникова этого очень уж верит! А по-моему, человек он неважный. Не глупый, а болтает больше! И думает о себе… думает! Барышня горой за него. Да и ты им прежде увлекался, а? Брат у него – другой человек!

– Человека-то не раскусишь!

– Ну, да и, признаться, мужчина-то он! Как раз по юбочной части! Красив, умен, говорит хорошо, огонек есть, глаза такие, ну и все прочее… Лестно! А самолюбив!..

– Ты, Жучок, это насчет чего? Разве он того, шибко ухаживает за барышней? Близок к ней? – проговорил Григорий Николаевич, с трудом выговаривая слова и не глядя на Жучка.

– А ты думал, зевать станет!

– То есть как?

– Очень просто. Твоя барышня, кажется, втюрилась в него! Ты раньше-то не догадывался?

– Втюрилась! Видишь ли, к тетке тоже писали, и будто он с ней подло поступает… Правда это? Не знаешь? Нет ли какой пакости?

– Не знаю. Да ты чего глядишь так? Ну, и бог с ними!.. Оставь их в покое!..

– Оставить! – воскликнул, сверкая глазами, Лаврентьев. – Негодяй соблазнит, а после бросит человека,

как дерьмо?.. Шалишь!

– Уж и соблазнит! Почем ты знаешь?..

– А если… Мало ли между брехунами прохвостов!.. Они самые подлые!.. Сперва благородные слова… развивать, мол, а после…

– А после, – подхватил доктор, и лицо его насмешливо улыбалось, – книжки под стол и в третью позицию: «Так, мол, и так…», «шепот, робкое дыханье» [68] и прочее. Ну, а девица, на то она и девица, чтобы млеть и слушать кавалера. И пойдет развитие, но уже по части амуров и для приращения человечества, но, разумеется, без стеснения узами Гименея. А там сорвал цветы удовольствия… «Очень прискорбно… Ты мне не пара!..» и лети к другому цветку, начинай снова: книжки под мышку… заговаривай зубы… Все это так. Есть такие бездельники шатающиеся… есть, но нынче они реже. И девица стала умней…

– Такую тварь и убить не жаль!

– Эка какой ты кровожадный! Уж не приехал ли ты, Лавруша, Вязникова убивать? – улыбнулся Жучок. – И с чего это сыр-бор загорелся? Ты, брат, кажется, напрасно его в негодяи уж произвел. Малый он, по-моему, легковесный, неработящий, но все ж не паскудник. Почем ты знаешь, может и он барышню облюбо-

---

[68] …»шепот, робкое дыханье»… – Начальная строка известного стихотворения А.А.Фета (1820-1892).

вал… А ты уж сейчас в защиту невинности… Да, может, невинность-то тебя за это не похвалит!..

– Это мы все узнаем! – прошептал Григорий Николаевич, подливая себе рому. Он чувствовал, как злоба душила его при имени Вязникова.

Доктор пристально взглядывал на приятеля и, помолчав, заметил:

– Посмотрю я, Лавруша, так ты, дружище, того…

Григорий Николаевич вспыхнул и угрюмо процедил:

– Что «того»?

– Дурость-то, как видно, не извлек, а? – тихо, с нежностью в голосе, проговорил Жучок.

Лаврентьев молчал.

– Кисну еще! – тихо проговорил он наконец, опуская голову.

– И работа не помогает?

– Нет.

– Гм!.. Переселяйся в город.

– Куда уж. Что в городе-то? У вас хуже еще! У нас хоть народ-то по совести живет, а у вас?! А эта кислота пройдет… наверное пройдет. Одному иной раз тоска… такая тоска! Если б ты только знал, брат! К тому же и пакость пошла… Кругом разорение да грабеж… Один Кузька крови-то сколько перепортил! А все в город не пойду! Привык к вольному воздуху. Привык!.. Разве вот погонят. И ты ведь один! – прибавил Лав-

рентьев.

– А эти твари! – улыбнулся доктор, указывая головой на соседнюю комнату. – Слышишь, как шлепают. Я, брат, всегда в веселой компании.

– И ничего, ладно?

– Ничего себе, ладно. Занят. Надеюсь за границу на счет академии ехать! Недавно вот операцию в клинике ловкую сделал одному больному. Он было умирал, а я ему не дал! – рассказывал, оживляясь, доктор.

– Выздоровел?

– Э, нет, умер, где ему жить, нечем, брат, было жить, но все-таки сутки-то я его продержал!.. Ровно сутки!

– Эка, стоило хлопотать!

– Да тут не в больном! Умер сутками раньше, сутками позже – не в том дело, а главное – операция. Надо было в точку. Обыкновенно умирают под ножом, а он сутки… понимаешь, Лаврентьев, сутки!

Однако Григорий Николаевич все-таки не мог понять радости приятеля, что он дал больному отсрочку на сутки, и не без удивления слушал, с каким азартом Жучок рассказывал об этом обстоятельстве и даже вошел в подробности.

– Все, знаешь ли, собрались наутро смотреть, как это я сделал операцию; я ее принял на свою ответственность, – ночью, вижу – больной задыхался. Профессор и ассистенты!.. А у нас, брат, народ тоже, как и

везде… зависть, интриги… Около профессоров некоторые лебезят, до лакейства доходят даже, потому что профессор, да еще знаменитый, может пустить тебя в ход. Практика и все такое. Ну, профессор посмотрел, и все смотрят разрез-то мой, а я объясняю. А сам, брат Лаврентьев, не уверен… не повредил ли я при операции органов? Надо было в самую точку. Профессор (а он очень ко мне расположен) одобрительно покачал головой, а другие, вижу, переглядываются, шепчутся. На некоторых лицах злорадство. Провалился, мол, я! Целые сутки я был, брат, сам не свой… Жду. Однако больной умер как следует, по всем правилам. Вскрыли… опять все собрались, и что же? Операция-то оказалась без малейшей фальши… В точку! В самую точку! Ни одного органа не повреждено. Ну, профессор меня поздравил, а у многих лица-то вытянулись! – рассмеялся доктор, оканчивая рассказ о своем торжестве. – Словно аршин проглотили!..

Григорий Николаевич между тем все подливал себе рому. Рассказ Жучка произвел на него странное впечатление. Он недоумевал по простоте, с чего это Жучок придает такое значение этому случаю и так радуется, что отсрочил смерть на сутки. Радость Жучка ему показалась даже несколько удивительной. Он с уважением посматривал на своего друга, а в голове

его пробегала мысль: «Чудак, однако, Жучок! Как он радуется!»

– И у вас в науке, брат, пакостничают! – заметил он. – Друг дружку грызут, как послушаю!

– Нельзя. Мы, брат, тоже люди! – усмехнулся Жучок.

– То-то! А я бы, Жучок, не пошел к вам!

– Что так?

– Претит, как послушаешь тебя!.. Оно наука – вещь пользительная, это мы понять можем, а только… в деревне-то лучше! И человек там проще, а у вас тут…

Лаврентьев махнул рукой и замолчал. Жучок улыбался.

– Эх, Жучок, – начал, немного спустя, Григорий Николаевич. – Ты поди думаешь, как это я все насчет этой барышни. Ты вот с лягухами да со всякой дрянью, в точку там попадаешь, за границу поедешь… все как следует. Молодчина! Тебе оно по душе, а мне это ни к дьяволу. Вонь одна, нутро воротит, да и глуп я для вашего дела! Какая уж наука! Мне в самый раз в деревне, и нет другого места. Да если бы в Лаврентьевку хозяйку…

Григорий Николаевич произнес последние слова с глубокой тоской в голосе. Он вылил из бутылки остатки рома в стакан, отпил и сказал:

– Я, Жучок, к ней-то привязался, как собака!.. Ты

этого не понимаешь, я никогда тебе не сказывал. Два раза пытал и только по третьему согласилась. Вовсе обнадежен был. Думал, вместе заживем, и так радостно это было! Все к свадьбе обладил. Фрак заказал… фрак, пойми! Космы окорнал, бороду постриг, – смеялись даже. Ну, усадьбу отделал, все как следует… вот-вот и хозяйка дорогая домишко-то голоском звонким огласит… душу согреет словом, взглядом, лаской. День свадьбы назначили! Три года ждал этого счастья и думал: пришло и ко мне оно… Да так при фраке и остался! Прежде, помоложе был, оно будто и не так одному мотаться, а года – дрянь дело. Душа-то у меня глупая, тоже ищет тепла, друга требует, а ты один, и никому твоей паршивой души не требуется!

Лаврентьев помолчал, взглянул на притихшего приятеля и продолжал:

– Тебя, Жучок, вот любили, а меня никто, ни разу. Рыло-то, видно, уж очень зазорное! – усмехнулся горько Лаврентьев. – Ни разу! Ну, и робость, – сам знаешь, робею я с женским полом. Вот и пойми, какова радость-то была, когда она свое согласие изъявила и со мной, как с человеком близким, ласковая, добрая, слушала, как я ей песни пел, про жизнь рассказывал. Она-то! Такая душа нежная, откликнулась! И вдруг словно треснули по лбу. Все пошло прахом. Жалела только, а настоящего-то нету… настоящего-то…

При фраке! Думал, выдержу… сперва-то хоть руки наложи! Гришка! Осилю, а поди и по сю пору не осилил. Бобылем вот и живи, мотайся. Ни привета, ни ласки. Выйдешь это теперь из дому. Хорошо так у нас, Жучок! Люблю я встать рано. Воздух весной – сладость; всякая тварь трепещет жизнью, солнышко подымается такое радостное и льет свет, а ты один, как пень, – один… Придет вечер – и опять благодать у нас вокруг, пей ее полной грудью, а ты снова один! Зиму вот скоротал, а только и зима! Скверная, друг, зима! Подлая зима!..

Утомленный двумя бессонными ночами, Лаврентьев несколько захмелел после выпитой им бутылки рома. Он начал было рассказывать про Кузьму Петровича, какие он пакости мастерит, но скоро умолк и осовел. Голова отяжелела. Пора было отдохнуть. Он собрался было уходить, но доктор уговорил его переночевать у него.

– Ну, ладно, Жучок. Мне где-нибудь. Нежностей не надо!.. Только вот потрошить лягух – ни-ни!.. А завтра мы все узнаем! – повторял он, раздеваясь. – Узнаем, и если он обидел ее – берегись!.. Берегись! – воскликнул Григорий Николаевич, сжимая кулаки при воспоминании о Вязникове.

– Ложись-ка да отдохни, брат! – проговорил доктор, – а я пойду, еще одну лягуху обработаю.

– Обработывай, обработывай, Жучок, прах тебя бери! Ты человек хороший, Жучок, хороший!..

На следующий день Григорий Николаевич, как читатель уже знает, был у Николая, но не застал его дома. Своим визитом он несколько смутил нашего молодого человека, но смущение это скоро прошло, и Николай нарочно просидел до вечера дома, поджидая Лаврентьева. Мысль, что его могут обвинить в трусости, придавала ему отчаянную храбрость. Однако Лаврентьев не приходил. Николай написал длинное письмо отцу, в котором просил согласия на брак с Леночкой (он не сомневался, разумеется, в согласии), получил денежное письмо, принесенное дворником, и был тронут извинениями отца, что он не может помогать Николаю так, как бы хотелось; а о том, что у них у самих нет денег и что посланные деньги были заняты, – ни слова!

Эта деликатность и тронула и кольнула Николая.

«Он больше не будет стеснять своих славных стариков».

X

Сердце Леночки забило тревогу, когда вечером она услыхала от Николая о посещении господина, похожего по всем описаниям на Григория Николаевича. О, это непременно он; она не сомневалась. Она знала ревнивые порывы Лаврентьева, знала, что он все еще любит ее («Ах, зачем он не забыл ее!»), и ничего нет невероятного, если он приходил к Николаю. Он должен ненавидеть его. И все из-за нее. Она одна во всем виновата. Она тогда скрыла от Лаврентьева, что любит другого, и теперь все обрушится на Николая. Какое-нибудь грубое слово. Николай вспыхнет – он такой горячий! – и, господи, что может быть. Страх за любимого человека охватил Леночку. Мысль, что Лаврентьев как-нибудь догадывается об их отношениях и вздумает обвинить Николая, невольно прокрадывалась в голову. Она вспомнила намеки брата, сцену… Это совсем расстроило Леночку, хотя она и старалась скрыть свое смущение от Николая.

– Тебя эта новость испугала, Лена?

– Нет. Отчего ж?.. Он просто зашел к тебе. Да наконец, может быть, это был и не Лаврентьев.

– Ну, положим, Лаврентьев. Лохматый, ровно мужик, – кому другому быть? – насмешливо проговорил

Николай. – Наверное, Отелло из Лаврентьевки.

– А ты не принимай его, Коля. С какой стати!

Николай удивленно взглянул на Леночку и резко заметил:

– Какой ты вздор говоришь!.. Отчего не принять? Я приму его… Посмотрю на дикого человека, давно не видал! Не бойся, со мной он будет смирен. Я медведей не боюсь! Ну, да об этом нечего и говорить!.. Успокойся, пожалуйста, а то со страху ты не ведаешь, что говоришь!

Николай как-то особенно оживленно болтал и казался очень веселым. Он взял Леночку в театр и все посмеивался над ее страхами. И она старалась скрыть перед ним свою тревогу напускной веселостью, хотя ей было жутко. Она слушала болтовню Николая, а сама думала, как бы увидаться с Лаврентьевым и узнать, зачем он приехал. Пусть Николай рассердится, пусть даже очень рассердится, узнавши об этом, но она должна объясниться с Григорием Николаевичем, не теряя времени, а то, пожалуй, будет поздно. Она во всем виновата и должна поправить ошибку. В ее воображении чудились бог знает какие картины. Она знала, что Лаврентьев страдает, он оскорблен. Мало ли на что решится такой человек! И ей вдруг представилось, что этот близкий ей, дорогой, славный Николай лежит без дыхания, а около Лаврен-

тьев с пистолетом. О господи! Она зажмурила глаза. Голова у нее закружилась.

– Что с тобой, Лена? Ты бледна совсем.

– Голова закружилась! – слабо улыбнулась она. – Жарко здесь.

– Пойдем в фойе.

– Нет, ничего. Теперь прошло. А ты на меня не сердишься, Коля?

– За что?..

– Да, помнишь, я глупость сказала, советовала не принимать Лаврентьева. Ведь и правда – глупость, сама вижу. Конечно, прими. Ты ведь в одиннадцать часов встаешь?..

– Завтра раньше встану…

– Раньше? А мы разве не поедем из театра поужинать? Мне очень есть хочется!

– В первый раз ты зовешь ужинать!.. Вот чудеса, Лена! Поедем, я рад!..

Он было предложил ей ехать, не дождавшись конца спектакля, но она упросила его остаться. Они поехали и долго сидели за ужином. Николай все торопился, говоря, что ему надо раньше встать, а она, как нарочно, сегодня была необыкновенно мила, возбуждена и просила посидеть еще минуточку…

– Ну, Лена, из-за тебя я опять поздно встану. Пожалуй, заставлю дожидаться дикого человека, если он

удостоит своим посещением!..

– Подождет!.. – весело отвечала Леночка, крепко прижимаясь к Николаю.

Она поздно вернулась домой… О, какие мучительные часы тревоги провела она, а часы тянулись так долго! Леночка не смыкала во всю ночь глаз. Только под утро она немного забылась. Сон был тревожный; ей все снился убитый Николай, и она несколько раз в страхе вскакивала с постели.

В девятом часу уж она ехала к Непорожневу и все торопила извозчика: «Ради бога скорей, скорей!» Доктор с изумлением встретил бедную встревоженную Леночку.

– Что случилось, барышня?

– Ничего, ничего. Мне надо видеть Григория Николаевича. Он у вас?

«Таки не послушался! – промелькнуло у Жучка. – Верно, сочинил скандал!»

– Нет. Да вы передайте, что надо. Я ему скажу.

– Где он живет? – спрашивала Леночка.

Доктор сообщил ей адрес.

– До свидания… Извините!.. – проговорила Леночка, уходя.

– Да что случилось?.. Эка какая… уж вспорхнула и не слышит!.. Удивительно решительны они, когда любят!.. И Лаврентьев еще вздумал защищать ее от че-

ловека, за которого она жизнь отдаст! Она его поблагодарит! Экая ерунда! – промолвил Жучок, присаживаясь к своим лягушкам. – Ну, лезь… лезь, голубушка!

Леночка вышла на улицу. Извозчик, который привез ее, уже уехал с седоком… («Экая я дура! не догадалась оставить его!») На улице не было ни одного извозчика. Она побежала почти бегом и наконец только на мосту встретила сани.

– Домой еду, барышня! – сказал извозчик, когда она позвала его.

– Голубчик… довези… Недалеко.

– Куда?

– К Знаменью…

Он отрицательно махнул головой и стегнул лошадь… У Леночки выступили слезы…

Наконец уже за мостом она села в сани и велела ехать как можно скорей…

– Али за дохтуром? – полюбопытствовал извозчик, с участием взглядывая на бледное лицо Леночки.

– Да… да… человек умирает…

Извозчик понесся во весь дух.

– Стой… тут… у большого дома…

Она поднялась бегом наверх, в четвертый этаж, и постучалась в тридцать второй номер. Ответа нет.

«Спит, верно!» – радостно подумала Леночка и постучала сильней.

– Да вы напрасно, барышня! – проговорила проходившая по коридору горничная с самоваром. – Господин из тридцать второго номера с час тому назад как ушли!..

– Куда? – машинально спросила Леночка.

– А не знаю… Нам не сказывали! – иронически заметила горничная, останавливаясь на минуту и осматривая Леночку.

– Да здесь Лаврентьев живет?

– А бог его знает… Черномазый такой… лохматый!

У Леночки упало сердце…

«Он, верно, теперь у Николая… Но Коля спит!.. Лаврентьев, значит, дожидается, и она вызовет его!»

Эта мысль придала ей энергии. Надежда снова улыбнулась ей. Она взглянула на часы, – без четверти десять.

«Он наверное спит! К десяти часам она доедет…»

Сердце ее замирало от страха, когда она дернула звонок у дверей квартиры Вязникова. Степанида отворила дверь. Леночка взглянула пытливым взглядом в лицо кухарки: ничего, лицо спокойное, приветливое.

– Здравствуйте, барышня! Как поживаете? Давно не жаловали!.. Давно!..

– Николай Иванович дома?

– Нет. Сегодня раненько ушли.

– Давно?

– Да с полчаса будет.

– Здоров он?

– Слава богу… Что ему делается! Сегодня и встал-то рано, в восемь часов. Поджидали все одного знакомого, что вчера приходил… «Вы, говорит, Степанида, беспременно разбудите»… Он не любит так рано вставать, а тут сейчас же вскочил… Да что же вы, барышня… Вы взойдите… Отдохните… Запыхались, чай?

– А вчерашний господин был?

– Как же, был. Сродственник их?

– Нет.

– То-то и я подумала, что нет! Угрюмый такой барин… А может, и не барин?

– И долго он был?

– А не знаю. Не знаю, барышня. Я в булочную бегала. Он без меня ушел, а вскоре за ним и Николай Иванович.

Леночка вздохнула свободнее. С Николаем ничего не случилось. Однако какое было объяснение? И чем око кончилось? Снова тревожные мысли охватили любящее создание. «Лаврентьев не так же приходил! Она, во всяком случае, должна увидать Лаврентьева!»

Через полчаса она опять стучалась у дверей тридцать второго номера.

– Входи! – раздался твердый голос Лаврентьева.

Она отворила двери. При ее появлении Григорий Николаевич совсем смутился и опустил глаза в каком-то благоговейном страхе, точно пред ним явился грозный судья, а не встревоженная и бледная Леночка.

XI

Прежде, чем продолжать наше повествование, необходимо рассказать читателю о встрече Лаврентьева с Николаем, которая так беспокоила бедную Леночку.

В это утро наш молодой человек не заставил будить себя несколько раз. Как только Степанида постучала в дверь и объявила, что восемь часов, Николай вскочил с постели и стал одеваться с нервной поспешностью человека, боящегося опоздать. Эту ночь, против обыкновения, он спал скверно: с вечера долго не мог заснуть и часто просыпался, нервы его были возбуждены ожиданием встречи с Лаврентьевым. Хотя накануне он и казался веселым, стараясь уверить и Леночку и себя самого, что свидание с Григорием Николаевичем нисколько его не тревожит, но именно оно-то и тревожило Николая своей неизвестностью. Он вполне был уверен, что вчера к нему заходил Лаврентьев, и не сомневался, что он непременно придет и сегодня, и придет, казалось ему, не как добрый знакомый, а иначе.

Николай тщательно повязывал галстух перед зеркалом, и в это время различные предположения лезли в голову по поводу ожидаемой встречи. Он ждал

ее, заранее настраивая себя на враждебный тон к этому «дикому человеку», который прежде ему даже нравился. Николай догадывался, что «дикий человек» все еще любит Леночку («И охота мне было расстроить свадьбу!»), как может любить эта «дикая натура», и под влиянием страсти готов, пожалуй, выкинуть какую-нибудь грубую выходку.

При одной мысли об этом кровь приливала к сердцу возбужденного молодого человека; глаза зажигались огоньком, нервно сжимался кулак… он закипал гневом от воображаемой обиды. Что-то стихийно-безобразное казалось ему теперь в натуре Лаврентьева; он вздрагивал от негодования и напряженно прислушивался, не раздастся ли звонок.

Напрасно он старался быть спокойным и не думать о Лаврентьеве. Он наскоро выпил кофе, отхлебывая быстрыми глотками из чашки, курил папироску за папироской и заходил быстрыми шагами по кабинету. Невольно мысли сосредоточивались на одном и том же: «К чему заходил к нему Лаврентьев? Что ему надо? Не узнал ли он об его отношениях к Леночке?»

Николай снова почувствовал себя очень виноватым перед Леночкой, но какое дело Лаврентьеву? Как он смеет мешаться в его личные дела? Разумеется, он не снизойдет до объяснения по поводу своих отношений, если бы Лаврентьев осмелился потребовать их.

Никто не смеет мешаться. Он никому не позволит! «А все-таки лучше было бы, если бы он не увлекался: не было бы глупого свидания с диким человеком!» – проносилось в его голове.

– Уж не трушу ли я этого Отелло? – насмешливо проговорил вслух Николай. «Трусишь!» – подсказал ему внутренний голос. Мысль, что он трусит, заставила его вспыхнуть от негодования, стыда и злости. Он презрительно улыбнулся и взглянул в зеркало, потом присел к столу и принялся читать книгу.

Но ему не читалось. Строки мелькали перед глазами, он не понимал их. Напряженно прислушивался он снова к звонку, поджидая Лаврентьева в тревожном, возбужденном состоянии. Он чувствовал, что встреча с «диким человеком» будет серьезная.

Ему казалось, что время идет необыкновенно долго, и он досадовал, что Лаврентьев не приходит.

«Скорей бы он приходил!»

Николай решил ждать его до часу, а то, пожалуй, этот «медведь» подумает, что Николай нарочно избегает свидания.

«А может быть, он и не придет! Просто заходил повидаться, не застал – и уедет в свою берлогу. Верно, приехал по какому-нибудь делу на короткое время, а я уж черт знает что предполагаю – какие-то враждебные намерения! За что ему питать ко мне злые чув-

ства? Не дурак же он в самом деле! Леночка ему отказала, ну, конечно, неприятно, да разве я виноват, что она не любит его? Пожалуй, он уж видел Васю, узнал о свадьбе и не придет… К чему ему приходить?»

Так пробовал было Николай объяснить себе цель посещения Григория Николаевича, но сам тотчас же сознавал нелепость этих объяснений.

– Ну и черт с ним! – проговорил он, злясь, что Лаврентьев его так тревожит.

Он принялся было за работу, как вдруг в прихожей раздался резкий звонок.

– Это он! – прошептал наш молодой человек, слыша в этом резком звонке что-то особенное.

Сердце у него екнуло. Страх внезапно охватил все его существо, по спине пробежали холодные мурашки, и он вздрогнул. Но это было на одно мгновение. Через секунду он уже оправился. Боязнь показаться перед Лаврентьевым (и вообще перед кем бы то ни было) трусом пересилила малодушный страх. Он вдруг как-то весь подобрался и казался не только совершенно спокойным, но как будто даже веселым и беспечным. Чуть-чуть насмешливая улыбка скользила по его слегка вздрагивающим губам; надетое пенсне придавало его лицу вызывающее, пикантное выражение. Глядя теперь на Николая, свежего, румяного, красивого и улыбающегося, нельзя было и поду-

мать, что несколько секунд тому назад он перетрусил.

Он повернул голову к дверям, но тотчас же снова отвернулся. Он ясно слышал, как тихо скрипнули двери, и кто-то вошел.

«Без позволения входит!» – подумал Николай.

Он все-таки не оборачивался и ждал. Кто-то откашлялся. Тогда только Вязников повернулся и увидал приземистую неуклюжую фигуру Лаврентьева в черном сюртуке, высоких сапогах, с огромной бараньей шапкой в руках.

Николай поднялся с кресла, сделал несколько шагов и остановился при виде серьезной и мрачной физиономии Григория Николаевича. Они обменялись поклонами, но никто из них не протянул друг другу руки. Оба внезапно почувствовали смущение и серьезно взглянули один на другого.

– Я пришел к вам по делу! – сухо и резко оборвал Григорий Николаевич, стараясь не глядеть на Николая и приближаясь на несколько шагов. – Дело это очень для меня важное! – глухим, тяжелым голосом прибавил он.

– Я к вашим услугам, Григорий Николаевич! – ответил Николай. – Надеюсь, серьезное дело не помешает нам присесть? – продолжал он веселым тоном, с иронической ноткой в голосе.

Лаврентьев поднял на него свои глубоко засевшие,

блестящие глаза и тотчас же опустил их. В этом взгляде было совсем не дружелюбное выражение. Тон Николая, его самоуверенный, задорный, смеющийся вид – все теперь казалось ненавистным Лаврентьеву.

– Шутить изволите? А я ведь не для шуток пришел! – промолвил Григорий Николаевич, стараясь сдержать себя.

– И я вовсе не расположен шутить! – резко ответил, вспыхивая весь, Николай.

– Не всегда шутить-то в пору, Николай Иванович!.. Мне вот насчет одного обстоятельства очень желательно попытать вашего мнения, за тем я и пришел. Человек вы умный, статьи пишете и все такое. Чай, не откажете нам, сиволапым, ась?

– Охотно! – насмешливо процедил сквозь зубы Николай.

– Ладно, значит! Теперича мы друг дружку поймем! – значительно прибавил Лаврентьев. – Дело, видите ли, такое. Прослышали мы – тоже и в нашу глухую сторону вести доходят – будто некоторый молодой человек, парень, сперва, казалось, очень хороший, стал девушку одну уму-разуму учить… развивать, что ли… Книжки разные и все такое. Говорить-то он мастер! Ладно! Девушка – надо сказать, честная, доверчивая, хорошая девушка, – продолжал Лаврентьев, и голос его дрогнул скорбной ноткой, – повери-

ла речам умным – речи-то сладкие! – и полюбила парня… А он, в те поры, лясы-то свои брось – не требуется, мол! – и стань облещивать честного человека… Поиграл, поиграл, натешился, да и бросил… Надоело… По-нашему, по-деревенскому, это выходит как будто пакость одна, а поди, парень-то, может, думает, что оно как следует, даже и либерально. Так я, перво-наперво, хочу попытать молодца, правда ли это?.. Как присоветуете?

Лаврентьев смолк и поднял на Николая строгий, пристальный взгляд.

Бледный, с сверкающими глазами, нервно пощипывая дрожавшими пальцами бороду, слушал Николай Лаврентьева, и когда тот обратился к нему, он презрительно усмехнулся и насмешливо проговорил, отчеканивая слова:

– Я полагаю, что молодец, о котором вы говорите, и объясняться-то с вами не захочет, господин Лаврентьев!

– Не захочет? – угрюмо протянул Григорий Николаевич. – А коли не захочет, так я попрошу его драться. А на дуэль не пойдет, трусом вдобавок скажется, ну, тогда… тогда… – проговорил с угрозой Лаврентьев.

– Довольно, господин Лаврентьев! – перебил его Николай, вздрагивая. – Довольно! К чему аллегории? Я принимаю ваш вызов!

– Вот и поняли друг дружку! – усмехнулся Лаврентьев и сделался вдруг спокойнее. – По-моему, нечего дело откладывать. Чем скорее, тем лучше. Угодно завтра?

– Пожалуй, завтра.

– Да и формальности-то побоку. Бог с ними. Можно и самим сговориться, без секундантов. Или требуется по форме?

– Можно и так.

– Десять шагов… Драться на пистолетах. Три выстрела каждому. Подходит? – серьезно продолжал Лаврентьев.

Николай небрежно махнул головой. Он уже не злился, а был в каком-то особенном приятном возбуждении. Он даже старался показать Лаврентьеву, что он нисколько не трусит, и несколько рисовался этим.

– На Голодае я знаю места укромные. А чтобы в случае чего не было огласки, каждый черкнет цидулку: надоело, мол, жить, и потому покончил с собою сам.

– Это самое лучшее.

– Разумеется, барышне не надо знать о нашем деле?

– Разумеется.

– Секундантам объяснять насчет причины дуэли поди тоже нечего?

– К чему им знать?

– По одному на брата довольно?

– За глаза! – проговорил Николай бойко, с особенной аффектацией небрежности.

Весь этот разговор казался ему в эту минуту очень интересным и приятно возбуждал нервы.

– Ваш приедет к моему или мой к вашему насчет остальных подробностей? – продолжал так же основательно и серьезно допрашивать Григорий Николаевич.

– Все равно. Я еще не знаю, кто у меня будет. Пожалуй, мой приедет к вашему!

– Так пришлите ужо к доктору Непорожневу. Знаете?

– Как же, знаю!

– А затем до завтра. В шесть часов утра, не рано?

– Как раз время.

Лаврентьев кивнул головой и вышел из кабинета.

Оставшись один, Николай несколько времени был еще в прежнем возбужденном состоянии. Нервы его были натянуты. Сердце билось сильно. Он словно был в каком-то опьянении. Он все еще не мог прийти в себя: только что происшедшая сцена казалась ему каким-то странным, подавляющим сном. Дуэль представлялась в каком-то парадном виде. Он припоминал все подробности объяснения и остался доволен

собой. О, он не позволит с собой шутить!

Прошло минут пять, и после порыва возбуждения настало раздумье. Нервы слабели, и вся эта история представлялась ему в ином свете. Дело казалось теперь гораздо серьезнее…

Он будет драться и, быть может, завтра будет убит!

«Убит!» – повторил он, беззвучно шевеля губами.

Страх, неодолимый страх охватил Николая при мысли о смерти. Он почувствовал, как пот выступал на лбу, по спине пробегала струя холода, волосы точно подымались, сердце сжалось невыразимой тоской.

О, как хотелось ему жить, как все теперь вокруг казалось ему прекрасным, близким и дорогим! Он припомнил почему-то детские годы, вспомнил отца и мать, Васю. Чем-то теплым и мягким пахнуло на него, и эти воспоминания еще более манили его к жизни. Тоскливым, помутившимся взглядом озирался он вокруг, и все то, что прежде, казалось, не имело в его глазах никакой цены, получило вдруг какое-то особенное значение. Солнечный морозный день, весело заглянувший в комнату, теперь показался ему прелестным, чудным, и самая комната не та, и все не то, и голос Степаниды, доносившийся из коридора, звучал каким-то особенным звуком. А впереди целая жизнь, и какая жизнь… Он ждал от нее счастия, славы, успехов, и вдруг умереть…

«И из-за чего? С какой стати он дерется? Из-за чепухи! Пришел сумасшедший какой-то, идиот, и он подставляет грудь под пулю! Глупо, ах, как глупо! Как умны англичане, у них нет дуэлей! Какой это нелепый предрассудок, остаток варварства. И хотя бы были серьезные поводы. Ведь он мог бы объяснить этому… этому мерзавцу, что он женится. Мог бы. Нет, не мог. Его обвинения оскорбляли. Не мог. И, наконец, не все ли равно? Теперь поздно… Он должен драться!»

Он подумал о Леночке с чувством досады. Из-за нее вся эта глупая история! Каким дураком – именно дураком – он был, сближаясь с нею! И к чему он полюбил ее? Как хорошо было бы, если бы она не отказывала Лаврентьеву. И нужно было ему путаться. Привыкла бы к Лаврентьеву!

– Нельзя не драться! – проговорил вслух Николай.

Он вздрогнул при воспоминании намека Лаврентьева, как бы поступил Лаврентьев, если бы он отказался от дуэли, и ненависть к Лаврентьеву сменила страх. Нервы его снова возбудились. Мрачные мысли уступали место более светлым. К чему думать о смерти? Разве он непременно будет убит? Сколько дуэлей кончаются благополучно. Он стреляет хорошо, и кто знает, быть может, Лаврентьев будет убит, – Николай даже обрадовался при этой мысли, – а сам он останется невредим, ну, пожалуй, ранен в ногу или руку,

не опасно. Это даже ничего. Он на дуэли не струсит, нет! Теперь страшно, а там… Надо только перед тем хорошенько выспаться!

Николай вспомнил, что ему надо поторопиться найти секунданта, и он вышел из дому, решив вернуться раньше вечером, привести свои дела в порядок, написать, на всякий случай, письмо старикам и Леночке. Он было хотел ехать к Васе, звать его секундантом, но мысль, что Васе может достаться, если узнают о дуэли, остановила его. Он вспомнил об одном приятеле из литературного мира и решил пригласить этого господина. Он взглянул на часы, – было рано. «Он, верно, еще спит». И Николай не спеша пошел пешком по направлению к Невскому.

На улице он встретил двух знакомых и бойко поболтал с ними о разных пустяках: они не могли бы догадаться, что с ними беседует человек, который завтра дерется на дуэли. Люди действовали на нашего молодого человека возбуждающим образом. Глядя на него теперь, нельзя было сомневаться, что он на миру готов умереть с усмешкой на устах.

А Григорий Николаевич, выйдя от Вязникова, зашагал своей обычной походкой к себе в меблированные комнаты. Он не думал ни о дуэли, ни о смерти. Он свалил дело с плеч, исполнил то, что считал своей обязанностью, а там будь что будет… Он виделся вчера с

братом Леночки, а после свидания с Вязниковым более не сомневался в виновности Николая. Отказ его объясниться, прямо сказать, что взведенное на него обвинение – ложь, по мнению Григория Николаевича, ясно свидетельствовал о его вине, и следовательно он, Лаврентьев, поступил справедливо. Нельзя оставлять безнаказанной такую пакость. «А все-таки он не струсил… молодцом!» – одобрил он даже Николая, хотя это не мешало ему питать к нему глубочайшую ненависть.

Теперь его занимала одна мысль: увидать Леночку, хотя издали. К ней он не пойдет. Зачем? И что он скажет ей? Про свою любовь? Он горько усмехнулся.

Поднявшись в свою комнату, Лаврентьев достал из чемодана бумаги (и в их числе духовное завещание, по которому Лаврентьевка переходила к Леночке, и письмо к ней), чтобы отнести их к Жучку, и хотел было уходить, когда совсем неожиданно перед ним явилась взволнованная Леночка.

XII

– Здравствуйте, Григорий Николаевич! – проговорила Леночка.

Она приблизилась к Лаврентьеву, протянула ему руку, взглядывая на смущенное лицо Григория Николаевича, и смутилась сама.

– Вас удивляет мое посещение?

– Смел ли я, Елена Ивановна, надеяться увидать вас! – ответил Лаврентьев с таким горячим чувством, что Леночка смутилась еще более.

От волнения и усталости она едва стояла на ногах и опустилась на стул. Она улыбнулась в ответ на беспокойные взгляды Григория Николаевича и заметила:

– Я запыхалась, подымаясь к вам… Это ничего, сию минуту пройдет.

Она перевела дух и продолжала:

– Мне необходимо было повидаться с вами, рассказать вам… Я хотела писать, но вчера мне сказали, что вы здесь.

– Кто сказал?

– Николай… Николай Иванович! – поправилась она, и при этом имени яркий румянец вспыхнул на ее лице.

Григорий Николаевич не промолвил ни слова. Толь-

ко по лицу его пробежала судорога. Прошла минута тяжелого молчания.

– Зачем вы были у него? – неожиданно спросила Леночка.

Лаврентьев смутился от этого вопроса.

– Зачем? – продолжала Леночка. – О, прошу вас, не скрывайте от меня… Зачем вы были у него?.. Мне нужно знать…

– Вы очень любите его? – с трудом прошептал Лаврентьев. – Даже после того, как он так с вами поступил?

– Как поступил? – воскликнула Леночка, вся загораясь. – Что вы говорите?.. О, верно, тут какое-нибудь недоразумение… какие-нибудь подлые сплетни. Вы объяснитесь. У вас что-нибудь вышло?.. Григорий Николаевич!.. О, какой вы! В чем он виноват?.. Я одна виновата перед вами. Да, я виновата. Я не сказала тогда… мне тяжело было… Я боролась с чувством и не могла побороть… Я хотела все написать вам теперь, перед нашей свадьбой.

– Свадьбой! Он женится! – прошептал уныло Лаврентьев. – Он женится?!

– Да… на днях наша свадьба.

– А! Зачем же он не сказал?.. Он даже не хотел объясняться…

Он остановился в нерешительности.

– Что ж дальше, говорите… Вы, верно, оскорбили его, сказали что-нибудь?

– Нет. Я просто вызвал его на дуэль! – сконфузился Лаврентьев.

– Дуэль? – повторила Леночка, и лицо ее покрылось мертвенной бледностью. – Дуэль? За то, что мы любим друг друга? О Григорий Николаевич!.. это… это…

– Елена Ивановна!.. Не корите, выслушайте. Не потому. Я сумею все вынести… нет… Я думал, что вас смели обидеть… обманули… Но теперь, как вижу, выходит другая статья…

– А если б и обманули?! – воскликнула с сердцем Леночка. – Какое кому дело? кто смеет быть судьей? И вы так вздумали заступаться за меня?!. О, вы никогда не любили меня. Да случись что-нибудь с ним, я возненавидела бы вас, слышите?.. Хотя бы меня и бросили, как вы говорите!.. Я его люблю, я! Разве этого не довольно?..

Глаза ее блистали гневом. Она с такой силой произнесла: «Я его люблю, я!» – что у Григория Николаевича упало сердце.

Он, однако, поборол невыносимую боль и решился выслушать все до конца.

– Если вы хотите наказать за горе, которое я вам причинила… наказывайте… вы вправе; но только меня… Я виновата перед вами, я одна, Григорий Нико-

лаевич! – умоляющим голосом вдруг сказала Леночка. – Дуэли ведь не будет? Нет?

– Не будет!

– Вы извинитесь перед ним? Вы напрасно оскорбили человека!

– Извинюсь! – глухо произнес Лаврентьев.

– О, я не сомневалась в этом, – радостно воскликнула Леночка.

Она взглянула на Лаврентьева благодарным взглядом и прибавила:

– А теперь, Григорий Николаевич, вы вправе наказать меня за то, что я причинила вам горе. Требуйте, чтоб я отказалась от счастия, и я откажусь, я не выйду замуж!..

– Чтобы я?!. Да разве я злодей?.. Вас наказать!.. и то я поступил, как зверь! И то я обидел вас! И вы еще так говорите?!. Простите, Елена Ивановна, и не поминайте лихом! – проговорил прерывающимся голосом Лаврентьев, отворачиваясь, чтобы скрыть свое волнение…

– Простите и вы меня! – прошептала тихо Леночка, подымаясь.

– Дай вам бог всего хорошего. Вы стоите счастья!.. – сказал Лаврентьев.

По-видимому, он был теперь спокоен. Только голос его чуть-чуть дрожал.

– А на прощанье, Елена Ивановна, скажите еще раз, что вы простили меня!

Леночка протянула ему руку. Он благоговейно прикоснулся к ней губами, взглянул на нее ласковым, добрым взглядом и промолвил:

– Будьте спокойны. Я извинюсь, и дуэли не будет.

– Прощайте, Григорий Николаевич!

– Прощайте, Елена Ивановна!

Он вышел проводить ее в коридор.

– Еще просьба: не говорите Николаю Ивановичу, что я была у вас.

– Почто сказывать!

– Я прошу вас об этом, Григорий Николаевич, зная характер Николая… Он может подумать, что вы не деретесь с ним по моей просьбе. Это оскорбит его! Ведь правда? И если бы вы узнали… проверили слухи, то и без моей просьбы отказались бы драться.

– Э, не тревожьтесь… Я понимаю, Елена Ивановна! Скажи он тогда слово – ничего бы не было. А я слухам поверил… Скотства-то во мне много!.. Теперь пусть хотя за труса считает, а дуэли не будет. Он ваш будущий муж.

Леночка с чувством пожала руку в ответ на эти слова.

– Хороший вы, Григорий Николаевич! Я всегда сохраню о вас добрую память! – прошептала она и ста-

ла спускаться с лестницы.

Она вышла на подъезд радостная, что все так благополучно окончилось. О, сколько тревоги и страха испытала она со вчерашнего вечера, и как весело теперь билось ее сердце при мысли, что любимому ее Николаю не угрожает никакой опасности! Она шла домой полная дум о Николае и о будущей их жизни, вспоминая его ласковые речи, счастливая своим счастьем, которое чуть было не отняли. О Лаврентьеве она и не вспомнила. Счастье так эгоистично!

Григорий Николаевич проводил грустным взглядом спускавшуюся по лестнице Леночку и, когда она скрылась, перегнулся вниз через перила. Вот мелькнула еще раз ее маленькая фигурка… стукнули двери подъезда, а он все еще стоял.

На душе у него сделалось так мрачно, сиротливо. Глубокой скорбью светились его глаза.

– Ушла! – проговорил он. – Ушла!

И тихо пошел к себе в номер, лег на постель и долго пролежал с закрытыми глазами, припоминая любимый образ Леночки, ее голос, движения.

– Счастливец! – с какою-то отчаянной завистью в голосе проговорил Лаврентьев, чувствуя, как приливает к сердцу злоба к Николаю. – Как она его любит!

Перед ним стояли они оба, смеющиеся, довольные, сливаясь друг с другом в объятиях. О, с каким насла-

ждением он задушил бы этого «счастливца»!.. Лаврентьев бешено стукнул кулаком об стену и вскочил с постели. Голова его кружилась. Глаза налились кровью.

– Скотина! Тварь гнусная!.. Опять не сустоял! – мрачно ругался Григорий Николаевич, – а еще человек!

Он подошел к умывальнику, вылил на голову кувшин воды, причесался, уложил в чемодан вынутые было бумаги и вышел из номера.

Свежий воздух несколько освежил и успокоил его. Ему сделалось стыдно, что чувство ревности осилило его любовь.

– Шалишь, Гришка! – прошептал со злостью Лаврентьев. – Сустоишь и извинишься как следует или ты будешь подлец!

Решившись свято исполнить обещание, данное Леночке, Григорий Николаевич первым делом пошел в технологический институт и разыскал там Васю. Вася очень обрадовался Лаврентьеву и сперва было смутился, вспомнив о Леночкиной свадьбе, но Григорий Николаевич казался таким спокойным, что Вася ошалел.

– Как живете, Василий Иванович?.. Как поживает Елена Ивановна? – спрашивал, между прочим, Лаврентьев. – Замуж не собирается?

И, не дожидаясь ответа, засмеялся и прибавил:

– Барышне пора бы и замуж, барышня хорошая. Что в девках-то сидеть!

– Елена Ивановна выходит замуж. Вы разве не знаете?

– От кого же мне знать? Это она неглупо делает.

– За брата.

– Вот это добре!.. Парочка славная, оба ребята молодые, красивые. Скоро и я, брат Василий Иванович, в закон!

– Вы?

– Эка выпучили глаза, Иваныч… Нешто, паря, мне и жениться нельзя?.. Думаешь, только и свету, что Елена Ивановна… Я, братец ты мой, тоже невесту себе сыскал по своему авантажу! Так-то. Не знаю только, когда свадьбу сыграть?.. А вы, Вася, как погляжу, в Питере-то поотощали. Харч здесь, видно, неважный! Ужо летом поди к нам на откорм? Не люб поди вам Питер-то?

– Не люблю я Петербурга… В деревне лучше…

– Еще бы. Здесь у вас шаромыжник-народ. Ну, одначе, до свидания. Так, повидать вас забрел.

– Я к вам зайду, Григорий Николаевич! Хотелось бы порасспросить, как там у нас… Вы где остановились?

– Да я поди вечером укачу, а то утром. Да и радостного говорить нечего, Василий Иванович. Понапрасну

только смущаться будешь. Пакость одна! Ужо приедете – побеседуем, а теперь прощайте, Иваныч. Смотри, не тощай очень-то, а то и косить нельзя будет! – проговорил Григорий Николаевич, крепко пожимая на прощанье Васину руку.

«Другой сорт будет парень-то!» – проговорил про себя Лаврентьев, направляясь к конке.

Через полчаса он был уже снова на квартире у Николая и, не заставши его дома, оставил следующую записку:

«Милостивый государь
Николай Иванович!
Очень нужно с вами повидаться. Зайду опять в семь часов».

– Ну, брат, Жучок! – проговорил Григорий Николаевич, входя через час к своему приятелю, который поджидал его обедать, – а ведь я пальцем в небо попал!

– Как так?

– Он женится.

– А ты уж, видно, сдурил?

– Был грех. Скот-то во мне голос подал. Человек, брат, большая скотина! Чуть было на завтра тебя в благородные свидетели не поволок… Хотел пристрелить парня-то… Ну, да не требуется теперь. Пусть себе живут! – вздохнул Григорий Николаевич.

Он рассказал, как было дело, и точно нарочно старался представить все в смешном виде. Даже и свидание с Леночкой Григорий Николаевич хотел было рассказать в шутливом тоне, но это как-то не удалось.

Он замолчал, выпил несколько рюмок водки и, между прочим, заметил:

– А ты, Жучок, обо всей этой глупости как-нибудь не проговорись… Шабаш теперь! Вот только еще повидаюсь с Вязниковым и гайда домой.

Доктор выслушал Григория Николаевича и заметил:

– Тебе, брат, раньше надо было родиться… Рыцарь, как посмотрю!

– Только без дамы…

– Дам много… Захоти только! А все, брат Лаврентьев, советую тебе полечиться.

– Мне-то? Какая такая у меня болесть? Нешто пластал ты меня, как лягух?

– Тебе рассеяться нужно… Съездил бы куда-нибудь. А то в своей медвежьей норе снова захандришь…

– Теперь, брат, не сумневайся. Извлек!

– Так ли?

– Шабаш! – прибавил Лаврентьев, выпивая рюмку водки и с аппетитом принимаясь за обед. – Шабаш! Надурил – и будет! Знаешь что, Жучок… оно, как рас-

судишь, и впрямь мы ровно бы недалеко от обезьян. Она-то, сволочь, иногда осиливает… давеча, как я с ним-то был… ну, так и хотелось его пришибить… Самцы, што ли, по-твоему, из-за самки дерутся? Ты ведь все так объясняешь, – с грустной насмешкой заметил Григорий Николаевич.

– А ты думал, в тебе не самец говорит? Самец, – будь благонадежен!

– Ох, вы, лекаря, лекаря!.. Ну да ладно, тебя послушаю, возьму в дом солдатскую вдову, и если, шельма, шалить не станет – к батьке и в закон… Все же баба будет около, детвора, пожалуй… Не один, как перст, в доме-то. Самец и самка! Так, что ли, Жучище?

Жучок плохо верил словам Григория Николаевича. Он украдкой посматривал на приятеля. В его глазах было столько грусти, а из-за напускной шутки вырывались такие скорбные звуки, что Жучок от души пожалел своего друга.

XIII

Николай, против ожидания, не застал дома приятеля, которого хотел звать в секунданты. Он с утра ушел и обещал быть дома не ранее шести часов вечера. Николай оставил ему записку, в которой просил непременно, по очень важному делу, заехать к нему, а сам направился в редакцию, где работал приятель, в надежде застать его там около часу.

Погода, как нарочно, была превосходная. Стоял славный, яркий, морозный день… Николай доехал до Поцелуева моста и пошел пешком… Опять грустные мысли проносились в его голове… Опять тоскливо сжималось сердце у молодого человека… Как нарочно, навстречу ему попались похороны. Он даже полюбопытствовал узнать, кого хоронят. Оказалось, что хоронят какого-то молодого человека. «И его, может быть, так же повезут!..» А кругом кипела жизнь… улицы оживлялись… Николай теперь с особенным интересом заглядывал в лица проходивших. Они сегодня казались ему особенно добрыми, хорошими…

– Николай Иванович! – почти в упор раздался чей-то звонкий, приятный, знакомый голос.

Он повернул голову. Из подъезда дома министра

внутренних дел проходила к карете Нина Сергеевна.

– Вы точно влюблены или получили неприятное известие, – сказала она, протягивая из-под белого пушистого меха бархатной накидки мягкую, теплую руку, оголенную почти до локтя. – В какие страны?

– На Литейную.

– Нам по дороге. Садитесь, я вас подвезу!

Николай согласился и сел вслед за нею в маленькую карету. Встреча с этой красивой, изящной женщиной обрадовала его… Он уже снова приободрился.

– Что с вами? Вы в самом деле как-то печально шли, – с участием продолжала она, обдавая его мягким, нежным взглядом. – Какое у вас горе?

– Никакого… так задумался.

– Не весело же вы задумались!

Она продолжала болтать; попеняла, что Николай не заходит, сказала, что непременно придет послушать, как он будет в суде сражаться с Присухиным. Присухин ей говорил.

Николай взглядывал на эту блестящую красавицу, и ему было необыкновенно приятно… Хотелось побыть с ней подольше, поговорить, узнать наконец, что это за женщина… А Нина Сергеевна, как нарочно, глядела на него так ласково. «Ведь, может быть… он никогда ее не увидит. Она и не знает, что он завтра дерется».

– Знаете ли, Николай Иванович, с вами весело встречаться! А вы вот как будто не хотите? Отчего?

– Некогда было, Нина Сергеевна…

– Все это вздор… Когда захочешь кого видеть, всегда найдешь время.

– Да и к чему?.. – прибавил тихо Николай.

– К чему? – усмехнулась Нина.

– Пожалуй… того и гляди опять, как тогда в деревне… – улыбнулся Вязников.

– О, какой вы самолюбивый… До сих пор помните… Ну, что ж? Положим, даже и влюбитесь…

– А потом?

– А потом найдете, что это было глупо! – рассмеялась Нина.

– Вы все смеетесь!

– Делать-то мне больше нечего!..

– Странная вы, Нина Сергеевна! В деревне вы были не та…

– Будто? Ах, да… вы помните… тогда вы говорили, что я любила какого-то рыцаря? – насмешливо протянула она.

– А разве нет?.. Ответьте-ка серьезно.

– Положим. Вы угадали.

– А теперь?

– Теперь? Ну, так и быть, скажу. Теперь – нет!..

– И хандрите?

– И хандрю.

– И даже от скуки делами занимаетесь?.. К министру ездите?..

– Хочу основать новый дамский кружок… Хлопотала об уставе. Хотите в секретари?

– Вы это как – серьезно или опять шутите?

– А вы как думаете? Недостает еще, чтобы Присухина в вице-президенты. Нет, нет… я еще до этого не дошла. Подождите; как старухой сделаюсь, тогда разве… Я по другому делу была. Кстати: помогите мне. Напишите мне прошение. Видите ли, одна мать просила меня похлопотать за своего сына… Неспокойная натура… Искал бурь и нашел тихую пристань.

– В доме предварительного заключения?..

– Кажется!.. Не знаю, впрочем, где именно!.. Так я обещала похлопотать, чтоб его пока выпустили на поруки. Вот и езжу к великим мира сего.

– И успешно?

– Надеюсь… – улыбнулась Нина Сергеевна. – А вы помогите мне написать докладную записку…

– Как фамилия этого неспокойного?

– Фамилия? (Нина Сергеевна остановилась.) Да вы фамилии не проставляйте. Сама перепишу прошение и тогда… я забыла фамилию…

«О, неправда. Ты помнишь!» – подумал Николай.

– Так вы напишете? Чем скорей, тем лучше… Если

можно, завтра к двенадцати часам приходите ко мне.

«Завтра! – вспомнил вдруг Николай. – Завтра!»

– Хорошо, Нина Сергеевна. Я приду завтра, если…

– Без «если». Непременно. Я не люблю этих «если»!.. Да или нет? Я люблю решительные ответы на всякие вопросы, – загадочно произнесла Нина Сергеевна.

– На всякие? – поддразнил Николай.

Он испытывал какое-то раздражающее удовольствие от этой беседы, полной прелести намеков, недосказанных слов, полупризнаний. Эта загадочная Нина Сергеевна была такая изящная, ослепительно красивая, благоухающая… Ему припомнились неясные рассказы об ее замужестве, о гибели какого-то юноши… Наконец сцена в саду с Прокофьевым, ее внезапный отъезд – все это придавало ей какую-то заманчивую прелесть.

– А если вам не ответят?

– Тогда я рассержусь! – проговорила Нина.

– И очень?

– Хотите испытать? – улыбнулась Нина, и в ее темных глазах блеснула искорка.

– Я не боюсь, но только… Однако ж мне пора… Вот и Литейная…

– Подождите. Куда спешить? Проедем еще… Проводите меня, мне недалеко… Надо заехать еще к од-

ному сильному мира…

– И все по просьбе бедной старушки?.. Я бы с удовольствием вас проводил, но мне нельзя… ей-богу… Необходимо увидать одного приятеля.

Он высунулся из окна кареты и приказал кучеру остановиться у подъезда редакции.

– Вы решительно не хотите!..

– Не могу!.. Прощайте, Нина Сергеевна! – проговорил он с особенным чувством, когда карета подъезжала к крыльцу.

Нина удивленно взглянула на него.

– Вы прощаетесь будто навек.

– Кто знает!

– Умирать собираетесь?

– Пока собираюсь отыскать секунданта, – смеясь, проговорил Николай.

– Вы завтра деретесь на дуэли! – воскликнула она с таким сердечным участием в голосе, что Николай был тронут. – И не сказали раньше ни слова? – продолжала она, придерживая руку Николая в своей руке. – А еще мы считаемся друзьями!.. С кем? Из-за чего? Страничка любви, ревности?..

– По правде сказать, я и сам не знаю из-за чего!

– И все-таки делаете эту глупость? Разве нельзя объясниться?..

– Не всегда захочешь объясняться, Нина Сергеев-

на! – проговорил Николай, вспыхивая.

– О, какой же вы самолюбивый!

Нина остановила на Николае пристальный, ласковый взгляд. Ей было жаль этого красивого, славного Николая. Жить бы ему только, и вдруг глупый случай! Странная улыбка вдруг скользнула в ее глазах.

– Вы свободны вечером? – спросила она.

– А что?

– Проведем вечер вместе! Хотите?

Николай взглянул на Нину.

«В самом деле, отчего ж ему не провести вечер у Нины Сергеевны?»

– С удовольствием! – ответил он.

– Все веселей будет, чем скучать одному и думать о завтрашнем дне! Вы мне расскажите о вашей дуэли, – о, я уверена, что все кончится благополучно! – а я, если хотите, расскажу вам историю одной скучающей женщины… Будете?

– Это так интересно, что непременно буду.

– Так до вечера? – сказал она, пожимая его руку.

– До вечера! – ответил Николай и захлопнул дверцы кареты. – Я вам и записку привезу.

Нина дружески кивнула головой, и карета тронулась.

– Странная женщина! – промолвил Николай, поднимаясь по лестнице.

В редакции он не нашел приятеля, написал ему записку и поехал домой, рассчитывая теперь же написать письма и список своих долгов, чтобы быть вечером свободным и провести его у Нины Сергеевны. «То-то удивится она, когда я объявлю ей о своей женитьбе!..» Во всяком случае, он проведет интересный вечер.

«Может быть, последний в жизни!» – мелькнуло в голове, и снова беспокойные, мрачные мысли овладели нашим молодым человеком, когда он остался один.

Когда он приехал домой и увидал записку Лаврентьева, сердце его радостно забилось. Надежда закрадывалась в его душу. Лаврентьев, быть может, узнал о свадьбе, был у Леночки или у Васи, кто-нибудь из них ему сказал, и… он придет объясниться. О, как бы ему хотелось, чтобы это было так! Да, разумеется, будет так. Зачем же Лаврентьев опять заходил? Он ведь, в сущности, не такой же идиот, этот Отелло!..

В беспокойстве, переходя от уныния к надежде, ждал теперь Николай Григория Николаевича.

Опять резкий звонок колокольчика. Опять Николай вздрогнул, и сердце его замерло в страхе от ожидания. Он старался овладеть собой и скрыть волнение перед «диким человеком».

«Дикий человек» вошел, как утром, не постучав-

шись в двери. Николай старался по лицу Григория Николаевича узнать решение, но на лице Лаврентьева он ничего не прочел. Николай сделал несколько шагов навстречу, поклонился и, сам не зная к чему, проговорил:

– Секундант мой еще не был у господина Непорожнева. Я жду его каждую минуту…

– Не надо секундантов! Я пришел повиниться перед вами, Николай Иваныч! Я давеча погорячился, набрехал черт знает чего… ну да… А вы не захотели успокоить человека… Теперь примите мою повинную! – проговорил Лаврентьев угрюмо, с некоторым усилием.

Николай тотчас же весело протянул руку. Лаврентьев не совсем охотно подал свою, но Николай под впечатлением радостного чувства не заметил этого.

– Я охотно готов забыть. Мне было очень обидно, Григорий Николаевич, что вы могли поверить слухам. Конечно, я, может быть, совершенно невинно мог причинить вам боль…

– Не станем больше об этом говорить! – перебил Лаврентьев. – Я сам понимаю свою дурость.

Он на минуту остановился, взглянул на Николая и проговорил прерывающимся голосом:

– Я узнал все. Желаю вам… Берегите Елену Ивановну, Николай Иванович! Она очень хорошая… Прощайте.

Николай вышел проводить Лаврентьева в переднюю. Григорий Николаевич надел своего волка, взял в руки чемодан и кивнул головой.

– Вы сейчас уезжаете? – осведомился Николай.

– Прямо на чугунку. Прошу передать мое почтение Елене Ивановне!

Через час Жучок проводил своего друга. Лаврентьев прикидывался спокойным и даже сделал несколько одобрительных замечаний насчет Вязникова. Тем не менее, когда поезд тихо двинулся, доктор в раздумье покачал головой и прошептал:

– Неизлечимая болезнь! Редкий случай привязанности!

XIV

Как легко, весело стало нашему молодому человеку, когда Лаврентьев ушел! Тяжелый кошмар прошел, мысли его просветлели; он испытывал радость жизни, ему хотелось веселиться, как ребенку. Завтра он встанет когда захочет. Завтра… ничего не будет завтра ужасного. Не надо будет подставлять под дуло грудь. В то же время он не без приятного чувства к себе самому думал, что поступил как порядочный человек. Он не трусил (о, он и на барьере бы не струсил!) и в то же время искренно протянул руку, когда Лаврентьев извинился. «В самом деле, бедняге, должно быть, тяжело. Он так любит Леночку, и что у него останется, кроме личного счастья?» – не без снисхождения подумал Николай.

Он даже в эту минуту пожалел Григория Николаевича и мысленно обвинил Леночку в легкомыслии. «Зачем она давала ему слово? Надо быть осторожнее… Так нельзя шутить! Впрочем, и ей было тяжело. Чем же она виновата, что полюбила меня! И Леночка славная. Славная!» – повторял он.

Все в эту минуту казались ему славными.

Ожидаемый секундант, однако, не являлся, а Николай с утра ничего не ел и теперь почувствовал го-

лод. Он, однако, написал обещанную докладную записку и стал одеваться с особенною тщательностью, собираясь пообедать где-нибудь в ресторане («Можно сегодня раскутиться и хорошо пообедать!») и оттуда ехать к Нине Сергеевне. Он вспомнил, что следовало бы побывать у Леночки, но решил, что к Леночке можно завтра. Он обещал Нине Сергеевне, и надо исполнить обещание, неловко. «Пожалуй, Леночка обидится? Глупости!» – решил он после минутного колебания. – Что ж тут дурного? Разве он теперь привязан, что ли, оттого, что женится? Разве ему нельзя бывать где вздумается? Леночка умная, она поймет, что нельзя же вечно быть друг с другом и… Да и что ему Нина Сергеевна? Просто интересный субъект для наблюдений. В ней что-то таинственное, и он сегодня узнает, что это за женщина. Слава богу, он не юбочник! – вспомнил он выражение Прокофьева, и ему даже досадно стало. С ней можно провести приятно вечер, вот и все. А Леночку он любит, и она может быть спокойна. Да и как не любить Леночку? Она его так любит!

В начале десятого часа Николай позвонил у двери, на которой блестела узенькая дощечка с надписью: «Нина Сергеевна Ратынина». Лакей доложил, что барыня у себя, и через гостиную провел его до портьеры следующей комнаты и проговорил:

– Пожалуйте!

Николай отвел тяжелую портьеру и вошел в большую, ярко освещенную комнату. Никого не было. Он с любопытством оглядывал необыкновенно изящный кабинет молодой женщины. Ничего в нем не бросалось в глаза, но все свидетельствовало об артистической жилке и тонком вкусе. Каждый стул, каждая безделка на столах были художественной вещью. Картины на стенах показывали, что хозяйка знает в них толк. В углу стоял мольберт с опущенным коленкором. «Ого! Она пишет, и никогда не сказала!» – подумал Николай, продолжая разглядывать этот кабинет, нисколько не похожий на обыкновенные дамские кабинеты. Он подошел к библиотеке и еще более удивился. Выбор книг был необыкновенно хороший. Иностранные классики, произведения лучших русских писателей, затем серьезные книги. «Дарвин [69], Спенсер, Бокль [70], Маркс, Лассаль [71], Фурье, Прудон! – прочитывал Николай названия книг. – Верно, после мужа остались. Не читает же она. А впрочем, кто знает!» Он продолжал разглядывать книги, как сзади него раздался мягкий голос:

---

[69] Дарвин, Чарльз (1809-1882) – английский естествоиспытатель, основоположник теории биологической эволюции.

[70] Бокль, Генри Томас (1821-1862) – английский историк и социолог.

[71] Лассаль, Фердинанд (1825-1864) – деятель немецкого рабочего движения, родоначальник одной из разновидностей оппортунизма.

– Простите, Николай Иванович, я заставила вас ждать.

Николай обернулся.

Слегка зевая и потягиваясь, стояла Нина Сергеевна в голубом, вышитом шелками капоте, ласково протягивая ему обе руки.

– Я заснула! – продолжала она, щуря глаза на свет. – Устала сегодня с этими разъездами, ну и от скуки вздремнула перед вечером… Пойдемте туда, в мой уголок. Я там люблю сидеть.

– В том-то и беда, что я, пожалуй, некстати потревожил ваш сон.

– Очень кстати. Я очень рада вас видеть!

– И, быть может, думали – в последний раз. Вы любите все интересное, а это тоже интересно. Но увы, дуэли не будет! – смеясь заметил Николай.

– Не будет?! Ну, слава богу! – повторила она и медленно перекрестилась, к удивлению Николая. – А говорить вам так – стыдно!.. Вы подумали, что я позвала вас из любопытства? Непроницательный же вы! Мне просто стало жаль вас. Вы такой молодой, вам так жить хочется. Ведь хочется?.. И вы теперь рады, что все прошло?

– Рад!

– То-то. А я испугалась, что вы скажете фразу. Юный вы какой! – тихо проговорила она. – А все-та-

ки с вами весело… глядишь на вас и невольно сама вспомнишь о молодости!.. Ну, ну, не вздумайте обижаться, я ведь старше вас. Рассказывайте мне вашу историю. С кем? Из-за чего? Теперь я смею вступить в свои права и быть любопытной, как и должно быть женщине. Кто жаждал вашей крови?

– Лаврентьев.

– О, это интересно. Этот медведь?

– И вдобавок Отелло!

– Из-за этой барышни? Как ее звать, я все забываю?

– Леночка.

– Да, Леночка! Так из-за Леночки? Он считает вас похитителем своего счастья. И что ж, вправе был?

– Он слышал разные сплетни, приехал и прямо ко мне.

– Требовать объяснений?

– Я их не дал.

– Понимаю. Как можно дать человеку, для которого эта Леночка, говорят, дороже жизни? – иронически подсказала Нина Сергеевна. – Ведь он ее очень любит?

– Любит, но…

– Но она его не любит, как обыкновенно бывает, и он искал виновника? Но как же дело уладилось?

– Он думал, что я…

– Увлекли, пошутили и… Тоже старая история!

– То-то и ошиблись. Он думал так же, как и вы, но когда узнал, то пришел и извинился.

– Узнал, что не вы соперник?

– Напротив, узнал, что я женюсь.

– Вы? Вы женитесь? Вы сегодня как будто нарочно хотите изумлять меня?

– Разве так удивительно, что я женюсь? Скоро наша свадьба.

– И, пожалуй, так же расстроится, как и ваша дуэль, и мне снова придется порадоваться за вас.

Николай даже рассердился. Она говорила об его женитьбе с каким-то недоверием.

– Да вы не сердитесь, Николай Иванович. Ей-богу, меня эта новость огорчила не менее, чем новость о дуэли. Еще вопрос, что лучше?

– Вы, Нина Сергеевна, против браков вообще или против моего в частности?

– Против вашего. Нельзя жениться ни слишком рано, ни слишком поздно. Одинаково скверно, а вам и подавно. Вы еще не перегорели.

– Вы преувеличиваете опасность. Во-первых, никто нас не остановит, если…

– Если вы друг друга достаточно измучаете?

– А во-вторых, я люблю свою невесту.

– Любите? Вам кажется, что вы любите!

Нина Сергеевна говорила с участием, точно мать с сыном. Этот тон раздражал Николая.

– Вы не верите?

Она тихо покачала головой.

– «То кровь кипит, то сил избыток…» [72] Еще сколько раз вам будет казаться!

Николай стал говорить о Леночке, о том, как он Леночку любит. Он рассказывал, какая Леночка замечательная девушка, сколько в ней ума, энергии, оригинальности, самоотвержения, и, увлекаясь искренним образом, не жалел красок для ее возвеличения. Ему как будто хотелось уверить и себя и Нину Сергеевну, как он любит Леночку, и, когда он говорил о Леночке, слова его звучали такой страстью, такой нежностью! Нина Сергеевна жадно слушала. Казалось, эти горячие слова любви подействовали и на нее. Она как-то притихла, не спуская глаз с возбужденного лица Николая.

– Теперь вы убедились? – воскликнул Николай, оканчивая свою горячую исповедь.

– Нет!.. И знаете ли что? Я готова пари держать, что вашу свадьбу легко расстроить.

– Уж не вы ли? – насмешливо спросил он, весь вспыхивая.

---

[72] «То кровь кипит, то сил избыток…» – из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Не верь себе» (1839).

Она подняла на него серьезное лицо, только глаза ее странно улыбались.

– Да хоть бы и я!

– Попробуйте!

– Вы уж забыли деревню?..

– Что прошло, то не повторится! – резко сказал Николай.

Нина Сергеевна усмехнулась.

– Будьте спокойны, я пошутила. Я с вами больше не сделаю опыта! – тихо проронила Нина. – Довольно и прежних.

– А их было много?

– Бывало.

– И все удавались?

– Иногда! – задумчиво протянула Нина.

Николай вспомнил слова отца об одном молодом человеке, который застрелился из-за этой женщины, и ему хотелось спросить об этом опыте, но, взглянув на Нину, он не решился. Грустным выражением светились теперь эти насмешливые глаза.

– Странная вы, Нина Сергеевна! – прошептал Николай.

– Странная? Говорят! И не то еще говорят!.. Пусть говорят! – прибавила она равнодушно. – Не все ли равно?.. Так вы женитесь, Николай Иванович? Что ж, с богом! Не вы первый, не вы последний…

– Уж докончите: делаете эту глупость?

– Пожалуй, что и так!

– А я все-таки попробую!

Она тихо усмехнулась.

– Да вы не сердитесь! Пожалуйста, не сердитесь и не примите моих слов за кокетство! – прибавила она, дотрогиваясь рукой до его руки. – Этого бы еще недоставало! Я в самом деле за вас боюсь. Вы, сколько я вас знаю, впечатлительны, легко увлекаетесь и к тому же… Говорить ли?

– Говорите.

– Самолюбивы, очень самолюбивы. Вас гложет червь. Вы ждете от жизни чего-то особенного. Вам хочется славы, вам хочется известности. Не так ли?

– Положим, и так.

– Вот в том и беда! Вам показалось, что вы любите, и вы, недолго думая, руку и сердце.

– Что же дальше?

– А дальше вот что. Если бы будущая ваша жена была похожа… ну, положим, на меня, такая же скучающая натура, тогда ничего, не беда. Мы бы скоро надоели друг другу и разошлись в разные стороны; но ваша невеста, сколько я знаю, не такая. Она лучше нас с вами! Она любит, верно, вас так, как мы с вами не умеем, так, как, говорят, можно и должно любить.

– Говорят, – подчеркнул Николай.

– Да, говорят! Ну, и что ж тогда? Вы сделаете одним несчастным человеком больше. Вот и все!

– Какая мрачная картина! Разве можно знать, что случится? Я люблю, а что будет вперед… будь что будет!

– Будь что будет. Вот Лаврентьев ваш так бы не сказал. Он любит, а кто любит, тот так не говорит!..

– А как же?

– Иначе…

– Вы слышали, как?

– Полно шутить! А впрочем, не верьте мне… право… Я сегодня мрачно настроена и, быть может, слова мои слишком жестки… Согрейте их в вашем любящем сердце, и дай бог вам славы, хорошеньких детей и согласия!.. – сказала она как-то задушевно.

– Вы нынче в особенном настроении.

– Так, стих такой напал, желать всем счастья! – улыбнулась она.

– А самой не давать ни другим, ни себе?

– Кому как… Однако давайте лучше чай пить…

Она позвонила и приказала подать чай.

– А история скучающей женщины? Вы ее расскажете?

– Не боитесь хандры? А впрочем, похандрите… Это не мешает! Я расскажу вам эту историю… Пожалуй, можете сообщить какому-нибудь беллетристу… Сю-

жет пикантный… Но только пусть он не делает из героини какой-нибудь демонической натуры. Выйдет глупо, это вы и сами увидите. Это вместо предисловия, а вам и в виде предостережения!

– Уж я сам выведу заключение, не беспокойтесь…

– И откровенно произнесете свой приговор?

– Еще бы!..

– Ну, начинаю… Детство оставим в стороне… И неинтересно и долго. Замечу только, что моя героиня выросла в роскоши. Институт тоже в сторону. Начнем с того времени, когда нашей героине минуло восемнадцать лет, она выезжала и влюбилась в одного молодого человека. Он был юный, увлекающийся, порывистый. Он был недурен, богат надеждами и беден. Она тоже была бедна… Состояние после отца расстроилось. Они дали друг другу слово в вечной любви, а через несколько месяцев она уже венчалась с одним богатым чиновным стариком. Он был сдержан, очень умен и не говорил о любви. Ему нужна была жена…

– И она сознательно пошла замуж?

– Сознательно или нет, а пошла и даже очень была рада… подите! Она, моя героиня, любила роскошь, любила блеск, а это все было. Тогда как у молодого человека… одни надежды. Вдобавок…

– Просьбы матери?

– Отчасти… Но только отчасти. Не воображайте са-

моотвержения… вообще раздирающих сцен… Ничего этого не было. Мать взглянула на вопрос практически и рассказала все шансы… Она выслушала и не мешала устройству свадьбы…

– А после?..

– Вы ждете драмы?.. – усмехнулась Нина Сергеевна. – Никакой драмы не случилось. Муж был, как я вам сказала, умен, внимателен и понимал людей… Он умел скрывать свою ревность – а он был очень ревнив! – и никогда не говорил ей о любви. Во-первых, он был всегда занят, а во-вторых, понимал, что она его не любила и не могла любить! Он не стеснял ее свободы; она выезжала, кокетничала, за ней много ухаживали, она была недурна…

– Что так скромно?.. Она была красавица! – воскликнул Николай.

– Допустим! – улыбнулась Нина. – Жизнь проходила, как обыкновенно проходит жизнь светской женщины… весело и пусто. Она не имела времени скучать, хоть изредка хандрила и была верной женой.

– А что же случилось с рыцарем? И его клятва оказалась пустым словом?

– О нет. Он, бедный…

– Застрелился?

– Вы угадали… Верно, слышали об этой истории? – тихо проговорила Нина.

– Слышал! Что же она?

– Пожалела.

– И только?

– А что же больше? Не в монастырь же идти! Муж догадался свезти ее за границу. Они пробыли полгода и вернулись. Между тем светская жизнь начинала надоедать моей героине. Люди казались скучными, все эти ухаживания – однообразными. Она стала читать, сперва от скуки, а там увлеклась. Стала больше хандрить. Попробовала было заняться филантропией, но скучно стало. В один прекрасный день умер муж, и она осталась вдовой с состоянием. Сперва она обрадовалась – она не жалела о муже! – но скоро опять стала скучать. Одно время ей даже пришла сумасбродная мысль сделаться доктором, но вскоре и эта мысль показалась ей нелепой. К чему? Для чего? Разве ей нужно доставать средства? О, в это время разные сумасбродные мысли лезли в голову. Она старалась рассеяться, рисовала, читала, пробовала слушать лекции Присухина и Горлицына, – они сейчас же руку и сердце. Тоска…

– Итак, ваша героиня никого не любила?

– Так… один обман… а, впрочем, история не кончена…

– Начинается только?

– Случайно она встретилась с человеком, непохо-

жим на тех, кого она встречала, ее заинтересовал этот человек… и…

– Она стала делать опыты?

– Сперва, а потом…

– Полюбила?

– Вроде этого. Если хотите, полюбила даже!

– Чем же этот замечательный человек увлек вашу героиню?

– Всем: энергией, умом, характером, отсутствием фразы. Все в нем было непохоже на то, что она встречала в других. Случайно она еще узнала его прежнюю историю, и он заинтересовал мою скучающую женщину. Она попробовала его изучить, а потом незаметно увлеклась, тем более что он не обращал на нее вначале ни малейшего внимания. Все поклонялись, а он хоть бы какое внимание. Это ее взорвало, – она тоже, как вы, самолюбива! Она познакомилась с ним ближе, стала слушать его. Так было страшно, ново и заманчиво. Он все искал бурь, и вся жизнь его была – буря. Она увлеклась, а он принял это как нечто должное, даже и не удивился. Натура деспотическая, упрямая, без уступок. Моя героиня было подумала: вот оно настоящее… вот око счастье. В ней вспыхнула страсть. Вначале тревоги, беспокойства, ожидания… было жутко и весело, а после, когда они ближе узнали друг друга, когда он поставил вопрос прямо, она испу-

галась и его и бурной жизни. И вот, в один прекрасный день, после многих дней, когда чувствуется, что приближается начало конца, они решили, что довольно… и… разошлись.

– Нашла коса на камень? Сошлись две беспокойные натуры?

– Сошлись, приняли порыв страсти за любовь, обманулись и разошлись!

– И конец?

– Конец. Между ними большая разница. Он ищет борьбы, а она ее боится. Она слишком избалованная женщина.

– И не расстанется с таким уютным гнездышком, как, например, ваше?

– Да и к чему? Здесь так тепло, уютно, не правда ли? А там… Бог знает что там!

– И он, в свою очередь, сюда не придет!

– Еще бы! Да и здесь он будет не на месте, так же, как я там! – заметила Нина, смеясь. – Ведь было бы смешно, если бы я, например, вот этими самыми руками стала готовить кушанье. Зачем я буду это делать и портить руки! Глупо и скучно! – усмехнулась Нина Сергеевна. – Вот вам и история. Вы ждали большего? Не правда ли?

– И этого довольно. Благодарю вас!..

– А приговор?

– Самый строгий! – улыбнулся Николай.

– Какой же?

– Выйти замуж за господина Присухина!

– За Присухина? – воскликнула Нина и рассмеялась. – Вы придумали моей героине действительно ужасный приговор!

– Впрочем, я милостивый судья и, пожалуй, дам снисхождение! Она и так довольно наказана.

– Вы думаете? – промолвила Нина, осторожно макая сухарик в чашку.

– Еще бы! Ведь не удалось приручить рыцаря? Всех приручала, а вот наконец нашелся таинственный рыцарь без страха и упрека, из-за которого наша гордая красавица, пожалуй, не раз омочила слезами свои насмешливые глазки. Вам этих подробностей героиня не сообщала, Нина Сергеевна? – говорил, посмеиваясь, Николай, любуясь в то же время ослепительной красотой Нины. – Она не говорила вам? Были слезы? А тайные свидания при лунном свете бывали, где-нибудь в беседке?

– Верно, – усмехнулась Нина.

– И знаете ли что? Ваша героиня из хищных натур, да к тому ж из артистических. О, она умеет художественно играть с людьми, и вдруг не удалось. Ее соблазнила новизна, заманчивость; она думала, что и этот рыцарь поддастся ей, и… не удалось. Не оттого

ли она и хандрит теперь? Пожалуй, она до сих пор неравнодушна? Признаться, Нина Сергеевна, я даже рад, что ваша героиня получила урок…

– Ну, мой строгий моралист, сознайтесь, вы бы обрадовались еще более, если бы моя героиня вас помучила? – насмешливо промолвила Нина. – Вам досадно, что не вы на месте героя?

– Куда мне! – вспыхнул, задетый за живое, Николай. – Слава богу, я незнаком с этой барыней, а то, чего доброго, если б от скуки ей вздумалось удостоить меня своим вниманием, пококетничать, я был бы несчастнейший человек. Слава богу, вы хоть, Нина Сергеевна, смягчились и не намерены разрушить моего семейного счастия, – иронически прибавил Вязников. – Сердце у меня мягкое, доверчивое. Я бы поверил ей сразу и… и полюбил, да как полюбил!.. Все забыл бы ради вашей милой хищницы. За один ее поцелуй, за ласку я готов был бы на самые ужасные жертвы… ну, хоть слушать лекции Горлицына. Я, как раб, ждал бы ее слова, ее взгляда. Я шептал бы ей страстные речи, от которых содрогнулся бы… сам Присухин и понял бы, что такое молодая горячая страсть. А она, ваша гордая красавица, принимала бы эту дань как недурное лекарство от скуки. О, мне остается только радоваться, что ваш сфинкс не удостоивает вниманием обыкновенных смертных.

Облокотившись на стол, чуть-чуть отвернув голову, слушала Нина, не прерывая, эту саркастическую речь Николая. В тоне его голоса звучала не одна насмешка. Страстные звуки незаметно вырывались из его груди, лаская слух и щекоча ее нервы. Она тихо повернула голову, взглядывая украдкой из-под ладони на свежее, молодое, красивое, вызывающее лицо Николая. Странная, загадочная улыбка пробежала по ее оживившемуся лицу. В глазах загорался огонек, грудь задышала быстрее. Она как-то вся потянулась, жмуря глаза.

Николай замолчал и взглядывал на Нину, стараясь заметить впечатление своих слов, но лицо ее было прикрыто рукой. Она не подымала головы и молчала.

Когда наконец она тихо отвела руку и повернулась к Николаю, она была совсем спокойна. Только румянец алел на ее розоватых щеках. Она посмотрела на молодого человека насмешливым пристальным взглядом и, словно бы нехотя, проговорила:

– Напрасно вы так иронизировали, Николай Иванович! Моя героиня никогда бы и не подумала серьезно вас сделать своим рабом. Во-первых, рабы скоро надоедают, а во-вторых…

Она остановилась на секунду, как бы в раздумье.

– А во-вторых, – продолжала она, – вы верно заметили: хищница, и даже артистическая. Мне кажется,

ее даже и при скуке не заняла бы слишком легкая победа над таким юношей, как вы. Вам не пришлось бы ждать ее поцелуев. Напрасная трата времени! – прибавила она холодно.

Нина нанесла жестокий удар самолюбию нашего молодого человека. Он старался было под смехом скрыть досаду, но смех вышел ненатуральный. Он посмотрел на Нину со злостью. В голосе звучала раздражительная нотка, когда он проговорил:

– А ваша героиня, как видно, очень самоуверенна и раздает поцелуи только…

С уст его чуть было не слетело имя Прокофьева. Но он вовремя остановился.

– Только очень интересным людям! – прибавил он ядовито. – И, верно, тайно, чтобы никто не знал.

– Как видите… самоуверенна. Избаловали ее!.. Однако довольно о ней. Оставим ее в покое.

– В ожидании нового рыцаря? – ядовито добавил Николай.

– Пожалуй, если найдется подходящий!.. Жить ведь хочется!

– О, за этим дело не станет. Стоит поискать только.

– Да вы, кажется, очень недовольны моей героиней? Я и сама ею недовольна… Расскажите-ка лучше о себе, Николай Иванович. Вы только что так хорошо говорили о вашем будущем счастье, о любви, о

надеждах, что я готова еще раз прослушать… Я ведь очень люблю слушать счастливых людей.

Николай вспыхнул. В словах Нины Сергеевны звучала тонкая ирония. Над ним, очевидно, потешались, как над школьником.

– С удовольствием бы рассказал, Нина Сергеевна, да боюсь: вам будет, пожалуй, завидно чужому счастью.

– О, я не завистлива.

– Да и поздно. Посмотрите, уж первый час в исходе. Вот как мы заболтались.

– А что ж, и слава богу!.. Я всегда рада поболтать с вами… Впрочем, не смею задерживать вас. Вам теперь столько хлопот.

– Хлопот много! – отвечал, подымаясь, Вязников. – Ах, чуть было и не забыл!.. Вот вам и обещанное прошение.

Он положил бумагу на стол.

– Благодарю вас! – проговорила Нина, пробегая глазами бумагу. – Отлично. Коротко и ясно.

– А имя молодого человека вы все еще, видно, не припомнили? – значительно заметил Николай, прощаясь.

– Оно вас, кажется, очень интересует?

– Нет. Так! – протянул Николай. – Какое мне дело до чужих имен и тайн.

– Какие тайны? – промолвила, чуть-чуть краснея, Нина.

– Я так, под впечатлением истории вашей героини. Она, кажется, любит тайны. А впрочем, бог с ней!.. Прощайте, Нина Сергеевна. Желаю вам не хандрить и поскорей быть такой же веселой, как в деревне. Помните? Ну, да за этим дело не станет, надеюсь?

– Разумеется!.. Зачем «прощайте»? Я не прощаюсь с вами, а говорю: «до свидания», надеясь изредка видеться. Часто заходить не прошу: вам, счастливым влюбленным, не до того; а изредка загляните, я поболтать с вами всегда рада… Надеюсь, вы познакомите меня с вашей женой?

– Непременно! – церемонно проговорил Николай.

– Ну, а затем, дай бог вам всего хорошего! – проговорила Нина, и снова в ее голосе зазвучала задушевная нота.

Она дружески-крепко пожала ему руку и прибавила:

– Да смотрите, не очень сердитесь за скучную историю героини. И сами не походите на нее!

Николай ушел от Нины Сергеевны раздраженный, в скверном расположении духа. Теперь в его глазах она потеряла значительную долю прежнего обаяния.

«Просто самодовольная кокетка!» – подумал он.

– А хороша, дьявольски хороша! – проговорил он с досадой, припоминая ее лицо, плечи, шею и грудь.

Нина Сергеевна долго еще сидела у маленького столика. Наконец она поднялась и тихо прошла в спальню.

– Теперь не скоро придет! – проговорила она, и насмешливая улыбка показалась в ее глазах.

Она зевнула и приказала горничной раздевать себя.

– Нравится, Анна, тебе этот господин? – спрашивала она, ложась в постель.

– Очень. Такой красивый, славный молодой человек, Нина Сергеевна. Он будет, верно, у нас часто бывать?

– А что? – усмехнулась Нина.

– Я так, к слову.

– Нет, не будет, Анна! – проговорила Нина, подавив легкий вздох.

Анна взглянула с недоумением на барыню.

– Он женится… А то бы часто бывал! – усмехнулась Нина, потягиваясь.

Анна, давно служившая у Нины, с участием взглянула на барыню, пожелала ей спокойной ночи и вышла из спальни не без досадного чувства, что барыня упустила такого премилого любовника. Прежний ей не очень нравился.

На другой день, при встрече с Леночкой, Николай несколько смутился, когда Леночка сказала ему, что вчера ждала его.

Он рассказал ей о своем свидании с Лаврентьевым, потом об его извинении («верно, он от Васи узнал, что мы женимся!») и, обнимая Леночку, воскликнул:

– А ты, Лена, и не знала, что из-за тебя мы собирались драться на дуэли?

– Не знала, – солгала Леночка, краснея.

– И что меня могло не быть сегодня на свете? Я не хотел тебя тревожить, Леночка, и мы обещали не говорить тебе о дуэли. Ну, видишь ли, все кончилось отлично. Лаврентьев пожелал нам счастья! – весело говорил Николай, не догадываясь, кому он обязан тем, что история с Лаврентьевым уладилась. – А ты что? Опять сегодня у тебя лицо какое-то нехорошее. Худо спала ночь?

С любовью и гордостью Леночка смотрела на Николая и проговорила:

– О нет, я здорова. Так, сегодня дурно спала. Зубы болели! Теперь, Коля, милый мой, из-за меня тебе более не придется рисковать жизнью!

– Теперь Лена… теперь… Да какая же ты добрая, хорошая моя! – прошептал Николай, глядя на тихо сияющее, счастливое лицо Леночки. – Теперь давай ско-

рей устраивать наше хозяйство и сегодня же пойдем искать квартиру.

Они вышли на улицу. Николай, между прочим, рассказал, что вчера вечером он был у Нины Сергеевны по важному делу. Надо было написать ей прошение.

Он объяснил какое и прибавил смеясь:

– От скуки к министрам ездит. Все по крайней мере, может быть, доброе дело сделает! Вообрази, она желает с тобой познакомиться, Лена, и с Васей.

– Бог с ней!

– Не нравится она тебе?

– Нет! И что ей у нас делать?

– Да и мне, Лена, она не нравится. Пустая женщина!..

Этот отзыв порадовал Леночку, и она поспешила прибавить:

– А впрочем, если хочет познакомиться, отчего же? Быть может, она и добрая женщина!

XV

Я попрошу теперь читателя перенестись в большую залу дворянского дома губернского города С., присутствовать на открытии чрезвычайного губернского земского собрания.

К общему изумлению, гласные на этот раз собрались охотно. Зала быстро наполнялась. На хорах было довольно публики. В ожидании приезда губернатора земцы оживленно беседовали, разбившись по группам. Председатель собрания, губернский предводитель дворянства, казался несколько смущенным и о чем-то горячо говорил с нашим старым знакомым Иваном Андреевичем Вязниковым, высокая фигура которого с седой львиной гривой выделялась среди окружавшей их группы.

В залу быстрой, военной походкой вошел губернатор. Разговоры смолкли. Это был небольшого роста, сутуловатый генерал, лет под пятьдесят, с резким, недовольным лицом, обрамленным седыми бакенбардами, сменивший несколько месяцев тому назад губернатора-статистика. Новый губернатор приехал подтянуть губернию. В короткое время его превосходительство успел проявить свои несомненные административные дарования, хотя, надо сознаться,

энергия, с которой его превосходительство подтягивал вверенную ему губернию, успела навести на с-их жителей значительную робость. Мирные обитатели вдруг почувствовали себя как будто виноватыми.

Его превосходительство знал хорошо впечатление, которое он произвел на край своей энергией, и был очень этим польщен. Человек добросовестный, несомненно честный, «солдат прежде всего», как он сам называл себя, исполнительность которого имела за собой целую легенду в полку, которым он командовал перед тем как приехал управлять губернией, – он взглянул на свое назначение и понял совет «действовать с мудрой твердостью», – совет, данный ему в Петербурге, – как на миссию очистить край. Его предшественник «распустил нюни», по выражению его превосходительства, а по мнению генерала, время было такое, что нужна была, напротив, железная рука Бисмарка [73].

Несколько заикаясь и опустив глаза вниз, генерал произнес краткую, но энергичную речь. Он пожелал собранию заняться делом, а не разговорами, и, объявив собрание открытым, так же быстро вышел из залы, как и вошел.

Эта краткая речь произвела на земцев не особен-

---

[73] …железная рука Бисмарка. – Отто Бисмарк, князь фон Шенгаузен (1815-1898) – крупный государственный деятель.

но приятное впечатление. Все как-то переглянулись, раздался иронический смех.

Председатель, толстый, почтенный господин, занял свое место. Он, очевидно, был встревожен, беспокойно взглядывая то на большую тетрадь, лежавшую перед ним, то на старика Вязникова. Наконец он проговорил:

– Милостивые государи! Наш почтенный и высокоуважаемый товарищ, Иван Андреевич Вязников, представил мне записку, которую просит доложить собранию, прежде чем откроются прения по вопросу, составляющему цель нашего заседания. Хотя записка эта и относится к делу, но предварительно я должен доложить собранию, что она написана в таком направлении, что я бы просил собрание, ввиду возможных случайностей, отклонить ее чтение, – прибавил председатель взволнованным голосом.

Все на минуту притихли и взглянули на Вязникова. Он тихо поднялся, обвел собрание спокойным взглядом и проговорил громким, твердым голосом:

– Мне кажется, что господин председатель не имеет права делать такое предложение. Я прошу собрание выслушать мою записку.

– Читать! Читать! – раздались голоса.

– Не надо! Не надо!

– Читать! Читать!

– Я снова должен предупредить собрание, – проговорил дрожащим голосом, весь бледный, председатель, – что записка нашего почтенного сотоварища едва ли должна быть прочитана.

Последние слова председателя, его испуганный, растерянный вид произвели впечатление. Собранием как будто овладело недоумение. На лицах отразился испуг. Все молчали, беспокойно взглядывая в ту сторону, где возвышалась седая голова Ивана Андреевича.

– Мне очень прискорбно, но еще более удивительно, – начал он, взглядывая на бледного председателя с улыбкой, полной презрения, – что господин председатель настаивает на своем незаконном предложении. Собрание знает меня и может быть уверено, что в записке моей нет и не может быть ничего такого, что могло бы компрометировать собрание, и я снова позволю себе спросить господина председателя, недоумевая, что такое в названной записке могло так… так обеспокоить нашего председателя? Пусть он выскажется яснее. Мы собрались сюда высказать свое мнение по вопросу очень серьезному, милостивые государи, вы очень хорошо это знаете. Было бы странно, недостойно собрания, если бы оно побоялось выслушать слово своего товарища единственно на том ос-

новании, что господин председатель находит его мнения несоответствующими своим взглядам. Как, господа, мы ни стеснены в своих узких рамках, но тем не менее неужели мы сами же наденем на себя намордники и даже не посмеем отвечать в тех редких случаях, когда нас спрашивают?!

Громкая, страстная речь благородного старика возбудила собрание. Речь его была покрыта громкими рукоплесканиями.

– Читать, читать! – раздались крики, покрывая голоса, протестовавшие против чтения.

Большинство, очевидно, было за чтение.

– В таком случае я прошу выбрать на время другого председателя… Я не могу оставаться председателем! – проговорил предводитель дворянства.

Через несколько времени выбран был председатель. Старый тотчас же оставил залу вместе с несколькими более перепуганными членами.

– Не угодно ли будет, Иван Андреевич, вам самому прочитать?

При общем напряженном внимании и глубокой тишине Вязников стал читать свою записку.

В спокойном, сдержанном, хотя и грустном тоне излагалось в начале положение земства [74]. Глубоким

[74] Земства – органы местного самоуправления, созданные в России по реформе 1864 года.

чувством звучал голос Вязникова, когда он читал, как мало-помалу суживался круг земского самоуправления и отбирались права, дарованные законодателем. Земство, по словам Вязникова, играло жалкую роль и, при малейшей попытке выйти из недостойного положения, встречало недоброжелательство. Оно принуждено было с болью смотреть, как администрация налагала свою руку и вместо помощи нередко являла противодействие. Поневоле пришлось сделаться безгласным. При таком положении дел оно поставлено в невозможность достойно помочь в тяжких испытаниях, переживаемых страной. Представители земства должны с прискорбием сознаться, что они бессильны. Земским учреждениям не выпадает счастливая доля большего простора, самостоятельности и вместе с тем уверенности в праве своем безбоязненно подавать свободный голос. Только полное доверие, без разных ограничений, при широком обмене мнений земств, представляет, по словам записки Ивана Андреевича, единственную возможность обсудить с должной серьезностью причины прискорбных явлений и найти действительные способы к мирному развитию отечества.

Иван Андреевич окончил чтение среди глубочайшего молчания. Записка произвела сильное впечатление. В ней повторялось то, что многими чувствова-

лось.

– Смею думать, милостивые государи, – произнес Вязников, – что я не высказал в своей записке ничего такого, что могло бы дать кому бы то ни было повод обвинить собрание за то, что оно выслушало ее! Я презираю такие обвинения! – прибавил он громовым голосом, потрясая седой головой. – Я исполнил свой долг по крайнему своему убеждению, предложив вашему вниманию соображения, которые невольно напрашиваются и составляют давно наболевшую у всех нас рану. От вас, конечно, зависит, принять их во внимание или нет. Мы можем, разумеется, обыкновенным способом – к прискорбию, очень обычным – решить вопрос, занимающий нас. Господин начальник губернии даже предрешил решение наше, рекомендуя не рассуждать! – усмехнулся Иван Андреевич. – Способ, конечно, очень легкий, но я позволю себе, господа, напомнить вам, что мы можем и сами решить вопрос, без постороннего вмешательства. И не забудьте, господа, что достоинство наше, как представителей выборного учреждения, как честных русских людей, заставляет высказать наше мнение честно и открыто, не прикрываясь фразами, которые к тому же никого не обманут! В противном случае и лучшие из наших современников, а потом и дети наши вправе подумать, что мы, отцы их, оказались недостойными

тех великих реформ, которых были счастливыми свидетелями и менее счастливыми исполнителями. Не забудьте, милостивые государи, и примите слова старика без дурного чувства, что дети наши могут сказать про нас, что мы не любили своей родины, что мы сознательно обманывали общество и правительство, или – я уж не знаю, что хуже! – или что нам и в самом деле нечего было сказать, и мы, земские люди, недостойны были называться представителями учреждения, в котором, господа, лежит зерно будущего возрождения нашей бедной родины… Решайте же, господа!

Взрыв рукоплесканий огласил залу. Словно электрическая искра, увлечение охватило обыкновенно апатичное собрание. Даже те самые робкие люди, которые несколько времени тому назад противились чтению записки, теперь подходили к Вязникову и жали ему руку. Лица у всех вдруг сделались серьезны. Слова старика пробудили какие-то хорошие, давно заглохнувшие чувства.

Записка Ивана Андреевича была принята собранием в принципе. Однако после прений решено было несколько изменить редакцию и на другой день собраться для подписи.

Но вечером того же дня настроение многих гласных уже изменилось вследствие тревожных слухов, раз-

несшихся с быстротою в городе. В клуб то и дело приезжали вестовщики и привозили самые разнообразные вести. Рассказывали, что губернатор пригласил председателя и имел с ним очень решительное объяснение, что у предводителя дворянства составляется протест, что будто бы его подписали, между прочим, некоторые из гласных, одобривших утром записку в собрании, и что комиссия не собралась. Наконец передавали за верное, что старик Вязников внезапно уехал в деревню, и т.п. Все эти рассказы влияли на земцев самым подавляющим образом, и когда в двенадцатом часу в клуб приехал временный председатель собрания, то его окружили и стали настоятельно расспрашивать, что случилось. Оказалось, что начальник губернии настоятельно рекомендовал земцам «одуматься», представляя на вид, что в противном случае будут весьма серьезные последствия. Почтенный председатель хоть и старался показать, что он не испугался этого предостережения, однако по лицу его было видно, что он очень расстроен. Он даже не сел играть в винт, несмотря на то, что был большой любитель. Относительно протеста он сообщил, что наверное не знает, но, кажется, есть вероятие в слухах. Что же касается Вязникова, то слухи об его отъезде – чистейший вздор; председатель был у него полчаса тому назад и застал его в номере гостиницы,

занятого исправлением редакции своей записки, так как комиссия поручила это дело ему.

– Что ж Вязников? – спрашивали со всех сторон. – Знает, какой переполох?

– Иван Андреевич, вы знаете, господа, как возьмет что в голову, так не скоро откажется. Я передал ему разговор с губернатором, а он даже рассердился. Старик – совсем увлекающийся человек! – прибавил рассказчик.

Многие подхватили это слово. В самом деле он «увлекающийся человек». Он уж чересчур горячится. Конечно, записка его написана превосходно – он умница! – но все-таки собрание поторопилось. Бог знает в каком виде представит губернатор сегодняшнее заседание! Того и гляди из-за него всем достанется!..

Такие слова вырывались у многих; многие про себя решили не ехать завтра в собрание.

Иван Андреевич только что окончил работу, перечел записку, и горькая усмешка пробежала по его лицу.

– Уж они, кажется, назад! – проговорил он, вспоминая посещение председателя. – Неужели струсили? А утром еще…

Он уже собирался ложиться, когда в двери вошел слуга и подал ему пакет. Он распечатал и прочел записку, написанную крупным, красивым писарским по-

черком, следующего содержания:

«Его превосходительство г. начальник губернии покорнейше просит Ивана Андреевича Вязникова пожаловать завтра в девять часов утра, для объяснений».

Записка не была подписана.

– Что этому… от меня надо? – проговорил старик, задетый за живое тоном этой записки.

Однако он решил пойти.

Долго ворочался старик в постели, а сон не приходил успокоить его возбужденные нервы. Грустные мысли бродили в голове Ивана Андреевича.

Оптимизм старика все чаще и чаще подвергался тяжелым испытаниям. Вязников уже далеко не с прежней надеждой ожидал близких весенних дней. В последнее время он даже с каким-то ужасом смотрел на то, что делалось вокруг. Нередко, возвращаясь из города, он рассказывал Марье Степановне о том, что слышал, что видел, и грустно задумывался, сидя в своем кабинете. Бывали минуты, – и они стали повторяться все чаще и чаще, – когда Иван Андреевич с болью вспоминал о младшем сыне. Он писал ему горячие письма, в которых с какою-то особенной настойчивостью предостерегал его от увлечений («Пока надо учиться, учиться и учиться!»), рисуя окружающую жизнь, близкое будущее в розовом свете. Он накладывал светлые краски, а в то же время сам чувство-

вал, что краски не те, что в действительности тон не такой светлый, и со страхом ожидал ответов. В нежных письмах сына, в которых сын спорил с отцом, чуткое любящее сердце слышало какие-то скорбные звуки молодой, возбужденной души. Оптимизм отца не действовал ввиду грустной действительности. Старик понимал, что трудно успокоить юношу, когда даже и он, старик, начинал терять надежду…

Но в старике, как видел читатель, еще сохранилась вера в идеал. Он не мог оставаться равнодушным зрителем.

Впечатление, произведенное его горячей запиской, оживило старика и пробудило надежды. Но вечер испортил хороший день. Беседа с председателем заставила его усомниться в своих товарищах. Из слов его он понял, что его записка завтра не будет принята.

Ровно в девять часов на следующий день Иван Андреевич входил в кабинет к его превосходительству.

Генерал принял старика стоя. Он резко поклонился и произнес отрывистым, недовольным тоном:

– Ваша записка, милостивый государь, вызвала вчера неприличную сцену в собрании. Я удивляюсь, как вам позволили ее читать, но еще более удивляюсь, как вы решились написать такую непозволительную записку… Я…

– Я тоже изумляюсь, почему вы пригласили меня,

генерал? – резко перебил старик, бледнея от негодования. – Вы можете действовать в законном порядке, но прежде надо спросить у меня, желаю ли я слышать выражения вашего изумления!..

Его превосходительство, не ожидавший ничего подобного, смешался и не знал что сказать. Наконец с его дрогнувших толстых губ слетели отрывистые фразы:

– Я имел намерение предупредить как хозяин губернии. Я призван сюда… Наконец в моей власти…

Вязников обмеривал серьезным взглядом его превосходительство.

– Наконец вам известно, что мне предоставлено право… Я могу…

– Это уж не мое дело, генерал! – гордо произнес Вязников и вышел из кабинета.

Его превосходительство несколько минут оставался в недоумении. Наконец он послал за правителем дел, расторопным молодым человеком из Петербурга, и приказал ему написать решительное распоряжение насчет Ивана Андреевича. Однако расторопный молодой человек успел, хотя и не без труда, убедить генерала не делать пока такого решительного шага ввиду положения и преклонных лет Вязникова.

– Я полагаю выждать, что скажет Петербург! – прибавил молодой человек.

Его превосходительство не скоро еще успокоился, и в этот день лица, являвшиеся с донесениями, получили большую гонку.

Через два дня Вязников, мрачный, возвращался в свое Витино. Записка его была подписана только пятью человеками. Большинство собрания нашло ее несвоевременной. В городе ходили тревожные толки насчет Ивана Андреевича. Записка, наделавшая столько шума, была послана в Петербург.

XVI

Через несколько дней Иван Андреевич сидел в своем кабинете в теплом, подбитом заячьим мехом, сюртуке, погруженный в чтение, когда в одиннадцатом часу дня в кабинет тихо вошла Марья Степановна, положила на стол привезенные со станции газеты и подала ему письмо.

– От Коли! – произнесла она, радостно улыбаясь.

– Что-то пишет хорошенького! – промолвил Иван Андреевич.

Он стал читать письмо. В чертах лица Ивана Андреевича Марья Степановна заметила такое удивление, что тревожно спросила:

– Что такое?.. Ты, кажется, очень изумился письмом?

– Еще бы!.. Знаешь ли, какую новость сообщает Коля? – проговорил Вязников, передавая письмо. – Никак не догадаешься!.. Коля женится.

– Женится! – испуганно вскрикнула Марья Степановна.

– На Леночке!

– На Леночке!.. – с облегченным сердцем проговорила Марья Степановна, жадно пробегая письмо. – Вот неожиданная новость… Я никак не могла бы по-

думать.

– Признаться, поразил и меня Коля… И как торопится…

– Ты как же, Иван Андреевич? Доволен? – спрашивала она через несколько времени, когда прошло первое впечатление от неожиданного известия.

– По-моему, рано бы Коле жениться… По его характеру надо бы подождать…

– Оно, пожалуй, и лучше для Коли раньше жениться. Он такой увлекающийся! – заметила, улыбаясь, мать.

– То-то лучше ли? – в раздумье проговорил Иван Андреевич. – И ведь раньше ни слова не сказал, даже не намекнул! – прибавил Иван Андреевич. – А еще друг! А ты ничего не замечала? Уж не летом ли они сблизились друг с другом? И этот неожиданный отказ Лаврентьеву…

– А пожалуй! То-то Леночка тогда так мучилась!

– Мы с тобою, брат, уж стары стали, ничего и не видели! – засмеялся старик, ласково пожимая руку жены. – Что ж? Раненько-то раненько Коле жениться, а впрочем, оба они такие славные…

– И знают давно друг друга… Они будут счастливы!

– Только бы Коле побольше характеру, выдержки. С семьей не то, что одному! – заметил Иван Андреевич. – А мы помочь-то ему, к сожалению, не в состо-

янии. Детям-то ничего дать не можем! – грустно промолвил старик. – Разве угол в деревне.

– Проживут! – весело сказала Марья Степановна. – Да и у нас еще кое-что найдется, чтобы помочь им устроиться на первое время.

– Еще разве есть брильянты в запасе? – усмехнулся Иван Андреевич.

– Есть еще… продадим! Тысячку-другую наберем.

– Ну, да Леночка – бережливая, умница, она удержит Колю. Он-то в меня… любит мотать деньги! – усмехнулся Вязников. – Вот Вася, так тот в тебя. Все другим готов отдать. Впрочем, Коля пишет, что дела его поправились.

– И как не поправиться. С его умом, да чтобы не прожить без особенных забот! Слава богу! А в случае чего – милости просим в Витино.

Старики весело говорили о Коле и Леночке. Им казалось, что время прошло удивительно скоро. Давно ли Коля и Леночка были детьми, а вот уж, бог даст, и внуков понянчить придется.

– На свадьбу мы, разумеется, поедем? – радостно проговорила Марья Степановна.

– Я бы рад, очень рад! – оживился старик. – Но сама знаешь…

– О деньгах не беспокойся… найдем. Немного же нам и нужно. Кстати, ты рассеешься. Довольно-таки в

последнее время неприятностей.

– Как это ты только изворачиваешься, моя милая! Так едем? В самом деле, посмотреть на них. А все я пожурю Колю, что другу-то ни слова не сказал.

– Ну, не жури.

– А уж ты испугалась!

На другой же день утром Марья Степановна поехала в город, и через два дня старики послали Николаю тысячу рублей и писали, что через неделю сами приедут благословить детей. Леночке старики написали горячее письмо, в котором выразили радость, что могут ее назвать своею дочерью.

Хотя Марья Степановна и просила мужа не беспокоиться, говоря, что деньги найдутся, но денежный вопрос очень ее тревожил. Она продала последние свои ценные вещи, за которые ей дали всего тысячу рублей, а надо было достать еще денег на уплату процентов в банк и на поездку в Петербург. То, что было в ее кассе, было послано раньше Коле по его просьбе, и в доме денег не оставалось. Она несколько ночей не спала, придумывая, как бы извернуться и доставить мужу (о себе она, по обыкновению, не думала) удовольствие поездкой в Петербург. Она со страхом замечала, как Иван Андреевич в последнее время хандрил в деревне. История с запиской, расстроившая мужа, расстроила и ее. Она скрывала от Ива-

на Андреевича свою тревогу, но до нее доходили слухи, распущенные в городе, и она еще более тревожилась и с ужасом думала об этих слухах. Первые дни после возвращения старика из города каждый звук колокольчика приводил ее в трепет…

В течение недели Марья Степановна несколько раз ездила в город. Оставался еще последний клочок леса, и она хотела его продать, но цену давали самую ничтожную. Тогда она обратилась к одному богатому родственнику и наконец достала еще тысячу рублей, рассчитывая уплатить долг продажей леса по более выгодной цене.

Иван Андреевич хотя и догадывался, но не вполне, о тревогах жены. Она предпочитала скрывать свои тревоги, зная, как больно было бы старику. Давно уже она приучила мужа не беспокоиться о делах. Вся тяжесть забот лежала на ней. Она несла это бремя тихо, спокойно и весело, никогда не жалуясь. Иван Андреевич, привыкший смолоду мало думать о средствах, и не подозревал, сколько нужно было Марье Степановне уменья, труда и забот, чтобы жить не нуждаясь. А дела в последнее время шли все хуже и хуже. Капитал женин был прожит, имение приносило самый незначительный доход, а Иван Андреевич по-прежнему добродушно ворчал, если за обедом, случалось, не было пирожного!

Когда наконец Марья Степановна устроила все дела, Вязниковы поехали к Ивану Алексеевичу. Старый исправник был в восторге от свадьбы. Марфа Алексеевна тоже радовалась. Они показали Вязниковым письмо Леночки, а Марфа Алексеевна значительно заметила:

– Уж я давно замечала, давно.

– Много ты замечала! – добродушно смеялся исправник.

Однако ехать в Петербург на свадьбу он не мог.

– Ах, Иван Андреевич, если бы вы только знали, что за каторга нам, – вздыхал старик.

– Знаю, знаю, Иван Алексеевич! Да вы, кажется, недолго… скоро в отставку?

– То-то, скоро! Мы ведь не можем, как вы! Славное, говорят, вы ему асаже задали! – смеялся исправник. – Я слышал. На днях его вызвали в Петербург. А вас не вызывали, Иван Андреевич?

– Нет.

– Предводитель дворянства тоже вызван…

– Вызван?

– Как же! А вы не изволили слышать?

– Я ведь не был с тех пор в городе.

– Я была в городе и тоже ничего не слыхала! – заметила Вязникова.

– Вчера только телеграмма получена.

Когда Вязниковы возвращались домой, Марья Степановна, стараясь подавить тревогу, спросила:

– А ты… тебе ничего не может быть за эту записку?

– Что ж они могут со мной сделать? – усмехнулся старик.

– Мало ли что.

– Ну, что ж?! Надеюсь, мы с тобой на старости лет не пойдем кланяться? – гордо проговорил Иван Андреевич. – И что может нас испугать, стариков, теперь? Жизнь наша и без того подходит к закату. Не так ли, мой добрый друг? – каким-то серьезно-торжественным тоном прибавил старик.

Марья Степановна взглянула на мужа. В лице его не было ни малейшей тревоги. Оно по-прежнему было спокойно-задумчиво. Его спокойствие сообщилось и ей. Она улыбнулась своей кроткой улыбкой и твердо проговорила:

– Ты прав. Чего нам бояться!

– Особенно с тобой вместе! – нежно прошептал старик. – И с такими детьми, как наши!

И они замолчали.

Через несколько дней Вязниковы были уже в Петербурге. Свидание с детьми было самое радостное. В тот же вечер вся семья собралась в комнате у Николая за самоваром. Все были веселы и счастливы. Нежные взгляды стариков попеременно останавлива-

лись на детях. Глядя на Николая и Леночку, старики не сомневались, что перед ними счастливая пара.

Когда, после первых расспросов, старик, по просьбе сыновей, рассказывал подробности новой своей «неудачи» в земском собрании, Николай вскипел негодованием, а Вася молча глядел на отца восторженным взглядом.

Через неделю после приезда стариков была свадьба Николая и Леночки.

XVII

Иван Андреевич Вязников рассчитывал пробыть в Петербурге еще недели две. Старику хотелось подольше остаться с детьми, – особенно беспокоил его Вася, – повидать старых друзей и знакомых и прислушаться, «как в Петербурге бьется пульс». Кроме того, Ивану Андреевичу хотелось и рассеяться после долгом жизни в провинциальном захолустье; благодаря финансовым способностям и настояниям Марьи Степановны, Вязников собирался побывать в опере, пообедать в тесном приятельском кружке и вспомнить старинку за бутылкой-другой шампанского. Но все эти планы, по-видимому вполне исполнимые, оказались преждевременными, по пословице: человек предполагает, а бог располагает. Едва только Иван Андреевич начал присматриваться к настроению Петербурга (и, надо сказать правду, остался не очень им доволен), как ровно через три дня после свадьбы сына должен был выехать из столицы и спешить, нигде не останавливаясь, в Витино, хотя ни внезапный отъезд, ни его стремительность вовсе не входили (это необходимо заметить) в первоначальные планы Ивана Андреевича, а тем более Марьи Степановны.

Было бы несправедливо сказать, что отъезд этот,

несмотря на стремительную его поспешность, явился неожиданностью, по крайней мере для самого Вязникова. В данном случае судьба как будто приняла в соображение почтенные годы старика и не застала его совершенно врасплох. Обстоятельства сложились относительно еще так счастливо (и Марья Степановна впоследствии с грустной улыбкой вспоминала об этом, по поводу другого отъезда), что Иван Андреевич успел своевременно известить сыновей об отъезде и проститься с ними.

Счастливое предостережение приготовиться к отъезду явилось в виде двух фактов: во-первых, накануне дня отъезда получено было из Витина несколько странное и, очевидно, торопливое письмо от старосты Никиты Фадеича и, во-вторых, в тот же самый день Иван Андреевич имел свидание с одним бывшим своим товарищем, занимавшим в описываемое нами время если не очень важное, то, во всяком случае, довольно видное место в администрации.

Никита Фадеевич, каллиграфия которого на этот раз хромала пуще обыкновенного, хотя и сомневался в юридическом праве своем отписать письмо, по все-таки считал несокрушимым своим долгом доложить его высокоблагородию барину Ивану Андреевичу, на всякий случаи, для сведения, что «вчерашнего числа, в ночное время, в усадьбу вашу изволили пожаловать

господа и, неизвестно по какой причине составивши ахту, изволили благополучно отбыть поутру из усадьбы». Уведомляя об этом, Никита Фадеич просил инструкций насчет «ежели опять, чего боже храни», и затем желал всякого благополучия Ивану Андреевичу, а равно и супруге Марье Степановне, а также и сынкам их.

Едва только Иван Андреевич прочитал письмо Никиты Фадеевича и раздумывал, не лучше ли скрыть это послание от Марьи Степановны (ее, по счастью, не было дома), как в двери номера гостиницы раздался осторожный стук, и вслед за тем на пороге появился незнакомый господин в вицмундире и, отрекомендовавшись экзекутором такого-то департамента, передал Ивану Андреевичу свидетельство почтения и поздравление с приездом его превосходительства такого-то и вместе с тем просьбу пожаловать к ним, если позволят обстоятельства, на квартиру (господин в вицмундире обязательно сообщил адрес) между двенадцатью часами и часом, по очень важному делу, лично касающемуся Ивана Андреевича.

Проговорив эту краткую речь, почтенный чиновник счел долгом поклониться еще раз, прежде чем прибавить ко всему вышеизложенному извинение его превосходительства, что они сами не могут сегодня же пожаловать к Ивану Андреевичу, а равно и не могли

написать письма, вследствие обременения служебными обязанностями.

При этих словах Вязников не мог не улыбнуться, припомнив своего старого товарища, не отличавшегося прежде особенной любовью к занятиям. Господин в вицмундире не знал, чему приписать улыбку на лице Вязникова: тому ли, что его превосходительство обременен занятиями, или какому-либо другому обстоятельству. С проницательностью департаментского экзекутора, малого на все руки, он заключил было, что его превосходительство намерен призанять денег у приезжего помещика и потому так торопится его видеть. Что же касается улыбки Вязникова, то она была сочтена за неблагоприятный признак для намерений его превосходительства. Господин в вицмундире, однако, не счел возможным позволить себе какие-либо расспросы по этому поводу, тем более что Вязников не обнаружил ни малейшего желания вступить в разговор. Экзекутор вежливо откланялся, когда Иван Андреевич, после секунды раздумья, проговорил, продолжая улыбаться:

– Прошу вас передать его превосходительству, что я заеду!

В назначенный час Вязников заехал к бывшему своему однокашнику Евгению Петровичу Каратаеву. Краснощекий, пышный, хорошо сохранившийся гос-

подин встретил Ивана Андреевича в кабинете. Старые товарищи облобызались. После первых приветствий и извинений господина Каратаева, что он не мог сам заехать, хозяин усадил гостя на диван, плотно затворил двери и проговорил с озабоченным и несколько смущенным видом:

– Я по старой дружбе, Иван Андреевич, хотел тебя предупредить. Видишь ли: дело с твоей запиской плохо. На нее взглянули здесь очень серьезно.

– Как видно… Посмотри-ка, что пишут мне из деревни! – насмешливо проговорил Вязников, подавая письмо.

Его превосходительство прочел письмо.

– Видишь ли!.. И охота тебе кипятиться! Точно в провинции вы не знаете положения дел.

– Кажется, вы вот здесь ничего не знаете, что делается в России! – горячо проговорил Вязников.

– И мы знаем, пожалуйста, не считай нас такими оптимистами! Знаем, что дела идут не так, как было бы желательно.

– Знаете? И все-таки ничего не делаете?

– Уж ты слишком, по обыкновению… Мы, брат, тоже работаем.

– Работаем, ты говоришь? И посылаете к нам дураков?

– Это уж вина князя. Он сам его назначил. Но все же

он уж не совсем же… И наконец теперь такое время… Нужна энергия…

– Полно, Евгений Петрович, повторять вздор. Только и слышишь везде: такое время! Именно такое время, когда надобно подумать посерьезней, а не сочинять бумаги и пугать людей! Вы вот тут сочиняете циркуляры и думаете, что делаете дело. У нас в губернии голод, а вы и этого не знаете. Нас и спрашивать не хотите, а когда удостоите, и вам отвечают не починовнически, так вы приходите в ужас. Даже моя записка показалась ужасною. Ну, что же в ней-то ужасного, скажи-ка по совести?

– По моему личному мнению, она… несвоевременна. Здесь же она произвела более сильное впечатление.

Вязников усмехнулся.

– Кажется, и форма-то очень мягкая, и наконец разве мы не вправе…

– Не уходился еще ты, Иван Андреевич, как посмотрю! – проговорил г.Каратаев, дотрогиваясь до руки Вязникова. – Допустим, что твоя записка высказывает вполне справедливые мысли, допустим! Но мало ли справедливых мыслей, которые высказывать нельзя, несвоевременно, если не желаешь подвергаться риску? Неужели же ты полагал, что здесь записку твою похвалят?

– Я не заботился, как здесь взглянут! Я считал долгом совести ответить на вопрос. Когда спрашивают мое мнение, я считаю нечестным давать лживые ответы. А если вы спрашиваете для того, чтобы получить ответ, что все обстоит благополучно, то тем хуже для вас, господа! И разве я нарушил закон?

– Ты, Иван Андреевич, кажется, вообразил, что мы с тобою живем в Англии, – тихо заметил его превосходительство и прибавил: – Однако собрание не подписало твоей записки… всего пять человек…

– А вы тут знаете, как происходило дело? Пять человек! Да, пять! Но было бы не пять подписей, а пятьдесят, если бы вы действительно захотели услышать мнение земства. Люди – везде люди, и когда их стращают разными страхами, то они молчат. Я думаю, и у вас в Петербурге понимают, как фабрикуются эти обычные земские заявления.

– Положим…

– А если бы, Евгений Петрович, все земства подали подобные же записки, что бы вы здесь тогда сказали?

– Ты ставишь вопрос ребром. Я, право, затрудняюсь отвечать.

– Однако. Ты вот тут близок к разным источникам. Как ты думаешь?

– Я думаю, что их положили бы под сукно.

– И конец?

– Назначили бы, пожалуй, комиссию.

Вязников медленно покачал головой и проговорил:

– Дослужитесь вы, господа, до чего-нибудь с такими взглядами!

Господин Каратаев только пожал плечами и ничего не ответил. Да, признаться, его давно не занимали никакие вопросы, кроме вопросов о личном положении. Он прежде всего был чиновник и добрый малый. Он дорожил местом, так как получал хорошее жалованье, но особенного рвения не обнаруживал, умел недурно писать доклады и составлять записки по каким угодно вопросам на основании канцелярской рутины, в государственные люди не метил и дальше сенаторского места мечты его не заходили, был вивером-холостяком [75] и чувствовал себя совсем хорошо, когда после недурного обеда приезжал вечером в сельскохозяйственный клуб и садился в винт по две копейки. Он давным-давно осел, вылился, так сказать, в форму равнодушного петербургского чиновника и не без некоторого изумления посматривал на бывшего товарища, вздумавшего на старости лет писать записки, горячиться о каких-то правах и компрометировать себя, пускаясь в авантюры. Вот и теперь, вместо того чтобы интересоваться личным своим положением, он затевает еще пикантные разговоры, то-

[75] Вивер – прожигатель жизни (фр.).

гда как его превосходительству надо поспеть к шести часам на один приятельский обед с дамами.

– Оставим пока теоретические вопросы в стороне, Иван Андреевич! – проговорил Каратаев, взглядывая на часы. – Не беспокойся! У нас еще есть время! – добавил он, заметив движение Вязникова. – Ты извини… я сегодня на званом обеде!.. Я, видишь ли, насчет твоего дела так и не объяснил тебе. Когда я прочитал твою записку и узнал о впечатлении, произведенном ею, то, разумеется, с своей стороны употребил все зависящие средства, чтобы смягчить впечатление, но ты знаешь, я сам – мелкая сошка, и влияние мое невелико… Все, что я мог сделать…

– Но кто просил хлопотать за меня? Кажется, я не уполномочивал тебя! – неожиданно проговорил Вязников, волнуясь. – Пусть делают что хотят!

Каратаев растерялся. Такого ответа он никак не ожидал. Он с изумлением поднял глаза на взволнованное лицо Ивана Андреевича и смущенно проговорил:

– Ты не сердись, пожалуйста, что я без полномочия… Ведь все-таки… Ну, да и не мог же я забыть, Иван Андреевич, старой твоей услуги… Помнишь, как ты меня спас в то время?.. И наконец я думал… я считал долгом чем-нибудь быть полезным старому товарищу… Взгляды наши могут быть разные, но все-та-

ки… Или моя услуга так неприятна тебе? – прибавил господин Каратаев, и голос его как будто задрожал от волнения…

– Извини меня, Каратаев, и спасибо за твои старания! – ответил Иван Андреевич, протягивая руку. – Ты меня не так понял. Не твои услуги мне неприятны, а вообще я не люблю, когда за меня просят, а тем более, когда я не чувствую за собой никакой вины.

– Чудак ты! – мог только проговорить его превосходительство.

– Что же вы придумали, однако?

– Посоветовать тебе ехать в деревню и заниматься хозяйством, а не политикою! Конечно, это неприятно, но…

– Могло быть и хуже? – подсказал, усмехнувшись, Иван Андреевич.

– А губернатору здесь намылили голову, – заметил как бы в утешение его превосходительство. – Он жаловался, что ты был с ним резок, но ему сказали, что он сам виноват… Нельзя в статской службе слишком по-военному.

– Он остается?

– Остается… Неловко было бы его сменить… Ты понимаешь…

– Как же, понимаю… понимаю! – улыбнулся Вязников.

– Но ему внушено, чтобы он потише и не очень бы ссорился с земством.

– Ну, во всяком случае, спасибо тебе, Каратаев! – проговорил еще раз Иван Андреевич.

– А ты не беспокойся… Твое уединение, я думаю, долго не продлится!.. – проговорил Каратаев, облобызавшись с Иваном Андреевичем.

– Все равно. Просить я не стану, и, пожалуйста, ты не хлопочи!

Вязников ушел, а его превосходительство стал торопливо одеваться к обеду и искренно пожалел Вязникова, который в захолустье будет лишен всех прелестей столичной жизни – тонких обедов, француженок, комфорта, – словом, всего, что, по мнению господина Каратаева, составляло сущность жизни.

– Сам виноват! – проговорил его превосходительство.

И вслед за тем мысли его сосредоточились на обеде и приняли несколько фривольное направление.

XVIII

Известие, сообщенное Каратаевым, не произвело на Ивана Андреевича особенно сильного впечатления. Он принял его с презрительным спокойствием мужественной гордости. И не такое известие выслушал бы этот старик без малодушных жалоб и без рабского страха. Жизнь его слишком была хороша, чтобы портить ее закат. Но его надеждам и упованиям было нанесено новое и чувствительное поражение. На душе было мрачно. Он испытывал оскорбительную боль человека, очутившегося в положении школьника. То, что он видел и слышал в короткое пребывание свое в Петербурге, далеко не располагало к оптимизму. Слухи и факты, один другого грустнее, западали глубоко в сердце. Беседа с Каратаевым – а Каратаев был еще не из самых ярких! – явилась только новым подтверждением неутешительных выводов. Разумеется, Каратаев служил только отголоском господствовавших мнений, но и эти отголоски так красноречиво говорили о равнодушии и презрении к правде, что не оставляли места ни для каких иллюзий даже и в сердце такого розового оптимиста, каким был Вязников.

С грустью он думал о будущем, с тоской о погибающей молодой силе. «Бедные!» – невольно вырвалось

из груди старика.

Не робеющий за себя, он робел при мысли о своем младшем сыне, об этом благородном юноше, который с упорством высокой души искал выхода и света из мрака, надвигающегося грозными удушающими тучами… Она не мирилась на том, на чем мирятся более слабые души. Эту чуткую совесть нельзя было успокоить словами – старик хорошо это понимал и чувствовал теперь смущение, предвидя впечатление, которое произведет на Васю известие о внезапном отъезде старика.

Еще только вчера отец предостерегал сына от увлечений, особенно от тех, по его мнению пагубных, из-за которых гибнут молодые силы; горячо говорил юноше, поддерживаемый Николаем, о просторе и плодотворности деятельности для честного человека на всяком поприще. Вася недоверчиво покачивал головой и, по обыкновению, с какой-то восторженной стремительностью, высказывал свои соображения. Иван Андреевич рассердился, назвал сына блажным дураком и весь вечер не говорил с ним ни слова.

А между тем теперь отец собственным примером должен опровергнуть свои вчерашние доказательства.

Убийственное положение отца, дрожащего за сына, в груди у которого бьется горячее сердце и живет вера

в правду, вера, требующая приложения!

Такие мысли гнездились у старика, когда он, плотно укутавшись в шубу, ехал от Каратаева на Царскосельский проспект к Васе.

Старик чувствовал теперь особенную потребность увидать поскорей Васю, чтобы ласковым словом смягчить вчерашнюю размолвку. Да и к тому же еще он у него не был, а ему хотелось взглянуть, как живет в Петербурге этот юноша, деликатно отказавшийся от денег и уверявший, что ему за глаза довольно двадцати пяти рублей в месяц. «Не то, что Коля», – подумал старик. Иван Андреевич собирался взять Васю с собой к Николаю и среди близких провести последний вечер в Петербурге.

Погода на дворе была отвратительная; густой мокрый туман, сквозь который слабо мигали фонари и освещенные окна, пронизывал до костей. Извозчик то и дело покрикивал: «Берегись». На улицах было пусто. Хотелось скорей добраться до теплой, сухой комнаты, и Иван Андреевич обрадовался, когда наконец сани остановились у ворот большого дома в конце Царскосельского проспекта. Вязников торопливо прошел в ворота и после нескольких бесполезных попыток отыскать квартиру сына без посторонней помощи вызвал дворника и спросил, как пройти в двадцать восьмой номер.

– Да вам кого нужно?

– Василия Ивановича Вязникова!

– Вязникова? – переспросил дворник. – Что-то не слыхать, чтобы здесь жил такой господин. Они кто такие будут? Чиновники?

– Студент Вязников…

– Студент? – протянул дворник, и Ивану Андреевичу послышалось в голосе презрение. – Вы сказываете – Вязников? Надо быть, что в двадцать восьмом. Там студенты живут. Идите вот в угол, где фонарь светит… Там крыльцо… В самый верх! – крикнул он на ходу, скрываясь в темную пасть дворницкой.

Обыкновенная петербургская так называемая черная лестница (она же и парадная), освещенная газом, обдала Ивана Андреевича сыростью и особенным запахом, более чувствительным во время оттепелей; большие мокрые пятна выступали по стенам. Из отворенных дверей квартир несся чад. Все эти ароматы, к которым привыкло обоняние петербуржца, подействовали на Вязникова удручающим образом и сразу не расположили к дому, где жил сын.

«А он еще кашляет!» – припомнилось старику.

Раза два остановившись на площадках, чтобы перевести дух, Иван Андреевич, наконец, добрался до двадцать восьмого номера, и отворив непритворенные двери, очутился в прихожей, слабо освещавшей-

ся светом из кухни, расположенной за перегородкой. В прихожей было тихо, в кухне – ни души. И в той и другой комнате – или, лучше сказать, в одной – стоял спертый, прокислый воздух, несмотря на отворенную форточку.

Иван Андреевич отворил дверь из прихожей и очутился в темноте. За стеной раздавались шаги. Он ощупью нашел ручку двери и постучался. «Войдите!» Силуэт отмеривающего шаги по комнате вырисовывается в табачном дыму.

– Извините, пожалуйста. Не знаете ли, где комната Вязникова? – спрашивает Иван Андреевич, все более и более недовольный выбором Васи.

– А вот пойдемте, я вас проведу! – отвечает молодой голос, и из полусвета комнаты выделяется фигура молодого человека с приподнятой лампой в руках.

Свет падает прямо на свежее, румяное лицо, покрытое темным шелковистым пушком, с толстыми, сочными губами и парой темных глаз. Наружность молодого человека сразу располагает в свою пользу, заставляет Ивана Андреевича бросить беглый взгляд на его костюм и заметить не вполне удовлетворительное его состояние.

– Осторожнее. Тут у стены шкаф, не наткнитесь! – говорит молодой человек, отправляясь вперед по узкому коридору, по одной стороне которого расположе-

ны были комнаты.

Он остановился в самом конце, отворил двери и проговорил:

– Его нет дома. Я и не знал.

– Как же, как же, с час будет, как ушел! – проговорила внезапно появившаяся старая женщина в платке на голове, с восьмушкой чаю и булкой в руке. – Нет ли Василия Ивановича напротив?.. Сегодня из четырнадцатого номера в театр пошли, может он придите остался…

– Нет, Василиса Петровна… Там Воронов.

– Во всяком случае, я подожду его. Может, он скоро придет.

Молодой человек взглянул на Вязникова быстрым, пристальным взглядом.

– Я – отец его! – добавил, чуть-чуть улыбнувшись, Иван Андреевич.

Эти слова, казалось, произвели на молодого человека очень приятное впечатление. Он с большим уважением взглянул на старика, зажег в комнате Васи лампу и, торопливо объявив, что сбегает справиться, нет ли Васи у одного знакомого, через два дома, оставил Ивана Андреевича.

Вязников снял шубу, присел на стул и оглядел комнату.

Это была крохотная каморка, в которой едва мож-

но было повернуться. Кровать с жиденьким тюфяком, маленький стол, два стула, комод и этажерка с книгами занимали все помещение. На столе, на почетном месте, среди книг и тетрадок стояли портреты отца и матери.

Иван Андреевич с грустной улыбкой внимательно осматривал обстановку Васиной кельи и поморщился. Прокислый тяжелый воздух стоял здесь, несмотря на отворенную форточку.

– А здоровье его плохое! – проговорил он в раздумье.

Взгляд его упал на раскрытую книгу, лежавшую на столе. Он заглянул, тихо покачал головой и стал машинально перелистывать толстый том экономического исследования, испещренного заметками Васи на полях. Старик прочитал одну и, заинтересованный, стал прочитывать далее. Его увлекали оригинальные замечания; видно было, что Вася серьезно штудировал книгу. Возмущенное сердце, любовь к ближнему, искание правды чувствовались в быстрых, горячих строках этих заметок. Отец пробежал их несколько раз.

– Голубчик мой! – взволнованно прошептал старик, оставляя книгу.

Несколько минут он просидел в раздумье, склонив голову…

По коридору раздались торопливые шаги, и вслед за тем в комнату вошел молодой человек, провожавший Вязникова: в руках он нес стакан чаю.

– Васи нет и там! Не угодно ли? – прибавил он, ставя перед Иваном Андреевичем стакан чаю. – Я так думаю, что он должен скоро быть…

– Очень вам благодарен. Напрасно вы беспокоились, – отвечал Вязников, протягивая руку.

– Какое беспокойство!

– Вы, верно, Васин товарищ?

– Приятели! – проговорил молодой человек таким тоном, что старик почувствовал еще большее расположение к молодому человеку.

– Очень приятно познакомиться. Вы не Андрей ли Николаевич Чумаков?

– А вы почем знаете? – проговорил, внезапно краснея, молодой человек.

– Я с вами давно знаком по письмам Васи, – промолвил Вязников. – Однако комнаты тут у вас не очень-то хорошие.

– Нехорошие? Кажется, ничего себе.

– Воздух скверный…

– Есть-таки грех, но зато комнаты недорогие, и хозяйка хорошая. У нас еще ничего, а посмотрели бы вы квартиру внизу! Там так сыро! – прибавил Чумаков.

– Ну, и здесь, кажется, сыровато! – заметил Иван

Андреевич, показывая пальцем на стену. – С Васиным здоровьем тут не очень-то хорошо!.. Что, он сильно кашляет?

– Покашливает, но не очень!.. Простужается, не бережется!.. Я его за это часто ругаю!

– Вы бы больше его ругали! – улыбнулся старик.

– Ничего с Васей не поделаешь. Такой уж он у нас человек! – улыбнулся Чумаков. – О себе мало заботится! В деревне поправится! Не угодно ли еще стакан чаю?

– Благодарю; я не хочу больше. А вы-то что ж не пьете?

– Успею еще.

– Ну, однако, пора… Видно, я Васи не дождусь! – проговорил Иван Андреевич, взглядывая на часы. – Уж и восемь часов! Пожалуйста, передайте Васе, если он скоро вернется, что я прошу его зайти сегодня вечером к брату. Если же Вася вернется не скоро, то попросите его завтра пораньше быть у меня. Скажите, что я завтра в полдень уезжаю в деревню.

Старик крепко пожал руку приятеля Васи и вышел, сопутствуемый молодым человеком, который с лампой в руках проводил его до лестницы.

– Благодарю, благодарю вас! – повторял старик, осторожно спускаясь. – Не беспокойтесь!..

«Мы не так жили! – подумал Иван Андреевич, срав-

нивая свою блестящую обстановку во время студенчества с обстановкой жилища Васи. – А они находят еще, что живут отлично!..»

Вязников поехал к Николаю, но не застал никого дома. Он с Леночкой был в театре.

Оставив записку, Иван Андреевич вернулся в гостиницу, где застал Марью Степановну за самоваром.

Иван Андреевич осторожно сообщил жене о беседе с Каратаевым и сказал, что завтра надо ехать… Напрасно Марья Степановна старалась скрыть беспокойство, охватившее ее при этом известии. Она то и дело бросала тревожные взгляды на мужа.

– Тебе это очень неприятно? – проговорила она наконец.

– Не тревожься за меня, мой друг! – отвечал Вязников. – Ведь ты знаешь, я и без этого редко выезжал из Витина! – улыбался он. – Налей-ка мне чаю… Я прозяб… Погода здесь мерзкая! Я был у детей, да не застал никого дома. Завтра приедут проститься. А ты где сегодня была?

– Утром зашла за Леночкой, вместе ходили в Гостиный двор. Васе кое-что из белья надо было купить. Совсем без белья. Говорит, потерял, а я знаю, – раздает другим. Лена рассказывала, как она его видела в одном пледе; теплое свое пальто больному товарищу отдал. А сам-то он!.. Уж я просила Лену за ним при-

сматривать. Жаль вот, нельзя Васе у Коли жить.

– Да… жаль… Я был у него. Скверно!

– То-то вот. Комнатка-то крошечная, и воздух такой нехороший. А он похваливает, Вася-то наш!

– Не переделаем мы Васю! – задумчиво протянул старик. – Обедала у Коли?

– Да. И Вася на минутку заходил. Завтра хотел меня на выставку вести. Молодые уехали в театр, а он меня проводил домой. Спрашивал: не сердишься ли ты на него?

– Я на Васю? Это он вчерашние слова мои вспомнил!..

Старик замолчал… Через несколько времени он сказал:

– Тебе, быть может, хотелось бы остаться еще в Петербурге? Так ты оставайся, мой друг. Я один поеду.

– Что ты, что ты! С чего это выдумал?.. – проговорила Марья Степановна, как будто пугаясь мысли оставить Ивана Андреевича одного.

Они еще поговорили и скоро разошлись по своим номерам.

На другой день рано утром Вася уже был в гостинице.

Он слушал сосредоточенно рассказ, веденный Иваном Андреевичем нарочно в шутливом тоне, не подымая глаз на отца.

Когда отец кончил, Вася с любовью взглянул на старика и прошептал:

– Вот видишь ли!..

Эти немногие слова смутили Ивана Андреевича. Он пробовал было пуститься с Васей на хитрости и стал объяснять, что он отчасти сам виноват, что записка была резка, что можно было иначе и т.д.

Вася в ответ на эти слова тихо покачал головой.

– Полно, папа! – серьезно заметил он. – Зачем ты со мной лукавишь? Разве ты мог бы иначе? И разве ты чувствуешь себя виноватым? Точно я не знаю тебя!

Иван Андреевич отвернулся как раз вовремя, иначе Вася заметил бы волнение, охватившее старика при этих восторженных словах. Радостное чувство отцовской гордости смешалось с чувством страха за сына, волной прилило к сердцу – и слеза капнула из глаз старика. Ему хотелось прижать к сердцу милого своего мальчика, и в то же время он боялся обнаружить перед ним свое невольное одобрение. Во всяком случае, он чувствовал себя сбитым с позиции. Что мог бы сказать отец сыну после своей неудачной хитрости?

По счастью, в эту минуту вошла Марья Степановна, обняла сына и позвала пить чай. Самовар уж на столе. После чаю надо укладываться! И то она проспала.

– А тебе, Вася, белье Леночка передаст. Смотри, не растеряй опять! – улыбнулась Марья Степановна. –

Да ходи чаще к Коле обедать. Ты, говорят, бог знает какую дрянь ешь. В кухмистерских в ваших и не разберешь, что дают. Я думаю, всякую мерзость. Коля и то в претензии, что ты редко у него бываешь!..

– Некогда, мама! А ем я хорошо – не думайте. Есть студенты, так те и совсем почти голодают, а я слава богу!

– Уж в деревне мы тебя откормим!

– Ты пораньше, Вася, приезжай! – вставил отец.

– После экзаменов приеду. Мне хочется в деревню. Там славно!

После чаю Вася стал усердно помогать укладываться. Ему был поручен отцовский чемодан. Старик похаживал взад и вперед по номеру, посматривая, как Вася хлопотал об укладке. Отец больше не заговаривал с Васей о щекотливых вопросах. Он только несколько раз ласково потрепал Васю по спине и раза два крепко обнял его, заглядывая нежно в глаза, и советовал беречься и не простужаться.

– Того и гляди заболеешь. Видно, Чумаков твой мало тебя ругает! – усмехнулся Иван Андреевич.

– Довольно-таки! А насчет здоровья не беспокойся. Непорожнев осматривал меня и сказал, что ничего особенного нет. В деревне окрепну. Понравился тебе Чумаков, папа?

– Очень.

– И ты ему понравился. Он хороший, Чумаков, честный такой! Я было хотел, папа, просить тебя позволить ему летом в деревню к нам приехать.

– Привози… очень рад буду.

– Ему, видишь ли, хочется поработать, знаешь ли, как простому рабочему… Выучиться…

– Он тоже Микула Селянинович… твой Чумаков? – улыбнулся Вязников.

Он заходил снова по комнате и, смеясь, спросил:

– А где это ты обязанности няньки исполняешь, Вася? Вчера, как я был у тебя, так ваша кухарка рассказывала.

– Знакомые одни живут… Так иногда просят присмотреть… Мы и присматриваем!

– Эх, вы, молодежь, молодежь! – задушевно проговорил старик. – Славные вы ребята, только… только…

Он взглянул и не досказал своей мысли.

В одиннадцатом часу приехали молодые. Пошли, конечно, расспросы, что значит внезапный отъезд. Рассказ отца произвел на Николая сильное впечатление, хотя и не удивил его. Ему было жаль старика. Безвыездно жить в деревне, по его мнению, было очень скверно. Вся эта история казалась ему очень глупой и нелепой. Она ему представлялась более всего именно с этой стороны. По обыкнове-

нию, он разразился горячей речью и, увлекаемый собственными словами, разгорячился и не без остроумия осмеял и Каратаева, и губернатора, и дураков гласных. Слова его звучали насмешкой, но в ней проскальзывала нотка, которая неприятно поразила чуткое ухо Васи. Ему показалось, что брат как будто слишком равнодушно, в сущности, относится к поступку отца. Насмешливый, полупрезрительный тон, каким он говорил обо всей этой истории, косвенно скользил и по отцу. В тоне брата Вася инстинктивно чувствовал какой-то нездоровый нехороший скептицизм. Эти нотки Вася слышал не в первый раз, и они его глубоко оскорбляли.

– Надо непременно как-нибудь рассказать это в печати, – сказал Николай.

Иван Андреевич улыбнулся.

– Уж ты и увлекся! Пойдем-ка, брат, позавтракаем!

Николаю было даже несколько досадно, что отец, по-видимому, так спокойно отнесся к истории и что все это произошло так просто. Воображение его уж быстро нарисовало ему тот же подвиг, но при блестящей обстановке, с помпой. Тогда было бы лучше, а то теперь никто и не узнает, какой у него славный отец!

«Идеалист, однако, отец! Кажется, понимает бесплодность своих записок, а все еще пишет!» – пронеслось у него в голове, но он почему-то не решился вы-

сказать этой мысли…

Но, прощаясь на вокзале, Николай все-таки сказал отцу, отводя его в сторону:

– Ты, папа, голубчик, будь осторожнее. Из-за пустяков не стоит ведь рисковать. Не правда ли?

Старика что-то кольнуло. Но он ни слова не ответил, тем более что пробил второй звонок, и кондуктор просил скорее садиться в вагон. Вася снова обнял отца, и старик на ходу успел шепнуть ему еще раз:

– Смотри же, голубчик… Береги себя… береги… вообще… не торопись! Пожалей нас!

– Прощай, Леночка! Прощайте, милые! – говорила Марья Степановна, целуясь со всеми.

– Васю-то берегите! – крикнула она из вагона.

Она поманила Васю рукой. Он подошел к закрытому окну. Мать торопливым крестом осенила его из окна, и поезд тронулся.

Иван Андреевич был дорогой не в духе. Совет Николая об осторожности не понравился старику.

«Из-за пустяков! – мысленно повторял он слова Николая. – Что же, по его мнению, не пустяки?.. Тогда все на свете пустяки!»

Он, быть может, не так понял Колю? Не мог же его славный любимец Коля считать пустяком долг каждого порядочного человека!.. Наверное, он его не так понял!

Отъезд Вязниковых, как можно было предвидеть, не возбудил особенного внимания. Мало ли уезжает из Петербурга лиц в разные места, и об этом – и то не всегда – знают только близкие лица. Газеты, сообщающие подробности иногда даже о самых незначительных происшествиях и отмечающие приезды и отъезды особ первых четырех классов, не известили, однако, о выезде Вязникова, хотя слухи об его записке и случае в земском собрании и последствиях уже проникли в редакции и служили предметом разговоров в некоторых кружках. Вследствие этих обстоятельств госпожа Смирнова тотчас же написала прелюбезную записку Николаю и просила его непременно быть у них в четверг. Ей так хотелось, чтобы у нее в гостиной были рассказаны все подробности из верного источника. Это бы оживило журфикс. Однако Николай не приехал, так что Смирнова, обещавшая было гостям самые верные известия об incident* Вязникова, принуждена была, к досаде своей, предложить своим гостям выслушать рассказ из менее точных источников.

></emphasis>

** случае (фр.).*

Все-таки этот incident дал случай г.Присухину ска-

зать приличную речь, и на этот раз без перерыва со стороны нескромного литератора, так как он был занят оживленной беседой на другом конце чайного стола насчет своих собственных статей.

– Я думала, что молодой Вязников сегодня будет! – заметила за ужином Надежда Петровна, словно бы извиняясь перед гостями, что его нет.

– Недавно его свадьба была, мама! – проговорила Нина Сергеевна.

– А! Вот почему он не приехал! А я и не знала… На ком он женился?

Минуту-другую занял вопрос о женитьбе молодого человека, и вслед за тем забыли о Вязниковых, отце и сыне, и перешли к другим обычным темам.

Когда, на другой день после отъезда, редактор «Пользы», где работал Николай, жаловался, что мало интересных новостей, то Николай сообщил ему интересную новость и рекомендовал ее напечатать. Редактор, желавший интересных новостей, напечатал на другой день очень коротенькую заметку, составленную довольно темно, насчет «неожиданного отъезда г.В., гласного с-ого земского собрания, подавшего известную записку», но через три дня горько пенял и на себя и на своего сотрудника, сообщившего ему это свежее известие.

XIX

Скромные желания Леночки относительно квартиры и обстановки не нашли ни малейшего сочувствия в Николае. Он подсмеивался над ее мечтами о «кисейных занавесках и трех комнатках с кухней», и когда пришлось устраиваться, то Леночке оставалось только вздыхать и делать осторожные замечания. Но Николай находил, что необходимо устроиться порядочно, и не без ссылки даже на науку доказывал, что хорошее помещение – одно из главных условий; к тому же при его занятиях оно еще более необходимо. Вопрос шел о «занятиях Коли», и Леночка принуждена была умолкнуть, хотя кое-какие возражения слетели бы с ее уст, если бы ей пришлось говорить с кем бы то ни было другим. Известно, что любовь нередко отнимает способность анализа. Быть может, при других обстоятельствах Николай, хотя и скрепя сердце, принял бы в соображение Леночкины восклицания, но теперь у него в кармане были две тысячи рублей – тысяча своя и тысяча Леночкина – и, кроме того, впереди розовых надежд более чем на десятки тысяч; так что все было за порядочную квартиру. Николай щеголял чувством изящного, и «ситцевые занавески», по его мнению, только раздражали глаз. Впрочем, он сделал

некоторую уступку Леночке и вместе с нею пересмотрел несколько тех маленьких квартир на дворе, о которых так горячо говорила Леночка, рисуя будущую их жизнь вдвоем. В простоте душевной Леночка находила все осмотренные ими квартиры прелестными, но Николай только морщился, пожимая плечами, или же смеялся. Ни одно из таких «гнездышек» – так пустил он камешек в Леночкин огород – не привлекало его. То лестница чересчур грязна, то повернуться негде, то потолки низки, то свету мало. Кончилось тем, что они стали искать квартиру не на дворе, а на улице. Выбор Николая остановился на квартире в четыре больших комнаты, с паркетными полами, парадной лестницей и швейцаром.

– Это недурная квартира! Вот тут будет мой кабинет, здесь гостиная, это спальня, а небольшая комната – столовая! – говорил Николай, осматривая комнаты.

Леночка молчала.

– Тебе нравится, Лена?

– Куда нам столько комнат, Коля? – проговорила она. – И сколько надо мебели.

– Не беспокойся, Лена… Ты только скажи: нравится?

– Конечно, нравится, но…

– Как цена? – спросил Николай у дворника.

– Девятьсот рублей, по контракту.

При этих словах у Леночки вырвался крик изумления.

– Девятьсот рублей! – могла только проговорить она.

– Она постоянно так ходит, сударыня! – заметил дворник, искоса поглядывая на Леночку.

Николай малодушно конфузится за Леночку перед дворником. «Настоящая она провинциалка!» – думает он, значительно взглядывая на свою подругу, так что она и в самом деле думает, что сделала неловкость.

Николай стал торговаться и кончил тем, что нанял квартиру за восемьсот пятьдесят рублей, отдавши тут же задаток.

– Ведь это, Коля, очень дорогая квартира! – замечает Леночка, когда они выходят на улицу.

– А ты думала, что в Петербурге, как в вашем уездном городе?

– Я не об этом думала, Коля. Мне кажется, что наши средства…

– Ты опять за свое, Лена! – останавливает ее Николай с несдерживаемым раздражением. – Средства… средства… Я знаю, что делаю! Уж предоставь мне позаботиться о средствах и поверь, что я сумею заработать по крайней мере настолько, чтобы не жить в

конуре и не питаться медом и акридами!

Леночка чувствует себя виноватой. О, она нисколько не сомневается в его силах, и если заговорила о средствах, то потому только, что ему же будет трудно, особенно первое время, пока Коля – в чем она не сомневается – не приобретет известности.

Эти слова, произнесенные с чувством сознания своей вины и с трогательной искренностью ослепления влюбленной женщины, производят на Николая смягчающее действие. Он ласково улыбается, великодушно пожимает Леночкину руку, и таким образом вопрос о средствах, остающийся de facto* открытым, порешен и в любящем сердце Леночки, и в воображении Николая.

></emphasis>

** фактически (лат.).*

Такое же поражение потерпела Леночка и по другим вопросам их хозяйства. Мебель для гостиной, крытая бараканом [76], которая показалась Ленечке весьма хорошей и была уже приторгована ею в Апраксином рынке за семьдесят пять рублей, была решительно забракована Николаем, когда Леночка привела его в лавку показать свой выбор. Он оглядел вещи таким презрительным взглядом, что Леночка по-

[76] Баракан – плотная шерстяная ткань для обивки мебели.

думала, будто и в самом деле она дала слишком дорого. Приказчик, однако, счел обязанностью, при виде неудовольствия молодого господина, ткнуть всей пятерней по дивану и воскликнуть:

– Волос! Чистый волос! По случаю от одной кокотки-с!

Николай нашел, что мебель никуда не годится, уродлива и вместо волоса набита песком.

– У нас, сударь, песку не полагается! – обиженно заметил приказчик. – По цене – настоящий прибор. Не нравится – извольте подороже выбрать. У нас, слава богу!

Николай отправился наверх и выбрал наконец прибор для гостиной, мебель для столовой и для спальни. Вещи были недурны, и Николай тут же объяснил Леночке, что гораздо практичнее покупать хорошие вещи, чем дрянные. По крайней мере продержатся дольше.

– Это точно-с! Вещь вещи рознь. Эта мебель и та мебель! Одна починка чего стоит!

Когда был написан счет, оказалось, что куплено на шестьсот рублей.

К этой мебели понадобилась, разумеется, и остальная подходящая обстановка. Леночка только про себя вздыхала, когда Николай накупал ковры, лампы, цветы, посуду и прочее.

Наконец все куплено. Мебель установлена, картины развешаны, цветы поставлены у окон. Николай сам наблюдал за всем и, когда накануне свадьбы квартира была готова, повел мать и Леночку посмотреть.

– Не правда ли, недурно? – спрашивал он, показывая им комнату за комнатой. – И ведь недорого?

Марья Степановна и Леночка нашли, что все очень мило и со вкусом, но, по мнению Николая, Леночка как будто недостаточно выказала восторгов, и это было ему неприятно. А Леночка в самом деле находила, что уж слишком все хорошо, а главное, предчувствовала, что Николай истратил много денег и что ему же, бедному, придется хлопотать.

– Ты, кажется, Лена, недовольна? – спросил Николай, вводя ее в спальню, разделенную перегородкой на две половины. – Вот твой уголок. Разве не хорош?

– Отлично, отлично, Коля! Слишком даже хорошо! – говорила она, оглядывая хорошенький уголок с мягкой мебелью, цветами и изящным письменным столом. – Но только зачем мне эта роскошь?

– Уж не разделяешь ли ты Васиных вкусов к студенческой обстановке? – засмеялся Николай. – Ну, так я в тебе разовью более изящные вкусы, Леночка! – прибавил он и в доказательство, что разовьет, обнял ее и поцеловал так нежно, что Леночка окончательно

осталась довольна своим уютным уголком.

– А дорого ты за все заплатил, Коля? – спросила Марья Степановна, показываясь в дверях.

В голосе ее послышалась некоторая тревога.

– Нет, мама. Все обошлось в тысячу двести рублей.

– Однако, голубчик, недешево! – вздохнула Марья Степановна. – Ты как думаешь, Леночка?

Леночка вполне сочувствовала матери, но ответила с дипломатической тонкостью:

– Вещей, мама, много. И наконец обстановка делается раз.

Недешево! Положительно женщины не понимают толка в вещах. И без того Николай как-то нечаянно уменьшил цифру на пятьсот рублей, не желая пугать мать, а она все еще находит, что недешево.

– Что ты, мама! Даром вещей не отдают!

– А ты бы не торопился! Ты, Коля, любишь мотать деньги. Ну, да теперь Леночка тебя попридержит. Женишься – переменишься!.. Ты не сердись, голубчик, что я это говорю.

И Марья Степановна, как бы в извинение, прибавила:

– Мы бы и рады были тебе помочь лучше устроиться, но дела наши, Коля, неважные. Доходы плохие.

– Что ты, мама! Я и так ваш должник.

– Я не к тому, милый. Выдумал – должник! Считать-

ся, что ли, вздумал! Экий ты самолюбивый мальчик. Сейчас и загорелся! – улыбнулась Марья Степановна, обнимая сына. – Я по дружбе тебе говорю. Ты ведь считать деньги не любишь, а считать их надо. Ведь мы, родной, и хотели бы, да… руки коротки! – грустно улыбнулась Марья Степановна.

– Полно, полно! Я, слава богу, и сам на ногах. Подожди, и с тобой поделюсь!

На другой же день после свадьбы Николай, отдавая жене двести рублей, проговорил:

– Вот, Лена, хозяйственная касса. Остатки от двух тысяч. Немного, а? Но ты не беспокойся! Скоро получим из редакции! Теперь ты покажи свое искусство хозяйничать, мудрец экономии, но, смотри, не очень тесни меня котлетами.

Николай засмеялся, подошел к Леночке и, целуя ее оголенную шею, проговорил:

– И какая же ты хорошенькая женщина в капоте и чепчике, Леночка! Тебе идет чепчик. Так ты гораздо лучше, чем в своем коричневом мундире, в котором бегаешь на лекции!

– Ты глупости говоришь, Коля! – проронила Леночка, вспыхивая от замечания мужа.

– Так не будешь обижать меня котлетками?

– Не бойся, не буду обижать! Ты только говори мне, что не любишь.

– И ты сердиться не станешь?

– Я? Сердиться?

Она порывисто прижалась к нему и заглянула в его лицо, веселая, радостная, свежая. Она была так счастлива в этот день в своем гнезде, которое свил ей Николай, она в эту минуту так светло глядела в глаза будущему, веря в себя, переполненная благоговейной любовью к Николаю, она так была счастлива мыслью, что теперь они будут вместе с Николаем, что она, не стесняясь, может назвать его своим мужем, другом и любовником – она что-нибудь да значит для него, – что ей казалось, будто она не заслуживает такого счастья. Тихие, радостные слезы блеснули в ее глазах, и она проговорила задушевным шепотом:

– Если бы ты только знал, как я тебя люблю и как я счастлива!

XX

С свойственной ей энергией, она вся отдалась заботам о любимом человеке. И с каким чисто женским уменьем она находила время и хозяйничать, и аккуратно посещать лекции, и бегать на Васильевский остров давать уроки. Все это она, по обыкновению, делала весело, словно бы шутя, никогда не жалуясь на усталость, с скромностью человека, никогда не занимающегося самим собой, гордясь попечениями о любимом человеке. Он не должен знать домашних забот. Это не его дело. Она так убеждена была в превосходстве Николая, что удивилась бы искренно, если бы ей сказали, что Николай не стоит ее мизинца. Каждое одобрение его радовало ее; насмешка его или порицание огорчали ее. Она волновалась, когда он был не в духе. Эгоизм самолюбивой тщеславной натуры Николая, скрывавшийся под привлекательной, изящной оболочкой, она принимала за раздражительность неоцененного таланта и, слишком любящая, не замечала в его отношениях снисходительно-покровительственной нотки человека, позволяющего любить себя и преклоняться перед собой.

А Николай был действительно в ее глазах божком. Избалованный, он принимал поклонение, как нечто

должное, и втайне думал, что, женившись на Леночке, он некоторым образом приносил себя в жертву – и не такая скромная женщина достойна была связать с ним судьбу! – и что она должна быть счастлива, сделавшись его женой.

Прошло несколько месяцев, и он стал скучать. Он, конечно, уверял и себя и Леночку, что любит ее, но по вечерам убегал из дому, если к ним не приходили гости. С женой сидеть вдвоем было скучно. Очень простая она женщина, эта Леночка, и не представляла ему интереса. Ее требования от жизни были очень уж скромные, и она, думал он, не могла вполне оценить его и быть ему товарищем. Он бывал доволен, когда приходил Вася и приносил с собою какую-нибудь книгу. Пусть просвещаются и мечтают о переустройстве мира, а он поедет в театр или куда-нибудь в гости. Ему надо видеть людей.

Как все мелкие самолюбивые душонки, он нередко вымещал на преданном существе свои кажущиеся неудачи и с небрежностью эгоистической натуры не замечал, сколько горя и обид он наносил Леночке. Обыкновенно он первый после сцен просил извинения, уверенный, что достаточно его ласки, нежного слова и все должно, быть забыто. Ведь она его так любит!.. И она забывала обиды. Он так горячо целовал ее, а в любящем сердце так много места для оправ-

дания!

Его грызло дьявольское самолюбие. Его литературные труды не обращают на себя никакого внимания. Его адвокатская деятельность, несмотря на несколько блестящих речей, не сделала ему имени. Он тщательно старался скрыть свои претензии непризнанного таланта, но зато доставалось Леночке. Полосами он сильно работал, много читал и работал над статьями, но они были заурядны, особенным талантом или оригинальностью взглядов не блистали; ему говорили, что он может быть небесполезным работником, и это его бесило. Мало ли небесполезных работников!.. Он воображает себя талантом, мечтает об известности, о славе, а ему говорят: небесполезный работник!.. Неужели так пройдет вся жизнь в борьбе за кусок хлеба? Деятельность скромного работника разве могла удовлетворить такую самолюбивую, тщеславную натуру? Успеха, блеска, известности, – вот о чем он мечтал постоянно, вот что неустанно точило его, подымая по временам со дна души зависть, желчь и озлобление. Он добьется успеха, если не в литературе, то на адвокатском поприще. Он иногда мечтал о нем с какою-то болезненной страстностью помешанного и думал, что судьба к нему несправедлива. Вдобавок дела его были плохи. Он делал долги, рассчитывая, что все должно вдруг перемениться, и в

один прекрасный день у него явятся и слава и деньги. Слава без средств в его глазах была полуслава. А пока надо было ходить ежедневно в редакцию делать черную работу, писать наскоро передовые статьи и изредка произносить в суде речи по каким-нибудь делам, не обращающим внимания публики!.. Ослепленная страстью, Леночка верила в звезду своего избранника. Она верила в его большой талант, в его силы, преувеличивая их размеры в своей любящей душе. Несчастные эти женщины, которым выпадает на долю связать свою судьбу с непризнанными гениями!.. Она ухаживала за ним с преданностью няньки и благоговением низшего существа. Он должен был творить в своем кабинете, а она должна была заботиться, чтобы ничто его не волновало, чтобы в тиши кабинета он был вдали от дрязг обыденной жизни. На ее скромную долю – черная работа домашней жизни; на его – высокие наслаждения талантливой натуры. Он даже и не замечал всей деликатной нежности Леночкиных забот; не замечала и она этого невнимания, забывая о себе ради любимого человека.

Николай еще спит, поздно вернувшись домой, а Леночка уже давно на ногах и повторяет тетрадки. В десятом часу она с кухаркой идет на рынок: надо ухитриться сделать на маленькие средства обед, который бы понравился Коле. У него, у бедного, катар желуд-

ка, ему нельзя есть то, что может с удовольствием есть она. Надо купить для него вырезку или рябчик. Он любит рябчики. И к кофе надо свежего масла, самого свежего. У него такой нежный вкус, он не может переносить ни малейшей горечи в масле. Она возвращается домой, и ей жалко будить мужа. Пусть он поспит еще, а она подождет. Однако пора, – надо будить. Они пьют вместе кофе. Николай читает газеты и рассказывает, где вчера был (иногда, впрочем, не вполне достоверно). Ей пора бежать на лекции. Она обнимает его, звонко целует и, веселая, радостная, уходит.

«Счастливая эта Леночка! – снисходительно думает Николай: – как мало ей нужно от жизни!» Он направляется в кабинет, рассчитывая сесть за работу. Он ходит по комнате, обдумывая передовую статью. Незаметно мысли его принимают другое направление. Он начинает фантазировать. Мечты его уносят далеко от действительности. Он успел уже написать замечательную книгу, обратившую на себя внимание. О нем говорят. Книга читается нарасхват. Он получил за нее хорошие деньги и уплатил все долги. Лучший журнал предлагает ему постоянное сотрудничество. Он получает письма со всех сторон. Его портрет помещен в «Иллюстрации» [77]. Он пользуется популяр-

[77] «Иллюстрация». – Имеется в виду еженедельный иллюстрированный журнал «Всемирная иллюстрация», выходивший в Петербурге в

ностью. Книга его необыкновенно талантлива. В ней высказаны оригинальные и честные идеи. Успех его ободряет. Он еще больше работает и уже не стеснен заботами о насущном куске хлеба. Он пишет не спеша, когда хочет. Ему вдруг приходит в голову, что он должен попробовать написать беллетристическую вещь. Он уже написал несколько вещей, но никому их не показывал. Он недоволен ими… В голове его неясными чертами носится содержание повести, но главное не в содержании – это после, – главное в том, что она имеет громадный успех.

Он ходит по комнате до изнеможения, поглядывая на приготовленный лист бумаги. Однако уже двенадцатый час!.. Пора садиться пока за передовую статью. Он обещал непременно сегодня ее доставить. Нужно. Он недоволен, что нужно заниматься такой работой, и находится еще некоторое время под влиянием самолюбивых фантазий… Наконец он обрывает свои мечты и садится за работу, недовольный, с натянутыми нервами. Он спешит, рвет бумагу, сердится, начинает снова… А время идет. У него делается нечто вроде лихорадочного состояния, и он за один присест исписывает две страницы бумаги, читает, недовольно покачивает головой, торопливо выходит и едет в редакцию газеты. Николай застает редактора в его ка-

---

1869-1898 гг.

бинете, по обыкновению мрачным.

– Передовая готова? – спрашивает его редактор.

– Вот она!

– Поздненько, Николай Иванович… Типография и то жалуется. О чем?

– О народном образовании.

Редактор едва заметно морщится.

– Надо читать?

– Нет, кажется!..

– Уж вы, пожалуйста, Николай Иванович, не подведите… Сами знаете!.. – говорит редактор, посылая рукопись в типографию. – На нас и то косо смотрят.

– А как подписка?.. Идет?

Николай задевает самое больное место. Сперва раздается подавленный вздох. На мрачное лицо редактора налегают тени.

– Плохо!.. – говорит он. – Уж я и не знаю, чего им надобно… Кажется, мы ведем газету порядочно, а между тем…

Николай уже раскаялся, что как-то машинально предложил этот вопрос. Пришлось выслушать длинные сетования и излияния желчи на колоссальный успех «Правдивого». Шесть тысяч одной розничной продажи!.. Публика на направление не очень-то обращает внимание!.. Редактор, однако, во всяком случае не опустит рук… Честная газета должна суще-

ствовать. Он как-то глухо упомянул, что издание обеспечено до конца года, а там, быть может, и подписка пойдет лучше…

– Только уж вы, господа, оживите газету… помогите мне, и не слишком того… Помягче тон, помягче. Надо сообразоваться с условиями… Вон на днях Кривцов принес статью… Право, можно было подумать, что он из Аркадии приехал… И еще удивляется, что нельзя поместить… Эх, Николай Иванович, плохо, батюшка, плохо! – снова вздыхает редактор, довольный, что нашел жертву, которой он может излить жалобы.

Скверные дела «Пользы» наводили уныние на редактора, а он, в свою очередь, наводил уныние на сотрудников. Николай поспешил улизнуть из кабинета в редакционную комнату.

XXI

За длинным большим столом, покрытым зеленым сукном, с разбросанными на нем ворохами газет, сидели сотрудники… Николай обменялся рукопожатиями, собрал газеты, вооружился ножницами и стал пробегать внутренние известия, вырезывая подходящие.

– Что, много выудили? – обратился к Николаю сосед его справа, нервный господин с живыми бегающими глазами, отодвигая от себя газету и бросая быстрый взгляд на господина в очках, сидящего напротив и углубленного в чтение оригинала.

– Нет… ничего особенного…

– Интересная статья в «Nature» [78]… хотите прочесть? Опыт Шарко [79]… Прочтите-ка вот это место.

Он подсунул тотчас же Николаю «Nature», но, не дожидаясь, пока он начнет, стал сам рассказывать об опытах, увлекся, перешел к другим опытам и, «волнуясь и спеша» [80], уже излагал свое собственное изоб-

---

[78] «Nature». – Предполагается, что Станюкович имел в виду французский журнал «La Nature», издающийся в Париже с 1873 года до настоящего времени.

[79] Шарко, Жан Мартен (1825-1893) – французский врач-невропатолог.

[80] …»волнуясь и спеша»… – нередко встречающаяся в произведениях Станюковича цитата из стихотворения Н.А.Некрасова «Памяти приятеля» (1853).

ретение – усовершенствование микрофона [81]. Он говорил громко, с азартом, в то время как Николай наклеивал вырезки и надписывал сверху пером: «По известиям такой-то газеты» или «Такая-то газета сообщает». Николай слышал об изобретении уже в десятый раз и потому не особенно внимательно следил за речью соседа и, улыбаясь, посматривал изредка на господина в очках, ожидая обычной сцены. Аккуратный, педантичный, необыкновенно упрямый редактор иностранного отдела несколько раз уже взглядывал на рассказчика. На его обыкновенно спокойном и сдержанном лице появлялись едва заметные движения нетерпения и беспокойства. Он взглядывал на часы и морщился. Наконец он не выдержал и тихим голосом произнес:

– Григорий Васильевич! Вы, конечно, кончили перевод?

– Сейчас кончу… Мне немного!..

– Типография ждет, Григорий Васильевич… Мы тут будем разговаривать, а газета опоздает… Ведь это, согласитесь, немножко неудобно, Григорий Васильевич. Я не спорю – гораздо приятнее говорить о мик-

---

[81] …усовершенствование микрофона. – В 1878 году английский изобретатель Д.Юз сконструировал микрофон с угольным стержней. На протяжении последней трети XIX века конструкция была усовершенствована русскими изобретателями М.Махальским (1878) и др.

рофоне, чем переводить, но ведь типография, Григорий Васильевич, без материала… Уж вы, пожалуйста, Григорий Васильевич… Я дожидаюсь. О микрофоне в другой раз, Григорий Васильевич!

Он не говорил, а тянул скрипучим голосом.

Изобретатель улучшения по микрофону, превосходный переводчик и образованный научный хроникер, славный малый и отчаянный болтун, наскоро доканчивает изложение теории микрофона и принимается за перевод речи Гамбетты [82]. Случается, он, недовольный речью Гамбетты, нарочно сокращает ее, иногда исправляет речи других ораторов, если они, как он говорит, слишком завираются и разводят канитель, которая может быть на руку отечественным либералам. Однако за это его не хвалит господин в очках и ядовито иногда советует ехать в Париж и там говорить самому речи, а не исправлять ораторов, но эти ядовитости он пропускает мимо ушей и все-таки старается переводить то, что ему больше по вкусу. А ему гораздо больше по вкусу то, что не по вкусу редактора, и он находит, что редактор переходит границы осторожности.

Некоторое время в редакции тишина, прерываемая приходом репортеров. Они молча кладут заметки и

---

[82] Гомбетта, Леон Мишель (1838-1882) – французский политический деятель, один из лидеров буржуазных республиканцев.

уходят. Им нет времени, да с ними и не удостоивают чести много беседовать. Это – парии прессы. Лаборатория в полном ходу. За зеленым столом быстро изготовляется нумер газеты. Хроника готова; передовая статья и ежедневное политическое обозрение уже в типографии… Политический отдел почти готов. Худощавый молодой человек с болезненным умным лицом, сидевший на конце стола, встает из-за стола и, отдавая посыльному «Печать», незаметно уходит…

Приносят лампы. Уже четвертый час. Николай уже наклеил внутренние известия и просматривает корреспонденцию. Григорий Васильевич уже кончил и с Гамбеттой и с Биконсфильдом [83] и, на свой страх, переводит еще о рабочем митинге в Англии, хотя переводить о митинге не отмечено. Но он все-таки рискует; быть может, редактор изменит на этот раз своей осторожности. А не изменит и пропадет труд – не беда. Отворяются двери, и в комнату входит литератор Браиловский, и из-за дверей еще слышны раскаты его смеха. Он на ходу громко рассказывает интересную историю, хохочет более других своим остротам и старается обратить на себя общее внимание. Он только что был у одного человечка. Мало утешительного. Од-

---

[83] Биконсфильд – Дизраэли, Бенджамин, граф Биконсфильд (1804-1881) – английский государственный деятель и романист, идеолог консерваторов, премьер-министр Англии в 1868 г. и 1874-1880 гг.

нако он принес передовую статью и надеется…

Редакционная комната оживляется. Начинаются шумные разговоры. Новости дня переплетаются с газетными сплетнями. Все принимают участие. Под шум разговора Григорий Васильевич начал было объяснять Николаю производство искусственных алмазов, но остановился, не закончив, и заспорил с Браиловским. «Иностранный отдел» уже не морщился: все было готово, и он мог тоже принять участие в разговоре. Браиловский ушел, но зато в редакции появился Пастухов, тот самый литературный сплетник, с которым Николай познакомился у Смирновых. Он принес статью и целый ворох сплетен. Он сообщил такую интересную историю об издателе «Правдивого», что мрачное лицо редактора «Пользы» прояснилось. Добросовестно исполнив свою задачу, юркий господин немедленно из «Пользы» поехал в редакцию «Правдивого» и там, в свою очередь, доставил несколько приятных минут, сочинив, что в «Пользе» нет ни гроша денег и она закроется не сегодня-завтра.

Пора была расходиться – уже пять часов. Однако прежде чем идти домой, Николай зашел рядом в контору газеты и спросил у конторщика, нельзя ли получить денег.

– Вам много нужно?

– Пятьдесят рублей.

– Нельзя ли до завтра?.. Завтра будет получка.

– А сегодня нельзя?

– Сегодня все деньги роздали. Завтра непременно будут!

Он ехал домой. В сутолоке редакционной комнаты он бесплодно проводил день, хотя несколько раз и давал себе слово приезжать в редакцию пораньше, сделать свою работу и ехать домой. Но его затягивали эта комната, этот гам разговоров, сплетен и новостей, меняющихся ежедневно, что, однако, не мешало ему по приезде домой жаловаться на усталость.

Леночка беспокоилась, что жаркое пережарится. Она давно поджидала его. Отчего он так поздно?

– Заболтался в редакции. Эта редакция отнимает так много времени!

Он принимался за обед и нередко фыркал. Неужели нельзя порядочно изжарить бифштекс? Кажется, не хитрость! А масло, что за масло! Его в рот нельзя взять!

Леночка чувствовала себя виноватой за его капризы. Он молча доедал обед и шел к себе в кабинет. Леночка приносила ему чашку кофе и ласково спрашивала:

– Ты, Коля, не в духе. Что с тобой?

– Ничего особенного…

– Ты сердишься?

– Нисколько… Знаешь, Лена, надоела мне моя поденщина! Тратится много времени… Я хочу бросить эту работу.

– Что ж… твое дело! – произносит Леночка, но голос ее слегка дрожит:

Он слышит и понимает, отчего голос дрожит.

– Ты думаешь, мы не обойдемся без нее? – внезапно раздражается Николай. – Экая прелесть какая – нечего сказать… Я бы мог вместо этого написать что-нибудь порядочное, а тут вырезай да наклеивай.

– Но ведь ты сам говорил: эта работа берет три часа времени… А впрочем, что ж, откажись. Скоро твоя статья будет напечатана…

– Платонов что-то тянет долго… Откажись! И рад бы, да надо ради куска хлеба… Корпи, меняй себя на мелкую монету! – раздражается Николай все более и более и продолжает монолог на эту тему.

Если бы не ослепление влюбленной женщины, то Леночка расхохоталась бы над этим нытьем, но она серьезно жалеет Николая и готова была бы еще давать уроки, только бы ему было легче. Как бы он не загубил своего таланта!

Вечером она сама же предлагает ему рассеяться, идти в театр. А она? Она не хочет, да и некогда – надо на урок. Он идет рассеяться, а она отправляется на Васильевский остров, занятая мыслью, как бы помочь

Николаю. Казалось, они получали довольно: он зарабатывал до полутораста рублей, да она имела шестьдесят, но деньги как-то таяли. Николай брал большую их часть, оставляя ей пустяки, так что она с трудом изворачивалась. Вскоре стали в квартире появляться кредиторы. Оказались долги, надо платить проценты. Разделаться бы с долгами, и ведь это так просто! – решила однажды Леночка. Стоит продать их мебель и перебраться в квартиру поменьше. Что за беда потесниться!

Леночка как-то сообщила свой план Николаю, когда он жаловался на долги.

– Придумала отличное средство! – насмешливо проговорил он. – Очень остроумно!.. Трогательно!.. Какой-нибудь чердачок с геранью в слуховом окне еще лучше и дешевле… А мы вдвоем будем сидеть и любоваться небом. Не так ли?

– Зачем ты, Коля, сейчас смеешься? Разве я предлагаю чердак?

– Все равно – какую-нибудь вонючую конуру… Но слуга покорный! Я не разделяю этих вкусов. Мне нужен свет и чистый воздух. Моя работа не тетрадки долбить, ты должна это понять. Мои занятия требуют особенных условий… Ты думаешь, что можно и на чердаке заниматься? Благодарю!

– Как тебе не стыдно, Коля! Ты нарочно не хочешь

понять меня.

– Очень уж трудно.

– Я понимаю, что тебе нужна большая комната. Она будет. Я предложила тебе средство избавиться от долгов… Ведь тебе же тяжело. Разве нельзя работать в маленькой квартире? Разве нужна дорогая мебель?

– Оставь меня, пожалуйста, в покое с твоими добродетельными нравоучениями! Меня не прельщают перспектива чердаков и идеалы мещанского счастьица. Мне большего нужно. Я не Лаврентьев! – проговорил он, раздражаясь все более и более, и вышел из Леночкиной комнаты, хлопнув дверью.

Леночка была поражена этой грубой выходкой. И прежде бывали сцены, но такой еще не было. С чего он так раздражился? Какие идеалы мещанского счастия? Разве скромная трудовая жизнь – непременно мещанское счастие? Она в первую минуту не могла сообразить. И зачем он вспомнил Лаврентьева?

Она, по своему обыкновению, старалась объяснить эту выходку неудачами Николая, но другие объяснения невольно закрадывались в голову. Она припомнила всю их жизнь после свадьбы, припомнила долгие одинокие вечера, и, казалось ей, не той, совсем не той должна быть жизнь… Не того ждала она.

Что, если он…

Она испугалась сама запавшей мысли, но эта

мысль охватила Леночку. Ей стало страшно.

«Не любит?!. А ведь это так просто!»

А Николай уже стоял на пороге. Он ласково улыбался как ни в чем не бывало.

– Ты не сердись на меня, Леночка! – проговорил он, приближаясь. – Я наговорил тебе черт знает чего. Ты знаешь, я вспыльчив!

Он обвил рукой ее шею и целовал ее побледневшие щеки.

– Не сердись же! – продолжал он, вполне уверенный, что после его извинения и поцелуев Леночка должна тотчас же просиять, тем более что он первый протягивает руку.

Она тихо пожала руку Николая, тихо освободилась от его поцелуев, но лицо ее не просияло.

– Ты все еще сердишься, Лена? – спросил он тоном капризного ребенка.

– Я не сержусь, Коля! – тихо проговорила Леночка.

– Так поцелуй меня и скажи, что ты забыла. Посмотри-ка на меня!

– У меня так скоро не проходит все, Коля! – тихо улыбнулась она, останавливая на Николае грустный, задумчивый взгляд. – Но ты не думай только, что я сержусь. Честное слово, я ничего не имею против тебя и никогда, слышишь ли, никогда, мне кажется, не обвиню тебя. Но я хотела бы тебя спросить… Видишь

ли, наши частые сцепы навели меня на мысль… Иногда мне кажется…

Она остановилась на мгновение, стараясь скрыть охватившее ее волнение.

– Что же тебе кажется, Леночка? И с чего такой торжественный тон?

– Мне кажется, что ты несчастлив со мной! Я тебе не пара! – медленно проговорила Леночка.

– Вздор какой! С чего ты это взяла? Чем я несчастлив? – говорил он нетерпеливо, предчувствуя объяснение.

– Подумай сам. Не торопись успокоить меня. Вдумайся в наши отношения.

– Леночка! Неужели мне повторять тебе, что ты говоришь глупости! Полно, милая! Полно! Ты всему придаешь какое-то значение. Ну, иногда я раздражаюсь, это правда, но ты тут ни при чем.

– Так ли? Не обманываешься ли ты, мой милый? Тебе скучно со мной! Ты точно тяготиться моим присутствием. Точно я тебе не друг, и то мы так редко видимся в последнее время!

– Упреки?! Разве я должен сидеть все дома? Кто тебе мешает? Я часто зову тебя в театр, ты сама не хочешь, а теперь ты меня же винишь?

– Что ты, что ты? Разве я прошу тебя сидеть дома?

– Так что за вопросы? К чему эти сцены, эти копания

в груди? У тебя все одна любовь на уме, и ты все относишь к любви. Тебе кажется, в любви – все. Но можно любить и чувствовать себя неудовлетворенным. Есть высшие интересы…

И он незаметно перешел в тон обвинителя. Леночка воображает бог знает что. Ее любовь слишком эгоистична.

Он окончил монолог нежными объятиями и проговорил:

– Успокойся же, Леночка, и не будем мучить друг друга.

Оказывалось, что Леночка его мучила.

Николай просидел с женой полчаса и нетерпеливо поглядывал на дверь. Сцена ею расстроила, и ему надобно рассеяться.

– Не хочешь ли, Лена, в театр? Сегодня «Русалка» [84].

– Нет, не хочется. Иди ты.

– А ты что будешь делать? Обещаешь не хандрить?

– Не беспокойся. Иди же, иди, Коля, рассейся.

Он опять целует ее и оставляет ее одну, не сомневаясь, что успокоил Леночку и окончательно ее успокоит, когда вернется домой, горячими ласками.

Он вышел из дому на улицу и вспомнил, что сегодня четверг. После театра он поедет к Смирновой. Давно

---

[84] «Русалка» (1855) – опера А.С.Даргомыжского (1813-1869).

он не видел Нину Сергеевну, с тех самых пор, как она так зло над ним подшутила. Он все еще сердился, но ему очень хотелось с ней встретиться. Она такая интересная и роскошная женщина. Плечи, плечи!.. И с ней так весело говорится. С ней невозможно скучать.

А Леночка – очень сентиментальна и слишком уж его любит. Чуточку поменьше – было бы лучше. Если б он не женился, было бы еще лучше, но теперь поздно!

«Бедная!» – великодушно пожалел он ее и вошел, приосаниваясь, в театральную залу.

После театра он был у Смирновой и обрадовался, когда Нина Сергеевна дружески обошлась с ним и попеняла, что он забыл ее. О прежнем ни слова.

– На лето в деревню? – спрашивала она.

– Нет, на дачу куда-нибудь.

– И я остаюсь здесь. В Петергофе буду скучать… а вы где, не решили еще?

– Нет еще! – проговорил он, внезапно решая, что наймет дачу в Петергофе.

А Леночка, несмотря на уверенность мужа, не успокоилась. Прошел час, другой, а она все сидела на старом месте в раздумье. Слезы тихо лились, но не облегчали ее.

Разные сомнения смущали ее. То казалось ей, будто она виновата в чем-то перед Николаем, что она его мучит своими сомнениями, то внезапно приходила в голову мысль, что Николай полюбил и скрывает.

«Нет, нет! К чему скрывал бы он? Разве не помнит он нашего уговора?»

Она перебирала всевозможные объяснения Николая и, как часто бывает, не находила настоящего, не понимая, что ее любимый Николай – бездушный эгоист, никого не любит и едва ли может любить кого-либо, кроме себя.

Внезапное появление Васи вывело ее из раздумья. Леночка поздоровалась с Васей, отворачивая лицо, чтобы он не заметил заплаканных глаз. Кстати, ей тотчас же понадобилось распорядиться насчет самовара, и она вышла из комнаты, промолвив:

– Садись, Вася. Я пойду попрошу, чтобы давали самовар.

Однако Вася, несмотря на свою рассеянность, заметил слезы.

Он как-то замечал все, касающееся Леночки.

«Эх, брат, брат!» – подумал он, провожая Леночку встревоженным взглядом.

Он часто заходил в последнее время к Леночке и, замечая, что она одна, старался рассеять ее, приводил с собой Чумакова и еще одного приятеля, читал

ей вслух какую-нибудь, как он говорил, «настоящую» книгу, звал ее прогуляться. А то придет, просидит молча вечер, да и уйдет, спохватившись, что одиннадцать часов и пора уходить.

Вася недоумевал, что за охота брату шататься каждый день по гостям да театрам, и его возмущала небрежность его к Леночке. Старые опасения нередко закрадывались ему в голову.

И вообще его дивил Николай. Вася с каким-то сожалением слушал, как брат начинал издеваться над мечтами Васи. Его удивляло непонятное раздражение, с каким иногда Николай говорил об этом, а это раздражение в последнее время бывало чаще, хотя Вася и не вызывал на такие разговоры.

В словах брата звучала скептическая струна, и не чувствовалось в них присутствия идеала. Все дурно, все нехорошо, все пустяки. Это презрительное отношение глубоко трогало Васю, и он задумчиво покачивал головой, размышляя о брате и не понимая, как это можно надо всем слегка посмеиваться.

Когда Леночка позвала Васю пить чай, Вася спросил:

– Будем после читать?

– Нет, Вася. Мне что-то нездоровится.

Вася украдкой посматривал на Леночку встревоженным взглядом, полным любви. Когда Леночка ло-

вила его взгляд, Вася растерянно опускал глаза. Леночка и не догадывалась, что дыханье первой любви коснулось юноши. Он сам не понимал, почему его сердце так сильно бьется в присутствии Леночки и почему оно замирает в тоске, когда она встревожена.

После чаю, когда они прошли в комнату к Леночке, Вася вынул из кармана сложенный печатный лист и, подавая Леночке, сказал:

– Хочешь прочесть?

Леночка стала читать. Вася заходил по комнате. Когда она кончила, лицо молодой женщины было взволновано.

Она молча отдала Васе листок и через несколько минут заметила:

– Смотри, Вася, осторожней с этим!

– Не бойся!..

Через несколько времени он спросил:

– В деревню не едете? Решили?

– Нет… Коле нельзя, а одной ехать не хочется… А ты скоро?

– Через месяц. Тянет из города… В Витине теперь славно…

– Да… славно там! – вздохнула Леночка.

Вася скоро ушел. Прежде чем вернуться домой, он долго еще бродил по улицам в каком-то мечтательном настроении.

XXII

– Вот и дождались гостей! Иван Андреевич, Вася приехал!

Такое радостное восклицание Марьи Степановны раздалось в витинском доме, в первых числах июня, перед самым закатом солнца.

Вслед за тем Марья Степановна уже была в передней и обнимала Васю.

– А это, мама, Чумаков! – произнес Вася, указывая на стоявшего поодаль приятеля.

– Очень приятно. Очень рада! – радушно приветствовала Марья Степановна молодого человека и опять обняла Васю.

– Как же это вы так неслышно подъехали? На почтовых?

– Нет, мама. Мы со станции по пути с одним залесским мужиком… Он подвез нас.

– Узнаю Васю, узнаю! – говорил Иван Андреевич, целуя сына. – Не мог уведомить. Трудно, что ли, было бы кучеру съездить! Добро пожаловать, господин Чумаков! – весело обратился старик к гостю. – Очень рад.

– Однако неказист ты на вид, Вася! – продолжал Иван Андреевич, когда все перешли в залу, и старик

тревожно оглядывал сына. – Похудел, и цвет лица… Мало, видно, вы, господин Чумаков, его бранили! – полушутя, полугрустно обронил Иван Андреевич. – Кашляешь? Грудь болит?

– Нет, нет, папа. Я здоров, а в деревне совсем окрепну.

– Мы его поправим здесь. Еще бы цвету лица быть, когда они бог знает что едят там в кухмистерских. Они все в Петербурге какие-то чахлые! – сказала Марья Степановна, заглядывая в лицо Васи.

– Ну, это ты напрасно. Посмотри-ка на господина Чумакова.

И точно, румяный, плотный, он весь сиял здоровьем и, казалось, опровергал мнение Марьи Степановны насчет гибельного влияния петербургских кухмистерских.

– Так, может быть, господин Чумаков… как вас по имени и отчеству? Не люблю я по фамилии звать.

– Андрей Николаевич.

– Так, может быть, Андрей Николаевич у родных обедал.

Чумаков усмехнулся.

– Нет-с, я тоже в кухмистерских.

– А иногда и так, мама! – подсказал Вася.

– Как так? – удивилась Марья Степановна.

– Ситник и колбасы кусок.

– И, как видите, слава богу! – рассмеялся Чумаков.

– Ну, я вас откормлю, голубчиков. Сейчас покушаете. Сейчас будет готово. А Коля и Леночка здоровы?

– Здоровы.

– Обидно, что они не приедут. Что делать!

– Что, как его дела? – осведомился Иван Андреевич.

– Кажется, ничего себе! – уклончиво отвечал Вася, не желая огорчить отца.

– Адвокатура как?

– Кое-какие дела есть. Однако немного еще.

– Будут! Малый он талантливый. Из него может выработаться хороший адвокат. Писательство он, верно бросит. Таланта настоящего у Коли нет, ну, да и усидчиво работать мы не умеем! Он-то пока мечтает, – сам впрочем, убедится. Статьи его ничего себе, но и только, а адвокатом – это его дело! Одну речь его я читал. Ничего, недурна, очень недурна, только очень уж он противника своего допекал, Присухина. Ты был на суде? Слышал? Хорошо говорит Коля?

– Хорошо.

– И речь честная, славная. И дело-то чистое. Ну, да Коля не станет вести нечистых дел!

– Еще бы! Тогда… Разумеется, не станет!

– Однако я расспрашиваю, а вам с дороги, видно, есть-то хочется. Проведи-ка, Вася, Андрея Николае-

вича в твою комнату. Вы как, вместе хотите?

– Вместе! – ответил Вася.

– А то Колина комната свободна. Ну, как знаете!

Через час все сидели за столом. Марья Степановна то и дело подкладывала кушанья молодым людям.

– Кушайте, голубчики, кушайте!..

Вася уже успел сбегать в людскую, побывал в конюшне у кучера Ивана, заглянул к старой няне. Все было по-прежнему в Витине; все обрадовались приезду Васи и после говорили о нем:

– Такой же душевный… Из тела только поотощал!

После ужина, когда стали расходиться, Иван Андреевич увел Васю к себе в кабинет, обнял его и, усаживая подле себя, проговорил:

– Ну, теперь, милый мой, расскажи мне о себе.

– О чем, папа?

Старик понизил голос и тревожно спросил:

– Ты… в разных там кружках не участвуешь? Нынче ведь вы…

– Знаком…

– Знаком? И принимаешь участие? – со страхом проронил старик.

– Нет, папа, – ответил Вася. – Ведь я обещал тебе сперва учиться. Я сдержу слово!

– То-то… Спасибо, голубчик. Ты еще так молод. Не торопись… Прежде проверь себя, проверь свои мне-

ния. Я знаю, сердце-то твое горячее… кипит, но подожди, подожди, мой хороший! – почти умолял старик, с любовью глядя на Васю.

Вася несколько времени молчал, потом тихо заметил:

– Ты прав… я еще мало знаю… И не ты один прав… Прокофьев – жаль, ты его не знаешь, – то же говорит… Надо сперва подготовить себя.

Отец никак не ожидал такого вывода.

– Подготовить себя? К чему?

– Ко всему! – тихо проронил Вася.

В свою очередь, и отец замолчал. Он слишком хорошо знал сына, чтобы сомневаться в истинном значении этих слов.

– И что ж ты думаешь делать… потом?

– Не знаю… Разве можно сказать?.. Знаю одно, – и голос его дрогнул, – знаю, что все мои силы, все мои мысли, жизнь моя… будет посвящена тому, что я считаю правдой… Ты знаешь… Я писал тебе… Мы говорили…

– А если твоя правда – заблуждение?

– Для меня она – правда.

– И ты все веришь?

– Верю… Иначе не может быть… Тогда где же правда? Где она? Не та ли, о которой говорят?.. Кругом, что ли?.. Не в том ли, что ты за правдивое слово нака-

зан? Не в том ли, что вокруг нас люди живут, как скоты? Где, где ж она?

– И ты думаешь, что, сделавшись, – помнишь, ты писал? – сельским писарем или рабочим, ты принесешь больше пользы, чем на других поприщах?..

– Я не знаю, принесу ли я пользу, я могу только желать этого… но я знаю, что не буду жить на счет других. И без того довольно!

Старик слушал сына и чувствовал, что не переубедить его. Он с грустью смотрел на Васю и вспомнил свою молодость.

Когда Вася ушел, старик еще долго не ложился. Мрачные предчувствия закрадывались в голову. Он боялся, что Васе не придется долго ждать, и он невольно не сдержит слова.

И он не ошибся.

XXIII

– Славные твои старики, Вася! – говорил на другой день Чумаков, потягиваясь на постели.

– О, ты их еще не знаешь. Это такие… такие…

И он стал рассказывать своему приятелю, какие у него превосходные люди отец и мать.

– У меня… Вася, не такие!.. – сказал Чумаков.

– Это жаль… – протянул Вася.

– И ты не сердись, я тебе скажу… брат твой Николай не похож на вас.

– Ты, Чумаков, мало знаешь брата.

– Мало или много, а все судить могу… По-моему, он ненадежный человек!

– Зачем ты мне это говоришь, Чумаков? Зачем?.. Ты ведь знаешь, что мне это больно слышать! – проговорил Вася с упреком в голосе.

– А надо говорить только то, что приятно? Я этого не знал за тобой, Вася!

Вася не отвечал.

Он сам думал о брате так же, как и его приятель, и вот почему ему было еще больнее слышать осуждение Николая от других…

В тот же день Вася был в деревне и обошел все избы. Мужики радушно встречали его и рассказывали

ему одну и ту же вечную историю. Вдобавок очень жаловались на нового исправника Никодима Егоровича.

– Старик Иван Алексеевич на покой ушел! Тот еще ничего, а этот лютый.

– Страсть!..

– Строгость ноне пуще пошла!

– Раззор!..

Вася слушал все эти восклицания молча. Слова утешения не шли на уста.

Под вечер он собрался навестить Лаврентьева.

– Ты не слышал разве, Вася, – заметил Иван Андреевич, – ведь Григорий Николаевич чуть не умер…

– Что ты?

– Ездил он в Петербург зимой, помнишь?.. Вернулся и слег в постель в горячке. Доктор отчаивался, думал – не выдержит… Выдержал, однако… Поправился!.. После болезни он, брат, еще нелюдимее стал и, кажется… пьет очень…

– Пьет?.. – протянул Вася и невольно подумал о Леночке. – Он собирался жениться… В Петербурге говорил мне…

– Не слыхал… Едва ли… По-прежнему бобылем… Да вот сам увидишь. Передай ему, пожалуйста, от меня поклон.

Вася застал Григория Николаевича сидящим на крыльце дома в одной рубахе. Он осунулся, постарел

и, показалось Васе, был слишком красен.

– Приятель! здорово!.. Когда сюда пожаловал? – встретил его Григорий Николаевич, пожимая по обыкновению руку до боли. – Отощал, отощал! Давно пора на вольный харч! пора!

– Вчера приехал…

– Спасибо, Иваныч, что не забыл старого приятеля. Молодчина! Этим ноне не хвалятся. Н-нет… Ты вот душевный парень… Что у вас в Питере-то… мерзость, чай?..

– И здесь не важность…

– Это верно. Правильно… Правильно, Василий Иванович. Мало важности!.. Вот разве Никодимка, шельмец, важность на себя напускает ноне, как гоголем заходил… И форсит, подлец… Да Потапка тоже… Разбойники!.. Кузька-то ноне к вам в Питер переехал разбойничать, а за себя Потапку оставил… Помнишь, еще примочками отхаживал, когда в Залесье его помяли? Только напрасно вовсе тогда его не решили. Лучше было бы… Зверь, как есть, дикая зверина!.. Но я доберусь до него… Доберусь!

Вася вспомнил, как Григорий Николаевич добирался до Кузьмы и не добрался.

По его лицу пробежала грустная улыбка.

– Думаешь, не доберусь? Хвастаю? Кузьку выпустил, а этого – шалишь! Ша-ли-шь! Коли не опомнит-

ся, мы его помнем… помнем! Довольно от него терпит народ!.. – мрачно проговорил Лаврентьев.

Он вдруг замолчал. Молчал и Вася, с участием посматривая на Григория Николаевича.

– А ты что так поглядываешь?.. Ты так, родной мой, не гляди… Лучше ругай Гришку! От тебя все приму – не бойся… Тебя ни-ни… не трону… Ты не брехун, не то что…

Вася смущенно ждал конца. Он догадывался, на кого намекает Лаврентьев. Но Лаврентьев не досказал слова.

– Постой, Иваныч, погоди, голубчик! – проговорил Лаврентьев, когда Вася стал прощаться. – Одно словечко. Елена Ивановна здорова?

Голос Лаврентьева звучал необыкновенной нежностью.

– Здорова…

– И… и… счастлива?..

Трудно было отвечать Васе на этот вопрос. Он сам задавал его не раз и не находил ответа.

– Что ж ты? Говори правду, по совести!

– Кажется, счастлива!

– Дай ей бог, дай бог! – прошептал Лаврентьев и прибавил: – Ну, теперь ступай домой, Иваныч, и приходи ко мне, когда я буду трезвый. Приходи же. Придешь?

– Приду.

– То-то. Ты парень душевный!

Вася возвращался домой тем самым лесом, где часто певал Лаврентьев.

«Зачем это все так случилось?» – думал Вася, и сердце его сжималось при воспоминании о Леночке.

Он задумчиво шел по лесу, а вечер тихо спускался на землю.

XXIV

Прошел месяц.

Вася заметно поправился на деревенском воздухе, так что нередко вместе с Чумаковым занимался мужицкой работой. Чумаков исправно работал все время. Сперва мужики дивились, но потом привыкли. Никодим Егорович несколько раз подсылал узнавать, почему это молодой человек, гостивший в Витине, работает, но ничего не открывалось такого, что давало бы Никодиму Егоровичу надежду на открытие преступных замыслов. Однако он зорко следил и довел до сведения его превосходительства об этом событии.

Генерал поморщился и соображал.

– Вы говорите – работает, как мужик?

– Точно так, ваше превосходительство. Как простой мужик!

– Ггмм. А еще?

– Пока ничего-с.

– И незаметно, чтобы… вредные идеи?

– Трудно поручиться, ваше превосходительство!

– Трудно!.. Гм, да, трудно.

Его превосходительство был в некотором затруднении.

– Ждите приказаний! – решил он и послал за юрким

молодым человеком из Петербурга.

– В законе указано насчет такого факта?

– Нет. Я уже слышал! – почтительно улыбается правитель канцелярии.

– Я полагаю, странно.

– Но, быть может, ваше превосходительство, цель очень уважительная.

– Работать, как простой мужик? – усомнился генерал.

– Этот молодой человек – технолог.

– А дальше?

– И хочет изучить сельское хозяйство на практике.

– А?.. Вы думаете?

– Я не могу предрешать фактов, но полагаю… Во всяком случае, если угодно будет вашему превосходительству поручить строжайшее наблюдение…

– Конечно, конечно.

Никодим Егорыч получил соответствующие приказания.

Стоял жаркий июльский день. Как-то особенно парило в воздухе. Было около девяти часов утра.

Вася с Чумаковым в это время приближались к Залесью, направляясь к большому торговому селу Большие Выселки, где в этот день была ярмарка.

Вася рассказывал товарищу подробности о сцене, которой оно был свидетелем в прошлом году. На Чумакова этот рассказ произвел впечатление. Подробности он слышал от Васи в первый раз.

Залесье было близко. Они увидали толпу, стоявшую перед волостным правлением.

– Сходка! – промолвил Вася.

– Сходка! – повторил Чумаков.

Однако – странное дело – они не слыхали обычного шума волнующейся толпы.

– Это не сходка! – сказал Вася, прибавляя шагу.

– А что же такое?

– Ты слышишь? – вздрогнул Вася. – Это не сходка!

Жалобный крик пронесся в воздухе. Еще и еще.

Они входили в улицу. На них никто не обратил внимания. Вопли раздавались сильней. Вася был бледен. Он взглянул на Чумакова. Чумаков вздрагивал. Они подошли к толпе, и Вася спросил у одного мужика:

– Что здесь?

Мужик взглянул на Васю и сердито ответил, отворачиваясь:

– Исправник порет!

– За что?

Мужик не отвечал.

– За что? – повторил Вася.

– Известно… недоимки! – проговорил другой мужик.

Вася пробирался через толпу… У него тряслись губы; глаза блуждали.

– Куда ты лезешь? – говорили в толпе. – Лестно, что ль, поглядеть?

Но он шел вперед, пока не дошел до ворот. Его схватила за плечо чья-то сильная рука, но он рванулся вперед.

– Вася, Вася, что ты делаешь!.. Уйдем! – говорил Чумаков и сам шел за ним.

Вася остановился и взглянул, но тотчас же зажмурил глаза от какой-то невыносимой боли. Он увидал седую бороду, опустившуюся со скамьи, и окровавленное тело… Более он ничего не видал, но стоны еще слышал – ужасные стоны!.. Он все стоял. Что-то приливало к сердцу. Рыдания давили грудь, но он не плакал. Вдруг все стихло.

Он снова взглянул.

Никодим Егорович стоял на крыльце и махал рукой. Его лицо было спокойно. Только рыжие усы двигались неестественно быстро. Он курил папиросу и часто пускал дым.

В ногах у него валялся мужик.

– Плати! – раздался крик.

Нет ответа.

– Пори!

Двое мужиков схватывают под руки валявшегося в ногах. Но он освобождается и сам ложится.

Раздался взмах розог. Толпа глядит молча.

Вася трясется как в лихорадке, губы беззвучно что то шепчут. Раздается вопль, и какая-то сила выбрасывает Васю вперед.

– Послушайте… да разве так… Не троньте! – вдруг вырывается из груди его не то крик, не то стон.

Никодим Егорович на секунду ошеломлен. Кто-то сказал:

– Это витинский барчук!

– Господин Вязников… идите вон!

– Не истязайте, слышите!

– Пори! – раздается крик.

Вася кидается вперед.

– Злодей!.. За что ты мучишь людей! – произносит он и схватывает за грудь Никодима Егоровича.

В толпе раздается гуденье.

– Смелый!

– Душа-то жалостливая!

– Берите его… бунтовщика! – задыхается Никодим Егорович.

Урядники и сотские бросаются на Васю.

Через десять минут окровавленного и избитого Ва-

сю, связанного, увозят на телеге.

– Это витинский барчук! – повторяют голоса. – В прошлом году он был у нас.

– Хрестьян пожалел!

– Што ему будет?

– Ничего, – барин!

Толпа тихо расходилась. Исправник уехал.

Встревоженный прибежал Чумаков в Витино и вошел в кабинет.

– Что… что случилось? – спросил Иван Андреевич.

Чумаков начал рассказывать, но вдруг остановился, заметив, что старик побледнел и тихо опускается на кресло.

Чумаков поддержал его.

– Ничего, ничего… продолжайте! – чуть слышно проговорил Иван Андреевич.

Чумаков рассказывает, а старик шепчет, вытирая слезы:

– Бедный, славный мой мальчик.

Через несколько времени Иван Андреевич идет к жене и осторожно рассказывает ей о случившемся. Он старается не смотреть ей в глаза. Голос старика дрожит, когда он, обнимая Марью Степановну, говорит:

– Успокойся, успокойся, мой друг. Не предавайся отчаянию.

В тот же вечер Марья Степановна отправилась в город, а в ночь исчез Чумаков. Из города не привезли никаких успокоительных известий.

– Я видела Васю, – рассказывала она, глотая слезы. – Он кротко так глядел на меня и все утешал… Просил простить, что огорчил нас… Велел сказать тебе, чтобы ты не сердился за то, что он не мог сдержать слова… «Папа, наверное, будет сердиться!»

Она не могла продолжать…

XXV

Скверный октябрьский вечер стоял в Петербурге. Дождь зарядил с утра и не перестает ни на минуту.

Леночка недавно только что оправилась после тяжелых родов, кончившихся смертью ребенка, и первый раз сегодня встала с постели.

Однако она бодрится и говорит Николаю:

– Я завтра выйду.

– Куда тебе, подожди…

– Я чувствую себя совсем здоровой!

Николай взглянул на Леночку и сказал:

– Как знаешь, впрочем. Однако мне пора! – заметил он, взглянув на часы. – До свидания, Леночка. Ты не будешь скучать?

– Нет.

– Я скоро вернусь… Мне надо по одному делу!

Он, по обыкновению, целует ее, и торопливые шаги его раздаются из залы.

Леночка грустно улыбается вслед.

– Верно, к Ратыниной! – шепчут ее губы.

Она вспоминает лето в Петергофе, и лицо ее делается еще серьезней. Душевная борьба, очевидно, происходит в ней. Ах, зачем это гадкое чувство ревности! Ведь он уверял, клялся еще вчера, что любит

ее…

К чему ему лгать? Разве он не свободен?

Она поднялась и прошла в кабинет.

– Какой у него беспорядок, однако! – говорила она вслух.

Она начинает прибирать письменный стол. Она всегда сама это делала. Во время болезни ее некому было позаботиться, и стол в беспорядке. Коля сам не приберет.

Она аккуратно раскладывает по местам письменные принадлежности, книги и бумаги. Машинально глаза ее останавливаются на маленьком листке почтовой бумаги, исписанном и зачеркнутом во многих местах.

– Верно, речь черновая. Надо этот листок положить отдельно.

С этими словами она берет бумажку и, желая удостовериться, речь ли это, начинает читать.

Странная речь! Она начинается словами: «Вы этого хотели? Ну да, я вас люблю!»

Леночка вздрогнула, хотела бросить листок и вместо того стала жадно читать.

По мере чтения мертвенная бледность разливалась по лицу ее. Листок выпал у нее из рук, и она бессильно опустилась на кресло.

На почтовом листике было написано несколько ва-

риантов письма к Нине Сергеевне. Вот один из них:

«Вы этого хотели… Ну да, я вас люблю, люблю, как никого не любил (в скобках поставлено: безумно, глупо), хотя и знаю, что вы встретите эти слова насмешливой улыбкой. Камо бегу от духа твоего и от лица твоего камо бегу?.. [85] Дома… О бедная Леночка! Милое, кроткое создание… Вы были правы тогда, говоря, что мне не следовало связывать судьбу свою с этой женщиной… Ей нужна другая натура… другой человек, а не я… Ее идеал – тихое семейное счастье, дети, муж всегда подле. Она не понимает и не может понять, что есть другой идеал… что есть натуры… высшие… И чье положение трагичнее: ее или мое? – решите… Я увлекся, женился, мне казалось, что я обязан был жениться и принести себя в жертву, а теперь вижу, что жертва выше моих сил… Я знаю, что для нее моя любовь… иллюзия любви… все… Но что же делать…»

Далее продолжались варианты с одним и тем же концом: «Вы этого хотели?.. Так знайте же, я вас люблю, люблю. Скажите слово только, окажите, и я буду ждать».

Когда Леночка через час поднялась с кресла, она бережно положила на место письмо и, шатаясь, вы-

---

[85] Камо бегу от духа твоего и от лица твоего камо бегу?.. – неточная цитата из Псалтыри (псалом 138, стих 7).

шла из комнаты, оделась и поехала к одной из своих приятельниц.

– Что с тобой, Вязникова? – встретила та ее. – Ты на себя не похожа.

– Ничего! – отвечала она. – Уложи меня в постель, мне холодно!

На следующий день она написала Николаю короткое письмо.

Вязников не ожидал подобного решительного шага.

Он прочитал Леночкино письмо и тотчас же поехал к ней, уверенный, что уговорит ее, тем более что перед письмом жены он получил от Нины следующую записку, которая его привела в бешенство:

«Ничего я не хотела и ничего не хочу. Бросьте ваши излияния и не мучьте вашу бедную жену».

Николай поехал на квартиру, где пока была Леночка, но навстречу ему вышел доктор Непорожнев и сказал:

– Ваша жена нездорова и просила передать, что ей тяжело было бы кого-нибудь принимать…

Вязников уехал и написал ей горячее письмо. Но ответа не было.

XXVI

Прошел год. О Васе не было ни слуху ни духу.

Однажды в Витино приехал незнакомый молодой человек, передал Ивану Андреевичу письмо и тотчас же уехал.

Старик распечатал, удивленно взглянул, что письмо написано из Лондона, и прочел следующее:

«Милостивый государь
Иван Андреевич!

Я только что могу сообщить вам печальное известие. Сын ваш Василий Иванович и мой друг умер десятого мая от чахотки в ***. Я был при последних его минутах. Они были спокойны. Незадолго до кончины он говорил о вас и вашей супруге и просил передать, что умирает, уверенный, что вы будете вспоминать его с тою любовью, с которой вспоминал он о вас. Искренно уважающий вас

Мирзоев».

– Вася… Вася… милый мой!.. – прошептал старик и поник головой.

Вслед за этим ударом на старика обрушился и другой. Газеты принесли известие, что Николай защищал Кузьму Петровича, обвинявшегося в умышленном поджоге фабрики, причем погибло много жертв, и

прибавляли к этому, что г.Вязников получил за защиту пятьдесят тысяч.

– Не может быть… не может быть!.. Это вздор! – повторял Иван Андреевич.

Однако когда он прочел в газетах речь сына и получил из Петербурга от него письмо, в котором, между прочим, Николай писал, что «надо трезвее смотреть на жизнь», – старик должен был увериться, что все, сообщенное в газетах, было правдой.

Печально догорала жизнь стариков. Он совсем одряхлел, а Марья Степановна все похварывала. Леночка, приехавшая погостить к своим на лето, часто навещала их и обещает, по окончании курса, поселиться около, если ей удастся получить место земского врача в Залесье, где обещали выстроить больницу.

Она пережила свое горе и может вспоминать о прошлом без жгучей боли.

ПРИМЕЧАНИЯ СОСТАВИТЕЛЯ

Впервые – в журнале «Дело», 1880, №№ 1, 2, 4-10.

Возникновение замысла романа относится, вероятно, ко второй половине 70-х годов – периоду сближения писателя с деятелями русского революционного движения. В это время Станюкович часто бывает за границей, где завязывает дружественные отношения с колонией русских эмигрантов-народников: С.М.Степняком-Кравчинским, П.А.Кропоткиным, В.И.Засулич и др. Активное сотрудничество писателя в журнале «Дело», редактором которого был Г.Е.Благосветлов (1824-1880), также способствовало установлению прямых контактов с представителями революционного народничества. В 1879 году Станюкович укрывает у себя на квартире «государственного преступника» Леона Мирского, разыскиваемого полицией за покушение на жизнь начальника III отделения, шефа жандармов А.Р.Дрентельна (см. об этом подробнее в кн.: В.Петрушков. Идейное окружение К.М.Станюковича. Душанбе, 1961, с. 117 и сл.).

К этому времени относится и начало непосредственной работы над романом. 1 ноября 1879 года Станюкович сообщал жене: «Благосветлов ухаживает

за мной как за фельетонистом, но, кроме того, умоляет написать ему для „Дела“ роман…

Я еще не дал ему ответа, срок ответа в субботу, и не решил еще сам, как быть… (хотя конспект и превосходный для нового романа есть: назвал бы я его «Два брата». Была бы история двух братьев – один фанатик, честный человек, другой – современный мерзавец. Канва богатая) надо на время оставить многие мелкие работы» (К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 6-ти томах, М., 1954, т. 4, с. 818).

Работа над романом шла одновременно с его печатанием в журнале.

Отдельное издание «Двух братьев» вышло в 1881 году, а в 1897 году автор включил роман в четвертый том своего Собрания сочинений (изд. А.А.Карцева). Изменения, внесенные Станюковичем в прижизненные издания «Двух братьев», были незначительны и носили преимущественно стилистический характер.

Л.Барбашова